

НОВЫЙ МИР

7

МОСКВА

1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

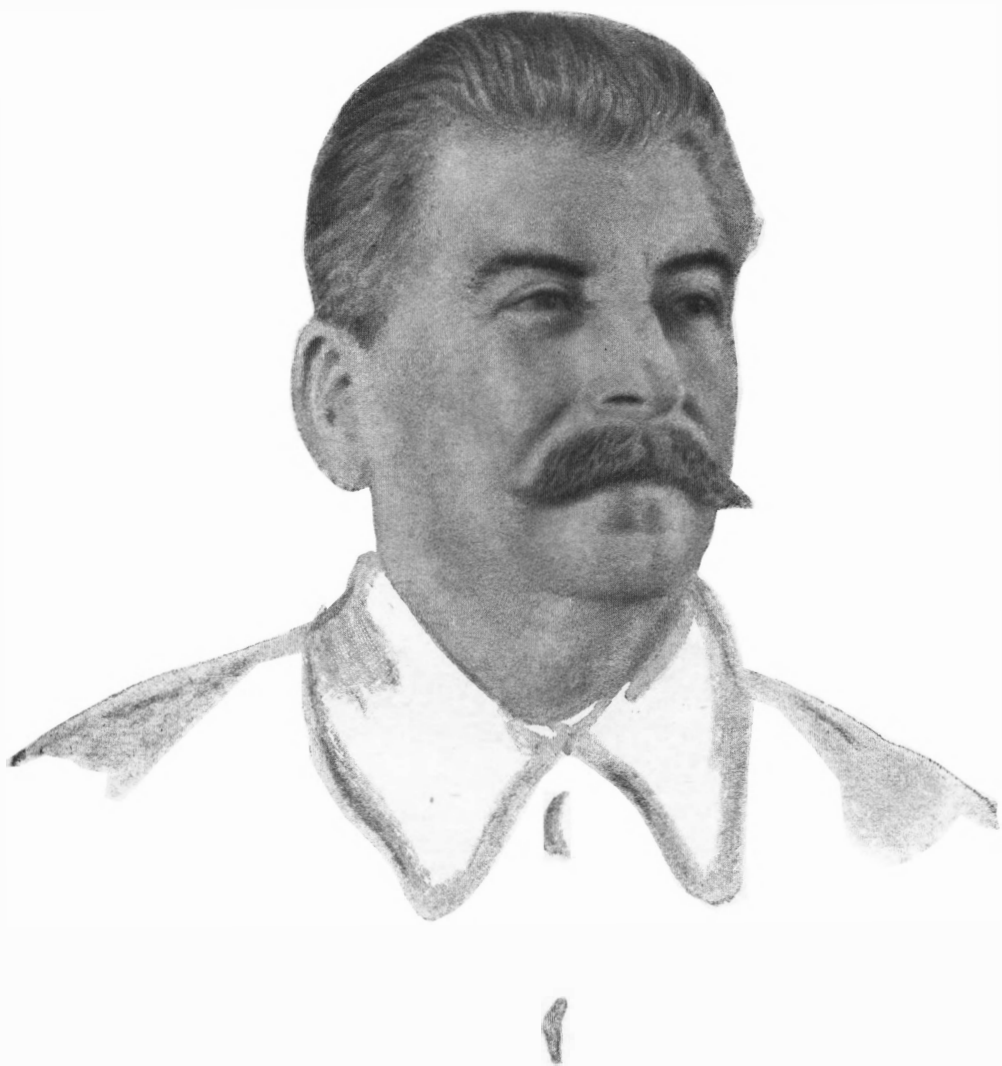
И Ю Л Ь

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б--46038.
Сдано в набор 25/VI--38 г. Подписано к печати 21/VII--38 г.
Тираж 80.000. Зак. 1968.
Технический редактор А. И. Гессен.
Тип. «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ВКЛАДКА: | |
| ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН, первый депутат Верховных Советов союзных и автономных республик | Стр. 5 |
| ТРИУМФ БОЛЬШЕВИЗМА | 11 |
| СООБЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ | 17 |
| АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Ольга, рассказ | 32 |
| Л. ОШАНИН — Города, стихотворение | 33 |
| МИХАИЛ КОЛЬЦОВ — Испанский дневник, третья книга | 56 |
| Н. УШАКОВ — Шоссе, стихотворение | 57 |
| ИВАН ЕВДОКИМОВ — На солнце, из записок художника | 91 |
| Л. МАРТЫНОВ — Пленный швед, стихотворение | 93 |
| МАКС ЗИНГЕР — Дорога жизни, повесть | 108 |
| А. КОВАЛЕНКОВ — Разлука, стихотворение | 109 |
| А. ДЕРМАН — Дело об игумене Парфении, роман-хроника | 163 |
| МИХАИЛ СПИРОВ — В пургу, стихотворение | 164 |
| В. ЩЕРБАКОВ — Бегство, рассказ | 173 |
| П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Большая Москва, стихотворение | |
| ЛЮДИ И ФАКТЫ | |
| ИЗБРАННИКИ НАРОДОВ СССР | 176 |
| ТИХ. ХОЛОДНЫЙ — Академик Т. Д. Лысенко, очерк | 189 |
| П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Шелковая ткань, очерк | 201 |
| ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА | |
| Полковник С. ГУРОВ — Оборона и наступление в современной войне | 211 |
| Полковник И. ПОПОВ — Военно-экономические ресурсы и вооруженные силы Японии | 221 |
| ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО | |
| ЭМИ СЯО — Литература и искусство героического Китая | 229 |
| Б. КОЗЬМИН — Памяти Д. И. Писарева, к 70-летию со дня смерти | 239 |
| С. БОРЩЕВСКИЙ — Новое о Салтыкове-Щедрине | 247 |
| Н. БОГОСЛОВСКИЙ — Эстетика Чернышевского | 269 |
| БИБЛИОГРАФИЯ | |
| Б. СЕНИН — «Горький в Самаре». Рассказы, фельетоны, воспоминания | 280 |
| И. СТАРИКОВ — Всеволод Рязанцев. «Светлая тьма». Роман в трех частях | 283 |
| Н. ЛЮБИМОВ — Осип Колычев. «Пулеметная лента». Стихи | 284 |
| И. РОЗАНОВ — Илья Френкель. «Моряки». Стихи. | 286 |



ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН

Первый депутат Верховных Советов союзных и автономных республик

Рис. худ. А. Рудович

ТРИУМФ БОЛЬШЕВИЗМА

В истории строительства социализма, в жизни нашего государства существуют события, которые наиболее полно раскрывают духовные силы народа — его мощь, величие и единство. Именно к таким величайшим политическим событиям современности относятся блестяще прошедшие выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик нашей родины. Выборы явились мощной демонстрацией советского патриотизма, они с наибольшей глубиной отразили высокую политическую активность трудящихся СССР, их преданность и любовь к партии Ленина — Сталина и Советскому Правительству, моральное и политическое единство народа, — единство, которое, подобно стальной броне, охватывает первое в мире государство рабочих и крестьян.

Итоги выборов — это триумф большевизма, триумф бессмертного советского народа, который в труде и борьбе создал новый, невиданный в истории тип государственной власти, очистил нашу землю от всякой эксплуатации, насилия и рабства. Итоги выборов — это новая замечательная победа сталинского блока коммунистов и беспартийных, — победа, морально вооружающая рабочих, крестьян, интеллигенцию, зовущая их к новым и новым боям во имя и во славу коммунизма.

Депутатами Верховных Советов союзных и автономных республик избраны повсеместно кандидаты нерушимого блока коммунистов и беспартийных, лучшие люди страны социализма, партийные и непартийные большевики. Депутаты Верховных Советов — это верные, честные и непоколебимые сыны

трудового народа, бойцы за дело Ленина — Сталина. Это советские патриоты, строители социализма, остро ненавидящие врагов народа, троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических бандитов.

Победа, одержанная партией Ленина — Сталина на выборах в Верховные Советы, вселяет гордость и радость в сердца всех трудящихся нашей родины. Выборы подняли на огромную высоту чувство советского патриотизма в широчайших народных массах, для которых родина — это вечный источник жизни, труда, счастья и радости. Могучее эхо победных выборов в Советском Союзе прокатилось по всему земному шару, вызывая у трудящихся капиталистических стран новую волну любви к нашей стране, мобилизуя народы Испании и Китая в их самоотверженной борьбе за освобождение от ига фашистских захватчиков.

Единство мыслей и чувств — вот что характерно для трудящихся СССР, несокрушимое единство, которое находит свое прекрасное выражение в сталинской дружбе народов. И эта замечательная дружба народов вновь была продемонстрирована в незабываемые дни выборов, когда миллионы и миллионы рабочих, крестьян, интеллигенции голосовали за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, единодушно голосовали за партию большевиков, за первое в мире советское правительство, за родину, за социализм!

Громадным политическим подъемом самых широчайших масс населения ознаменованы были выборы в Верхов-

ные Советы республик. В движение были приведены рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, красноармейцы и командиры, ученые, писатели, работники искусства, учителя, старые и молодые, партийные и непартийные большевики, партийные работники и беспартийные агитаторы, впервые приобщившиеся к активной политической деятельности. Весь народ единодушно голосовал за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В процессе выборов партия воспитала новые кадры общественных работников, которые проявили себя отличными агитаторами и пропагандистами советской власти.

Народ и коммунизм слились воедино в Советской стране. В этом могучем слиянии — основа основ нашей жизни, наших побед на всех фронтах социалистического строительства. На этом зиждется крупнейший успех выборов в Верховные Советы республик, высокий процент избирателей, принявших участие в голосовании, высокий процент голосов, отданных кандидатам блока коммунистов и беспартийных.

В ведущей республике Союза — РСФСР голосовали 99,3 процента всех избирателей. Кандидатам блока коммунистов и беспартийных отдали свои голоса 99,3 процента избирателей, участвовавших в голосовании. В Украинской ССР голосовало 99,62 процента избирателей, за кандидатов блока голосовало 99,55 процента избирателей, участвовавших в голосовании. В Белорусской ССР голосовало 99,65 процента избирателей, за кандидатов блока голосовало 99,19 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Во всех республиках победил блок коммунистов и беспартийных. В Москве — столице нашей родины — в выборах Верховного Совета РСФСР участвовало в голосовании 99,99 процента всех избирателей. За кандидатов сталинского блока в Москве голосовали 99,6 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Такова воля народа, всюду избравшего кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Выполнить гражданский долг — активно участвовать в голосовании —

стало делом чести каждого трудящегося нашей родины. Замечательную картину высокой политической активности явил собою Сталинский избирательный округ г. Москвы 26 июня 1938 года, в день выборов в Верховный Совет РСФСР. Здесь голосовали за первого кандидата блока коммунистов и беспартийных, за товарища Сталина, выразителя дум и чаяний народа, друга и соратника Ленина. В Сталинском избирательном округе г. Москвы приняло участие в голосовании 114.818 человек — сто процентов избирателей. На один из избирательных участков пришла семья рабочего Петра Ефимовича Ратуши. Отец шел впереди с красным флагом. Рядом с ним шли жена, сын Петр — инженер, сын Алексей — инженер, сын Александр — студент, дочь Вера — студентка. Обыкновенная советская, рабочая семья, которая замечательно просто и ярко отражает в себе нашу жизнь — свободную, счастливую. Рабочий, тов. Титков, опуская в урну бюллетень, воскликнул:

— Да здравствует товарищ Сталин! Живем и крепнем на зло врагам!

Живем и крепнем, выкуривая врага из всех щелей нашего советского дома, живем и крепнем на страх врагам, на радость трудящихся всего мира! — эту мысль выразили избиратели в своих письмах, опущенных вместе с бюллетенем в избирательную урну.

Шесть тысяч писем были адресованы товарищу Сталину. Шесть тысяч писем трудящихся Сталинского избирательного округа г. Москвы. Огромный поток писем на русском, украинском, белорусском, грузинском, узбекском и других языках. Волнующие письма, в которых народ выражал свою любовь к партии большевиков, Сталину, свое морально-политическое единство. Это шло от всей души, это был голос народа.

Товарищу Сталину народ писал:

«Веди нашу страну, дорогой Сталин, по пути, указанному Лениным. За тобою, дорогой вождь, всегда идут рабочие и крестьяне нашей страны. Я беспартийный рабочий. Я предан партии, предан тебе до последней капли крови».

«Я — мать 7 детей. Мои дети — счастливые дети, и я — счастливая мать. Две дочки учатся, они члены партии. Один сын — инженер. Другой сын — в Красной Армии. Третий сын — краснофлотец. Четвертый сын учится на летчика. Младшая дочка учится в ФЗУ. И я отдаю свой голос за Сталина, который заботится о наших детях».

«И. В. Сталину радостная благодарность за учение моих детей. Сын мой учится в летной школе, уже второй месяц сам летает на самолете. Дочь перешла в десятый класс — учится отличницей, имеет желание стать педагогом. За учение моих детей Иосифу Виссарионовичу Сталину чувствительное спасибо от печника Власа Ложкина».

«Родному Сталину, если нужно будет, отдам жизнь».

«Дорогой тов. Сталин, живите на славу родине тысячу лет».

«Я голосую за того, кто боролся за установление честной, справедливой, культурной жизни».

«Теперь в СССР рабочие сами себе господа. Верно сказал наш кандидат в депутаты великий Сталин, что жить стало лучше, жить стало веселей. Да здравствует наш Сталин!»

Н. О. Яценков — беспартийный.

«Я отдала бы за Сталина не только свой голос — свою жизнь, как ни хороша она сейчас».

«Пусть долго живет наш товарищ Сталин! За дело Ленина — Сталина мы готовы на все. Так думает весь народ».

Так думает весь советский народ! Так думает русский и украинец, грузин и белорус, узбек и таджик, армянин и туркмен — все 170 миллионов великого народа, творца своей судьбы, своего счастья. Так думает народ, который навсегда сбросил с себя оковы рабства и завоевал социализм, построенный в боях. Так думает народ — творец, живущий в великую сталинскую эпоху.

В Бауманском районе г. Москвы жена рабочего Екатерина Ивановна Серегина вместе с бюллетенем опустила в урну письмо, в котором выразила свои сокровенные думы и настроения:

«Товарищи,— писала Екатерина Ивановна, — я мать троих детей. Двое из них находятся в настоящее время на Дальнем Востоке и один в Москве. Я имею возраст 47 лет. За свои годы мне пришлось в жизни встретить и пережить четыре радостных дня. Первый день — когда мой второй сын окончил танко-броневую военную школу и был назначен на Дальний Восток. Второй день — когда мой младший сын окончил военно-морское училище им. Фрунзе в Ленинграде и также был назначен на Дальний Восток. Третий день — 12 декабря 1937 года, когда я голосовала за великого, любимого вождя, друга и учителя всех угнетенных народов — Иосифа Виссарионовича Сталина. И четвертый день — сегодня, 26 июня, когда я голосую за сталинский блок коммунистов и беспартийных».

В дни всеобщего политического подъема в памяти советских граждан воскрешались героические страницы борьбы за социализм, история нашей страны, которая открыла верный путь к победоносной революции всемирного пролетариата. В огне и в буре октябрьских боев родилась Великая Социалистическая революция, осуществившая сокровенные мечты передового человечества. «Прошло не одно тысячелетие до так называемой «новой эры». Прошло еще свыше 1900 лет «новой эры», когда, наконец, нашлась сила, нашлась революционная организация, которая повела трудящихся в бой против капитала, против власти буржуазии и помещиков» (В. М. Молотов).

Этой силой оказался русский рабочий класс, руководимый героической партией Ленина — Сталина. Доблестный русский рабочий класс сплотил и повел за собой все народы нашей родины, показал им путь к освобождению и строительству новых форм жизни. Подлинная гордость звучит в словах Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина, когда он говорит о мужественном русском народе, о его титанической борьбе за свободу и счастье всех народов нашей родины.

«Мы, русские люди, вправе гордиться тем, что именно наш народ показал

всем другим народам путь к освобождению. Мы испытываем чувство величайшей гордости за самый революционный в мире русский пролетариат, породивший героическую партию Ленина — Сталина. Мы гордимся тем, что в среде нашего народа родился ленинизм — высшее достижение русской культуры».

Седьмого ноября 1917 года с легендарной «Авроры» раздались орудийные залпы, возвестившие миру начало рождения социализма. Громовые раскаты Великой Октябрьской социалистической революции потрясли весь земной шар, разнеслись по всем странам, пробуждая у людей подневольных веру в свои собственные силы. Партия Ленина — Сталина была вождем и организатором Октябрьского вооруженного восстания, установления диктатуры пролетариата. В исторический день штурма рукою Ленина была написана краткая, полная революционной страсти и мужественной простоты, резолюция Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Горячим духом оптимизма и непоколебимой уверенности в конечной победе народа пронизаны ленинские слова о том, что созданное революцией советское правительство твердо и решительно пойдет к социализму, единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов войны.

В начале 1918 года гениальный мастер революции Владимир Ильич Ленин, набрасывая план социалистического переустройства нашей родины, писал о неуклонной решимости большевиков добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной. «Она может стать таковой, — писал Владимир Ильич, — ибо у нас все же достаточно осталось простора и природных богатств, чтобы снабдить всех и каждого если не обильным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая револю-

ция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь»¹.

Могучей и обильной стала наша родина — Союз Советских Социалистических Республик. Сила и мощь советского государства в ее фабриках и заводах, оснащенных первоклассной техникой, в передовом социалистическом земледелии, в могучей военной технике, которой вооружены Красная Армия и Красный Военно-Морской Флот. Сила и могущество нашей страны — в людях, честных и преданных родине строителях социализма. Именно они, рабочие, крестьяне, интеллигенты, составляют самый ценный капитал СССР, его гордость и славу.

Избранники народа, депутаты Верховных Советов союзных и автономных республик — это лучшие из лучших, это советы мудрейших и талантливейших людей сталинской эпохи. Они воплощают в себе лучшие черты нашего народа — передового отряда международного пролетариата. Ничего общего не имеет советский депутат с депутатом буржуазных парламентов. Там, в странах капитала, буржуазный депутат — слуга своих хозяев: банкиров, помещиков и фабрикантов.

Советские депутаты — это подлинные слуги народа, управляющие государством для блага миллионов.

Советский народ дал своим депутатам сталинский наказ: будьте такими же ясными и определенными деятелями, каким был Ленин, будьте такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, будьте также правдивы и честны, каким был Ленин, также любите свой народ, как любил его Ленин. Работать так, как учил Ленин и как учит Сталин — священная обязанность депутатов. Делом они должны оправдать великое доверие народа, партии Ленина—Сталина.

Первые сессии Верховных Советов союзных республик явились собраниями лучших представителей народов СССР. Они обсуждали дела государственной важности, в своих решениях они выра-

¹ В. И. Ленин. Собр. соч., том XXII. стр. 376.

жали волю народа, избравшего их, вручившего им бразды правления. В Москве, в Кремле, начали свою работу депутаты первой сессии Верховного Совета РСФСР. Передовые представители великого русского народа собрались в Кремле, окруженные любовью всех трудящихся, сплоченные вокруг Сталинского Центрального Комитета и Советского Правительства.

Государственная деятельность советских депутатов диктуется высшим законом нашей жизни — чувством любви к родине, чувством советского патриотизма. Это великое чувство любви к отечеству согревает сердца советских людей, движет их поступками, вдохновляет их на подвиги. Когда в Лондоне буржуазные журналисты спросили прославленного летчика Василия Молокова, во имя чего он рисковал своей жизнью, спасая челюскинцев, советский летчик ответил:

— Я только выполнил долг советского летчика перед своей страной и своим правительством. Я думаю, что все другие советские граждане, получив такое задание, тоже выполнили бы его, ибо в нашей стране понятие долга перед своей родиной — это высший закон.

Советский патриотизм — это великая революционная сила, совершающая чудеса, вызывающая у наших граждан гордость за свою родину. Партия Ленина — Сталина воспитывает и укрепляет в народе чувство ответственности перед родиной, неразрывно связанное с ростом сознательного отношения к труду и борьбе за социализм. Жизнь рабочих, крестьян, интеллигенции изобилует яркими фактами советского патриотизма.

Чувство советского патриотизма лежало в основе действий рядовой советской семьи Фирсовых, которая послала члена семьи — Анатолия Фирсова, молодого токаря 1919 года рождения, на Дальний Восток, чтобы он стал в строй вместо своего брата Павла Фирсова, погибшего в результате вражеской диверсии. Товарищ К. Е. Ворошилов назвал семью Фирсовых семьей истинных советских патриотов. Народный комис-

сар обороны удовлетворил ходатайство замечательной семьи: Анатолий Фирсов теперь служит на Дальнем Востоке в той воинской части, в которой до последнего вздоха своей жизни честно и верно служил трудовому народу красный боец Павел Фирсов. Брат за брата! — таков закон нашей жизни, закон нашей родины.

Чувство любви к родине вдохновляло выдающуюся игру двух советских комсомольцев, лауреатов международного конкурса пианистов в Брюсселе — Эмиля Гилельса и Якова Флиера. Их творчество — ясное, радостное, волевое — пронизано светом, мощью и молодостью страны социализма. В их игре слышен голос нового мира, голос свободного человека, творящего для миллионов.

Только социализм обеспечивает свободное творчество писателям, артистам, людям науки и искусства. Социализм раскрывает широкие горизонты перед всей советской интеллигенцией. Все двери науки открыты молодым силам нашей страны. Люди, подобные молодому профессору Соболеву, депутату Верховного Совета РСФСР, — это новаторы науки, умеющие ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему. Это мужественные люди, которые, подобно Папанину и Стаханову, смело ведут борьбу против устаревшей науки и прокладывают дорогу для новой науки.

Чувство любви к родине окрылило двух выдающихся отважных советских летчиков — Владимира Коккинаки и Александра Бряндинского совершить мастерской прыжок из Москвы во Владивосток за одни сутки. Своим героическим перелетом они вписали новую замечательную страницу в историю советской авиации. Победа Коккинаки и Бряндинского — это победа всей нашей родины, партии Ленина — Сталина, которая воспитала в советских летчиках смелость и отвагу, любовь к народу, ненависть к врагам народа.

Во всех своих высотных полетах летчик-испытатель Владимир Коккинаки всегда ощущал помощь и заботу партии, товарища Сталина. В августе 1936 года на приеме, устроенном в честь

Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова и Белякова в Кремле, товарищ Сталин провозгласил тост за героев, «за летчиков малых и больших — неизвестно, кто малый, кто большой, это будет доказано на деле; за Коккинаки, который случайно не попал в Герои Советского Союза, но который попадет, — я ему это предсказываю».

Всей своей летной деятельностью Владимир Коккинаки оправдывает слова И. В. Сталина. Свидетельством этому перелет Коккинаки и Бряндинского из Москвы на Дальний Восток. Выступая на митинге трудящихся Владивостока, летчик Коккинаки сказал: «Если потребуется, если товарищ Сталин скажет: «Не одному Коккинаки, не одному Бряндинскому, а тысячам советских летчиков через сутки быть во Владивостоке!», то через сутки в Приморье появятся тысячи самолетов для того, чтобы защитить ваш мирный труд, защитить нашу дорогую социалистическую родину».

Мужество, храбрость, героизм — эти же свойства проявили женщины-летчицы Полина Осипенко, Вера Ломако, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет от Черного к Белому морю. Героические женщины, истинные дочери великого советского народа, они летели во славу родины, во славу большевизма! В мыслях о родине они черпали силы и волю к победе.

И это же чувство любви к родине, горячее желание сделать нашу страну «еще более могучей и богатой» весь советский народ так замечательно ярко и единодушно проявил на примере массовой подписки на Заем Третьей Пятилетки, заем, который еще выше поднимет благосостояние советского государства.

Выборы Верховных Советов республик вызвали новый, могучий подъем стахановского движения в городе и деревне — на фабриках, заводах, колхозных полях.

От края и до края победным триумфальным шествием прошел большевизм

по городам и селам нашей великой страны. Глубочайшая вера в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта отличает партию Ленина — Сталина. Учить массы и учиться у масс, осмыслить их действия, тщательно изучать практический опыт борьбы рабочего класса, — таковы незабываемые качества большевизма. Партия Ленина — Сталина подняла в народе созидательные, творческие силы, организовала активность всех трудящихся, воспитывая в них сознательность, идейность, самоотверженность и настойчивость в борьбе за социализм.

Большевики отвоевали Россию у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Кровь лучших сынов революции, отдавших свою жизнь за счастье народа, оплодотворила землю нашей родины. Побеждая голод и холод, все тяжести и невзгоды гражданской войны, сокрушая врагов народа, троцкистско-бухаринских бандитов и буржуазных националистов, рабочие и крестьяне утвердили и создали счастливую, свободную жизнь. В веках будет жить слава о героических деяниях великого советского народа — бесстрашного, мужественного, волевого, отстоявшего нашу страну от всех врагов, выковавшего могучую социалистическую державу, охраняемую Красной Армией.

То, что завоевано бессмертным советским народом, — завоевано прочно и навсегда. Ничто не остановит победного триумфального шествия большевизма. Ничто и никто никогда не усыпит нашей бдительности и нашей неуклонной борьбы с врагами народа. Мы полны неукротимой большевистской воли «двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, — они делают свое дело, наше дело — хорошо, — поддержим их против капиталистов и раздвеем дело мировой революции» (И. В. Сталин).

Блестящая победа сталинского блока коммунистов и беспартийных

Сообщения центральных избирательных комиссий об итогах выборов в Верховные Советы союзных республик

ГРУЗИНСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Всего по Грузинской ССР имеется 2.932 избирательных участка и 237 избирательных округов по выборам в Верховный Совет Грузинской ССР.

К 6 часам вчерашнего 13 июня был закончен подсчет голосов по всем округам.

По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 237 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего количества 1.898.041 избирателя, имеющих право голоса на выборах в Верховный Совет Грузинской ССР, приняло участие в голосовании 1.883.608 избирателей, что составляет 99,2 проц. от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Грузинской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 1.876.391 человек, что составляет 99,6 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По имеющимся полным данным, по городу Тбилиси из 296.770 избирателей приняло участие в голосовании 296.510 человек, или 99,9 проц. всех избирателей. За кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало 294.881 чел., или 99,5 проц. принявших участие в голосовании.

Избраны в Верховный Совет Грузинской ССР по гор. Тбилиси:

Ленинский округ — Сталин И. В.
Сталинский округ — Молотов В. М.

«Правды» — Берия Л. П.
Ворошиловский — Девсурашвили И. А.
Железнодорожный — Геладзе Н. В.
Трудовой — Бурчуладзе М. И.
Советский — Чубинидзе М. Д.
Колхидский — Орджоникидзе Н. Г.
Берия округ — Микаберидзе С. С.
Тельмана округ — Ткаченко Л. Т.
Калининский — Ксворели С. С.
Карла Маркса — Квачадзе А. Ф.
Горьковский — Мдинарадзе О. Н.
Им. 26 комссаров — Мильштейн С. Р.
Урицкого округ — Абарьян А. А.
Фиолетова округ — Циклаури И. А.
Шаумянский — Карапетян С. Г.
Красноармейский — Тюленев И. В.
Навтлугский — Джаши М. И.
Кировский — Васадзе А. А.
Дзержинский — Габуния Н. В.
Пушкинский — Аракелова М. Я.
Энгельса округ — Гвишиани М. М.
Промышленный — Тевдорадзе Т. М.
Орджоникидзевский округ — Шенгелия Л. В.
Сабурталанский — Моретти К. В.
Студенческий — Джавахишвили И. А.
Руставели округ — Азмайпарашвили Ш. И.
Челюскинцев округ — Агашенашвили Н. С.
Ежова округ — Барамия М. И.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Грузинской ССР.

★

АРМЯНСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР

Всего по Армянской ССР имеется 1.204 избирательных участка и 256 избирательных округов, по которым зарегистрировано 611.649 человек, имеющих право голоса на выборах в

Верховный Совет Армянской ССР. По данным окружных избирательных комиссий, из этого количества избирателей приняло участие в голосовании 605.907 человек, что составляет

99,06 проц. от общего количества граждан, пользующихся правом голоса. Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Армянской ССР за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 603.469 человек, что составляет 99,6 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По всем 256 округам окружными избирательными комиссиями зарегистрировано избрание 256 депутатов Верховного Совета Армянской ССР. Все без исключения избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных. Из 256 избранных депутатов — 156 коммунистов и 100 беспартийных. Женщин среди депутатов 65, мужчин — 191.

По округу СК № 1 города Еревана депутатом Верховного Совета Армянской ССР избран всенародный кандидат великий вождь народов товарищ Сталин И. В. По Гедарчайскому округу № 33 города Еревана избран ближайший соратник великого Сталина, глава советского правительства товарищ Молотов В. М. По Заводскому округу № 9 города Еревана избран ближайший соратник великого Сталина заместитель председателя Совнаркома СССР товарищ Микоян А. И.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Армянской ССР.

★

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Всего по Азербайджанской ССР имеется 2.692 избирательных участка и 310 избирательных округов по выборам в Верховный Совет Азербайджанской ССР.

По окончательному подсчету голосов по всем округам Азербайджанской ССР из общего количества 1.572.346 избирателей, имеющих право голоса на выборах в Верховный Совет Азербайджанской ССР, приняло участие в голосовании 1.562.396 человек, что составляет 99,36 проц. от общего количества избирателей.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Азербайджанской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 1.556.012 человек, что составляет 99,59 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По городу Баку из 437.808 избирателей приняло участие в голосовании 437.234 человека, или 99,9 проц. всех избирателей.

По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 310 депутатов. Все избранные депутаты без исключения являются кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных. Из 310

избранных депутатов — 231 коммунист и 79 беспартийных. Женщин среди депутатов — 71.

В числе избранных депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР:

Сталин И. В. — Ленинский избирательный округ;

Молотов В. М. — Сталинский избирательный округ;

Каганович Л. М. — Кагановичский избирательный округ;

Микоян А. И. — Октябрьский избирательный округ;

Жданов А. А. — Орджоникидзеvский избирательный округ;

Ежов Н. И. — Кировский избирательный округ;

Берия Л. П. — имени Берия избирательный округ;

Багиров М. Д. — Молотовский избирательный округ.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Азербайджанской ССР.

★

КАЗАХСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР

Всего по Казахской ССР имеется 300 избирательных округов по выборам в Верховный Совет Казахской ССР.

К 12 часам ночи 25 июня был закончен подсчет голосов по всем округам.

По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 300 депу-

татов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего числа 2.987.846 избирателей, имеющих право голоса на выборах в Верховный Совет Казахской ССР, приняли участие в голосовании 2.963.033 избирателя, что составляет 99,2 проц. от общего числа граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Казахской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 2.948.868 человек, что составляет 99,5 проц. к числу голосовавших.

По Сталинскому избирательному округу № 6 города Алма-Ата депутатом Верховного Совета Казахской ССР избран всенародный кандидат, великий вожь народов товарищ Сталин И. В.

По Карагандинскому избирательному округу № 222 города Караганда избран ближайший соратник великого Сталина, глава советского правительства товарищ Молотов В. М.

По Кагановичскому избирательному округу № 5 города Алма-Ата избран сталинский нарком тяжелой промышленности и путей сообщения секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Каганович Л. М.

По Семипалатинскому-Ежовскому избирательному округу № 251 города Семипалатинска избран лучший ученик великого Сталина, руководитель советской разведки и народный комиссар водного транспорта товарищ Ежов Н. И.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Казахской ССР.

★

УЗБЕКСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УЗБЕКСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УЗБЕКСКОЙ ССР

Всего по Узбекской ССР имеется 5.104 избирательных участка и 395 избирательных округов по выборам в Верховный Совет Узбекской ССР.

По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 395 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего количества 3.437.225 избирателей, имеющих право голоса, в выборах в Верховный Совет Узбекской ССР приняло участие в голосовании 3.366.375 избирателей, что составляет 97,93 проц. от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Узбекской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 3.352.081 человек, или 99,57 проц. принявших участие в голосовании.

По Ташкентскому-Ленинскому избирательному округу № 1 депутатом в Верховный Совет Узбекской ССР избран всенародный кандидат — великий вожь народов товарищ Сталин И. В.

По Сталинскому избирательному округу № 39 города Ташкента избран ближайший соратник великого Сталина, глава советского правительства товарищ Молотов В. М.

По Ташкентскому-Куйбышевскому избирательному округу № 7 избран ближайший соратник великого Сталина, народный комиссар тяжелой промышленности и путей сообщения Союза ССР товарищ Каганович Л. М.

По Ленинскому избирательному округу № 205 города Самарканда избран ближайший соратник великого Сталина, первый маршал Советского Союза народный комиссар обороны Союза ССР товарищ Ворошилов К. Е.

По Ферганскому городскому избирательному округу № 81 избран верный ученик великого Сталина народный комиссар внутренних дел и народный комиссар водного транспорта Союза ССР товарищ Ежов Н. И.

По городу Ташкенту из 320.744 избирателей приняло участие в голосовании 319.216 человек, или 99,52 проц. всех избирателей.

За кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало 315.931 человек, или 99 проц. принимавших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Узбекской ССР.

★

КИРГИЗСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КИРГИЗСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КИРГИЗСКОЙ ССР

Всего по Киргизской ССР имеется 1.527 избирательных участков и 284 избирательных округа по выборам в Верховный Совет Киргизской ССР.

К 8 часам утра 26 июня был закончен подсчет голосов по всем округам.

По данным окружных избирательных комис-

сий, зарегистрировано избрание всех 284 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего количества 793.966 избирателей, имеющих право голоса, на выборах в Верховный Совет Киргизской ССР приняло участие в голосовании 779.873 избирателя, что соста-

вляет 98,23 проц. от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Киргизской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 772.904 человека, что составляет 99,1 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По имеющимся полным данным, по городу Фрунзе из 53.375 избирателей приняло участие в голосовании 52.617 человек, или 98,6 проц. всех избирателей. За кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало 51.556 человек, или 98 проц. принявших участие в голосовании.

Трудящиеся Киргизии, демонстрируя свою преданность партии Ленина — Сталина, единодушно избрали в Верховный Совет Киргизской ССР великого вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина и его верных соратников — Вячеслава Михайловича Молотова, Михаила Ивановича Калинина, Климента Ефремовича Ворошилова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Анастаса Ивановича Микояна, Николая Ивановича Ежова.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Киргизской ССР.

★

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Всего по Туркменской ССР имеется 1.220 избирательных участков и 226 избирательных округов по выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.

К 24 часам 26 июня был закончен подсчет голосов по всем округам. По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 226 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего количества 655.722 избирателей, имеющих право голоса, на выборах в Верховный Совет Туркменской ССР приняло участие в голосовании 652.763 избирателя, что составляет 99,55 процента от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Туркменской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 651.213 человек, что составляет 99,8 проц. из общего числа участвовавших в голосовании.

В числе избранных депутатов Верховного Совета Туркменской ССР:

Сталин И. В. — Ленинский избирательный округ;

Молотов В. М. — Железнодорожный избирательный округ;

Ворошилов К. Е. — Комсомольский избирательный округ;

Андреев А. А. — Шаумяновский избирательный округ;

Ежов Н. И. — Избирательный округ им. 26 бакинских комиссаров;

Чубин Я. А. — Дзержинский избирательный округ;

Бабаев Хивали — Колхозный избирательный округ;

Худайбергенов Аитбай — Южный избирательный округ.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.

★

РСФСР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ОБЩИХ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

По РСФСР имеется 93.927 избирательных участков и 727 избирательных округов по выборам в Верховный Совет РСФСР.

Выборы происходили 26 июня 1938 года с 6 часов утра до 12 часов ночи.

27 июня к 12 часам ночи окружные избирательные комиссии зарегистрировали избрание всех 727 депутатов в Верховный Совет РСФСР.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных.

В Центральную избирательную комиссию поступили данные об итогах голосования от всех 727 избирательных округов.

Подсчет количества избирателей, принимавших участие в голосовании, в основном закончен, если не считать ряда наиболее отдаленных участков.

По РСФСР было зарегистрировано 60.368.858 человек, имеющих право голоса на выборах в Верховный Совет РСФСР. Результаты подсчета голосования показали, что из этого количества избирателей приняло участие

в голосовании 59.936.715 человек, что составляет 99,3% от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет РСФСР за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 59.542.993 человека, что составляет 99,3% всего числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, признанных недействительными согласно статьи 80 «Положения о выборах в

Верховный Совет РСФСР», оказалось 73.226. Бюллетеней, в которых вычеркнуты фамилии кандидатов — 320.496.

Из 727 избранных депутатов Верховного Совета РСФСР — 568 коммунистов и 159 беспартийных. Женщин депутатов — 157.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР.

★

УКРАИНСКАЯ ССР

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНСКОЙ ССР

Всего по Украинской ССР имеется 21.979 избирательных участков и 304 избирательных округа. По данным избирательных округов, зарегистрировано избрание всех 304 депутатов. Все избранные депутаты без исключения являются кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

По УССР зарегистрировано 17.536.486 человек, имеющих право голоса на выборах в Верховный Совет УССР. По окончательным данным избирательных округов, из этого количества избирателей принимало участие в голосовании 17.467.909 человек, что составляет 99,62 процента от общего количества граждан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет УССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 17.387.683 человека, что составляет 99,55 процента к числу голосовавших.

По имеющимся окончательным данным, по г. Киеву из 571.890 избирателей принимало участие в голосовании 571.181 человек, или 99,9 процента всех избирателей. За кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных голосовало 568.275 человек, или 99,49 процента принимавших участие в голосовании.

В числе избранных депутатов Верховного Совета Украинской ССР:

Сталин И. В. — по Сталинскому избирательному округу г. Киева;

Молотов В. М. — по Ленинскому избирательному округу г. Киева;

Каганович Л. М. — по Кагановичскому избирательному округу г. Киева;

Ворошилов К. Е. — по Ново-Ушицкому избирательному округу, Каменец-Подольской области;

Ежов Н. И. — по Молотовскому избирательному округу г. Киева;

Хрущев Н. С. — по Октябрьскому избирательному округу г. Киева;

Соломко М. А., председатель колхоза им. Калинина, — по Старо-Ушицкому избирательному округу, Каменец-Подольской области;

Бурмистенко М. А. — по Винницкому городскому избирательному округу;

Коротченко Д. С. — по Житомирскому избирательному округу;

Успенский А. И. — по Проскуровскому избирательному округу, Каменец-Подольской области;

Тимошенко С. К. — по Могилев-Подольскому избирательному округу, Винницкой области;

Щербаков А. С. — по Сталинскому избирательному округу г. Сталино;

Осипов А. В. — по Барвенковскому избирательному округу, Харьковской области;

Богомолец А. А., президент Академии наук УССР, — по Киевскому сельскому избирательному округу;

Душко А. В. — по Кировскому избирательному округу г. Киева;

Задонченко С. Б. — по Красногвардейскому городскому избирательному округу г. Днепропетровска;

Корнейчук А. Е. — по Тульчинскому избирательному округу, Винницкой области;

Паторжинский И. С. — по Фастовскому избирательному округу, Киевской области;

Рябошапка С. К. — по Дзержинскому избирательному округу, Сталинской области;

Телешев Г. Г. — по Сталинскому избирательному округу г. Одессы;

Филатов В. П., профессор, — по Ворошиловскому избирательному округу г. Одессы.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет УССР.

★

БЕЛОРУССКАЯ ССР**СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР**

Всего по Белорусской ССР имеется 3.878 избирательных участков и 273 избирательных округа по выборам в Верховный Совет Белорусской ССР.

По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано избрание всех 273 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Из общего числа 3.040.710 избирателей в голосовании на выборах в Верховный Совет Белорусской ССР приняло участие 3.030.148 избирателей, что составляет 99,65 проц.

Во всех избирательных округах в Верховный Совет Белорусской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 3.005.609 человек, что составляет 99,19 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По городу Минску приняло участие в голосовании 100 проц. избирателей.

По Промышленному избирательному округу города Минска депутатом Верховного Совета Белорусской ССР единодушно избран всенародный кандидат товарищ Сталин Иосиф Вис-

сарионович. С таким же единодушием избраны в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР ближайшие соратники великого Сталина: товарищ Молотов Вячеслав Михайлович — по Дзержинскому избирательному округу города Минска; товарищ Ворошилов Климент Ефремович — по Молотовскому избирательному округу города Минска; товарищ Каганович Лазарь Моисеевич — по Гомельскому Сталинскому избирательному округу; товарищ Калинин Михаил Иванович — по Могилевскому Куйбышевскому избирательному округу; товарищ Никоян Анастас Иванович — по Мозырскому городскому избирательному округу; товарищ Андреев Андрей Андреевич — по Гомельскому Ленинскому избирательному округу; товарищ Ежов Николай Иванович — по Витебскому Ленинскому избирательному округу; товарищ Яданов Андрей Александрович — по Витебскому Володарскому избирательному округу.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Белорусской ССР.

★

ТАДЖИКСКАЯ ССР**СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР**

Всего по Таджикской ССР имеется 1.520 избирательных участков и 282 избирательных округа по выборам в Верховный Совет Таджикской ССР.

Из общего количества 764.483 избирателей на выборах в Верховный Совет Таджикской ССР приняло участие в голосовании 760.606 избирателей, что составляет 99,5 проц.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Таджикской ССР голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 757.924 человека, что составляет 99,64 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По всем 282 округам окружными избирательными комиссиями зарегистрировано избрание 282 депутатов Верховного Совета Таджикской ССР. Все избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных.

Из 282 избранных депутатов — женщин — 84 и мужчин — 198.

Избраны в Верховный Совет Таджикской ССР: Иосиф Виссарионович Сталин — по Сталинскому избирательному округу № 119 гор. Сталинабада; Вячеслав Михайлович Молотов — по Ленинскому избирательному округу № 125 гор. Сталинабада; Лазарь Моисеевич Каганович — по Красноармейскому избирательному округу № 129 гор. Сталинабада; Климент Ефремович Ворошилов — по Инкилобскому избирательному округу № 33 гор. Ленинабада; Андрей Андреевич Андреев — по Курган-Тюбинскому 2-му избирательному округу № 172; Николай Иванович Ежов — по Бочколонскому избирательному округу № 60 гор. Ура-Тюбе.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет Таджикской ССР.

О л ь г а

РАССКАЗ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

★

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать лет от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того, как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и поставила

в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец во-время придет с дежурства, не то запоздает? если будет формироваться маршрут, то опоздает...» — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала, подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам, либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко, в губернском городе на Волге,

жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в ученье. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеных картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она стала бы у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многолетний человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга присидела на паровозе до вечерних сумерок, пока не под'ехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, — сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг

них — водонапорная башня, дома около станции и далее — простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни. Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них; оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, успеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится, — сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли.

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами подмышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу посадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового, чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени, — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавают жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и лопоть сала и опустили ее под руки из вагона на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учишься и вырастай большая, в твоё время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбочке, босая и с хлебом.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. — Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга села поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиток. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не собираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела девочку. Ольга увидела перед собою тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже — только на вид здорова, а сама не жилища... И-их, нет, не жилища!

Ольга с удивлением смотрела на тетку, — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда, посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь — сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые, ржавые рельсы, между ними уже много раз выростала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы, — они находились как-раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни, и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная, тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, и что к нему пришли отнимать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я умиралась ждать, когда вы по-

зовете, — сказал Ольга. — Я боюсь одна на улице...

— Ну, иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно, и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пой, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется.

— А чего же я ей постелю-то! — воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем, — согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она что, она думает, что люди — это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит, власть-то советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— Прокормит! — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители рожают без-удержу! Уж я-то знаю, как трудно обращаться советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись, доедай, — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшеничную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. — Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдохай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шопотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да, видишь, вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пушу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь, уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что же ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — отвечала девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видеть, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось, кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дома, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как-раз на базар надо итти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди, — значит, тебе есть, куда итти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желаний, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей теперь стало неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет, — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не

было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в нижней школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повицатил...

Старик отдал свою кружку сироте:

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может — наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама, своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такою же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся. Комендант велел Ольге на завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей но-

вой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Грусть и тревога перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, — теперь в ней прекратились, Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся советская власть считают ее необходимой для себя, и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь, — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки манежирового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутках. Но глаза ее понемногу привыкли к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой:

ее отца убили в империалистическую войну, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что она чувствовала жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение наукам, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой, — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют до вечеров в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала, оттого что это было хорошо, оттого что жизнь не может быть скуч-

на и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и не-сильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть, — еще озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила себе Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

3

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супа или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наесться, но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, — для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали выдачу стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству, — уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней лополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась:

— Ты учишь теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить.

и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить...

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Попы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткинго дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу...

Ольга вошла в дом и с'ела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, хотя не было слез или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда, как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне — не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только, когда Ольга разрешила ковригу пополам и половину хлеба взяла на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!...

Ольга пообещала вскоре еще навесить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна. — Ты уж видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу: она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А, когда сидишь, о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жив

по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать. У меня в животе щипало, есть хотелось.

— Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столу, и долго еще светил свет на две задумчивые склонившиеся головы, в которых работал сейчас человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встревожившись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Ольге пришлось наняться приходившей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвращался под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарплата.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавшими все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пухлячком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой

в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку ей в рот, а другую ему, и так по очереди, — иначе ребенок есть не хотел. Не отвыкнув еще, вероятно, от матери и думая, что Ольга — это та же мать, возвратившаяся к нему с прежней любовью, Юшка шарил у няньки руками около груди и жалобно глядел на Ольгу. Нянька отводила ему ручки, отучала его, но Юшка не верил и льнул к материнскому молоку, которого он, должно быть, не успел насосаться; тогда Ольга однажды не вытерпела просьбы ребенка и дала ему в рот одну свою грудь, хотя это было ей трудно, потому что грудь ее была еще в зачатке и очень мала. Но Юшка, не получая из груди никакого питания, жадно чмокал губами и остался затем все же удовлетворенным, точно он действительно наелся. Обхватив руку Ольги, Юшка вскоре заснул от своего счастья, забытого и возвращенного ему. Отплатить своей няньке за это счастье он пока еще ничем не мог.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещающая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней, норовя найти у нее грудь, и Ольга в тайне, если старуха копалась в стороне и не видела их, давала Юшке сосать свою сухую девичью грудь.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она няньчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!». Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится смутным перед ним, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька-старуха; она могла теперь доверить Юшку лишь с большей разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался, — он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, недалеко от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселка курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, — они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «О-в». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек своим способом — как не надо на машине работать.

— Видишь паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну, верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарашну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров повернешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщила ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко, — А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну это после, а сейчас ступайте всю машину оботрите, чтоб блестела, и сами потом умойтесь, — что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь — ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились; они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночь, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходило сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Сergyа, Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги успели обжить ее за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издали. Ольга прислушалась к словам машины.

«Нет, — задумалась она. — Он говорит, что у него состав оборван...».

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Сergyа с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, недовольно ответил

начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек: — Ну, отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимавшийся от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигнала об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу.

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга; войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шурвку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, — тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать — ты сходи, береги своих детей!

Подметко попрежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?..». Через открытые двери вагонов на мгновение стали видны красноармейцы; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать-тридцать

вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, от скорости увеличивающаяся на глазах.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед, до отказа, и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск — и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать-тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало, покрытое брезентами, разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты на мертвую, — но одним вагоном удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщить в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время

от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко непрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!».

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она. Она высунулась из окна паровой кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос.

Она обернулась к Ивану Подметко: — Уходи! Нас расшибят сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок: «Надо воду выбить — шибче поедем», — и он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за

поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала «боже мой!», как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад — что случилось? — и тут же ощутила второй, громящий, тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом, вслух сказала она самой себе: — Пусть песни поют без тебя!» — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала ревер назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала мертвую, уперлась на месте, — Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всюю машиной, нажала задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирających вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, — это он оборвал состав! У меня записка в зубах была, где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?».

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливают чужая сила в железное тело горячего котла и у нее лопается грудь, которую некогда сосал Юшка.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер — на котел, но зато оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи, среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая, одно-

кая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом, назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие: у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом, или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд

должен был ворваться. Из военного округа сообщили, что высылают санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. — А это кто — Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери, но ничего не сказал.

★

Ольга долго и терпеливо болела, но выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

Испанский дневник

КНИГА ТРЕТЬЯ¹

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

★

23 МАЯ

Никого не было на маленьком вокзале. Даже единственный носильщик, и тот ушел в бар пропустить стаканчик. Курьерский поезд стоит здесь одну минуту, и большей частью зря. Фрау Марта взялась нести чемодан. И даже Фейхтвангер протянул к нему руку. Это было уже слишком.

— Умоляю вас, оставьте. Я понесу сам.

— Пустяки, он у вас совсем легкий. Очень милый чемодан. Беленький.

— Он очень недорогой. Имитация свиной кожи. Такой же из свиной кожи стоит в четыре раза дороже, но, по существу, разницы никакой. Все-таки дайте, я понесу сам.

— Нет, не отдам. Он легкий, как перышко. Ведь я спортсменка. Мы плохо вас принимали, признайтесь. Как глупо, что мы отпустили кухарку именно перед вашим приездом. Воображаю, что вы думаете о моей стряпне.

Она была очень красива, высокая, бронзовая, в белом полукостюме, в купальных туфлях.

— Вы лучшая в мире кухарка и лучший шофер. Эти два дня были для меня раем. Это я должен извиниться, что помешал. Во сколько страниц «Иосифа» обошелся вам мой визит?

— В семнадцать. Не обижайтесь. Я так же честно скажу вам, что очень рад этим двум дням. Они меня встряхнули. Веселее писать о развалинах иеру-

салимской крепости, зная, что в наши дни люди штурмуют стены фашистского Аль-Касара.

— Они еще не заработали себе «стенного венца».

— Он будет у вас у всех. Мне иногда становится завидно и невтерпеж сидеть в этом тихом литературном гнезде...

— Наивная зависть артиллериста к пехоте. Из своей укрытой батареи он стреляет дальше и сильнее, чем десять стрелков со своими винтовками.

— Успех боя решает все-таки пехота, и не... и не библиотечная пушка. Вот идет поезд. Он опоздал на две минуты тридцать секунд. И еще двадцать секунд, пока он остановится. Счастливого пути! Очень вам благодарен!

— Это вам спасибо!

Фейхтвангеры были видны еще один миг. Я остался с проводником в пустом вагоне.

— У вас билет до Эндейи. Вы едете в Бургос?

— О, нет. В Бильбао.

— Это у кого, у правительственных или у националистов?

— У правительственных.

— Тут все больше едут в Бургос. Этот поезд идет из Италии. Но, конечно, можно ехать и в другое место. Каждый едет, куда ему нужно. На то, собственно, и существуют железные дороги.

Кондукторская философия. Ладно — послезавтра я буду в Бильбао.

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 4, 5 и 6 с. г.

24 МАЯ

Перпиньян застыл и онемел в знойной истоме. Старожилы дремлют с открытыми глазами на террасах провинциальных баров. Ослы и мулы медленно тянут тяжелые повозки. Рынок благоухает горами овощей, фруктов, мяса, рыбы. Верно ли вообще, что тут рядом, где-то есть война, город, смерть?

Но на-днях эскадрилья итальянских самолетов прилетела сюда. Она бомбардировала Сербер, сорок пять километров отсюда. Были разрушены дома, убиты и ранены люди, граждане Французской республики, убиты и ранены иноземными, итальянскими, военными летчиками.

Из Перпиньяна в Сербер приехали районный прокурор с помощником. Они обошли все разрушения, присутствовали на похоронах погибших от взрывов, беседовали с ранеными и с очевидцами. После этого перпиньянский прокурор начал следствие против неизвестного, бомбардировавшего Сербер.

«Неизвестные» очень чувствуются на крайнем юге Франции. Еще недавно эти места считались глубоким тылом Франции в случае войны. Теперь здесь реют крыльями «неизвестные».

Франко-испанская граница растянулась примерно на пятьсот километров. Она начинается здесь, вблизи Перпиньяна, у морского берега, взбирается к крохотной республике Андорра, переходит в снеговые вершины Пиренеев Восточных и Пиренеев Больших, сбегает зелеными откосами Малых Пиренеев.

Граница мира и войны, мягкой тишины и орудийного грохота. Посередине она разделяется. Восточная половина принадлежит испанскому правительству, западная — в руках у мятежников.

Вот здесь, на середине, дремлет уютный городок Тарб. Среди ярких цветов и знаменитых местных вин, в старом, но отлично сохранившемся замке расположился датский полковник Лунн, начальник международного контрольного кордона.

Настоящий большой штаб, по крайней мере с виду: военные карты, схемы, машинистки, ординарцы, телефонный коммутатор, срочные разговоры с Лон-

доном, Парижем, Женовой, с пограничными пунктами и полевыми жандармериями. Сам полковник Лунн — приветлив, но строг, любезен с журналистами, но преисполнен важности и ответственности своей задачи. В его распоряжении сто пятьдесят офицеров из пятнадцати европейских армий — когда и кому с наполеоновских времен доводилось руководить таким военным созвездием!

Полковник раз'ясняет: он разделит всю франко-испанскую границу на пять участков: Перпиньян, Фуа, Сен-Годен, Тарб и По. Начальниками участков назначил шведского, норвежского, финского, латвийского и голландского офицеров. Им подчинены остальные военные контролеры, которые в свою очередь наблюдают за пограничной стражей. Работа очень трудная и, конечно, не великом удастся. Без сомнения, считает полковник, отдельные лица, добровольцы, могут ночью перебраться, и с оружием, в Испанию. Но переход больших групп, переправа транспортов оружия — нет, полковник считает это сейчас невозможным.

Верны ли заявления многих южно-французских газет, что в западной части, против мятежного лагеря, граница охраняется и контролируется менее строго, а в восточной, правительственной, части — более зорко?

Полковник отрицает такую возможность. Конечно, трудно уравнивать и даже уточнить квалификацию и работоспособность господ офицеров разных стран, находящихся на разных пунктах контроля. Но в основном — нет, полковник ручается, что контроль проводится точно в соответствии с позицией Лондонского комитета... Видимо, соблюдая лондонский же стиль, господин Лунн именует фашистских мятежников «испанскими националистами».

25 МАЯ

С вокзала в Байонне, оставив чемодан на хранение, я пешком пошел через мост в центральную часть города. Нужно было отыскать представительство басков. Расспрашивал прохожих, они не знали. Наконец один, равнодушно любезный, сказал: «Идите на авеню мар-

шала Фоша, там у большого дома стоит большая очередь. Это оно и есть». На авеню Фоша, у магазинного помещения, выстроились в очередь женщины в черном. Они казались беднее и простонароднее француженок-прохожих. Они подходили к двум окошкам, к одному — за беженским пособием, к другому — за справками о мужьях и сыновьях. Представитель басков в Байонне, господин Оруэсабала, оказался симпатичным и беспомощным молодым человеком. Он никак не мог помочь мне перебраться в Бильбао, от него ничего не зависело. В самолет попасть совсем не трудно, — сказал он, — здесь есть общество «Пиренейский воздух», курсируют регулярно самолеты между Байонной и Бильбао. Больше мне, собственно, ничего и не нужно было. Оруэсабала вызвался показать мне дорогу к конторе «Пиренейского воздуха». Я стал протестовать против такой несоразмерной любезности баскского представителя, но он настоял на своем. По всему видно было, что он просто рад был поводу уйти и отдышаться от беженских слез, от напряжения, от тяжелой, на столетия рассчитанной мраморной вывески с золотыми буквами: «Делегация автономного правительства Страны басков».

Больше ста лет — со времени наполеоновских войн — городок спал, забытый миром. Недавно его всколыхнуло, вытолкнуло в центр мировых драг: сначала дело Стависского, — ведь именно здесь, при байоннском ломбарде, разыгралась последняя и самая грандиозная афера знаменитого жулика, — и сейчас — гражданская война в Испании со всеми ее зарубежными отражениями.

Байонна — основной перекресток, международный наблюдательный пункт. Здесь сидят журналисты, англичане и американцы, которые вот уже десять месяцев шлют отсюда ежедневные телеграммы о ходе военных действий. Корреспонденты ни разу не переезжали границу — подлинными героями своей безопасности!

Кроме представителя басков, есть еще испанский правительственный консул. Но эти два бюро — только крохотные островки. Байонна захлеснута

испанскими фашистами. Они прямо-таки определяют стиль города — заполняют все столики кафе, галдят на бульварах — чванливые, вырожденческие морды, спесивые бачки, толстые перстни на пальцах. Они толпятся у киосков, схватывают свежую сан-себастьянскую газету и тут же, громко, не стесняясь, ее декламируют. Газета передает сногшибательные новости, рубит, колет, режет республиканцев... Свежий обзор германской и итальянской печати, берлинская и лиссабонская спортивная хроника. Очередная пьяная болтовня генерала Кейпо де Льяно, но она уже надоела, ее помещают на последней странице. На первой же странице, на почетном месте газеты, — заявление Троцкого о том, что дни Коминтерна и Советского Союза сочтены. В фашистском газетном оркестре визгливый фагот Троцкого исполняет все более ответственные, сольные арии.

Не случайно чувствуют себя испанские мятежники в Байонне, как дома. Город — во власти французских фашистских лиг. Формально они распущены, фактически — всеильны здесь. Весь Юго-Запад, район курортов, туризма, иностранцев и паразитов вокруг них, густо оплетен фашистской сетью. В руках фашистов здесь руководящие административные посты. В небольшом городке — целых три фашистских газеты. Впрочем, четвертая газета, левая, по тиражу превышает первые три. Ее охотно читают байоннские рабочие, рыбаки, служащие. Тон газеты — оппозиционный, атакующий, осуждающий местные порядки, гневный. И в самом деле — здесь, в Байонне, в Биаррице, никак нельзя поверить, что во Франции — правительство, опирающееся на партии народного фронта. Сюда его влияние не доходит.

... «Пиренейский воздух» оказался крохотным магазинчиком, зажатый между ателье дамских шляп и табачной лавочкой. За прилавком виднелись весы, сидела не очень молодая, красивая дама. Она выразила сожаление: очередной самолет только час назад отошел на Бильбао. Следующий будет только завтра утром. Это в самом деле было очень

огорчительно. Но делать нечего—я купил себе место в завтрашний самолет. Билет был большой, красивый, целая художественно отпечатанная грамота с фирмой общества «Пиренейский воздух». Мадам увела меня за прилавок и взвесила на весах. Количество килограммов отметила в билете и у себя. Кроме того, я обещал завтра утром дать взвесить свой чемодан. Все, что будет свыше десяти, надо оплатить багажным сбором. «Бомбы весят немного, мадам» — пошутил я. Она вежливо улыбнулась: «Это меня не касается. За этим смотрит комитет по невмешательству. Его представитель проверит ваш багаж». Я подписал также, на отдельной бумаге, гарантию, что в случае чего-нибудь ни моя вдова, ни другие родственники или душеприказчики не будут предъявлять к обществу «Пиренейский воздух» никаких материальных претензий.

Очень обидно потерять сутки, но, в конце-концов, этот вечер, прохладный, тихий, в одиночестве, успокоил меня. На террасе пустого кафе маленькая компания ремесленников долго играла в домино, потом и она разошлась. Стало совсем тихо и безлюдно, я пошел в гостиницу спать. Завтра я буду далеко от этой тишины, внутри пламенеющего, оваянного дымом и грохотом оборонного пояса Бильбао.

26 МАЯ

В девять утра, как условлено, я стоял у двери «Пиренейского воздуха». Магазины были закрыты; полутонный «пикап» был оставлен без шофера. Тревожась и сердясь, я прождал до одиннадцати. Наконец, пришла мадам, и еще два человека с ней, чем-то озабоченные. Они стали шептаться в углу помещения. Мадам сказал мне, что самолет из Бильбао еще не вернулся, придется еще подождать.

— А разве этот самолет у вас единственный?

— Нет, не единственный, но остальные все в ремонте.

— Все в ремонте?

— Да, все в ремонте.

Появился еще один господин, весь в черном, с черной шляпой, с перчатка-

ми и тростью в руках, в штиблетах на пуговицах и с белыми гетрами, с седыми закрученными усами и розеткой Почетного легиона. Он тоже о чем-то пошептался с мадам и величественно удалился, посмотрев на меня, как на недоушевленный предмет. Точно такого я видел в Астрахани, в городском театре, в мелодраме из французской жизни.

— Когда же я полечу, мадам?

— Трудно сказать. Наведайтесь под вечер или завтра утром.

— Почему так поздно? Ведь самолет может вернуться каждую минуту, не так ли?

Она замялась:

— Вряд ли он вернется так скоро. Погода испортилась...

Делать нечего. Я пошел завтракать. На пороге ресторанчика «Попугай» купил свежую, с поезда, парижскую газету, и тут все разъяснилось. Телеграммы сообщали, что вчера, в столько-то часов, гражданский самолет линии «Пиренейский воздух» был, в полете между Бильбао и Францией, атакован фашистскими истребителями и сбит, причем пилот Гали и пассажиры тяжело ранены.

Позавтракав, я тотчас же вернулся в контору линии. Она была заперта, я ждал, пока не вернулась мадам. Спросил ее, каковы перспективы.

— Я, право, не знаю, мсье... Погода сегодня вряд ли улучшится. Имейте в виду—наша компания возвращает пассажиру стоимость билета, если полет не мог состояться в течение двадцати четырех часов.

— Мадам, я не беспокоюсь о деньгах. Вы видели—я подписал бумагу и за себя, и за свою вдову. «Пиренейский воздух» еще никогда не имел более скромного пассажира. Мадам, будьте горды, как мужчина с женщиной. Бедняга Гали, надеюсь, выживет, но полетит не так скоро. Какие у вас виды на другого пилота и на другой самолет?

Она сразу потерялась и даже всплакнула. Она, право, была очень мила в эту минуту. Я хотел уже погладить ее по плечу или по голове,—когда женщина в слезах, кто бы она ни была, она воспринимает это как должное.

— Ах, мсье, мне так трудно! Мой муж в Париже, никак не может разделиться с формальностями, а тут сейчас все так ужасно. Сыщики, шпионы, репортеры, провокаторы, «боевые кресты», все вьется кругом. Я теряю голову!

Она объяснила, что воздушный флот, которым располагает компания «Пирейский воздух», никак нельзя назвать могучим. Кроме хорошей мощной машины, которую вчера подбили фашисты, есть еще только старый «локхид», одномоторный, небольшой. Он нес вспомогательную службу—от Парижа до Байонны. На нем летает пилот Лапорт. И это все. Дирекция, то-есть муж, закупает новый английский «эйр-спид», не подожду ли я, пока его перегонят сюда. Это чудесный самолет.

— Да, мадам, я знаю. «Эйр-спид» отличный самолет.

Я вздохнул.

— Вы хотите сказать, что слишком долго дожидаться.

— Вы читаете мои мысли, мадам!

— Что же делать?

— А «локхид», с пилотом Лапортом?

— Это очень рискованно. Ведь лететь надо над морем, берег почти до самого Бильбао занят мятежниками. Это старая машина, да и Лапорт—не знаю, согласится ли. Бедный Гали, он так храбро летал по этой линии. Фашисты несколько раз предупреждали, что подстрелят его. Негодяи—они добились своего!

— Не поговорить ли мне с вашим Лапортом?

— О, нет. Он вас не знает, он вам не доверится. Я поговорю сама. Может быть, он сделает хотя бы один рейс, пока не прибудет «эйр-спид». Конечно, я ему предложу другие условия—те же, на которых летал Гали. Он должен согласиться. Компания в трудном положении, он обязан выручить, заменить раненого товарища. Сверх условий Гали его можно еще премировать. Лишь бы он полетел. Конечно, это зависит от храбрости. Подстрелив Гали, они предостерегают всех прочих. Но мы еще посмотрим! В отсутствии мужа—я здесь директор. Лапорт обязан меня слушать!

Сейчас она была особенно мила. Не больше двадцати пяти лет на вид. Ей и не к лицу быть моложе.

— Бедные баски, у меня накопилось столько почты. Медикаменты, марля для госпиталей, все лежит, дожидается отправки, очереди. Раненые в Бильбао ждут. Я засгавлю Лапорта лететь!

— Мадам, это прекрасно, все то, что вы говорите.

— Приходите вечером, к семи часам. Если будут новости до этого, я пошлю шофера за вами в отель.

— Мадам, вы настоящая француженка!

— О...

Я хотел добавить еще многое, но в дверях показался благородный отец из астраханского городского театра. Теперь все его внимание было обращено именно в мою сторону. Он простер обе руки, одну с тростью и перчатками, другую с черной шляпой.

— Мсье, я уже искал вас в отеле! Инстинкт и профессиональный опыт направили меня сюда. Поздравляю вас со счастливым спасением.

Он был безупречен, минус перхоть на воротнике черного жакета.

— Мсье имеет в виду меня?

— Да, да, мсье, конечно, вас, именно вас. И кого же другого?! Как представитель агентства Гавас я рад случаю поздравить уважаемого коллегу с избавлением от огромной опасности и, быть может, смерти. Поистине рука судьбы заставила вас опоздать вчера на один час к отлету аэроплана, ныне сбитого при столь трагических обстоятельствах. Я думаю, что небольшое интервью о впечатлениях, пережитых вами...

— Я ничего не переживал. Я нигде не улетал. Вы ошиблись, мсье. У меня нет никаких впечатлений.

— Мсье, вы слишком скромны! Это делает вам честь, но не избавляет меня, старого байоннского журналиста, от приятной необходимости запечатлеть на бумаге мысли и чувства, возникшие у иноземного коллеги в драматический момент, когда он...

— Простите, мсье, я очень спешу. До свиданья, мадам, мсье!

Бегство вышло, может быть, даже слишком поспешным. Но оно пошло на пользу всем. И «Пиренейскому воздуху», и мне, и самому благородному отцу. Воображаю, какой нагоняй получил бы старик от своего начальства, если передал бы по телеграфу мои мысли и чувства по поводу нападения фашистов на французский гражданский самолет.

27 МАЯ

Мадам оказалась настоящим молодцом. Она нашла механиков и рабочих, которые просмотрели «локхид» и подвинтили в нем гайки, она разыскала Лапорта и убедила его сделать один рейс, в Бильбао и обратно. Не знаю, чем она его околдовала; может быть, пятью тысячами франков премии. Впрочем, Лапорт сказал, что он летит не ради денег — никакими деньгами не оплатишь опасность, которой он подвергается. Он полетит, потому что он француз и ему ничего не страшно. Поскольку фашисты подбили его товарища по работе, он принципиально и в интересах фирмы «Пиренейский воздух» заменит его на его посту. В самолете полечу я и марля. Двадцать кип марли по восемь кило да я — шестьдесят пять кило, да ящик с медикаментами — двадцать кило, да мой чемодан — двенадцать кило, итого — двести пятьдесят кило.

Мадам сказала, заедет за мной лично, без шофера, в три часа утра в отель. Оттуда мы заедем за финляндским офицером, представителем комитета по невмешательству, оттуда на аэродром. Вылететь надо не позже пяти часов утра, пока спит начальник аэродрома. Не дай бог, если он узнает об отлете хотя бы за полчаса.

— Разве мы делаем что-нибудь противозаконное? Разве «Пиренейский воздух» — нелегальная организация?

— О, мсье! Не в этом дело. Начальник аэродрома — фашист, член лиги «Боевых крестов». Формально он не может нам препятствовать, потому что наша компания всюду зарегистрирована и имеет патент. Но он вредит и портит, как может. Все рабочие аэродрома на нашей стороне, они сочув-

ствуют республиканской Испании и помогают нам. Они точно установили, что Гали погубил начальник аэродрома. Он живет при аэродроме, и каждый раз, когда самолет нашей линии стартовал с курсом на Бильбао, служанка начальника бегала в аэродромный буфет, оттуда из кабинки звонила в Биарриц, на виллу «Фрегат», местожительство испанского графа де лос Андес. Там есть радиопередатчик, фашисты вызывали истребителей навстречу нашей машине. Несколько раз удавалось с ними разминуться, а вот третьего дня сигнализация удалась. Мерзавец, предатель, убийца французских летчиков — и это называется француз!.. На аэродроме же находится так называемый «Баскский аэроклуб», по сути дела — военная летная школа испанских фашистов. Но я думаю, на этот раз вы проскочите. Этот прохвост думает, что мы напуганы и не станем пока летать на Бильбао. Ремонт «локхида» мы объяснили его отлетом в Париж. При старте будут присутствовать только двое рабочих. Вы полетите без бортмеханика. Конечно, он может проснуться от шума мотора, но тогда уже будет поздно. Он не рискнет посылать служанку среди ночи звонить по телефону, да и буфет закрыт.

— Наивный вопрос: разве он не может позвонить просто из своей квартиры?

— У него только добавочный телефон. Телефонистка — за народный фронт, а ночью по коммутатору соединяет дежурный механик. Мы ведь все-таки в провинции, мсье.

— Хитро. Ну, еще один последний вопрос. Представитель комитета по невмешательству — он будет знать?

— Он уже знает. Я предупредила, что мы ночью заедем за ним. Нельзя же к нему ломиться без предупреждения. Но... нет... я не думаю! Он ведь нейтрален. Он ведь офицер финляндской армии.

— Финляндской?

— Да, финляндской.

Я вздохнул еле слышно.

— Вам все-таки кажется, что...

— Вы читаете мои мысли, мадам!

Остаток дня провел, как праздный турист. Осмотрел музей французских басков и музей художника Бонна, местного уроженца. Молодец-художник. Богатый человек, он построил прекрасное здание, накупил картин лучших мастеров, подарил все это своим землякам. Среди картин лучших мастеров он повесил и свои собственные, очень важные. Но кто станет обижаться на такую мелочь. Посетители подолгу стоят у полотен лучших мастеров, но поглядывают благосклонно и на полотна Бонна.

На лугу, на окраине, целым городком палаток и фургонов расположился знаменитый цирк Медрано. Прекрасный укротитель зверей, чех, по фамилии Трубка; всемирно известные, очаровательные клоуны Фрателлини; чемпион мира, бегун Ладумег. Оглушительная реклама, плакаты по всей Байонне и всему Биаррицу. Цирк дает на оба города только два спектакля, в субботу и в воскресенье. И все-таки зал наполовину пуст. Молодой человек во фраке вывел застенчивого Ладумега и раз'яснил его заслуги. Публика ответила жидкими хлопками. Бегун сбросил костюм, остался в трусиках и полотняных туфлях, он показал свою утреннюю физическую зарядку. Зрители наблюдали упражнения равнодушно; у нас это вызвало бы огромный интерес, споры, критику, энтузиазм... Затем Ладумег взобрался на сложное сооружение, внутрь вертящегося барабана-колеса. Конферансье об'яснил, с какой скоростью движется барабан. Эта скорость равна рекордной скорости, которая дала Ладумегу звание чемпиона мира; таким образом, уважаемая публика будет, не выходя из цирка, присутствовать на стадионе при выигрыше мирового первенства по бегу. Колесо завертелось, человек внутри быстро и мерно задвигался. Полминуты прошло, проступил пот и сразу, в лучах прожекторов, отлакировал каждое закругление, каждую мышцу прекрасного, элегантно-худого, мужественного тела. Быстро и все быстрее бежали ноги, длинные, пластически сухие, совершенной формы ноги, чуть подраги-

вали плечи; внутри дурацкого железного электрического барабана действовала одухотворенная, тончайше выверенная машина-человек. Божество спорта, во всем своем блеске и обаянии, плененное и посаженное в клетку. Белка в колесе! Ладумегу сейчас негде больше выступить, его спортивная работа никем не поддерживается, никем не оплачивается, не имеет во Франции спроса. Он может жить, только выступая в цирке, только бегая в колесе. Ладумег, тебе некуда бежать. Беги к нам.

Колесо остановилось, музыка заиграла вальс, под легкие аплодисменты, на ходу кивая публике головой, чемпион побежал за кулисы. Ему подали мохнатое полотенце. Он, видимо, устал.

На секретность отлета рассчитывать не приходится, кругом все кишит фашистами, шпионами, о моем пребывании знает весь городок, одно это черное пугало из агентства Гавас взбаламутило всех и вся. Офицер финляндской армии... Дежурный на коммутаторе... Баскский аэроклуб... Буфет... Служанка... Никому здесь верить нельзя, кроме мадам и самого Лапорта.

Но если никому не верить — не надо лететь. А я хочу лететь, и полечу. Надо быть нахалом, — во всяком случае, на войне. Еще ни в одной войне от сотворения мира не побеждали тихие, задушевные, уступчивые люди. Не было такого случая. Конечно, я полечу, мне надо быть завтра в Бильбао, и я буду завтра в Бильбао или нигде не буду.

28 МАЯ

Мадам приехала ровно в три часа утра. Я поставил чемодан в ее маленький «рено». Мы под'ехали затем к небольшой, красивой вилле в глубине сада. По гудку вышел финляндский офицер, в пиджачке, в пенсне, похожий на бухгалтера. В автомобиле мы вежливо разговаривали о Финляндии, об озерах, о водопадах. Водопад Иматра, в Финляндии. Водопад Кивач, в России. Водопад Ниагара, в Америке. Водопад Виктория, кажется, в Южной Африке. Да, да, в Африке, в экваториальной.

Аэродром Парм, на полупути между Байонной и Биаррицем. Темные ангары, трава, роса, несколько теней вокруг самолета. Вот летчик Лапорт, без шляпы, молодой человек, молчит, он, кажется, в плохом настроении.

Представитель комитета осмотрел самолет и отметил в акте, что машина гражданская. Проверил бумаги пилота и мои. Посветил фонариком на чемодан.

— Простите, но формально я обязан...

— Пожалуйста, пожалуйста. Будьте любезны...

— Мерси. Я вижу. Я и не сомневался... Можно закрыть. Никогда не думал, что буду исполнять обязанности таможенника... Очень милый чемодан. Белый.

— Недорогой. Имитация свиной кожи. Такой же из свиной кожи стоит в четыре раза дороже, но, по существу, разницы никакой.

Сел в самолет. Начали грузить марлю. Большие кипы, без всякой упаковки, уже слегка запыленные. Их привезли слишком много, три кипы лишних. Жалко оставлять, в Бильбао, говорят, совсем нет перевязочного материала для раненых. Я сказал выгрузить чемодан и взять две кипы.

— Оставляю у вас на хранение, мадам. На обратном пути возьму.

— Он будет в полной сохранности. Вы очень милы. Я должна буду вам вернуть за багаж, который вы оплатили.

— Это пустяки.

Завели мотор. Лапорт сел в пилотское кресло и долго смотрел на приборы, как если бы он их видел в первый раз. Я хотел помахать рукой мадам, но провожающие не были видны в темноте.

Пилот протянул левую руку вверх и нажал костяную кнопку. В ящичке забурчало, красная лампочка на щитке засветилась. Он попробовал еще раз. Опять то же самое. Еще раз. Еще.

Винт работал прекрасно. Уже можно было стартовать. Лапорт, однако, упорно и нескончаемо долго испытывал добавочную батарею. Он качал головой

и все нажимал на костяную кнопку. Батарея не работала.

— Зачем это вам нужно?

Он обернулся, хмуро посмотрел и ответил, после паузы:

— Чтобы менять шаг винта.

— Ладно, обойдемся.

— Это даст добавочную скорость.

— Я знаю. Но нам лететь, самое большее, полтора часа, разница небольшая.

— Это особенный полет.

— Да, я знаю. Особенный — и потому давайте стартовать. К дьяволу нам нужно менять шаг винта. Ну, действуйте. Уже рассветает.

Он ничего не ответил и стал вылезать из самолета. Я остался сидеть демонстративно и безнадежно. Было совершенно понятно, что эта скотина не полетит. Это было ясно с того момента, когда он сел за штурвал. Какая скотина! Какой трус. Какой жалкий предлог он выдумал. Ну, и скотина.

Кто-то подошел к дверце и предложил мне выйти.

— Самолет не пойдет. Батарея разряжена. Чтобы зарядить ее, нужно двенадцать часов.

— Но это ерунда. Можно отлично долететь, и не меняя шага винта.

Все были согласны с этим, но никто не брался уговаривать пилота. Все-таки это особенный полет, пусть Лапорт сам решает. А он уже решил. Он сказал поставить аккумулятор в зарядку. Он готов полететь в семь часов вечера. А как же конспирация, начальник аэродрома, шпионы, истребители? Мадам спросила меня, не лучше ли будет отложить до завтрашнего утра? Она совсем растерялась.

— Нет. В семь — так в семь. В любой час, когда Лапорт полетит, я лечу с ним. Днем — так днем, в семь — так в семь, в девять — так в девять. Но я не верю, что он полетит. Он трус, ваш Лапорт. Хоть и француз, а трусливая скотина.

— Бывают и французы трусы.

— Видимо, бывают, мадам.

Слонялся весь день по городу, с'ездил на трамвае в Биарриц, бродил по

пустому пляжу, купил у какого-то жулика на улице бинокль «по случаю»; вместо тысячи франков за четверста. Бинокль оказался дерьмо, он не стоит и полтора ста. Пришли парижские газеты — правительство не предприняло ничего в связи с разбойничьим нападением на французский гражданский, почтовый самолет. Более того, правые газеты заявляют, что «Пиренейский воздух» — подозрительная организация, что правительство должно ее обследовать и закрыть.

Оказывается, испанские фашисты в Байонне несколько раз приходили к Гали с предложением: сделать по пути в Бильбао посадку, якобы вынужденную, на сан-себастьянском аэродроме. Они обещали изъять из самолета только пассажиров и почту, а пилота отпустить дальше. За это они предлагали ему двести двадцать пять тысяч франков — из них сто тысяч тут же, в Байонне, а остальные — на аэродроме в Сан-Себастьяне.

Параллельно французской воздушной линии через территорию Франции же проходит германская линия Штутгарт — Бургос, формально именуемая «Штутгарт—Лиссабон». Каждый день германские фашистские самолеты, прилетая из Штутгарта, делают посадку в Марселе, затем летят через весь пограничный юг Франции, проходят над Биаррицем и Эндеей, спокойно садятся в Сан-Себастьяне или прямо в Бургосе. Никто не чинит им никаких препятствий или задержек. А если кто-нибудь и попробовал бы, германские фашисты добились бы охраны своих интересов большей, чем пользуется «Пиренейский воздух». Терпеть столько не стали бы.

В шесть часов я самосильно приехал на аэродром, там были все в сборе: и мадам, и финляндский офицер, и корреспондент Гаваса, и сам начальник аэродрома, и еще куча народу. Не было только одного, самого Лапорта. Я стоял, как последний дурак, у самолета, у своего идиотского белого чемодана; было совершенно очевидно, что Лапорт не появится, а я все-таки стоял. Кто-то позвонил и сообщил, что Лапорт поехал

в Сен-Жан де Люс, встречать раненого Гали, которого доставил английский миноносец. В восемь мы раз'ехались. Лапорт после свидания с Гали окончательно отказался лететь в Бильбао. «Не будь самоубийцей, — сказал ему Гали, — ты летишь безоружный и беззащитный. Твое собственное правительство тебя не обороняет и даже не протестует против твоего убийства. Платят, правда, хорошо, но башка стоит дороже. Ради чего же ее терять!».

Этот разговор мне передала мадам, я ее видел в десять часов. В конце концов, они по-своему тоже правы — и Гали, и эта скотина Лапорт.

— У меня нет больше пилотов, — сказала мадам: — линия прерывает свою работу. Они добились, чего хотели.

— Кажется, я найду вам пилота, — сказал я.

— Он француз?

— Да, француз. Бывают французы — храбрые люди, мадам.

Мы распрощались с ней, повидимому, в последний раз. Я не улетел в Бильбао. Я вряд ли доберусь туда — хотя попробую еще и еще. Пятнадцатого июня в Валенсии открывается Международный конгресс писателей, надо быть там за несколько дней, где же тут успеть к баскам. А Бильбао окружено уже почти со всех сторон. Людям там тяжело. Меня нет там. Я не попал в Бильбао. Я не нахал. Я слишком много о себе воображаю.

29 МАЯ

Байонна сейчас главный центр помощи северным районам территории Франко. Из Байонны направляется мощный поток продовольствия, людей, оружия. Конечно, еще более удобно делать это через Португалию. Более удобно, но дольше. А война требует спешки. Есть предметы, которые слишком долго возить в обход.

В Байонне — база. В Биаррице, Эндее, Беобии — передаточные пункты. Кроме того, есть Начо Энеа. Магические слова.

Они всплывают здесь во всей приграничной полосе, как только разговор за-

ходит о контроле границы, о добровольцах, о снабжении Франко оружием, обо всем, что касается фашистско-испанской территории.

— Этот человек связан с Начо Энеа...

— Стоит только обратиться в Начо Энеа...

— Эти сведения — из Начо Энеа...

— Остерегайтесь, Начо Энеа обратило на вас внимание!..

Никто не поверит, что не знаешь о Начо Энеа и где оно находится. Конечно, в Сен-Жан де Люс!

Я поехал искать Начо Энеа.

Сен-Жан — маленький, накаленный солнцем городок. Одна сторона его — простонародная, рыбацкая. В бухте сотни баркасов, пахнет смолой, пенькой, рыбой. Из лодок пересыпают в мокрые корзины серебристый тяжелый улов. Здесь важнейшие сардинные промыслы Франции. С другого края, у пляжа — несколько кварталов эlegantных аристократических вилл. На рейде тихо колыхаются серые громады военных кораблей — британских, французских, американских.

На зеркальных окнах справочного киоска заманчивые надписи: «Посетите Испанию, край чудесной природы и людей, отдохните на ее летних и зимних курортах». Конечно, надписи сделаны давно. Ну, а сейчас барышня в киоске спокойно раз'ясняет: сейчас проехать в Сан-Себастьян нельзя. Нет сезона. Ввиду войны. А на три дня? Нет, и на три дня нельзя. Война, невмешательство, контроль. Туризм временно прекращен. Ведь мсье турист? Конечно, теперь ведь все туристы...

Обмен улыбками.

— Мсье — турист из...

— Из Голландии, конечно.

Барышня смеется:

— Почему обязательно из Голландии? Есть и такие, которые прямо из Германии. Но вы ведь, наверно, знаете, куда вам надо обращаться.

— Я забыл... Какие-то непонятные два слова.

Барышня кокетливо строга:

— Если вы забыли, я вам напомнить не стану. Надо было записать. Это

направо, за «Баскским баром», и потом вверх по аллее, вдоль дарка.

На площади, чтобы не заблудиться, спрашиваю у полицейского Начо Энеа.

— Вверх, за «Баскским баром», по аллее.

Велосипедист, нянька с колясочкой и бровастая дама любезно направляют туда же. Испанский священник на тот же вопрос коротко отвечает:

— Идите за мной. Я направляю вас туда.

У самого входа, несмотря на знойный полуденный час, оживление, стоят пять машин; из одной люди выходят, в другую усаживаются. На воротах — лаконическая надпись: «Начо Энеа». Побаскски это значит: «У себя». За каменной стеной, в глубине сада, спрятан большой дом, стрелки и надписи ведут к нему. В доме обитают не баски, а испанские фашисты. Но они здесь у себя.

Внутри дома — настоящая посольская или консульская канцелярия. В приемной куча ожидающих, на стенах — фашистские, монархические плакаты и флаги, кружки для пожертвований на мятежную армию и «испанскую фалангу», проспекты сан-себастьянских, севильских, бургосских гостиниц. Над камином припиленна инструкция по переходу границы. Нужно: 1) иметь выездную или транзитную французскую визу, 2) получить разрешение военных властей, 3) дать просмотреть багаж на таможне, 4) пройти пешком мост...

Секретарь с кучей бумаг шныряет туда и обратно. С некоторыми посетителями он об'ясняется сам, других пропускает за плотно закрытую дверь, к высшему начальству... С меня хватит и секретаря.

— Что вам угодно?

— На несколько дней в Сан-Себастьян. Из Голландии.

Секретарь интересуется паспортом, но я предпочел забыть его в гостинице.

— А как с выездной французской визой? Есть она у вас?

— Пока нет.

Секретарь размышляет.

— Тогда обратитесь к господину Беренвиллю. Вы найдете его в «Баскском

баре», в конце аллеи внизу. Возьмите с собой анкетный листок. Верните его заполненным.

Анкета содержит обычные в таких случаях вопросы и адресована командиру шестой дивизии в Бургосе.

Покидаю Начо Энеа — даже с легким чувством разочарования. Никакой таинственности! Просто — на просто посольство фашистских мятежников на французской территории.

«Баскский бар» оказывается шикарным французским кабаком-дансингом. Такие учреждения обычно открыты только по ночам. Но нет, здесь и сейчас есть публика. За двумя столами оживленно пьют пиво и болтают на берлинском диалекте здоровенные молодые люди. Типичная стрижка рейхсвера: кругом головы под машинку, на макушке — намащенный пробор. Явные туристы, бесспорно из Голландии...

Официант у стойки понимает, что я не пришел сюда в час дня танцевать.

— Вам, наверно, нужно мсье Беренвиль? Он в Начо Энеа, вернется с минуты на минуту. Эти господа его тоже ждут.

— Нет, я уж найду в другой раз.

Господин Беренвиль — лидер местных фашистов и руководитель переправы к Франко. «Баскский бар» — его приемная. Это все — в порядке вещей. Гораздо более трогательно другое. В трехстах шагах от Начо Энеа, в другой вилле, проживает безвыездно с начала фашистского мятежа господин Жан Эрбетт, числящийся до сих пор послом Франции при республиканском испанском правительстве.

... Отсюда недалеко до Беобии. Вот Беобия. Река, пограничный или, как его здесь называют, интернациональный мост. У моста — французская таможня, жандармы, полиция, контрольно-пропускная будка. Изредка подъезжают автомобили, из них выходят богатого вида господа; на секунду заглядывают в будку и сейчас же идут по мосту на испанскую сторону.

Пограничники рассказывают:

— Третьего дня сюда опять перебежал унтер-офицер из фашистской армии. Ну, и стрельбу же открыли они по нем!

Прямо чудо, что никого из нас не убили.

— Неужели так и стреляли по французской стороне?

— А как же! Из пулеметов. Посмотрите сами.

В самом деле, стены домов, обращенные к границе, изрыты пулями. Несколькo пуль попали даже во французский пограничный знак, сбили с него эмаль.

— И вы ничем не ответили?

— У нас не было приказа.

— По вас стреляют из пулеметов через границу, и вы ничем на это не реагируете?

Офицер-пограничник грустно разводит руками.

— Поверьте, если бы нам дали возможность, мы показали бы, что можем охранять честь французской границы.

— А органы международного контроля?

— О, их это трогает меньше всего. Их задача — обеспечить невмешательство туда. Насчет вмешательства сюда — они правы, когда говорят, что Франция могла бы сама обеспечить себя от этого.

... В Эндейе — главный перевалочный пункт между Францией и лагерем Франко. На пограничном мосту движение, как на бульваре. В будке должен быть контролер, голландский офицер. Должен быть, но его нет. Пограничники объясняют: он обедает.

— Он обедает с утра до поздней ночи. Вы найдете его в ресторанчике около вокзала. До установления международного контроля мы не знали, сколько способен выпить в день один голландец. Чем дольше живешь, тем больше узнаешь интересных вещей.

На другом конце моста неподвижно стоят жандармы генерала Франко. Все те же черные лакированные королевские двухуголки, те же лимонного цвета ремни. Вдруг они вытягиваются, берут на караул. Через мост на нашу сторону катит щегольской автомобиль. Рослый мужчина развалился на заднем сиденье, снисходительно машет рукой французской страже и, не останавливаясь, удаляется по шоссе. Кто это? Майор Трон-

косо, военный комендант мятежного Ируна.

— И часто он сюда приезжает?

— По нескольку раз в день. Он пользуется правом беспрепятственного проезда туда и обратно. Ведь у него масса дел тут, во Франции.

На станции пробую разыскать представителя международного контроля. Это очень легко — все знают, где обедает голландец. Вот и он: салфетка узлом обвязана вокруг шеи, чтобы не упасть; на столе — батарея бутылок. Стараюсь вступить в разговор, но, увя, бравый представитель голландской армии не вяжет лыка. Где же тут контроль, — хоть бы из-за стола суметь встать.

В Эндее тоже вчера составлен протокол об обстреле границы неизвестными лицами с испанской территории.

«Неизвестный» обрушивает с борта военных самолетов тонны взрывчатых веществ на французские города. «Неизвестный» обдирает пулеметным огнем французские пограничные знаки.

«Неизвестный» топчет британские торговые пароходы. «Неизвестный» вмешивается всей силой своего могущественного оружия во внутренние дела Испании, в борьбу ее народа с фашистскими мятежниками. Не слишком ли далеко зашел этот, уже всякому ребенку известный, «неизвестный»? Не нарушены ли им все границы терпения? Не слишком ли уже тесно стало в мире от его безнаказанных, все более яростных и дерзких бросков и прыжков?

... Поздно вечером приехал в Тулузу. Тотчас же позвонил в Париж, к знакомым, с просьбой: разыскать летчика Абеля Гидеза, если он в Париже. Сказать ему только одно: что я прошу его срочно приехать в Тулузу, чтобы поиграть в теннис и вообще отдохнуть.

30 МАЯ

Совершенно пустой день. Пыль, жара, духота. Здесь нет даже цирка Медрано. «Депеш» помещает длинные столбцы телеграмм об обороне Бильбао. Главная надежда атакуемых басков — это «железный пояс» укреплений, который они воздвигли вокруг своей столицы. Уни-

чтожение Герники не запугало, а ожесточило их. Они хотят держаться и удержаться. «Депеш» — единственная здесь и во всей Франции буржуазная газета, которая сочувственно и правдиво пишет о борьбе испанского народа.

Вечером опять говорил с Парижем. Ура, Гидеза нашли. Он сказал, что готов выехать сегодня в Тулузу, но, поскольку речь идет об игре в теннис и отдыхе на лоне природы, он должен перерегистрировать свое пилотское свидетельство, срок которого истек. На это уйдет два дня, третьего он будет в Тулузе. Ну что за милый парень.

31 МАЯ

Еще в Байонне мадам называла имя некоего Янгуаса, испанца, «дикого» пилота, воздушного извозчика-одиночки, некооперированного кустаря. У него есть патент, и он летает там, где другие не берутся. Возит не по счетчику — цена по соглашению. Искал Янгуаса в Тулузе, нет, он уже две недели, как не появлялся. В отеле, где он всегда останавливается, обещали сообщить тотчас же, если он приедет. Для верности я переехал в этот же отель.

Еще один бессмысленный пустой день. Терпение, выдержка! Хорошо — выдержка, но если она пропадет зря? До конгресса в Валенсии осталось пятнадцать дней. Можно ли рисковать забираться на это время в Бильбао — как и когда выберешься?

1 ИЮНЯ

Утром вдруг появился Янгаус. Пригласил его завтракать в лучший ресторан, в «Лафайетт». Довольно странный человек. Маленького роста, худенький, медвежатные движения, прищуренные, хитрые глаза. Говорит мало, ест и пьет с огромным аппетитом. У республиканцев он пользуется полным доверием. Личный друг президента басков Агирре. Он перебрасывал около двухсот раз над территорией фашистов грузы, оружие, людей. О его дерзости и безнаказанности знают фашисты. Пробовали подкупить его — не удалось. Кейпо де Льяно в одной из своих радиопропо-

ведей об'явил: «Мы поймаем тебя, Янгуас, и повесим».

Янгуас летит в Бильбао. Он согласен взять меня. Сегодня же! Сегодня вечером. А как Гидез? Я не буду его ждать. Я оставляю ему письмо, по которому он свяжется с «Пиренейским воздухом» и будет там работать — если захочет. Он уехал из Испании, когда ликвидировалась интернациональная эскадрилья Андре Мальро. Правительство выдало ему почетную благодарственную грамоту за героическую боевую работу для испанского народа. Он сбил четыре фашистских бомбардировщика и шесть истребителей, оказал стране еще ряд ценнейших услуг.

После завтрака все вдруг стало легким, быстрым и простым. Только я сел писать очерк о франко-испанской границе, только написал две с половиной страницы — и уже за мной зашел бортмеханик Янгуаса. Снес мой белый чемодан в такси, вот мы уже на аэродроме, вот самолет, двухмоторный «блех», вот мы уселись, вот взлетели и идем на запад. Янгуас сказал, лететь из Байонны — безумие. Это гнездо фашистов, особенно аэродром. Из Тулузы — лишних полтора часа лету, но возможности для фашистского шпионажа гораздо более урезаны.

Уже смеркалось, когда над Кап Бретон мы вышли к Бискайскому морю. Всегда бурное, оно сегодня было необычно тихо. На втором пилотском сиденьи, рядом с летчиком я подолгу смотрел то вправо, на бескрайнюю ширь Атлантики, то влево, на изрезанный скалами берег, сначала французский, затем испанский. Янгуас подмигнул влево и лениво усмехнулся:

— Фачистас...

Я закивал головой и изобразил простодушный восторг, как если бы он показывал мне северное сияние. Фашисты уже занимают здесь всю линию побережья, почти до самого Бильбао.

Янгуас сделал глубокий загиб в море, чтобы отойти от этой части берега. Это отняло лишний час лета, теперь мы шли совсем одиноко над водным пространством. Почти совсем стемнело, пилот стал осторожно перпендикулярно

приближаться к берегу. О том, чтобы сесть на бильбайский аэродром, не было и речи. Малейший снос на восток, хотя бы на десять километров, выводил прямо к фашистам. Слишком вправо, на запад, к Сантандеру, — нет никаких возможностей для посадки. Янгуас стал внимателен и сосредоточен, он часто приподымался над штурвалом, узкими зоркими глазами проводника всматривался в неясные очертания, уступы и мысы, утопающие в вечерней мгле. Еще несколько минут, он сбавил газ, в глубине небольшой бухты, опоясанной скалами, забелел песок. Машина сделала круг, круто пошла на посадку, еще минута, и мы тихо покатались по влажному песку, подымая тучи брызг из луж морской воды.

Мотор умолк. Издали высятся скалы вокруг крепости и тюрьмы Сантониа, испанского замка д'Иф, мрачного, зловещего места ссылки. Первозданная тишина струится над этим заброшенным, безлюдным углом. Но скоро далекий орудийный грохот разбудил ее. Жадным, глубоким вдохом я глотнул воздух, свежий, бодрый воздух моря, леса и гор. Еще раз грохот. Это опять Испания, опять война!

3 ИЮНЯ

Вот два дня, непрерывно, почти без сна — с басками, на улицах и в казармах Бильбао, на секторах первой линии его обороны, в траншеях его внутреннего укрепленного пояса.

Взятием Бильбао Франко, несомненно, хочет заменить взятие Мадрида. С военно-политической точки зрения, у него на это есть немало резонов. Сдача или захват Бильбао, сдача или захват, или бегство баского правительства могли бы нарушить и без того неустойчивое международное равновесие вокруг Испании и дать мятежникам возможность добиться при помощи внешних сил выгодного перемирия — того, к чему Франко последнее время упорно стремится. Без Бильбао это трудно и невыгодно.

Сюда, на Бискайю, брошены основные и самые боеспособные фашистские силы. За последние месяцы они, правда, сильно поредели. Франко лишился луч-

ших своих кадров. Погибли старые марокканцы, великолепные бойцы, яростные в атаках и упорные в обороне. Они были втянуты в борьбу насильно или обманом, не знали, за что и для кого дерутся, но дрались отлично и всегда служили слепым, безотказным, наступательным тараном, за которым следовали главные силы. Много погибло легионеров, много кадровых солдат и унтер-офицерских чинов.

Под Бильбао появились более молодые призывные возрасты, обученные уже во время гражданской войны, сколоченные, вымуштрованные германскими инструкторами. Части более современные, более боееспособные, настойчивые, пока операция развивается, и совсем рыхлые, нестойкие в случае неудач и малейшего расстройтва управления. Наступать или обороняться отдельными группами, как это делали марокканцы и легионеры, они не умеют.

Здесь же действуют, на правом фашистском фланге, итальянские экспедиционные дивизии, растрепанные в свое время на Гвадалахаре и затем приведенные в порядок. Лучше они не стали.

В сравнении со своим противником баскская пехота показала себя с самой лучшей стороны. Это — храбрые, стойкие люди, неутомимые в трудных горных условиях, гораздо более организованные и менее впечатлительные, чем, например, кастильцы. В боях сказались национальные качества басков — их уравновешенность, упорство, хладнокровие, иногда даже флегматичность — все то, из-за чего их называют здесь англичанами Иберийского полуострова. Вооружение и обученность баскских частей тоже на приличном уровне.

Защитники Бильбао построили так называемый «сентурон», то-есть пояс, или укрепленный пояс, или железный пояс, или стальной пояс, или, как его прозвали любители газетных сенсаций, — «бискайская линия Мажино».

Само это увлечение громкими названиями принесло мало пользы обороне города. Оно создало неверное представление о грандиозности укреплений вокруг Бильбао, об их полной и абсолютной, герметической непроницаемости,

об их непроходимости. Мятежники охотно содействовали фантастическим описаниям «сентурона», оправдывая ими медленность осады Бильбао и подчеркивая перед всем миром необычайную трудность своей задачи. В случае захвата Бильбао эти рассказы должны служить доказательством безумной храбрости мятежников, справившихся с якобы неприступной крепостью.

В Бильбао, включая некоторую часть бойцов и командиров, вера в магические свойства «сентурона» породила мнение, что бои вблизи города не так важны и что настоящая оборона начнется только с момента отхода на укрепленные позиции. Мнение неверное и глубоко вредное. Нет таких поясов и укреплений, которые могли бы сами по себе служить гарантией обороны. Все зависит от того, как их использует армия в ходе сражения и при каких условиях она начнет обороняться на них.

Если противник нанесет сильный удар хотя бы даже на некотором расстоянии от укреплений, то он может, развивая успех, создать брешь, физическую и моральную, в рядах обороняющихся внутри укрепленного пояса, прежде чем тот начнет свое сопротивление.

Если, с другой стороны, «сентурон» даже будет прорван, в одном или нескольких местах, это еще не означает катастрофы и падения Бильбао. Лишь бы не был сломлен дух войск и их стойкость, их воля к борьбе, организованность их управления.

Самый «сентурон» — это более или менее непрерывная цепь отдельных окопов, траншей, блокгаузов, блиндажей и пулеметных гнезд, чередующихся с естественными горными рубежами и хорошо обстреливаемыми ущельями.

На некоторых участках работа проделана отлично и очень догадливо дополняет рельеф местности. В других местах укрепления только повторяют никчемно то, что здесь настроила сама природа: блокгаузы на гребнях могучих скал, к тому же сделанные открыто, напоказ, прямо, как приманка для авиации и артиллерии противника. Я облазил по горам все эти устройства, облился при этом семью потоми. Есть участки, где

укрепления недостаточны или где их совсем нет, — незащищенные ничем проходы, которые надо оборонять только живой силой, в очень невыгодных условиях.

Произошло все это не случайно. Инженер, руководивший устройством пояса, оказался изменником, вредителем и недавно перебежал к фашистам. У мятежников есть все схемы «сентурона» и все объяснения к ним.

После бегства инженера командование очень многое изменило в укреплениях. Целые участки пояса перестроены на новых местах. Но, конечно, всего переделать заново не удалось. Неприятельская авиация следит за работами и разгоняет саперов бомбами.

Все-таки многие тысячи рабочих и крестьян басков с воодушевлением трудятся над созданием и переделкой укреплений осажденного Бильбао. Каждую ночь, в темноте, колонны людей напряженно копошатся в горах — строят, копают, заграждают. Нельзя сказать, что их оборудование богато. Грузовик сюда не перебросишь. Крохотный осел, деревянные носилки, корзины — все пущено в ход, все служит для укреплений, все помогает борьбе. Как и зимой в Мадриде, женщины, подростки, дети помогают строить и обороняться.

Но борьба вокруг Бильбао совершенно не похожа на борьбу вокруг Мадрида. Она вообще ни на что не похожа.

Здесь, на Северном фронте, воюет авиация. Притом авиация только фашистская. А республиканской почти нет.

То, что мы видим и переживаем здесь теперь, не может служить прообразом будущих войн. Если изобразить все это на картине, то под ней надо подписать: «Горе стране, которая не сможет обороняться в воздухе!». Фашистские интервенты используют на бискайском фронте свое полнейшее превосходство в воздухе. Вернее, не превосходство свое, а почти полное отсутствие республиканской авиации, в котором они ясно убедились, обшарив побережье. С наглостью трусов фашистские командиры раскричали в своих сводках, что на севере теснят противника в воздухе. Им

почти некого теснить: здесь действует маленькая горсточка самолетов, переброшенная с огромными трудностями и международными осложнениями с центрального фронта. Фашистам же не пришлось почти менять своих авиационных баз. Из одного и того же района Бургоса они летают и на Гвадалахару, и в Каталонию, и на Бильбао, и на Сантандер. Лихорадочное капитальное строительство аэродромов вокруг Сан-Себастьяна — это уже забота о будущем, это первые опорные германские пункты на французской границе.

Авиация интервентов вдесятеро превосходит числом бискайскую республиканскую. Многим ли она после этого рискует? Немцы устроили себе из Бискайи настоящий полигон. Они пробуют здесь свои новейшие марки, как сверхскоростной «Гейнкель-123» или двухмоторный бомбардировочный «Гейнкель-111». Они сбрасывают все виды бомб, от однокилограммовой (пучком по десять штук) до трехсот- и пятисоткилограммовых. Они бросают артиллерийские брзантные снаряды и наблюдают действие, они ведут массовые опыты с зажигательными термитными бомбами, с теми самыми, которые приготовили еще к концу империалистической войны для Парижа, но тогда не решились применить.

Этими бомбами жгут леса и кустарники, душат зловонным дымом людей и скот, постепенно переходя к химическим средствам борьбы.

Рассматриваешь какую-нибудь лошину после бомбометания, — все изрыто, исковеркано огромными воронками. С земли клочьями содраны ее зеленые покровы, тлеют обгорелые пеньки деревьев. И вот постепенно, неизвестно откуда, начинают выползать люди. Они сначала молчат — не хочется слов. Они как будто задумчивы — на самом деле оглушены. Прошло немного времени, и они уже опять двигаются, хлопочут, шутят, а главное — опять воюют. Даже во время самих воздушных атак солдаты сохраняют боевой дух. Несколько раз, и вот сегодня опять, когда воздушные пираты совсем обнаглели, во время низких виражей пехотинцы из винтовок подби-

ли двух фашистских летчиков-истребителей.

4 ИЮНЯ

Мигэль Мартинес провел несколько совещаний и бесед с комиссарами, с политработниками, с командирами. Здесь есть замечательные люди, частью местные, частью перелетевшие на помощь баскам с центрального фронта. Лучшие из них по боевым и моральным качествам — это Кристоаль и Нино Нанетти. Первый — командир колонны, стойко оборонявший Сан-Себастьян до последнего часа. Второй, итальянец, комсомолец, прекрасный боевой командир, командовал бригадой и затем дивизией под Мадридом. Кристоаль руководит сектором, а Нино вот уже десять дней обивает пороги штаба, ожидая назначения, хотя тот же штаб настойчиво вызывал его радиogramмами. Здесь страшная неразбериха. Борьба интересов и влияний — национальных, политических, территориальных. Спорят между собой баски с испанцами, националисты с другими партиями, другие партии между собой и внутри себя. Очень странно держится Хуан Астигарравия, секретарь компартии басков. Он диктаторствует, причем весьма бездарно, важнейшие решения принимает единолично, фактически упразднив здешнее политбюро. Самое худшее — в том, что, по существу, решения эти почти всегда неверны и отражают собой колеблющуюся, шаткую, половинчатую позицию баскского правительства, на поводу у которого Астигарравия очутился. Он держится заносчиво, неприступно в отношении Центрального Комитета в Валенсии — выдвинул теориейку, что партия басков — не часть испанской коммунистической партии, а состоит с ней в «братских» взаимоотношениях, то-есть на равных и самостоятельных правах. Встревоженный этими фактами и всей обстановкой, Центральный Комитет прислал сюда специального уполномоченного, Энрике Кастро, члена ЦК. Кастро перебрался сюда с большими трудностями и риском; Астигарравия принял его открыто враждебно, вернее, почти совсем не принял и не устроил его на пи-

танье, объяснив, что в Бильбао есть нечего. Кастро приходится жить и продовольствоваться у бойцов-коммунистов, свой контакт с партийной организацией он организовал, минуя секретаря.

Сами националисты-баски совершают в эти тягчайшие, решающие дни поступки безумные и необъяснимые. Объяснить их можно разве только противоречиями и борьбой среди самих националистов. С одной стороны — несомненно их желание и решимость драться с Франко, который отказался обещать баскам, хоть на грош автономии. Они держатся за центральное правительство, считают себя крепко связанными с ним, единственным другом, из рук которого получили свою автономию. И тут же — совершают на каждом шагу маленькие пронунсиаменто, грошевые переворотики, захваты, демонстрации. На этих днях националисты внезапно арестовали весь офицерский состав моряков и на миноносцах, на подводных лодках поставили своих людей, весьма сомнительных, неблагополучных по фашизму. Президент Агирре, он же теперь и главнокомандующий баскским фронтом, сначала разгневался (или изобразил гнев) по случаю такого своеволия, затем примирился с ним и даже одобрил какими-то соображениями.

Я побывал у президента, он так же мил и элегантен, как раньше, он стал даже еще любезнее. Горячо благодарил за устройство баскских детей в Советском Союзе, особенно был растроган тем, что из Москвы напомнили о присылке баскских букварей и учебников для маленьких беженцев.

— А что же вы думаете, мы их хотим руссифицировать? Они у нас в гостях, но они баски и останутся басками.

— Да, да, это очень трогательно, очень чутко!

Жадно расспрашивал о международном положении, жаловался на одиночество и изоляцию, на хозяйственные, финансовые, валютные затруднения. У него нет помощников по этой части, специалистов...

— Простите, синьор президент, но в этом, если кто и виноват, то вы сами. В центральном правительстве положение

куда труднее. Там финансами руководит врач Негрин, в других министерствах сидят рабочие, журналисты, в вашей же партии есть опытейшие коммерсанты, старые дельцы. Есть много богатых басков за границей — где их национальные, патриотические чувства? Сейчас, когда Баскония, наконец, самостоятельна, — как могут они не поддерживать свое правительство средствами, оружием, займами? Ваш пролетариат, все эти католики-рабочие, они отдают сейчас родине даром свой труд, свою жизнь — все, что имеют. А они ведь очень скромны в своих ответных требованиях, они не тронули фабрик, заводов и банков. Они, в интересах войны, даже не повысили себе заработной платы, — между прочим, глупо сделали. Они терпеливо ждут лучших времен, они борются в кредит.

Агирре рассмеялся.

— Вы хорошо сказали, синьор редактор, или оговорились. Именно: борются в кредит. Вот этого кредита и боятся мои коллеги-буржуа. Они предпочитают громко тосковать об автономии басков, сохраняя свои дивиденды, чем получить эту автономию и заплатить рабочим. Что касается меня и моего правительства, то мы будем стойко и до конца продолжать борьбу, охраняя национальные интересы всего народа, всех классов!..

Бильбайская печать сегодня занята бурной дискуссией об охране военных тайн. Поводом послужило заявление на вчерашнем приеме местных газетчиков. Я сказал, что в порядке дружеской критики отмечаю невероятную болтливость прессы. Особенно вредны и прямо служат неприятелю подробные перечисления в газетах всех зданий, куда попали фашистские бомбы и снаряды. Ведь это прямая корректировка стрельбы и бомбометания фашистов. Да и всякие другие выбалтывания: адреса казарм, списки бойцов и командиров, получивших табак, с номерами и местоположением частей... Целые столбцы отведены под обсуждение этой более чем скромной мысли. Одни газеты считают, что указание правильно и что пора перестать болтать, хотя бы лишив

читателя «занимательного и ценного материала для воспитания его антифашистского негодования». Другие органы печати видят в заявлении пример шпиономании. Подумаешь, большую роль для противника играют все эти адреса. Ему и без того, с воздуха видно, куда падают бомбы. Хорош бы он был, противник, если строил бы свою разведку только на газетах. Да и вообще, бильбайские газеты поступают на территорию Франко лишь на четвертый-пятый день. Сведения давно устареют. Нет, наш советский коллега чересчур уж мнителен...

6 ИЮНЯ

По позициям здесь надо лазить с посошком, еще лучше — в альпийских башмаках с шипами. Военный инженер Базилио, человек пришлый, уже знает здесь каждую гору, каждую расщелинку, каждую полянку. По утрам мы выезжаем с ним, маскируем и оставляем машину на возможно ближайшей точке горного шоссе, оттуда, вместе с шофером, втроем, карабкаемся по сектору.

С утра фашистская авиация уже в воздухе, она зорко следит за саперными работами и ведет бомбардировку на их прекращение.

Наступление на Бильбао — это сокрушительный безнаказанный террор масшированной авиации. Об этом можно прочесть полтора-два статьи. Но чтобы почувствовать и понять — надо быть здесь.

И в военной теории, и в практическом применении войсковая авиация всегда предназначалась для поражения целей в глубине расположения противника. Она идет уничтожать там, куда не достает пулеметный и артиллерийский огонь.

Здесь она поступает куда более просто. Избирает маленький, в один-два километра, участок фронта, начинает бить по самому переднему краю обороны, и как бить!

Мы миновали отрезок готовых и пока безлюдных блиндажей «сентурона» и пошли через лужок к передовой линии окопов. В эту минуту над нами появились «юнкерсы». Немного, четыре штуки. Их привлекли белые пятна разворо-

ченной земли на лужку. Отсюда брали песок для подсыпки в блиндажи. Летчики заподозрили здесь укрепления. Мы бросились на землю.

— Жаль, не успели мы перебежать эту поляну, — сказал Базилио: — ладно, шут с ними, переждем. Пусть бомбят по пустому месту, порча материала, как никак.

— Место не совсем пустое.

— О присутствующих не говорят.

Грохот был отчаянный. Бомбы падали и рвались пучками, по две, по три. Лужок вздыбился песком и пламенем. Наш край не задело. Самолеты стали уходить. Подождав, пока туча земли и дыма начала оседать, мы встали для перебежки.

— Стой, — крикнул Базилио: — ложись! Сзади идут новые.

Это была следующая смена. Она шла по пятам за первой и бомбы направляла сюда же, прямо в дым, оседающий от первой очереди. Взрывы раздирали уши. Это было уж чересчур близко от нас. Мы лежали очень скромно, укрытые только теорией вероятностей.

И этот грохот кончился, многоотгорный гул стал тише, увидеть аппараты глазом было трудно — дым застилал небо. Наконец все очистилось. Первым поднялся и побежал шофер, за ним мы двое. И вдруг, с жужжащим визгом, пикируя почти отвесно, с яростной пулеметной пальбой, на лужок кинулись три истребителя. Шофер закричал ужасным голосом и упал. Он, видимо, был убит или смертельно ранен. Истребители охотились за нами, как чайки за рыбой.

— Хреновая история, — сказал Базилио: — они нас принимают за дивизию, не меньше. И мы никак не докажем, что нас трое. Ни письменно, ни устно. Они теперь будут бомбить и прочесывать истребками, бомбить и прочесывать истребками, по очереди.

— Надо помочь парню, если он жив. Подползем к нему.

Но он уже полз навстречу сам. С ним ничего не случилось, он только очень испугался. Все-таки мы временно похоронили его — вдавили немного в землю и забросали травой белую, яркую его рубашку. Сказали не рыпаться без команды.

Третья очередь «юнкеров» была уже здесь. Теперь положение наше стало хуже — перебежкой мы приблизились шагов на пятнадцать к центру бомбометания. Прежнее место казалось теперь идеалом уюта и безопасности.

Повторилось то же, что и в первые два раза. Опять пришли истребители. Они нас нервировали почему-то больше, чем бомбовозы. Лежа, я закурил сигарету и бросил, недокуренную.

— Все-таки надо добежать до блиндажа, — сказал я.

— Подведем бойцов в блиндаже, навлечем на них эту сволочь. Смотрите — сейчас блиндаж совсем незаметен.

Мы остались на этом месте еще два с половиной часа. Взрывы то утихали, то возобновлялись чудовищными шквалами, но ни разу рокот моторов не прекращался над лужком. Истребители кувыркали почти у самой земли в те редкие промежутки, когда по полю можно было пробежать. Тупое оцепенение охватило нас.

Наконец все кончилось. Медленно, тяжело мы поднялись на ноги и молча побрели к блиндажу. Там не было ни души.

— Не выдержали ребята, — сказал Базилио. — Поди-ка, выдержи. С воздуха надо прикрываться; конечно, если есть чем прикрыться.

Вернулся в город поздно. Застал записку из президентской канцелярии — просьба позвонить. Позвонил, и секретарь меня уведомил, что пилот Янгуас завтра собирается в обратный полет. Место в самолете обеспечено, и этим местом рекомендуют воспользоваться, потому что другой okazji, ни морской, ни воздушной, пока не предвидится.

7 ИЮНЯ

Сегодня Янгуас не отлетел. То ли погода ему не понравилась, то ли что-нибудь другое. Он не дает объяснений, улетает и прилетает, когда хочет, хотя бы имел самое срочное поручение. Он считает себя в распоряжении президента Агирре, но и президент не распоряжается его полетами. Янгуас объяснил, что только при условии полной бесконтроль-

ности он может нести свою опасную службу. .

Кармен сел за руль машины и долго возил меня по городу. Он молодец, хорошая помесь кинооператора с советским журналистом, живой, храбрый, веселый. Поспевает повсюду, в нужные и важные места. Мы были очень рады увидеться после Мадрида в этом тревожном, сумрачном Бильбао.

Взволнованно, но тихо и молчаливо переживает измученный, усталый город борьбу, которая кипит у его ворот. Опять и опять, каждые полчаса воют сирены о воздушной опасности, загоняют жителей в подземные убежища. Но ни у кого больше нет ни охоты, ни терпения сидеть в погребе. Собираясь кучками, баски прислушиваются, то с тоской, то с радостью, то с надеждой, к орудийному грохоту на окраинах города. Длинные очереди у лавок, чтобы получить полфунта хлеба или крупы, или пол-литра растительного масла. Бледные лица женщин и детей. Люди стали теньями.

Но они хотят жить, радоваться, смеяться, эти тени. Если вечером хоть на час затихает канонада, горюд робко пробует передохнуть, принять мирный вид. На тротуары перед домами выносят стулья; матери семейств, как наседки, восседают в кругу своего большого потомства. Большое, некогда богатое кафе уныло освещено одной-единственной лампочкой. В полутьме усталые солдаты отдыхают за стаканом лимонада, дремлют, положив головы на плечи жен и подруг. И над каждым столиком маячит печатный плакат: «Боец, будь осторожен, женщина может быть твоим лучшим другом и твоим злейшим врагом. Не болтай!». Капитан приходит в кафе, жестом руки он кончает передышку. Солдаты коротко прощаются и у выхода строятся в колонны.

Как страдает этот город! И за что? Республиканский парламент, законное правительство в Испании предоставили древнему народу басков автономию, на которую он всегда имел все права.

У меня дома, где народы составляют союз равных, может ли баскская автономия удивить даже ребенка? Здесь,

в капиталистическом мире, полчища иностранных интервентов вместе с испанской фашистской реакцией обрушили на мирную страну басков огненный вихрь, хотят стереть с лица земли ее людей, ее дома, ее сады, даже ее церкви только потому, что духовенство поддержало национальные и антифашистские чувства народа. Интервенты уничтожили священный город басков Гернику и теперь хотят сделать из Бильбао новую большую Гернику. И ни одно из капиталистических государств, даже самых христианнейших, не пришло на помощь баскскому народу, изнемогающему в одиноком, неравном бою.

8 ИЮНЯ

Я сегодня был во Франции. Но ложусь спать в Бильбао. Вот какие делишки!

Утром появился Абель Гидез, веселый, солнечный, сияющий. Его первые слова были:

— Если бы ты даже из пустыни Сахары прислал радио, что тебя нужно оттуда вытащить, я прилетел бы за тобой!

Вместо ответа я крепко обнял его, как брата.

Он прибыл в Тулузу на другой день после меня, связался с «Пиренейским воздухом», помог купить в Париже хороший, чуть подержанный двухмоторный самолет, сразу перегнал его в Тулузу и вот уже прибыл сюда, первым рейсом. Он очень доволен, он рад, что опять включился в работу.

— Да, я очень рад и был бы совсем рад, если бы мог поставить на машину хоть два пулемета. Ужасное чувство — ощущать себя ястребом и быть зашитым в шкуру зайца. Я уже говорил фирме: за один пулемет я отказываюсь от половины жалования, за второй буду летать даром. Они только смеются в ответ. Пойми, как это глупо: они будут меня клевать, убивать, а я, который смелее их, ведь я же знаю, я смелее их, — я должен буду удирать или, подбитый, падать на землю!

Он выбрал для посадки тот же пляж Ларедо, что и Янгуас. Это не понра-

вилось испанцу. Когда мы под вечер приехали с Янгуасом на пляж, он покосился на машину Гидеза и сказал, что больше здесь садиться не будет, место демаскировано. Пожалуй, он прав.

Погода очень испортилась, Бискайское море было все в тучах, видимость очень плохая. Янгуас решил все-таки лететь. Мы разбежались по мокрому песку и пошли в воздух. Через несколько минут полета вошли в густой туман и дождь. Встречный ветер осаживал самолет. Янгуас упрямо вел машину вперед. Полтора часа показались нескончаемой вечностью. Примерно так летели мы в тридцатом году со Спириным на «Р-5» над Черным морем... Наконец, наконец издали показались неясные очертания французского берега. Я вздохнул свободно. Еще десять минут, мы примерно над Кап Бретон, миновали полосу морского прибоя и пошли над Францией.

Через три-четыре минуты полета мы совершенно ослепли. Попали в так называемое молоко. Сплошной белый мертвый туман охватил машину. Не видны были даже концы крыльев. Очень скоро Янгуас сбился с курса. Самолет метался, как птица в мышеловке. Летчик клал его резким поворотом то на один бок, то на другой. Мы спустились ниже, разглядеть хоть что-нибудь. Сквозь одну прореху в тумане я успел увидеть холмистую местность, чай-то замок, мокнувший аспидными крышами под дождем, затем и это заволокло.

Янгуас бесновался вместе с машиной. Злобствовать так могут только об'ездчики диких лошадей. Один раз он даже с размаху ударил кулаком по штурвалу, как ударяют по шее лошадь. При одном резком вираже меня, сидевшего рядом, повалило на него. Мы не были подвязаны. Он усмехнулся и сказал: «Не бойтесь».

Наконец, после дюжины разворотов, рывком, кувырком, выбрались обратно в море. Берег закрыт сплошной непроницаемой стеной облаков. Нечего было и думать еще раз пробивать ее. Франция вытолкнула нас.

Куда же теперь? Все побережье вл-

во занято фашистами — до Бильбао. Этот путь уже известен. Значит — обратно в Бильбао? Хватит ли бензину? Пилот не заправлялся в Бильбао, очень трудно было тащить бензин к пляжу.

Чтобы сократить путь, Янгуас пошел почти вдоль берега. Правда, сейчас ни одна собака не вылетит против нас, даже слыша звук мотора. Но если бензин выйдет — мы сядем в фашистской зоне. Или если мотор забарахлит. Он уже барахлил на янгуасовой машине в прошлый раз, по пути в Бильбао. Янгуас тогда сказал, что этот мотор не в порядке, что в Тулузе надо будет его посмотреть и отрегулировать.

Прижатые облаками к сварливым бискайским волнам, почти задевая колесами воду, мы пелелись в темноте.

Наконец, почти на ощупь доползли и сели все на тот же мокрый безлюдный пляж. Под дождем пошли в поселок искать автомобиль.

Уже быть во Франции — и опять очутиться здесь! Это невероятно.

Поздно ночью я ввалился в Бильбао, в комнату, которую накануне оставил Гидезу. Абель был изумлен и встревожен. Мы устроились спать вместе.

— Лети завтра со мной.

— Неудобно обидеть испанца. Он подумает, что после сегодняшней истории я не верю в его пилотские способности. А пилот все-таки прекрасный.

— А я, по-твоему, плохой?

— Тебе к лицу маленькое жалование и два пулемета.

Мы уже засыпали, но он вдруг засмеялся в темноте:

— А кто это стоял над Пиренеями с пистолетом у моего затылка? Ты думаешь, я тогда ничего не заметил?

Мне стало неловко.

— Спи, болтушка. Ведь не сразу узнаешь людей.

9 ИЮНЯ

Погода очень плохая, не летят ни Гидез, ни Янгуас.

Фашисты усиливают нажим на Бильбао. Они подходят к укрепленному поясу. Боюсь, что «сентурон» не выдержит. Но в городе сравнительно спокойно.

10 ИЮНЯ

Гидез решил лететь в полдень, а Янгуас — в шесть вечера. Я сказал Абею, что, если к полудню не успею приехать на пляж, пусть улетает без меня, — вечером, в отеле «Лафайетт» в Тулузе, мы встретимся... Он захватил с собой мой багаж.

С боевых участков удалось вернуться только в три.

Когда в пять часов с Янгуасом, с Карменом и с другими провожающими мы приехали в Ларедо, мы застыли при виде того, что открылось нашим глазам.

На берегу стоял и глядел вперед неподвижный, только очень взлохмаченный Гидез. Рядом с ним валялся, весь размокший, мой белый чемодан с одним обломанным замком.

В море, в полукилометре, примерно, наполовину торчал из воды самолет Гидеза. Один мотор обломался и висел на какой-то трубе, как глаз, вырванный из орбиты. Одна нога с колесом тоже была подломана. К трупам самолета был пришвартован рыбачий баркас.

— Что случилось, Абель?!

Он рассказал, медленно, с паузами, как ребенок со сна: приехал, загрузил машину, посадил пассажиров, не дождался меня, завел моторы, они работали отлично, долго пробовать не стал, чтобы не разогревать и не тратить горючее, взлетел, взлетел хорошо, вышел на курс, стал отходить от берега, и тут вдруг сдохли сразу оба мотора. Сразу, и в один и тот же момент. Ведь это никогда не случается, не так ли? Оба вместе, и в одно и то же время. Самолет стал падать, он с колоссальным трудом немного спланировал, ослабил удар. Все очутились в воде, выбрались из кабины, машина каким-то чудом полудержалась на волнах. Люди уцелели потому, что падение самолета было видно с берега, рыбаки поспешили спасать. Еще две минуты, и самолет погиб бы в одиночестве.

— Что же случилось с моторами? Какая сволочь копалась в них?

— Я не знаю, — ответил Гидез: — машину охраняли какие-то здешние люди, те же, что охраняют машину Янгуаса. Надо расследовать. Надо выта-

щить машину на берег и обследовать моторы.

— Сахар, — сказал Янгуас.

— Какой сахар?

— Они насыпали в бензин сахару.

— А вы откуда знаете?

— Я не знаю, а понимаю. Они насыпали в бензин сахару, это подействовало не сразу, а через несколько минут работы моторов, когда закупорилась подача. Это старый трюк.

Все посмотрели на него. Он больше ничего не сказал, только взмахнул рукой, чтобы выкатывали его машину на старт. Он поддел мизинец под ручку моего размокшего чемодана и на мизинце легко понес его. Странный человек.

— А у вас в моторах сахара не окажется?

— Не окажется. У меня механик ночевал в кабине.

Гидез и Кармен приедут пароходом «Гаванна», на котором отправляют новую партию баскских детей. Гидез стоит все еще растерянный и оробевший.

— Я добьюсь самого точного расследования. Я им докажу!

Ему кажется, что опорочена его пилотская квалификация. Он решил, что подвел и меня, который рекомендовал его.

— Они могут справиться повсюду, где я работал. Никогда ничего даже отдаленно похожего не было со мной. Пойми, два мотора сразу, в один и тот же момент!

— Не волнуйся. Не о тебе идет речь. Дело ясное. Приезжай поскорее, достань другую машину и летай дальше.

— Теперь-то уж я буду летать! Я им покажу!

— Лучше бы и вам дожидаться «Гаванны», — вдруг обратился ко мне провожающий Базилио. До сих пор он молча наблюдал всю сцену: — У того сахар, у того мед, это, знаете, не смешно, это только в книжечке красиво получается: «Мир приключений», издание Петра Сойкина, Санкт-Петербург, Стремлянная улица.

Я и сам не прочь поплыть на «Гаванне»... Но когда она стойдет? А Янгуас уже сидит за штурвалом; винты шумели. Я занял свое место рядом.

Опять это Бискайское море; в четвертый раз, будь оно проклято. Но сейчас все шло, как по рельсам. Правый мотор почти не барахлил. Показался внизу большой военный крейсер. «Балеарес» — кивнул на него Янгуас. Сейчас он был в отличном настроении, не переставая напевать песенки. Мы обогнули крейсер вежливой подковой, на расстоянии его зениток.

Французский берег теперь был гостеприимен. Мы шли над спокойными рощами и виноградниками, над маленькими городами, над столетними деревьями вдоль прямых, четких, еще наполеоновских дорог. Море огней и цветные маяки Тулузы встретили нас. Тут же, в аэропорту, заказал себе на утро место на Барселону.

11 ИЮНЯ

Большой корабль общества «Эр Франс» легко и плавно отчалил от зеленой глади аэродрома. Четыре мощных мотора гудели глухо и спокойно; в просторной кабине, на широких креслах, у огромных окон сиделось тихо, дремотно. На столиках валялись пестрые проспекты и путеводители, это линия Тулуза — Аликанте — Танжер — Рабат. Пилот равнодушно смотрел вперед, рядом с ним борт-механик читал газету. Я вспомнил, как Мигель Мартинес перебирался в Барселону по сходному маршруту. И «мир приключений» между Байонной и Бильбао... Сейчас это был только заурядный маленький перегон солидного воздушного экспресса.

Барселона дохнула тяжелым зноем. Все попряталось с улиц в тень. Заказал себе машину на Валенсию. В «Мажестике» я нашел Эренбурга, он изнемогал от духоты, он сказал мне, что вчера началось республиканское наступление на Уэску. Ударной группой в этой операции служит сорок пятая дивизия, под командой Лукача-Залки. Известий с фронта еще нет.

Мы решили позавтракать вместе, он вышел куда-то по соседству и мгновенно вернулся. На нем не было лица.

— Звонят по телефону, — сказал он. — Будто бы Лукач убит.

— Кто звонит?

— Из Лериды. Будто Лукач и Реглер убиты вместе, в автомобиле. То ли снарядом, то ли бомбой с самолета.

Мы смотрели друг на друга, не произнося ничего.

Я выдал из себя:

— Это, наверно, утка. Здесь ведь любят сочинять, что кому взбредет.

Но мы не пошли завтракать. Машина на Валенсию тоже заждалась. По телефону с разных концов передавали разные слухи и варианты, но все мало обнадеживающие. С Лукачом и Реглером, несомненно, что-то случилось. По одному варианту, Лукач погиб, а Реглер тяжело ранен. По другому — оба ранены. По третьему — погибло трое: Лукач, Реглер и Гейльбрунн, начальник санчасти у Лукача. Наступление на Уэску оборвалось.

Милый, милый Лукач, неужели это случилось?

Мы с ним виделись в последний раз на Гвадалахаре, в крохотной деревушке среди скал. Старинная церковь прилепилась на уступе скалы. «Юнкерсы» кружились и рокотали, они хотели расклевать штаб, бомбили скалы; он приказал вынести картины из церкви, чтобы они не погибли; вместе мы любовались наивной и страстной живописью неизвестного художника пятнадцатого века — святые напоминали одновременно торреадоров и влюбленных кабалерро. Я сказал: «А вот в Москве есть такой венгерский писатель Матэ Залка, ему бы попасть в эту глушь, в эти сказочные места, описать и сдать в Гослитиздат, вот бы там его обругали за уклон в экзотику!». Он смеялся заразительно, детски: «Факт, обругали бы, Михаил Фимович, как миленького!». Он завидовал, что я собираюсь в Москву, взгрустнул, просил обязательно повидать Веру Ивановну и Талочку, передавал тысячи приветов, забеспокоился насчет кооперативного дома в Нащокинском переулке.

В машине я вынул из портфеля два письма без адреса на конвертах — их надо было передать лично в руки командиру двенадцатой бригады, ныне сорок пятой испанской дивизии. Одно письмо

было заклеено, я положил его обратно. В другом, незакрытом, я прочел:

«Товарищ председатель домоуправления!

Доношу, что у нас в доме № 3/5 все благополучно. Топить перестали по случаю весны. Ремонт фасада переднего — закончен. Боковые фасады — как были... Я, товарищ председатель, замещаю вас, как могу. И даже работаю с Наталией Николаевной — до вашего приезда. Жильцы очень довольны, они говорят, что я, Матвей Михайлович, несколько не хуже тебя работаю, и даже превосхожу тебя. Так что передо мной открываются широкие перспективы. А серьезно говоря, — я по тебе соскучился и очень горжусь, что у меня есть такой приятель. Михаил Ефимович передаст, как тебя любят. Одиннадцать человек у нас выехали в Лаврушинский переулок. Пеликс кланяется тебе. Целую и горжусь тобой, Матюша.

Твой Виктор».

Машина петлила горными спиралями, подымаясь к Тортосе. Солнце безумствовало. Слева исчезла сверкающая голубизна Средиземного моря. На крутом повороте мы чуть не столкнулись со встречным автомобилем. Он остановился; вышел генерал Клебер. Мы сняли темные очки, пожали друг другу руки.

— Я еду принимать дивизию Лукача, — сказал он. — Приезжай ко мне.

15 ИЮНЯ

Лукача привезли. Его тело выставили в большом прохладном зале бывшей иезуитской семинарии, где теперь комитет валенсийского крестьянского союза. Вакханалия пестрых южных цветов бушует кругом его бледного, потемневшего лица. На севере цветы умеют принимать скорбный, похоронный вид. Здесь они буйно и страстно кричат о жизни, опровергают смерть.

Под вечер его хоронили. Митинг провели на улице, в самом центре города, между вокзалом и ареной для боя быков. Запрудилось движение, трамвайные звонки и автомобильные гудки прерывали речи ораторов.

Новый глава правительства Хуан Негрин, новый начальник генерального штаба полковник Рохо стояли у гроба.

Ораторы говорили о том, что доблестный антифашист генерал Лукач вошел в историю испанского народа как незабываемый герой.

Почетная стража держала винтовки на-караул. Несметная толпа слушала молча, обнажив головы.

(Продолжение следует)

Шоссе

НИК. УШАКОВ

★

Он бежал проворнее оленя,
по горам над безднами гоним.
Расступились камни на мгновенье
и замкнулись,
как врата, за ним.

Но спасенье стало горше плена,
и свобода обратилась в тьму;
он метался и кричал:

«Измена!»

И никто не отвечал ему.

Ветры снегового оперенья
за стеной смолкали на века.
Замирало
мерное паденье
и воды,
и щебня с ледника.

Все, что в свежем воздухе звенело,
с башни или тетивы взлетов, —
стаи птиц,
неистовые стрелы
застывали
в серый барельеф.

Тучи стыли каменною грудой,
пленный витязь,
каменя сам,
тщетно ждал дождя,

подняв, как блюдо,
медный щит к граненым небесам.

Он глядел,
как барс — прямой от жажды,
в щель сухую,
как в кувшин пустой.

Мы вступали в облака,
и каждый
нес свою кирку перед собой.

Пузырями меж зубцов синяя,
взрывы пухли, и вздувалась пыль,
опускалось небо вместе с нею,
и над всем ходил локомобиль, —
над ущельем в башнях,
над лопатой,
воткнутой на гребешке земли.

Мы на бурке вынесли косматой
воина
и в чувство привели.

Гордый он сидел — высоколобый,
пил вино из рога и ковша.
Заключая с ним союз до гроба, —
мы ура кричали и ваша ¹.

¹ Ура.

★

На солнце

Из записок художника

ИВАН ЕВДОКИМОВ

★

I

Когда любишь, то все, связанное с любимым, полно особой привлекательности. Мне снилось Качаброво середины зимы. Здесь я провел три лета. Я нашел место под Москвой, которое меня очаровало. Можно было подумать, что я первый раз в жизни видел небо, леса и воды. Мне снился высокий качабровский речной берег. Деревенька стояла, глубоко отступая и прячась в липах, ветлах и березах. У реки росли четыре сосны. Ветер принес откуда-то семя, и оно взросло. Сосны будто родились в один день, так они были похожи. Между соснами, запирая проход, легли три темносиних горбатых камня, обрызганных белыми каплями птичьего помета. Внизу, играя на перекатах, стремительно неслась синяя Нуромка. Древнее название речки, которое оставил на память о себе какой-то вымерший или перебитый русскими народ, должно быть, означало на языке ушедшего «петлю». Ветлы с подмытыми корнями низко наклонились над причудливо извивавшейся Нуромой. Будь она поуже, они накрыли бы ее, как шатром. Между ветлами кустарники ивы забрели по пояс в воду.

Отсюда, с высоты качабровского берега, а еще лучше с вершины самого большого камня, ивы и ветлы, осенившие затейливый берег Нуромы, представлялись всегда в движении. В За-

речь были низкие заливные луга. Они тянулись далеко и вширь, и вглубь, пока не натыкались на огромный серп холмов с мелкими рошицами на них, преграждавшими нуромские разливы. Над зеленой долиной размахнулось безграничное небо, и с заливных лугов веял никогда не затихающий ветер. Он приносил прохладу даже в июльский полуденный зной. Под ветром трепетали ивы и ветлы, качались осоки и трава.

Свет, вода, открытые пространства на земле — а от них как бы и небо шире — вызывали во мне чувство свободы, простора и покоя. Лес всегда давит и гнетет, в лесу тесно и мало неба.

Сзади за деревней начиналась березовая роща. Там узкий проселок и тропы. До качабровской избы, где я жил, километра три. Роща была молодая. Окружные крестьяне в голодовку срубили всю старую березу на дрова и вывезли в ближайший городок Нуромск.

Нет ничего нежнее на свете листвы юной березки. Она вся сквозная, дрожащая, легкая, — и от яркости ее лепечущих листьев самый воздух становится зеленым. Я проходил веселой дорогой. Пели звонко и чисто птицы, наплывала березовая волна, крепкая и душистая, роща шумела радостно и бодро, и лишь скупно проглядывали в вышине клочки небесной сини. И путь скоро прискучивал. Но вдруг показывалась редущая опушка, больше и больше открывалось неба, все вокруг светлело, раздвигалось, — и я дышал глуб-

же. видел дальше, необозримый мир шел мне навстречу.

Я жил в Качаброве почти безвыездно с ранней весны до первых заморозков. После долгой зимы, тесной от напряженного труда, когда, казалось, не останется времени, чтобы освободиться к дню отъезда, — наконец, он настаивал. Я мчался на место. Нетерпеливое сердце замирало от радости и тревоги. Я предавался с такой же страстью летнему безделью, с какой работал зимой.

Изба с терраской снималась больше для матери и сестры. Я проводил дома несколько самых темных ночных часов да по необходимости застревал в ненастье. На рассвете исчезал с моими удочками, переметами и жерлицами, захватив альбом и полотно, ящик с красками и палитрой. Днем меня родные разыскивали на реке и приносили мне поесть, возвращался я поздним вечером. Словом, дача была моей ночлежкой и хранилкой рыболовных снастей.

Главное достоинство моего летнего гнезда составлял погребок со льдом. Здесь я уберегал от жары свежую рыбу. В прохладе погребка стоял деревянный ящик с черноземом. Я поливал перегной молоком, иногда остуженным мясным бульоном, иногда спитым чаем. В упитанной земле размножались все лето красные навозные черви. Рыба всего лучше замечает в воде красное. Я мешал перегной с натертым кирпичом. Тогда и земляные черви утрачивали свою обычную бледность. Они пропускали через себя землю, становились еще крепче и почти приближались по окраске к навозным. Погребок доставлял мне насадку, неизменно соблазнительную для всех нуромских рыб.

Начинался майский жор плотвы. Немного пониже Качаброва был большой пережат перед Севастьяновским омутом. Пережат лет сорок назад перегораживал небольшой мост. В один из внезапных паводков после бурного весеннего ливня мост разбilo и унесло. Три соседние деревни долго спорили, которая из них должна отвечать за бедствие: чинили мост по очереди. Спор ничем не кончил-

ся, покупать новый настил и перила ни сообща, ни отдельно никто не захотел, и на месте бывшей переправы остались догнивать обломанные ледоходами старые черные сваи.

Целую неделю я наблюдал, как рыба метала здесь икру. Огромные станы плотвы плавали поверху, высоко выпрыгивали на воздух, неслась мутная от молока самцов вода, икру прибывало к берегам, над рыбьим боем с криком кружили чайки, и даже качабровские кошки, прячась в траве, ползли на брюхе к лакомому блюду. Я пробовал удить и закидывал в самую гущу. Рыба не брала. В неодолимом стремлении выкинуть семя, от которого разбухли брюшка самок, икра текла из них и волочилась за ними кисточками, а самцы истекали молоками, — рыба прижималась друг к другу, опрокидывалась, выскакивала, билась на мели, терлась о хрящеватое дно. Стаи самок загоняли сюда самцов. Те измученно перевортывались вверх брюшками, испуская молики. Другие станы самцов настигали плывущую неосеменную икру и забрасывали ее молоками сами. Рыбий бой замирал. Стало меньше кружиться над пережатом чаек. Я выудил несколько плотичек. С утра предстояла пожива.

Ночь пришла прохладная. Я все же лег на террасе, чтобы проснуться как можно раньше, схватить рыболовные принадлежности и, никого не будя, со светом оказаться у Севастьяновского омута. Там я дней десять назад засыпал приваду. Накануне проверил мешки из рединки с распаренной рожью, пшеничкой, квасной гущей, пригорелыми корками черного хлеба для запаха. Вытягивая один мешок, я поморщился от досады. Бок прорвался. В дыру вымыло почти все содержимое. Досада еще больше усилилась, когда, чуть приподняв над водой мешок, я вытряхнул из него крупную плотву, которая забралась в отверстие, как в горло верши. Пропала привада, и все труды зря. Оставалась слабая надежда, что рыба привыкла к месту и держится тут. Другой мешок уцелел.

Я не раздевался и спал на террасе, словно в поезде, боясь пропустить нуж-

ную мне остановку. Открыл глаза и без памяти вскочил.

Цвела сирень. Она протянула свои махровые гроздья почти до моей подушки. В крохотном саду забавлялся скворец, передразнивая на разные голоса птичек с соседнего огорода. Там среди молодой посадки шумно взлетала бесполойная стайка, кружилась и снова рассаживалась. За ночь она проголодалась и теперь подбирала в мокрой зелени гусениц и червячков. Птички ссорились из-за корма, сердито отбивая его друг у друга.

Позднее, а потому неприятное мне солнце глядело из-за погребка. Оно залило розовым дрожащим светом высокую и единственную яблоню. Белый ствол ее сверкал, сверкали серые палки, подставленные под нижние тяжелые ветви. На пруду, ниже сада, полоסקали белее. Звук этот точнее часов определял время: бабы выходили на работу около пяти утра. Я проспал ранний клев.

Не обращая внимания на густую росу, я кинулся поперек поля. Сухая и удобная тропка по берегу реки казалась слишком дальней. Сбежав в низинку перед омутом, я должен был миновать еще несколько кустов, чтобы оказаться у знакомой и уютной осоки. Я вышел и в растерянности остановился.

На моем месте застыл на корточках старик, лет шестидесяти пяти, в ватном стеганом пиджаке. Рыбак обосновался прочно и надолго. Он завладел по крайней мере тремя четвертями осоки. С десятка донок и жерлиц на длинных бамбуковых удилищах наклонились к урезу травы. Последняя жерлица с бойкой рыбкой, беспрестанно дергавшей рогульку, стояла в середине заливчика, где вчера я упустил плотву. На примятой осоке валялся скупой рыбачий скарб: кусок брезента — замена постели, — заплечная сумка с необходимыми для ловли вещами, полотенце, а на нем ломоть хлеба и яичная скорлупа. Налево чуть тлел и дымился костерок. Старик разложил его под крутым берегом, в который воткнул колышек с таким наклоном, чтобы повесить чайник над самым огнем.

Я понял, что передо мной бывалый рыбак; удобные омота на Нуроме он знал, если не лучше меня, то не хуже. Вытягивая шею и чутко держа в руке удилище, готовый вот-вот подсечь рыбу, он почуял сзади себя шорох и подозрительно покосил глаз в мою сторону.

Клевало очень осторожно и вяло. Белое гусяное перо еле-еле подрагивало, его то чуть наклоняло, то оно описывало по воде кружок с чайное блюдечко.

Старик едва приметно усмехнулся. Он поймал мой сердитый охотничий взгляд, напряженно обращенный на шаливший поплавок, и отвернулся. Старик выжидал серьезно и настойчиво, устал сидеть на корточках, немного приподнялся, разминаясь, глубоко вздохнул, в конце-концов улучил минуту и дернул. Рыба подсеклась. Она глубоко потащила лесу, удилище согнулось, как большой лук, рыбак вскочил и умело повел по кругу свою жерту.

— Стой, стой, голубушка, — сказал он с приятной звонкостью в голосе, — шалишь. Ох, батюшки! Да это ж окунь хватил! Поклевка с поволокой. Будто линь из Качабровского пруда через поле перебрался и напоролся на крюк, ан окунь...

Я пережил мгновенную зависть. Можно сказать, счастливцев водил «моего» окуня, я его прикормил и приучил плавать здесь, — а он попался пришлому человеку, который случаем набрел на чужое хорошее место.

Я не сводил глаз с рыболова. Окунь тянул вглубь все удилище. Старик одной рукой держался за береговую выступ, боясь упасть в омут, а другую, насколько был в силах, погружал в воду и легонько сводил рыбу с прямой натяжки на кривую. Рукав до локтя вымок. Черная засаленная кепка лезла на глаза. Руки заняты, секунда оплошности, слабина лесы, — и рыба пропала.

Я бы помог всякому другому любителю. Но лезть к заядлому охотнику — это испортить ему всю сладость единоборства в случае победы и вызвать несомненную ярость его при неудаче. А старик походил именно на такого свар-

ливого одиночку-недотрогу. Да втайне я ведь чувствовал и обиду. А где-то совсем в глубине, помимо моей воли, жило злорадство, и я хотел промаха сопернику.

Окунь неистовствовал. Он могуче носился под водой, кидался то к берегу, то в осоку, то шел прямо вглубь, опасно натягивал лесу и выпрямлял удилище в стрелку.

— Два кило, не меньше, — вдруг выкрикнул старик.

Голос обращался не ко мне, ни к кому, он лишь выражал ход тайной мысли. Он уже как бы видел окуня после лова и на-глазок прикинул его живой вес.

Старик изловчился. Вдруг откинулся весь назад и сбросил кепку. Седые кудряшки были последними на этой круглой, красивой голове с темноватой кожей.

Я подумал, что старик чем-то неизяснимо приятен и, конечно, безмерно упорен и настойчив. Он с завидной ловкостью не давал обмануть себя окуню, предупреждал каждый его стремительный бросок, уменьшал и уменьшал круг движения рыбы, отведя ее подальше от осоки на безопасную глубину.

Но и через полчаса мы еще не видели, а лишь предполагали, что в темных недрах носился великан. Состязание так увлекло меня, что я забыл о собственной ловле.

Рыбак поднял окуня со дна примерно через час. Огромный полосатый красавец всплыл, высоко всплеснулся, еще долго выбрасывался и гонял взад и вперед, не раз скрывался в глубину, а все-таки сдавал.

Лицо старика добрело, чем ближе он подтаскивал к берегу утомленного противника. Как будто рыбак уважал его за отчаянное мужество, с каким тот защищал свою вольную жизнь. И вот окунь — пленник.

В осоке оказалась корзинка-сажалка с откидной крышкой, которую я до этой минуты не заметил; рыбак вытащил ее. В корзине забарабанила, запрыгала рыба. Сквозь дырочки плетенки стекали чистые и веселые струйки воды. Старик осторожно и бережно держал на

воздухе трепещущего в руке окуня. Я негодовал на захватчика и похитителя «моего» улова. Еще обиднее было бы открыть рыбаку-кукушке, что он ловил над моим мешком с лакомой привадкой. Пусть сегодня я неудачник, но завтра, послезавтра старик уедет, и я свое возьму!

— Утро всегда оправдывает себя, — сказал рыбак, — плотичка в жоре, попалося довольно, а окунек редкостный.

Может быть, теперь на старика напала словоохотливость, он желал разговаривать со мной, обращался ко мне, хотя и не глядел, но я-то не хотел слушать размягченного удачей победителя. И мы разошлись.

Я отошел к самому краю свободной осоки. Закидывал без толку на одну удочку. Не дернуло. Мне не сиделось. Та же участь постигла меня на перекате.

Вдали прогрехотал дачный поезд. В сквозной и ясной чистоте воздуха над качающейся рощей поднялись белые ключья дыма, похожие на расстеленные заячьи шкурки.

И снова все стихло.

Я объяснил свои неудачи поздним временем, несколько выуженных мелких рыбешек чуточку меня приободрили. Всякий успех, даже призрачный, затягивает охотника, — и я бродил по реке с места на место в поисках счастья.

Я бормотал ругательства по адресу удачливого рыбака и то-и-дело завистливо поглядывал на него.

Старик скинул ватный пиджак, остался в коротенькой серой фуфайке, повязал голову белым платочком и старательно занимался своим делом.

Сегодня старику на-редкость везло. Вопреки всему — и поздно, и слишком знойно разгорался день, и рыба тогда просто гуляет по мелкой воде, отказываясь от пищи, — у старика хватало на жерлицы, он брал щук, таскал на удочку и частенько опускал в корзинку добычу.

Рыба сегодня в Нуроме изменила всем своим привычкам: точно бы собралась вся в омуте на глубине и забыла о приближении мертвого неклевого пол-

дня. Мне попадалась одна мелкая дрянь, сосед же извлекал крупную рыбу, — и меня опять потянуло к нему.

Я попытался пересилить себя, так как старик понимал же мое рыбацкое состояние, непоседливость выдавала меня, но я все же скоро оказался у предоставленного мне незначительного островка осоки в верховьях омота.

Рыбаки, даже хорошо знакомые, молчаливы на лове. Этого требует самое дело. Рыба слышит лучше, чем видит или чувствует запахи. Да и каждый из рыбаков так внутренне переполнен своей страстью, так в себе сосредоточен, что общение с другим просто излишне. Оно становится необоримой потребностью на отдыхе у костра, в часы безделья, ночного ожидания рассвета и начала клева.

Мы молчали: старик — из сожаления ко мне и, может быть, из боязни показаться снисходительным победителем перед несчастным неудачником, я — по злобе на старика.

Солнце всходило все выше и выше. Словно накалялась не только земля, но безоблачная синь, и солнце было уже во все небо. Это огромное солнце неистово сияло над нами, дрожал и переливался искрами воздух, как стремительная вода на перекате, никла осока, обжигал песок, палило спину, и вода, капающая на руки с вынимаемых лес, была теплее тела.

Неподвижно замерли поплавки. Перемена насадки ничего не давала. Солнце прокалило верхний пласт воды. В нем задохнулась рыбка на жерлицах. Они повисли безжизненно, как и снулые живцы. Донки не шевелились. Зной сковал землю, загнал в норы, в травы и под камни рыбу, и реча омертвела, точно ненаселенный колодез.

Внимание старика рассеялось. Он устало зевнул и вкусно потянулся, сладко зажмуривая глаза. Он достаточно обогатился за утро. Он сходил в кустарники за дровами, укрепил на палке чайник, подкинул в кострик горячего и задымил.

Рыбак равнодушно отвернулся от реки и больше не взглянул на свои снасти, как будто ни то, ни другое его ни

когда не занимало, а шел он долго по жаре, остановился отдохнуть, кстати решил подкрепиться и выпить чаю.

Старик полеживал себе на брюхе и, будто маленький, болтал разутыми ногами. Сапоги, тщательно вымытые, он воткнул на два вбитых в землю высоких колышка: сушил на солнце. В ожидании, пока закипит чайник, рыбак скусал замеченный мною раньше ломоть хлеба, повторил, достав другой из мешка, заправился тройкой яичек и закурил трубочку.

Разморенному жарой и отравленному неудачей, мне не хотелось двигаться, и я лениво сучал на солнцепеке. Я был достаточно близко, чтобы разглядеть моего молчаливого соседа.

Он, наверное, еще жил полной жизнью и не чувствовал своих лет. Плечи сбиты крепко, широченная выпуклая грудь, прикрытая белой рубашкой с открытым воротом, руки в упругих живых мышцах; темнокрасная, гладкая, без морщинки, будто у молодого, шея и совершенно медное от солнца лицо с лукавыми, большими синими глазами под седенькими острыми бровями.

Здоровья старику отпущено было так чрезмерно много, что как будто оно кричало о себе, выпячивалось, обладатель его выступал самонадеянным, чуть-чуть ограниченным, — словом, он раздражал.

Старик кончил трапезу и чаепитие, разостлал свой брезентик, подложил ватный пиджак под голову, покрыл ее фуфайкой и улегся соснуть. Я видел голые, здоровенные ступни. Короткие пальцы до смешного напоминали молодой мелкий картофель, — и я улыбнулся.

В полдень пришла ко мне восемнадцатилетняя сестренка Варя и принесла завтрак. Я рассказал ей о всех моих мытарствах и показал на спящего.

Варя при виде его нагих лап так звонко расхохоталась, что вдруг старик с большой живостью приподнялся на локте, взглянул на нее из-под ладони, что-то пробормотал и прикрыл ноги капкой.

— Я пойду к нему посмотреть рыбу, — задорно сказала Варя.

Я удерживал и старался напугать ее грубостью рыбака. Варя упорствовала.

— Хочешь, я скажу ему про твой мешок и потребую половину улова?

Я с неловкостью и тревогой следил за легкой, уверенной походкой Вари. Я ожидал самого худшего. Она разбудила старика, и он высунулся из-под своей фуфайки.

— Можно взглянуть на вашу добычу? — свободно и весело спросила сестра и сорвала осоку, по всей вероятности, от внутреннего смущения. — Мне брат сказал, что вы его побили на все корки и, кажется, весь омут забрали себе в корзину...

«Зачем она болтает, что не нужно?» — поморщился я и покраснел, ожидая негодующей вспышки старика. Такая глупая назойливость Вари редкого из рыбаков могла бы расположить к иному: показывать рыбу, как делиться с соседом наживкой, это — дурная примета. Старик остолбенело уставился на сестру, словно собирался с силами, чтобы выругать ее.

— Вы лежите, — продолжала Варя, кусая осоку, — корзина ваша мне не в диковину — у брата такая же, и я лажу в нее, как в мой ридикюль. Рыба уцелет.

И Варя, не получив согласия, смело шагнула ближе к сажалке.

Рыбак наблюдал, как мне показалось, ошеломленными глазами. Сестра подходила.

— Дева, дева, остановись! — вдруг вскочил старик. — Лучше уже я сам до стану.

Он подхватил корзину, далеко отнес ее на берег, вывалил и одобрительно похлопал Варю по плечу. Сестра с визгом присела.

Большая серебряная груда на мгновение замерла и внезапно рассыпалась. Посверкивая на солнце, извиваясь, высоко запрыгала бель, полосатые щурята и щучки сначала поползли и свернулись колечками перед прыжками, грузно раскидывая мелочь, — подбросился красноперый горбатый окунь, тяжело шлепнулся и раскрыл огромный рот.

— Коля, Коля, — тяжело дыша, звала меня Варя и махала рукой. — Скорее, пока они не упрыгались.

Старик, радуясь восторгу моей сестры, повторил зов Вари, — и я то-ропливо побежал.

— Ну, хорошенького понемножку, однако, — сказал рыбак, едва я поровнялся с ним, — до Москвы рыбке ехать далеко, пускай подольше поживет в своем водяном отечестве.

Варя опять подкупила его. Она проворно подставила корзинку и ловко помогла убрать. Я не успел протянуть руки. Сажалка погрузилась.

— Ходите каждый день, — засмеялся старик, приветливо и с лукавостью поглядывая на сестру, — от всех прячу, как от дурного глаза, а вам стану показывать: обхожденье знаете с рыбой.

Он стоял рядом с ней, сильный, медный и босой, как огромный памятник, на который снизу вверх смотрела маленькая, худенькая, в легком белом платье, смелая и решительная девчонка. Они понравились друг другу.

Через минуту Варя называла его Денисом Ивановичем, а он величал ее Варюшей. Зная мое любопытство и сопернику, сестра сейчас же выведала, что Денис Иванович Черепухин приехал на три дня, обловится досыта, доделает какие-то дела в Москве и через неделю явится снова.

Денис Иванович позевывал, хотя и разгулялся от разговора, поймал случайный взгляд Вари на остывшем чайнике и решил ее угощать.

— Сосните перед вечерним клевом, дедушка, — прервала его, посмеиваясь, сестра, — мы вам не будем мешать. Чай за вами. В следующий раз непременно будем пить вместе...

Мы дошли до качабровских сосен, взобрались на камни и посмотрели оттуда. Денис Иванович улегся. Он почти сливался с землей, только белая рубашка резко выдавалась на зеленом и на солнце.

II

Весь день парило. Зной с каждым часом усиливался. Обманул ветерок, ко-

торый было подул, но скоро стих. А после нескольких свежих волн, принесенных ветром, все замерло.

Воздуха не доставало даже на тенис-той террасе. Мы томилась на ней полуголые и мокрые. Я расположился прямо на земле, но и под яблоней не нашел нужной прохлады.

Жара душила. Раскаленная почва подергивалась желтоватой мутью. Над прудом, свистя, носились стрижи. Где-то назревал дождь. Надо мной подшучивали домашние. К четырем можно было уже уходить, но не сегодня. Пёкло к вечеру становилось изнурительнее полуденного.

— Он там сгорит, — вспомнила Варя о Денисе Ивановиче, — и рыба у него протухнет...

С большим опозданием, когда немного полегчало, и солнце прикрыла серая гарь, мы опять оказались вместе с Черепухиним.

Жерлицы и донки Денис Иванович перенес далеко влево, и вся осока вправо с заливчиком освободилась. Около старика лежала охапка молодой зеленой ивы, освобожденной от листвы. Он что-то бубнил себе под нос и, как художник перед полотном, заглядывал то с одного бока, то с другого на свою работу. Старик плел вершу.

Не собирался ли он в отъезд? Постель была прибрана, снят чайник с колышка, уложена заплочная сумка, исчезла фуфайка, ватный пиджак лежал неподалеку рядом с сапогами. Все это, собранное вместе, легко схватить и понести.

Я слишком поторопился с догадкой. Денис Иванович просто приготовился к дождю. Под крутым берегом была вырыта пещера. Песок осыпался со стенок от ветра, но все же в дыре спасались от непогоды. Старик не тронул готового, а спрятал дрова в новой ямке, выковыряв ее по соседству с пещерой. «Где же его корзина с рыбой?» — подумал я, глянув на осоку. Я не нашел палки, к которой привязывался бечевой черепухинский садок.

— Попробуйте, — сказал насмешливо Денис Иванович, — одни люди бы-

вают счастливыми, другие несчастными.

— Не берет?

Старик доплел молча звено, полюбовался, похлопал ладонью по нóроту и прищурился на меня.

— А я и не начинал... Не пошевелит. Рыба ненастье чувствует, как стариковские кости.

Вряд ли Денис Иванович не поудил, прежде чем занялся плетением, и совсем неправдоподобно, чтобы у крепыша болели кости, предвещая непогоду. Он внимательно посмотрел, и я заметил во взгляде некую затаенную против меня мысль.

— Вы в заливчике, — уронил он, отводя глаза, — давеча там шибко бился шереспер... Я сам не мастер за этим конем охотиться...

Я пожалел о захваченном у меня по-прежнему лучшем урезе травы и раскидал удочки в осоке.

— Тяните, тяните, — добродушно покрикивал Денис Иванович при перемене наживки.

Он стал серьезнее, едва я изловил тройку рядовых увесистых плотиц. Наступила моя очередь веселиться.

— Должно быть, Денис Иванович, — сказал я, — вы мало-мало оставили в омуте на развод... Попадает...

Старик вознамерился оставить вершу, отложил ее на миг, но передумал. Он показал пальцем на заливные луга, где как-то все начинало блекнуть, и вяло ответил:

— Что будет после грозы... Покуда наживайтесь в одиночку, сам-друг примемся попозже. У вас взяла дурова... Должно, только нынче выметалась, оголодала, с голодухи не приходится разбираться в погодах.

Он, с хитринкой поджимая губы, быстрыми и умелыми руками округлил бочок норота. Однако через некоторое время осмотрел свои удочки и негодовал, не видя поклевки.

— Хотя сам ешь, — грустно поделился он со мной, — такая лакома на крючке, а пренебрегает.

Действительно, только три плотвы меня и побаловали. Я осторожно пробрался осокой к заливчику. У самого

берега проплывала небольшая стая голубей, поворотила и опять прошла мимо. Ее сменило несколько красноперок. А следом за ними, точно из подводных береговых нор, появилось большое стадо средних окуней. Все видимое пространство заливчика стало зеленовато-золотистым и полосатым. Рыба искала прикормку.

Я просидел тут долго, бесплодно, употреблял всю свою ловкость и, чем дальше, тем сильнее раздражался. Рыба меня положительно изводила. Каждая закидка связывалась с надеждой. Ни одна наживка не оставалась нетронутой, червяки неизменно об'едались, поплавок мелко-мелко танцевал, как дрожит листок от легкого ветра, поплавок даже внезапно окунался, — и промах следовал за промахом.

По клеву нельзя было определить, кто издевался надо мной. Когда дергают напрасно, часто сваливают неудачи на мелочь; она густо обступает крючки, не подпускает крупную, сама забрать насадку не может и портит ее. Денис Иванович видел мои бесполезные усилия.

— Шереспер есть? — крикнул он. — Помогать надо?

Я ни за что не хотел отступить.

— Будет.

— Ну, тогда позовете.

Я нарочно ответил громче, чтобы поверить — подействует ли мой крик на рыбу, разбежится она или не обратит внимания? Заливчик взбурлило от кинувшейся в разные стороны верховой рыбешки, но без всякого промежутка поплавок тряслись, червяки обкусывались ровно и аккуратно по жало крючка, а без хвостика их рыба не трогала.

Денис Иванович сплел уже много, пока я отчаянно и бесполезно дергал.

— Смотрите, какая надвигается! — услышал я возбужденный и странно радостный голос Черепухина. — Полнеба охватила...

Вода в заливчике была той же по цвету, но уже за осокой она поголубела, а на перекате словно ее сильно подсинили. Одна окраска сменяла другую. Река становилась зеленой, коричневой,

серой, стальной, колера перемешивались, точно на палитре, шли пестро и причудливо от струйки к струйке.

— Гроза нужна, — сказал опять Денис Иванович, — поля сохнут, и нам барыш.

Предгрозовая тишина становилась тягостной. Облака сваливались ниже, все как будто приседало перед ними, с заливных лугов навстречу им вдруг откуда-то взялся густой смрад, он явственно курился в разных местах и постепенно расплзался во все стороны. Солнце скрылось, и сразу потемнело, как в сумерки.

— Не прошла бы стороной! — с сожалением выкрикнул старик, все мысли которого теперь, видимо, захватила гроза. — Нет ни грома, ни молнии. Только заоблачивает и заоблачивает...

Денис Иванович не получил ответа. Я не поверил своим глазам; при самом почти незаметном клеве наугад дернул и задел. По тяжести в руке не трудно было догадаться о размере рыбы. Клынул подлещик немного меньше кило.

— Какова мелочь? — торжествуя спросил я у старика, поднимая высоко рыбу.

Он помолчал и недовольно вполголо-са буркнул про себя, но я расслышал:

— Одолел через два часа самую незамысловатую...

Тучи набухли, почернели. За Качабровым протянулась как бы цепь огромных гор. Качаброво стояло у темно-голубой подошвы их и всякой своей избой, палисадником, кусточком вишен, мохнатой ветлой отчетливо выделялось, словно приблизились сюда, просквозило и сделалось просторнее.

В затишье глухо прогрехотал очередной вечерний поезд. Он вырвался из горного кряжа с окутанной дымом головой. Дым приземлялся, и поезд гремел, тревожно кричал, почти невидимый, оставляя за собой длинный мутный хвост.

К Качаброву пробежало мимо сосен и камней стадо. Его гнали трое подпасков, напуганных близостью грозы. Они торопились, чтобы скорее быть

под крышей, и почти обгоняли коров и телят, зря и часто шелкая плетями.

Наоборот, из Качаброва пастух Сергей, в сером дождевом балахоне, с коновязями через плечо, сидя верхом на молоденьком жеребчике, по прозвищу Шурка, угонял в луга колхозный конский табун. Может быть, тоже из-за грозы, в колхозе кончили работу раньше.

Пыль скрывает сосны и камни. Она рассеялась, и я увидел мать и Варю. Варя махала мне своей красной комсомольской косынкой, а мать рукой.

— Не пойдем, — засмеялся Денис Иванович, — мы непромокаемые, мы людем беспорядок на небе.

Он показал им полуоконченной вершей на Качаброво.

— Поняли, — обрадовался старик.

Мать и Варя пошли. Сестренка на палке несла над головой косынку.

— Чем не молния? — с какой-то особой добрятиной сказал Денис Иванович, провожая Варю глазами до качабровской околицы.

После счастливого улова я решил, что теперь присноровился к обманчивым клевкам и до дождя успею натаскать рыбы. Не тут-то было.

Вскоре заворчал первый гром.

— Вот это уже серьезное дело, — одобрил Денис Иванович, — где гром, там и молния.

Он встал, бережно отнес свое плетение к пещере, а в нее поместил весь свой скарб, даже чайник.

— Пора на привал, — позвал он меня, — сейчас разразится.

Старик начал устраиваться.

Молния уже полосовала за Качабровым по всем направлениям. Гром рос и не кончался. Вдруг сзади нас зашестели кустарники, резко дунуло, над головами пронеслась пыль, взлетела сухая трава, пух одуванчиков. Река со середины отхлынула к противоположному берегу, и туда начало заворачивать крупную рябь. Осока наклонилась до воды.

— Ястреб, — сказал Денис Иванович.

Впереди нас над заливными лугами кружила коричневая птица. Она лете-

ла легко, свободно, резко меняя путь, то возвращалась на старый, а то долго и настойчиво спускалась из-под облаков на землю по спирали. Вдруг ястреб убрал крылья и упал черной головешкой.

— Когтит! — воскликнул Денис Иванович и погрозил кулаком ястребу. — Пронес, стервятник.

Теперь птица летела над низинкой, часто махая крыльями и утратив свой грозный и мрачный вид.

— На ворону походит, — пренебрежительно бросил Черепухин.

За Качабровым что-то совершилось. В грозе и буре пошли черные горы, навалились на деревенку и раздавили ее, окутав столбами густой пыли. И все это кинулось на нас, зашумело, загудело, завывало, затрещало. В небе рвануло с такой бешеной силой и злобой, что берег начал осыпаться, — и сразу хлынул ливень. Я еле успел добежать до пещеры, где с подогнутыми ногами сидел, весь мерзая, Денис Иванович.

— Лей, лей, — звонко взывал он, — земля, она жадная, пить хочет, уморили было матушку...

Бурный океан воды застал перед нами заречье, небо. Нуром мелькнула в сероватом теплом потоке и пропала. Мы уже не видели нашего берега. Где-то над головой гремело, сверкала молния, перед глазами хлестал один непроливаемый ливень, — мир исчез. В норе было тесно и неудобно. Мы прижались друг к другу и не могли пошевелиться.

— Так, пожалуй, окаменеешь: ни тпру ни ну, — пошутил Денис Иванович, когда мы просидели довольно долго.

Я попытался отодвинуться, но только навредил и себе, и ему, и обоим нам стало еще хуже.

— Ах, ты, беда какая, — неуклюже заворчался и открыто застонал он. — Я же забыл о садке. От жары я его с камнем спустил на дно и чуть привязал бечевой к осочинке, только бы увязка была видна. Посеял рыбу: на-верное — тю-тю, ушла, унесло корзинку.

Отчаяние искажило лицо Черепухина. Вместо добродушного и приятного человека теперь сидело в норе озлобленное и жадное существо с выпученными глазами, равнодушными и к грозе, и к ливню, и ко всему живому и мертвому, кроме злосчастной живорыбки.

После дождя стало холоднее. Денис Иванович поживался в рубашке. Он потянул из-за спины ватный пиджак, ничего не вышло, приходилось вылезать вон, чтобы надеть его. Как только не бранил он свою несчастную страсть к рыболовству, а больше всего свою оплошность с бечевой!

Он энергично и суетливо двигал руками, показывая мне, как следовало привязать. Кстати, старик перечислил много своих, уже не рыбацких, пороков. Я узнал, что человек он — горячка, характер у него невозможный, нигде он за всю жизнь не уживался с людьми, десятерых хозяев переменял, прежде чем стал настоящим слесарем, избродил родину из угла в угол, будто бездомный бродяга, везде дрался, шумел и был мало бит.

Черепухин безжалостно называл себя первым лодырем на заводе, неудачным слесаришкой, издевался над своим бригадирством, объяснив случайностью долгое свое пребывание в должности, награды, знаки отличия, почет и трудовые чествования. Вдруг он замолчал и начал поспешно скидывать рубаху. На счастье, ливень немного утих, показалась Нурома, точно сквозь стеклянную отпотевшую стену, и ясно зазеленела прибитая дождем осока. В нее и нырнул голый Денис Иванович.

— Погибла, — сказал он, полуплача, беспокойно шарил, низко наклонялся, раздвигал траву, кудряшки его сразу размокли, и голова стала гладкая, прилизанная и очень смешная.

Он не нашел бечевы на берегу, влез в воду, нащупывая свое сокровище ногами. Буря все перемешала и передвинула, — осока отплыла туда, где ее не было, мутновато-желтоватые открытые заливчики появились там, где густо залегала трава. Денис Иванович бродил в незнакомом месте. Он забрел по

грудь, трусливо изогнулся, держась за пучок осоки, и горестно выкрикнул мне:

— Смехота, горе-рыбак, ведь плавать-то не умею...

На всякий случай я приготовился, поспешно раздеваясь.

— Да бросьте вы корзинку, — сказал я с досадой.

Денис Иванович посмотрел на меня с великим сожалением и молча шагнул глубже. Вода подошла к горлу. Я вытянулся, готовый к прыжку.

— Е-е-есть, — счастливо пролепетал синими губами Денис Иванович, — зацепляю большим пальцем... Вот, вот... Ох... надел... Гадючка, легла набок.

Он пошел к мели и осторожно поволок находку. Наконец, Черепухин радостно прыснул и воздел высоко обеими руками корзинку. Сбегали живые и плотные струи, рыба сильно качала садок и тяжело билась внутри: крышка была перевязана беленьким поясом. Денис Иванович приладил садок прочно на мелкотке, с вигзом окунулся, смыл налипшие травинки с тела и явился одеваться. Я заранее вытащил ватный пиджак и фуфайку. С трудом, но облачились. Сапоги Денис Иванович надел на босу ногу.

Гроза заметно утихала. Ливень шумел снова, но все короче, рывками. Тучи из черных стали пепельными, их отнесло дальше и дальше, а с ними уходил гром. Молния летала низко, как зарницы. Светлело. К Черепухину вернулось его благодушие. Он согрелся и даже разжег трубочку. Стали появляться люди. По той стороне к Севастьянову проскакал верхом колхозный пастух Сергей. В мокром балахоне под капюшоном он был, как в футляре. Денис Иванович весело покривил губы:

— Всадник без головы...

Дождь кончался. В один из последних порывов его над головами нашими затоптало, мы выглянули и, не сговариваясь, спрятались. По берегу бежали колхозницы с высоко подоткнутыми подолами. Пронеслись, не заметив нас. Каждая на горбу несла связку тонких ивовых прутьев.

— Плетут корзинки для кооперации в Нуромск, — сказал Денис Иванович, внимательно следя за женщинами.

Издали донесся дружный и радостный смех. Озорница-поводырь растянулась в луже, упав на свою ношу, и, дурачат, болтала ногами в воздухе. Другие обступили ее кружком, и на тропе как будто вырос большой куст. Черепухин задумался.

— Знаете, — вполголоса вымолвил он через некоторое время, все еще провожая женщин взглядом, — я нынче первого мая стоял у памятника Александра Сергеевича Пушкина и смотрел на народ. Идет его, идет, конца нет... Между прочим и баб, и девчоночек пропасть на Красную площадь прошло. Отвернулся я от соседа и чувствую, что нехорошо мне. Еще немного, и заплачу. Великое испытал уважение к женщине. Это она, страдалица-женщина, пустила в мир миллионы людей... Друг-рыбачок, работа-то какая — выносить под сердцем миллионы жизней, века недоспать над дитятей, покуда он оперится и сам без помочей пойдет. Труд несравненный.

Денис Иванович расчувствовался, захотел скрыть свое внезапное волнение и как-то ухарски хлопнул по голенищу:

— Вот тоже сапоги знатные: двадцать первый год ношу, не снимая по летам, а износу нет.

Мы еще недолго посидели. Все улеглось. Опять вышло солнце. Оно стояло по-летнему высоко. Земля, река, небо засверкали бесчисленными искорками, и бесчисленность их увеличивала каждая пролитая грозой капля.

— Благодать-то какая! — воскликнул Денис Иванович и расправил на голове седые кудри. — Сейчас просохнем.

III

После дождя мы оба оказались не в убытке. Не успела распрямиться осока, еще стекали ручейки с берегов, изрытых и вязких, желтая муть доходила до половины реки, казалось, не увидит рыба самого красного червяка, а она уж жадно начала клевать.

Плотва как будто насаживалась сама, — и мы удили весело и шумно, забыв о всякой осторожности. Сейчас она была излишня. Брало везде, в любом месте, словно мои полтора дырявых мешка разохотили рыбу к клеву по всему омуту. Пришлось ловить одной удочкой, иначе не успевали, рыба тянула с берега удилица, обрывала лесы, мы кидались из стороны в сторону и пропускали необходимое время для подсечки.

Близко к закату мы услышали частый топот. Напротив остановился пастух Сергей. Он осадил коня у самой береговой кромки, так что осыпалась в воду большая струя песка и скатилось несколько камней с бульканьем и брызгами. Для чего-то он и теперь не снял дождевика, только расстегнулся и спустил капюшон.

— После погодушки берет али омманывает? — высоким тенорком спросил пастух.

Черепухин тихонько засмеялся, косясь на него.

— Загони-ка лошадку в омут, вон туда, — ответил старик и показал вглубь, — вся рыба сгрудилась там. Скажи ей — дело вечернее, пора к берегам осоку кушать.

Сергей добросовестно вытянулся на коне и пристально уставился на указанную ему быстрину, потом усмехнулся, поняв шутку.

— Гляди, какие хватают! — крикнул Денис Иванович и поволок.

Он словно с невероятным трудом удерживал удилица, отпустил рыбу на всю лесу, изгибался, бестолково переступал на месте...

Всадник прижался к гриве коня, напряженный и неподвижный. Черепухин, наконец, одолел и, пятясь задом, медленно и бережно ташил. В последнюю минуту он не выдержал и захохотал.

— Ёршик... — разочарованно сказал Сергей и махнул рукой, берясь за поводья, — я думал, ты аршинную поддел... Рыбаки тоже...

Он тронул коня. Денис Иванович приподнял на леске прыгучую рыбку с вершок и показывал пастуху:

— Эй, парень, да ведь диковина на крючке — бычок с Черного моря. Не знаешь, как забрел в Нурому?

— Рыбаки знают...

— Чего мангию не скинешь?

— Девать некуда.

— Дай на подержание.

— Иди сюда...

Сергей стегнул, балахон его раздуло и понесло, лошадь пошла о двух гривах — черной спереди и серой позади. Денис Иванович хорошо знал пастуха. Оказалось, он встречался с ним года четыре назад, также бродя по Нуроме. Сергей пас в колхозе Вешенки, километров тридцать отсюда. Старик толково и уверенно, как о своем слесарном ремесле, рассказал о трудностях пастушеской жизни.

— Ох, мчит! — воскликнул Денис Иванович, когда колхозный жеребчик Шурка, пустив хвост по ветру и задрав непокорно голову, стремительно удалялся. Он мелькал в кустах, раздвигал их грудью, и ветки били по нему, точно подгоняя.

Черепухин отыскал в Сергее много талантов. Никто не умел так в меру замочить коновязи и надеть их без вреда для животного. Пастух управлял коровьим стадом и конским табуном в Вешенках, почти не употребляя плетей, щелкали одни подпаски, шая на привале, и то по Нуроме. Коровы и кони понимали голос и свист Сергея, бежали на ласковое слово и замирали при сердитом окрике. Денис Иванович замолкал и принимался снова хвалить пастуха. Животные у него и сыты, и здоровы, бока у них целы, все стадо, и табун, чистенькое, опрятное, веселое. Старик заподозрил во мне недоверие и клялся, что и оводов стало меньше от хорошего ухода за животными. Словом, Сергей был первым человеком в Вешенках, и дом каждого колхозника для пастуха — как собственный.

Должно быть, удачная ловля привела Черепухина в такое блаженное и благодушное состояние, что, не попадись ему на глаза Сергей, старик вспомнил бы о ком-нибудь из других своих знакомых и с тем же увлечением пове-

дал бы о нем. Он даже преувеличил в своем рассказе.

— Хитрый, хитрый, — подмигнул мне неожиданно Денис Иванович, — вы думаете, он зря заехал к нам? Нет, не просто. Дело бывалое. Рыбаки, рыбаки у кострика, а ночью качабровский табун гуляет, — как бы рыбачки не переметнулись в конокрадов или вредителей.

Денис Иванович подтвердил это вешенским случаем. Пас Сергей в сенокос. Колхозники кончили косьбу, пошли в деревню спать, косы оставили до утра у пастуха. Ночью крадутся к табуну пятеро. Сергей ткнул своего десятилетнего сынка-подпаска в бок и велит Васютке тихонько залезать на жеребчика и гнать в Вешенки. Парнишка наперерез ночным людям юркнул к ногам коня и снимает путы. Отец воров окликнул. Те вскочили и побежали на него. Сергей за косу. Узнал: бывшие вешенские кулаки и подкулачники. Убить Сергея теперь — одно для них спасение. «Васька, — крикнул пастух, — скачи!». Мальчишка — на жеребчика. Отец ему в догонку фамилии злодеев. Парнишка «Ладно!» орет и скрылся. Сергей машет косою и отбивается. Двоих поранил, третьего настиг у коня и сильно подсек, лошадям свистнул в угон, те заковыляли, не шибко, а все-таки подальше от побоища. Кулаки успели зарезать одну кобылу да пырнули в бок ножом Сергея. Он свалился без памяти. Васютка тем временем поднял Вешенки. Табун встретили в прогоне: кони и без поводыря нашли правильную дорогу.

— А вы говорите... — недовольно протянул Денис Иванович, охваченный воспоминаниями.

Правда, я ничего не говорил, а только слушал, любуюсь оживленным и добросердечным стариком.

Я иногда просыпался под пастушескую раннюю свирель, и раз в какой-то праздник вечером слушал, как в колхозе под сергееву дудку плясали и пели песни. Денис Иванович объяснил мне, почему ушел из Вешенок Сергей: кулаков взяли не всех, остались скрытые, они несколько коров потравили,

пошли неприятности, кто-то из колхозников сгоряча укорил пастуха. Пастух обиделся и променял Вешенки на Качаброво.

Солнце недолго постояло над освещенной ливнем землей, но уже заметно ее обсушило. Песок становился золотистым. Закатываясь, солнце смотрело через низенький кустарник позади нас на высокую стену Селивановского обрыва. Она была яркокрасная, как клюквенная. Нежно-алым дымком упал на омут отсвет от нее. Такие же кровавые мазки, похожие на пушистые метелочки, лежали кое-где по всей Нуроме. На вечерней заре вылетели мошки, бабочки, жучки. Насекомые толклись над рекой, садились на воду и поднимались, падали в нее и не могли взмахнуть подмоченными крѣльщиками. Прозрачная от заката вода выдавала их, — и рыба жадно кинулась со дна на ловлю.

— Пошло, — проворчал Денис Иванович с умильной улыбкой, — хозяин рыбам корм задает..

Мы старались определить по плеску, какой рыбы было больше всего в омуте. Закат окровавил огромный край неба. Чем-то тревожным, почти зловещим веяло оттуда. В последние минуты перед заходом побагровела и земля.

Чувство беспокойства, опасности, чувство неизбежного увядания дня и наступления ночи невольно охватило нас. Закат сулил на завтра ветер. Пока же такая благостная тишина опустилась над заливыми лугами, над омутом, над береговыми ивами и ветлами, над осоккой, чуть колеблемой течением, что как будто мира не было, и он лишь снился нам, красивый и беззвучный.

Проловили дотемна, постепенно сматывая удочки. Я отстал от Дениса Ивановича при всей моей удаче. Старик наловил втрое больше меня, и рыба у него была крупнее. Не хотелось уходить от него. Он уже хлопотал с чайником. Дрова не подмокли. Скоро вспыхнул ясный и ровный, как в комнате, огонь, и костер затрещал.

Я прилег возле своих снастей, глядя в жадное, веселое, теплое пламя.

Где-то заржали кони. Долго слышался мягкий и частый топот, замирая вдали. В Севастьянове скрипел колодезный журавель, и, должно быть, около колодца шумели и хохотали женщины. В какой-то деревеньке за Качабровым заливалась тонкоголосая собачонка. В самом Качаброве пилили дрова, и пила визжала, будто за соседним кустом. Светили звезды и перемигивались с нашим костерком.

Темной ночью мне не спится.
Сама знаешь, почему, —

вдруг запел вполголоса Черепухин старинную народную песню. Спел куплет и, захлебываясь, долго смеялся. Потом засыпал чай в кипяток и снова занялся:

Вспомни майский теплый вечер,
Шли купаться мы с тобой,
На желтой песок садились,
Мылись свежою водой.
Вдруг несчастье случилось —
Унесло дружка волной...

Даже не понять, чем мы так развешилились? Не грустной же старой песней? Просто потому, что нам было сейчас хорошо на земле.

Денис Иванович начал закусывать и заставил меня с'есть вкусное холодное яйцо. Почему-то сам его облупил, разрезал, посыпал солью и подал на тоненьком кусочке хлеба. Скорлупу он швырнул в реку и сразу нахмурился и следил, покуда она не утонула.

— Рыба с утренней зарей обступит, — проворчал он и вздохнул, — а если в Нуроме не все перевелись раки, давно их не видно, они растащат по своим норам.

Денис Иванович начал расхваливать Вешенки:

— Место чудное, подряд лет двадцать туда ездил, а пришлось оставить. Новая власть чудных домов отдыха настроила. Наш завод тоже обзавелся своим помещением. Пошли гулянки, катанье на лодках, пляжи. Глушь с'ели, это хорошо, нельзя же одному Черепухину с тремя удочками такими угодьями владеть, а все же лов пал. А главное не лов — люди пришли, отдохнуть

негде. Не люблю тащить при народе: я ж не для показу сижу на берегу, я ж не фокусник.

Утром я должен был по делам ехать в Москву. Вернулся я на другой день вечером. На захудалом качабровском полустанке я увидел Дениса Ивановича, собранного по-походному. Он сидел на зеленой скамейке, привалясь на свою заплечную сумку, и дожидался поезда.

— Вы с собой весь клев увезли, — сказал он, когда я подошел к нему. — Как замороженная, не брала. А старую рыбу сгноил наполовину. Пришлось потрошить и солить.

Посидели недолго. Подходил уже поезд. Денис Иванович заторопился.

— Когда же снова будете? — спросил я, смотря на беспокойную суету старика. В глазах у него было такое выражение, словно он не верил, что успеет сесть в поезд.

— Не люблю загадывать, — уклонился он, — мало ли что... Живы останемся, приедем... Думаю, увидимся...

Я с улыбкой слушал суеверного Дениса Ивановича, у которого мог занять здоровья любой из пассажиров на полустанке.

Старик залез на площадку, тотчас успокоился, начал светло и радостно усмехаться.

— Вот мы и дома, — пошутил он и хитро стрельнул глазами, — Варюша вам расскажет про мои горя. Мы с ней вдвоем рыбу обманывали, а она нас.

Мне был сделан подарок: баночка с червяками. Денис Иванович настаивал, чтобы я непременно ловил на них. Утром я попробовал, и мой улов резко пошел в гору. Ни на какого другого червя не клевало.

В блужданиях своих по подмосковным местам Черепухин наткнулся на свалку около одной шерстяной фабрики, нарыл здесь червяков, и с тех пор ловил только на них. Старик ехал сюда из Москвы за сорок километров, нагружал свой продолговатый мешочек из редкого холста «шерстобитами», как он их называл, и только тогда отправлялся на рыбалку. Действительно, они чем-то прельщали рыбу. Я тоже удач-

но пользовался ими. В самое бесклевое время «шерстобиты» выручали.

IV

Рыбаки Качабровским прудом пренебрегали. Прошла слава, что рыба оттуда пахнет тиной. Иногда плавали по пруду ребята на двух маленьких плотах. Гнилые доски еле держали и тоннули, но ребята приспособились и благополучно удили всякую верховую мелочь. Юные рыболовы недолго шалили и меняли место на другие качабровские раздолья, бабы полоскали белье, — и опять на пруду безлюдье и безмолвие.

И вдруг нагрянули колхозники. Колосилась рожь. Начиналась терка линей. Дней десять, не смущаясь никакой погодой, в густом летнем мраке полуночи колхозники мешали нереститься рыбе. Где-нибудь в гуще горошника в верхней части пруда молчаливо двигались люди по грудь в воде и тихонько вели сеть.

После отъезда Дениса Ивановича я однажды погнался за стрекозами для наживки на головлей и забрался в заросли оврага. Здесь я наткнулся на хорошо спрятанные в кустах две верши. Старик успел их сплести в мое отсутствие. Я вспомнил о нересте линей и пожалел о бесследно пропавшем Денисе Ивановиче. Очевидно, он готовился к добыче на пруду и опоздал.

Дня через три, как обычно, я рано проснулся и начал собираться на промысел. Неожиданно выдалось туманное утро. Туман был так густ и бел, как осенью, только теплый. Некоторые рыбаки верят, что туман на пользу ловле, другие оспаривают. Я ходил в туман и в ясные утра. Удачи перемежались.

Я вышел через калитку к пруду. Огромная качабровская долина в зарежье и самый пруд исчезли. Даже тропка на нашем бугре, посыпанная мелко битым кирпичом, подобная яркочерному полотенцу, в двух шагах уже была не видна. Туман беспокойно колыхался, завиваясь в огромные клубы.

Я спустился ниже к воде. Здесь стало немного шире взору. Неясными пятнами выступали пловучие островки ненюфар, зеленые круглые блюда острой горошницы, пучки усатого тростника и всякой водяной травы. В полбе на противоположном берегу я сначала заметил странное явление — шли одни ноги до колен, потом они пропали, взмахнула рука, которая несла нечто вроде огромной бутылки в плетенке из прутьев, и, наконец, появился голый человек. Денис Иванович ставил норота.

Нет, он не пропустил время! Черепухин раздвигал камыш и заламывал вершинки для отметки, куда погрузил норот, перетаскивал его дальше, долго бродил вокруг, изучая дно, наконец, выбрал место, — и тогда уж завязал из камыша узел, продев в него красную тряпочку.

Денис Иванович выскочил на берег. Как ни был я доволен, что со стариком все благополучно, но, когда он понесся, сломя голову, звучно чавкая бегущими ногами по топкой земле, к своему одеянию, чувство приятности от встречи с Черепухиным мгновенно сменилось противоположным. Следовало обогнать соперника: он посягал опять на мою приваду в омуте. Я поспешил.

Летний туман недолог. Солнце справилось с ним быстро. Земля выходила из тумана в сверкающей росе. Я поглядывал на открытую до Качаброва тропу. Старик промедлил. Я успел добраться раньше. Успокоенный, не заметил его приближения и оглянулся только на шорох.

Денис Иванович с лукавой улыбочкой стоял позади. Рубаха с открытым воротом и без пояса, коломьянковые штаны с заплатками на коленках, кудряшки на голове, — все это знакомо мелькнуло в глазах. Босой, он держал за пестрые ушки сапоги, из голенищ торчали два мягких и темнозолотистых хвоста линей.

— Николай Дмитриевичу Свяги́ну, — почему-то возгласил он полный мой титул, — почет и уважение! Клев на уду. Как у вас, а мы обрыбились...

Он помахал сапогами. Хвосты встрепнулись, оставляя на голенищах липкие пятна.

— Думал, ничего не выйдет, — сказал Черепухин с удовольствием, — нынче ночью приехал, в овраг сбегал, два норота закинул, соснул малость, — и вот опочинился. Пришлось в сапоги — корзины не захватил. А линь какой: восьмилеток, на два кило каждый. Правда, только парочка таких...

Он спустился ко мне и опрокинул сапоги голенищами вниз. Рыба высыпалась не вся, и ее пришлось доставать рукой, отдирая приставших к коже мелких линьков.

Живучесть линя беспримерна. Освобожденные из темницы, в которой они сидели давно, сунутые туда, как попало, они сразу затрепетали на мокром песке. Зеленовато-золотистая грудка, блестящая, с приторным липевым запахом, вызывала какое-то сожаление. Вдруг стало грустно, что эти добродушные, мирные и очень красивые лини пойманы и должны умереть. Брюшка их были вспучены от негодетанной икры. Когда рыба билась, икра заметно извивалась внутри, словно от боли. Лини тяжело дышали и странно, и жалко, и неподвижно глядели круглыми глазами, красными, как яркие бруснички.

— Покуда я хожу за своей, можно моих пленников положить в вашу сажалку? — попросил Денис Иванович. — Пускай глотнут водички и очухаются.

Я был рад убрать их скорее. Черепухин бодро зашагал, подвернув замоченные росой штаны; в радости от улова раньше он этого не сделал.

Старик ушел и пропал. Я переменял наживку на донках, неспеша вернулся: ленивый клев рождает неповоротливость и зевоту. Вдруг сапоги, поставленные Денисом Ивановичем ушками кверху и прислоненные один к другому, зашевелились и упали в разные стороны. Я вздрогнул и, морщась, с трудом, вынул из самой колодки втиснутого туда линя. Вскоре, весело нахвистывая, явился Денис Иванович со всем своим обзаведением и раскинул стан поблизости.

— Кто у кого отбил место? — засмеялся он.

— А как вы думаете? — спросил я.

— До нынешнего не думал...

— Зато я давно решил...

Он меня прервал:

— ... что Черепухин приезжий налетчик? .

— Да.

— Эге, батенька, как вы скоро решаете! Да я эту осочку обшаривал еще тридцать лет назад, когда и вас не было на свете, да и рыбы теперешней, разве щука какая дожилась с той поры.

Он отвлекся вытаскиванием клюнувшей рыбы. Я напомнил старику о линиях. Он не захотел их пересаживать, жалея лишний раз вытаскивать из воды.

— Если не мешают вам, пускай плавают. Не спутаемся.

Они, конечно, мне не мешали и остались. Мы молча ловили.

— А прикормка-то тут в аша положена? — неожиданно удивил меня Денис Иванович.

Он, оказывается, знал.

— Не глядите так сердито, — сказал старик, — налетчику все прощительно. Номера на воде не поставишь. Кто первый пришел, тот и хозяин. А я из-за вашего мешка едва лучшую леску не погубил. Закинул и задел. Еле отцепился. Неизвестного мне человека поблагодарил, своей расправенной ржицы подкинул и снова мешочек не работу отправил. Теперь не сяду. Ха-ха. Лучше бы мне не знакомиться с вами, тогда место мое. Придется старику мечтать, когда унесет вас в Москву за каким-нибудь делом.

День начался весело. Старик приехал в каком-то особо радостном настроении. Я спросил, почему он застрял. Денису Ивановичу понравилось, что о нем помнили. Он долго и охотно ругал заводских заправил, которые его не отпускали. Ругал он незлобиво и, часто фыркая, подтрунивал над собой и над ними. Старик немного рисовался, строя из себя обиженного. Между шутливых слов проскальзывала правда: бригада Черепухина избаловала всех аккуратностью в работе, перед самым уходом в

отпуск бригадира артель начала отстаивать. Но Денис Иванович чуть не пропустил терки линей, а вышел с честью из прорыва. Теперь он освободился на месяц, отработал вечернюю смену — в обед собрал все необходимое — и с последним ночным поездом выехал.

Буйное ощущение свободы било из Дениса Ивановича. Оно выражалось в его ликующем голосе, в сверкании молодых светлосиних глаз, в неугомонной суете. Старику не сиделось, он бродил с места на место, возня с удочками была порывиста и часто неудачна, его оставили и расчет, и сметка, — он просто шалил и забавлялся, как это возможно только в счастливой юности. В конце-концов Денис Иванович совсем по-ребячьи принялся удить внахлыст уклею.

— А червяки мои себя оправдали? — закричал вдруг Черепухин, вспомнив о своих «шерстобитах».

Он подсел рядом, отбросил уду и набил трубочку; старик отдыхал. Он ничем не хотел заниматься, даже ужением. Светило горячее солнце. Изредка наносило с полей слабый ветер, душистый от травы и цветов, нас нежно и приятно опаживало, и белые кудельки Дениса Ивановича дрожали, как и осока у наших ног. Медный старик не боялся сегодня солнца, не прикрывал голову, стремился загореть еще больше.

Чуть-чуть журчала Нурома. Течение несло и кружило листок ветлы, похожий на зеленый язычок. Вспыхивал серебряный бок рыбешки в глубине. Мир и тишь. Денис Иванович дымил трубкой и следил за движением тонкой струйки табака.

Так в разговорах мы просидели несколько часов. Переговорено было много, обо всем, что приходило на ум. Все переплеталось, не мешая одно другому. Чувства наши были переполнены. Мир сейчас существовал для нас двоих, Денис Иванович без-умолку рассказывал, что довелось ему испытать в скитаниях по земле с ее реками, озерами и прудами.

Около полудня произошла пересадка линей в живорыбку старика: я собирался домой. Денис Иванович оставил

в моей корзине одну из крупных рыб и, как я ни отказывался, настоял на своем.

— По-братски, по-братски разделим, — упорно твердил он, — обижусь, если не возьмете. Пусть Варюша испечет пирог. Луку, луку вдоволь! Настоящее лакомство. Уха из линя тоже сладкая. Лук тинку отбивает.

Денис Иванович спрятал в кустах вещи и удочки, с камнем погрузил на дно садок и отправился вместе со мной проверять норота. Я дожидался, пока он лазил и осматривал: пусто.

— Прудик-то Качабровский занятый, — нисколько не огорчился он, шумно бредя к берегу, — годов пятнадцать тому назад в этом же поле я на ночь норот кинул, утром являюсь, а норота и след простыл. Уж я вора какими только словами не обозвал. Вечером иду смотреть второй капкан для линей, а норот-то — на середине. За двугривенный ребята сплавали. Еле еле приволокли: полон. Два с лишним пуда набилось. Линь в нороту беспокоился, толкал его, ну и покатались.

Денис Иванович помчался к Севастьяновскому омуту, чтобы бродячий человек не наткнулся на брошенную рыбацкую одежду и не унес ее.

Я выглянул на старика из нашего садика. Черепухин вышел на открытое место, откуда увидел бы всякого опасного прохожего, и сбавил шаг. Денис Иванович внезапно привскочил, будто его ужалила змея, и широко взмахнул рукой. Потом на-бегу стянул рубаху и за кем-то побежал. Я понял: старик собирал бабочек для ловли в проводку на быстром перекате.

V

Каждый лишний день нас все больше сближал.

На меня иногда находило отвращение к рыбной ловле, особенно после длительных удач, когда не знаешь, куда девать рыбу. Неудачи действовали наоборот. Они разжигали страсть, — и страсть искала удовлетворения.

Я не разлучался с Денисом Ивановичем, сменив удочки на кисти. Так,

часто все утро, полуденные часы, а то и до заката, я работал около старика, и он был первый, кто внимательно и подолгу разглядывал еще свежие, сырые этюды.

Я его приохотил к живописи. Он с грустью жаловался, что сам не умеет, и даже вздыхал от зависти. Я предложил попробовать. Денис Иванович с большим смущением спрятал корявые руки у себя за спиной. Я подсунул ему альбом и подал кисть.

Старик на всякий случай оглянулся, задорно подмигнул мне, покряхтел, быстро и довольно похоже написал молодую ветлу и сразу ее замазал. Я заметил у него на лбу пот. За лето он принимался еще несколько раз. Но неизменно — одну ветлу и ни за что не решался начать другое. По тому, как старик смотрел на дерево, — зорко, остро и затаенно, — я уверен, что художник в нем был скрыт, точно в яблоке семечко. Денис Иванович располагал к себе всем, что бы он ни делал. Из него сочилась талантливость. Черепухин даже червяка насаживал по-своему, неподражаемо ловко, мгновенно. Он и жил не как все. Старик весь отпускной месяц провел на Нуроме безвыездно. Но тут он был непоседой. Одного, и самого отличного, места ему все недоставало. Он непрестанно переходил от осоки к осоке, от омута к омуту, с переката на перекат. Взлетала птица там, где никогда и никто не останавливался с удочкой, — старик спешил туда. Видел он по-ястребиному. Поплавки мои стояли мертвыми. Денис Иванович показывал на них. Почти вслед клевало. Глаза его точно проникали до дна. Он закидывал крючок под самый нос рыбы.

Мы избороздили с Черепухиным всю Нурому. Селивановский омут служил только главным привалом. Не хотелось расставаться со стариком, и я застревал нередко на ночь.

И вот ночь идет. Сегодня с вечера мы перебрались по мелкому перекату в заливные луга. Там Денис Иванович нашел небольшое озерко в камышах. Полая вода каждую весну затопляет низкое заречье, и вода в озерке

освежается; из Нуromы приходит рыба; кроме пришлои, тут живет постоянная, жировая.

Озерко холодно, как родник. Он бьет откуда-то, и вода не зацветает в летние жары, а родниковая струйка чуть слышно вытекает в луга, унося избыток. Озерко с трех сторон закрывали от ветров высокие холмы. Оно лежало безжизненно, даже без ряби. Такими мертвыми бывают торфяные болота, когда люди уйдут с разработок. Спокойное и уединенное, темноватое, как старая закопченная бронза, оно годилось скорее для утиных выводков. Я много раз проходил мимо него, действительно сгоняя птицу. Мертвенность воды отталкивала, и рука не подымалась закинуть удочку: жалко было попусту терять время.

Здесь по непонятным мне приметам Денис Иванович решил искать карасей. Среди солнечного дня накануне мы обошли озерко кругом, наклонялись над мрачной глубиной, берега спускались в нее покато, дно проросло мелкой узорной травой, точно листья туи, на нее-то и тыкал пальцем старик, как на лакомое приволье для карасей. Я до сих пор верил только в тину, которую любит карась. Однако нигде подобной травы не встречал. Пришлось согласиться с Денисом Ивановичем. Место мне у озера понравилось. Если карасей не найду, то будет этот.

Я захватил удочки и художнические принадлежности. Забрался мы сюда к вечернему клеvu. Перед всяким новым предприятием Черепухин особенно возбуждался, неизвестность манила его, у старика пропадал голос. Он с величайшей осторожностью ступал по осоке, прилаживаясь со снастями, и атаковал озерко отовсюду. За всеми удочками нельзя было и уследить. Но опыт, так опыт, лишь бы дернула, покачнула удилице, хотя бы и сорвалась: удача впереди с рассветом.

— Все гладко, как на небе, — сказал с усмешкой над собой Денис Иванович.

Позднее вечернее небо безмолвно и чисто синело над нами. Куда-то скры-

лись птицы. От солнца как будто отрезали три четверти, последняя села на край земли, покачивалась и догорала, темнея снизу. От нетерпения старик часто менял своих знаменитых «шерстобитов». Он относился с презрением ко всем наживкам, кроме червей. Даже в безнадежные по клеvu дни он редко прибегал к линючим ракам, хлебным шарикам, разному зерну, крупе и ягодам.

— Человек без хлеба не может жить, а рыба без червяков, — пробормотал он, взглядывая на мое разочарованное лицо.

— Насадите на мотыля, — предложил я.

Давеча мы с ним бродили по Качабровскому пруду с решетом, начерпали тины, промыли и отыскивали щепоть красных юрких личинок комара-долгунчика.

— Стойт, — махнул раздраженно рукой Черепухин.

Что можно еще лучше и соблазнительнее предложить карасю?

— Мотыль для него, как для маленького конфетка, а не клюет, — уже грустно сам себе сказал старик.

Я устал от напрасного ожидания, прилег на бок и вместо поплавок стал рассеянно смотреть на огромные заливные луга. Сенокос прошел. Луга снова покрывались нежной и мягкой травкой. Вечерняя заря, сегодня робкая и слабая, быстро потухала. Вдали темнело. Темное приближалось к нам. По тому же перекату, где перебрели мы, переправляясь качабровский табун. Вскоре показались двое верховых: пастух Сергей и подпасок Мишка Венник. «Ночное» после косьбы перенесли сюда. Пастух и подпасок спешились неподалеку от озера. Мне стало жаль погубленного вечера, утро обещало то же, — и я заскучал от предстоящей ночи.

— Подкину-ка я им кисточку червей, — сказал Денис Иванович, явно оправдываясь передо мной.

— Рыбы здесь нет, — ответил я в сердцах.

Прошло несколько минут. Денис Иванович перезакинул самую большую

удочку, насадив кучку красных подлистников и железняков. Я обдумывал коварный шаг: на утренней заре посидеть тут с часок и увлечь старика на Нурому, дабы утренний клев не пропал.

— Слово — серебро, молчание — золото, — закричал радостно Черепухин, и сразу забулькало, большую удочку сильно накренило, старик уцепился за нее и, охнув, со свистом взмахнул лесой с оторванным крючком.

— Щука! — воскликнул я, оживляясь.

— Где щука живет, — наказывая меня за неверие, протянул насмешливо Денис Иванович, — там ей подавай пищу. А, как известно, карасик рыбка мягкая, вкусная, щуке по зубам. Глупые люди говорят, что карасик любимая щучья наживочка. Не знаю, как вы...

Я был посрамлен, но не хотел сдаваться.

— Почему же непременно тут должны быть караси? В половодье занесло всякую мелкоту, застряла щука, выела ее, с голодухи бросилась на ваших червячков.

— Нет карасей, я беру всякую, — скромно и ядовито бросил Черепухин, — я не гордый. Мне бы только рыба была.

Когда мы зажгли костер, Денис Иванович добрежки засмеялся и похлопал меня по плечу:

— Травка, Николай Дмитриевич, травка, похожая на пилку, не обманет. Покупать вашей мамаше завтра сметану. Карась без сметаны — водка без закуски.

Он вспомнил о куске пирога с линем, который ему принесла Варя в прошлый раз, и облизнулся. Я, ухмыляясь, спросил:

— Вы как будто уж карасей кушаете?

— На Варюшу надеюсь, — уверенно отвечал он, — думаю, попотчует бездомного.

На огонь костра тихонько и застенчиво подошел Мишка Веник. Он вполне отвечал своему прозвищу; худенький, с маленькой, сплюсненной голо-

вой, в каких-то прямо стоящих вихрах, быстроглазый, остроносый, подбородок клинышком. Подпасок, изучая нас, молча постоял шагах в десяти и, подогнув одну ногу кренделем, уселся на нее.

Костер горел высоко. На освещенной грани, за которой была густая мгла, неуклюже ковыляли в коновязях кони, доставая траву. Что-то всегда есть грустное в связанных лошадях. Без пут нельзя, животные разбредутся, будет потрава. Все это понимаешь, но не миришься с унылым зрелищем.

Кони звучно жевали, точно стригли траву ножницами, слышалась тяжелая поступь коней, иногда беспокойное ржанье. Некоторые, шевеля хвостами, поставив торчком уши и повернув головы, внимательно разглядывали людей у огня. В огромных глазах отражалось блестящее и дрожащее пламя.

Позади коней вспыхивала в отдалении кровавая капля цыгарки пастуха. Вспыхивала низко, у самой земли: Сергей лежал. Странно он нынче уединился. Обычно пастух сидит с нами, зорко косит один глаз на коней, а другим глядит на Дениса Ивановича и слушает.

Много звезд. Они осыпали ночное небо. Оно, как яблоня в цвету.

— А я злой, — притворно пугнул Черепухин подпаска, — ты чего подсаживаешься к чужому огню? Кто тебя звал?

Мишка Веник нимало не смущается, фыркает и ласково закрывается темной от загара ручонкой. Пиджак на нем серый в клетку, рукава в лохмотьях.

— Ишь ты какой неаккуратный, — укорил Денис Иванович, — развесил нищету напоказ, а денег у тебя куры не клюют. Я, брат, знаю, сколько колхозы пастухам платят. Целую весну, лето и осень на всем готовом, каждый колхозник для пастуха сготовит и мясо, и рыбы. Кормят наубой, а на свертхосытку деньги.

Старик отвернулся ко мне и уже серьезно подтвердил все, что сказал шутя.

— Деревенский специалист, инженер, — опять обратился Черепухин к

Мишке, — а выглядишь нищим. В другой раз чтобы у меня залататься, а то не подпущу к костру на версту. Мы любим исправных и нарядных: сапоги, а не лапти.

Подпасок слышал такие слова от качабровских женщин. Когда он приходил обедать по череду из одной избы в другую, пока он обедает, ему чинят рвань. Но на мальчишке все горит, как на огне, и дыры опять зияют. Дедушка говорит весело, а все же стыдит.

— Ладно, попринаряжусь, — согласился мальчик и неловко прикрыл ломоться.

— То-то. Пододвигайся ближе.

Мишка Веник с удовольствием подполз и свободно разлегся на брюхе, опершись подбородочком на сложенные руки. Он не пропускает ничего.

Старик долго смотрел на воду, где отражался костер. У того берега озера на урезе осоки лежит светлая точка Юпитера. Денис Иванович показал подпаску и рассказывает, что сейчас происходит вглуби. Мишка уставился на него расширенными глазами. Он верит, что рыба плавает вокруг звезды и может проглотить ее, а караси наблюдают из травы за людьми на берегу.

Старик занимал и меня. Раз он изловил норотом в Качабровском пруду много карасей, оставил их в нороте, караси попались мелкие, годные для живцов на щук. Случилось Черепухину на неделю уехать. Возвратился с «кружками» и жерлицами. Подсчитывал, сколько поймает щук. Норот вытащил и обомлел. В нем карасей уцелело немного, и те еле-еле двигались. Остальные были обглоданы и мертвы. Кости, а не рыба. Денис Иванович задумался.

— Понимаете, кто с ними расправился? — спросил он.

— Поели друг друга... — неуверенно сказал я.

— Букашка сожрала! — воскликнул с пренебрежением ко мне Мишка Венник.

Денис Иванович быстро и одобрительно метнул глазами на подпаска.

— Верно. Этого малец нас, стариков, научит. Оттого в Качабровском пруду не водится крупного карася, что пожи-

рает его с малолетства всякая подводная насекомая нечисть, мешает росту...

Черепухин недолго полюбовался на смышленного мальчика и снова принялся подзуживать его. Он говорил, что на пароходах капитан должен вести судно в самое опасное время, ночью, когда не видать мелей, камней и разных бурных перекатов, а днем, на солнышке и на свету, справятся с фарватером помощники капитана, — так и в «ночном» должен быть пастух, а подпаску ночью сон, пастьба лишь днем. Кто недоспал, тот не работник.

Мишка, словно пойманный в нехорошем поступке, опустил глаза в землю, сорвал несколько травинков, одну закусил зубами, как папироску, и вдруг обрадовался.

— Ты, дедушка, из наших, из пастухов, все знаешь? — с уважением к своему сословию спросил мальчик.

Мы с Денисом Ивановичем засмеялись.

— Не́ из пастухов, а из ваших, это верно, — вымолвил старик ласково, — знать мы с тобой одинаковая, ты в деревне, я в городе, ты мне, я тебе...

Ночь была мягкая, теплая. После долгой жары прогретая глубоко земля не успевала охлаждаться. Подпасок нежилсь на ней. В «ночное» он ходил добровольно. На лугу, на воздухе спалось лучше, чем где-нибудь в помещении. Сегодня он без нас, наверное, растянулся бы здесь, храпел и видел сны, какие посещают подпасков, усталых от дневной беготни за стадом, от солнца и от ветров.

Жующие кони забеспокоились и перестали есть. Мы взгляделись в темноту. Раздался легкий свист. Женщина со спящим на плече ребенком, закутанном в толстую байковую шаль, свернула по направлению свиста и прошла за лошаадьми. Они проводили ее. Громко заржал молодой жеребчик.

— К пастуху жона приехала, — сказал Мишка. — Днем Сергей Васильевич гонял коней на осмотр к ветеринару в Нуромск, некогда было поговорить. Пришла проведать...

— А зачем же она с ребенком? — спросил недовольно Денис Иванович.

— Не на кого и негде оставить. Да ему тепло. Шаль зимняя.

Во мраке засмеялась женщина и сразу стихла. Повидимому, она забыла о ребенке, смех вырвался невольно, и тогда она перепугалась, что разбудит своего.

Вспыхнула спичка. Мы на мгновение увидели Сергея с женой. Они стояли рядом. Он закуривал, отворачиваясь от ребенка. Жена смотрела мужу в спину. Красная искорка цыгарки то затухала, то загоралась. Она уходила от нас и загасла совсем далеко.

Пастушонок дремал. Глаза от огня устало прищуривались и соловели. Тепло разморило Мишку, голову тянуло к плечу. Наконец, он свернулся в маленький клубочек.

— Ложись на сумку, — сказал Денис Иванович и швырнул ее мальчугану, — вот тебе изголовье взамен подушки.

Мишка улыбнулся, не отказался и улегся на нее щекой.

— Холодит? — спросил с нежностью старик.

— Хорошо.

Подпасок потянулся и уснул почти мгновенно.

— Хороший парень вырастет, — сказал Денис Иванович и сам себе утвердительно качнул головой.

Вскоре донесся до нас из тьмы еле слышный плач ребенка. Черепухин со стоном задавил на шее комара и сказал:

— Ужалил, должно быть, и младенца такой же кровопийца!

И вдруг заиграла тихая и чистая свирель, плач ребенка умолк: это Сергей утешал своего маленького. Пастух оставался и принимался играть снова. Потом свирель оказалась где-то вдали, может быть, у переката: Сергей провожал жену. Денис Иванович сначала слушал с мечтательной усмешкой, вдруг неожиданно насупился и сказал горько:

— Раз до войны выгнал меня хозяин, как беспокойного мастерового. Не велел близко подпускать к заводу. В Калужской губернии я работал. А на дворе лето. Пошел я по деревням за хлебом: лудил самовары, чинил замки, правил

косы. Чего придется, то и делал. Рука не дрогнет, хоть за коновала¹ признай. Забрел в село. Сидит на лужку девочка лет трех. Чашка перед ней с пшенной кашей. Как сейчас помню, большая обкусанная деревянная ложка у девчурки. В селе никого. Разгар жнитва. Хлебают крохотная. Половины не донесет. Крошит. Обмазала кашей и рубашонку, и личико до самых глаз. А вокруг собрались петухи и куры, кажется, со всех дворов. Дитю с ними не справиться. Оно ложкой машет, лепечет что-то, то разговаривает с ними, то кричит на них. Они, подлые, не боятся, понимают, с кем имеют дело. Ключут из чашки, подбирают на земле, обклеивают с рубашки, берут прямо с губ... Драка между ними за каждое зерно, а девочке весело, с раскатом смеется и радуется, и я, дурак, разинул рот и хохочу. Кончилось слезами. Вдруг здоровенный, семи цветов, петух клюнул крошку в глаз... Она опрокинулась и так закричала, точно бы ни один крик за всю жизнь не доходил до моего сердца больше. Я как ополоумел. Шел с железной тростью — спасение от деревенских собак. Убил петуха сразу — и к девочке. Уж я ее и так, и этак. Сам реву и на руках качаю. Крови нет, а глаз распух, скоро и другой глаз закрылся от опухоли. Вылезла из избы какая-то древняя бабушка, поохала, покружилась, принесла мокрую тряпку и залепила глаза ребенку. Девочка понемногу начала успокаиваться. Тряпку мы меняли, хлопотали с час. И словно бы меня по сердцу погладили: уснула ведь девочка. Старуха едва ее не разбудила. Увидала она убитого петуха, да как заорет: «Ой, хороший и добрый человек, беги, батюшка, скорее. Петух Степки Синичкина. Да он за своего петуха голову тебе размозжит! Он у нас все село бьет». И прямо бабка меня в толчки за отвод. На обратном пути я село обошел, так как узнал стороной, что этот самый Степка Синичкин исколотил бабку, измордовал родителей девочки, подстергал меня и грозился убить. Вот разбойник! Ведь даже не подумал, что ребенок-то окривел. Одно на одно не походит. Тут Сергей дитю на дудочке... Я вам не зря хвалил пастуха.

Миша спал безмятежно. Старик старательно гонял с него комаров, досадовал, когда с разговорами забывался и комары успевали напиваться мишкиной кровью. Потом он прикрыл лицо мальчика листом бумаги из моего альбома, а сверху, чтобы не сползла бумага, накинул сетку подсачника. Подпасок спал, как в наморднике.

Ночь проходила. Кони ушли далеко, но были уже видны и там. Кричали петухи в Качаброве и Севастьянсе.

Мысли Дениса Ивановича пробуждались всегда от какого-нибудь внешнего повода. Сейчас их вызвали просыпающиеся петухи по деревням. Черепухин, разматывая лески, со смехом вспомнил, как приехал он несколько лет назад к своему другу, слесарю, на дачу под Москвой. Рядом жила бывшая огородница. Зла в старухе было больше, чем крика у ее петухов и кур. Развела она целый курятник, и все одной масти. На другой день, едва Денис Иванович проснулся, на дворе содом. Вся просека сбежалась. Кто-то зарезал пятнадцать молодых петухов, унес их, а на крыльце, у самого порога, разложил в ряд петушиные гребешки. Огородницу хватило удар: не могла перенести такой насмешки над собственностью.

Озерко выступало еще в неясном свете, в травянистой части сливалось даже с темнотой, но мы уже начали ловлю.

— Подплясывает, — прошептал старик.

Я покосился на его поплавок. «Пробочка» легонько дрожала. От нее расходились такие тонкие кружки, что порой они казались простым обманом зрения. Не подуло ли угрюмым ветром? Но «пробочка» чуть погурилась и медленно поползла в сторону.

— Неужели и здесь пичуги, как в Качабровском пруду! — горестно воскликнул Денис Иванович, выживая совершенно ничтожного по величине карасика.

Мой был еще меньше.

— Пойдемте ча реку, — сказал я, подсмеиваясь, — на таких жалко смеяться.

— Погодите.

И это покорное «погодите» прозвучало как признание Черепухина, что озерко подвело и он ошибся. В других обстоятельствах старик резко отказывался.

— Ведро наудим и выбросим, — упорствовал я. — Их же сейчас тут тьма.

Прошел час без единого поклевка. Зарозовело небо. С шумом откуда-то прилетел большой выводок уток. Озерко занято. Он сделал над ним круг и помчался искать другого пристанища. Покружились над нами три чайки. Черные горошины их глаз в такой рани подчеркнута резки и настороженны. Они как будто спрашивали, когда мы уйдем.

— На реку, так на реку, — печально проронил старик и вздохнул. — У рыбы, как и у человека, свой нор. Не захочет — не заставишь.

Он лениво вытащил самую маленькую удочку, поставленную у берега, и принялся ее сматывать. Я последовал его примеру.

— Ай! — вдруг крикнул Денис Иванович, словно неосторожно вонзил в руку крючок.

Как и вчера, рвануло внезапно и повело. Осторожный и предусмотрительный Черепухин, наученный промахом накануне, пустил в дело крепкую лесу-плетенку. Он называл ее тросом.

— Коля, на тросе ходит! — воззвал он довольно, обещая мне непременно победу.

Громадная, в три кило, щука попала через час, не раньше. Озерко бурлило, приминалась трава от сильных выбросков рыбы на поверхность, щука взмутила воду, точно в бочаге.

Я впопыхах неловко схватил подсачник с головы Мишки и разбудил его. Подпасок испугался, с криком сел и загородился рукой от воображаемого нападения. Мишка увидал происходящую борьбу со щукой и ожил. Он суетился на берегу, охал, вздыхал и даже решился советовать Денису Ивановичу, как тащить зубастую хищницу.

Я поймал взгляд старика, обращенный на мальчика, полный такой бешеной ярости, что не поверил своим глазам. Подпасок сразу перестал вмешиваться и перенес свои заботы на другие удочки.

— Не тронь! — проскрежетал Денис Иванович, связанный по рукам возней со щукой. — Оборвешь. Воткни уду крепче в землю. Пускай рыба заглатывает!

Окрик опоздал. Мишка схватил самую крайнюю удочку, куда не достигало волнение, поднимаемое щукой, — иначе бы тут не взяла никакая самая маленькая рыбешка, — и через голову выкинул что-то большое и золотое. Оно оторвалось на берегу вместе с леской, покатило по отлогости к воде, Мишка упал на него грудью и, смешно карабкаясь в траве, победил.

— Дедушка, сметанник! — завопил он, несясь к нам с вздетым высоко кверху карасем.

Денис Иванович не взглянул. Ему было некогда отвлекаться сейчас на такую мелочь, как фунтовой мясистый и жирный карась.

— Связывай рыболовным узлом лесу, озорник, — торопливо пробормотал он. — Спрашивают вас, неумелых, братья за серьезное дело. Узел чтобы был без усиков, Мишутка...

Белобрюхая истребительница всего живого в воде, извлеченная на землю, так плотно сжала зубы, что мы еле-еле вдвоем разжали их толстым и кривым садовничьим ножом. Мишка держал рыбу за хвост. Щука взяла на маленького карасика, клева которого Денис Иванович не заметил. Глубже в пасти мы нашли откусенный вчера крючок. Обрывок лески мотался наружу. Случай погубил давнишнюю беспощадную жительницу озера: она была под цвет здешней темновато-рыжеватой воды. Плетенка не лопнула потому, что застряла между боковых зубов.

— Палачу и смерть палаческая, — сухо и холодно сказал Черепухин и чиркнул ножом вдоль противного, вздутого от наглотанной рыбы, брюха. Разрезав, он бросил нож. — Потроши ее, Мишка, начисто. Не суй только в рот пальцы: палачи и мертвые кусаются.

Теперь нас можно было увести отсюда только насильно. Все удочки встали на места. Мы жадно и осторожно застыли. Карась пошел бурно и неупорядочно, как обрезанный, на фунт. Мишка взял

первого из этой стаи. Денис Иванович торжествовал. Я видел его молчаливую усмешечку надо мной.

Среди однообразного карасевого клева без погружения поплавок вдруг палочка из осокоя стремительно исчезла под водой. Я неловко оступился и сехал в озерко по грудь. Однако удочки не выпустил. Денис Иванович оглушительно засмеялся.

— Бреди, бреди поперек, — закричал он, кидаясь на подмогу и протягивая руку, чтобы вытащить меня. — Он вас поведет и выкупает с головой. Не вы первый, не вы последний.

Я поймал языка вдвое больше наших карасей. Но на одном все и остановилось.

Всходило солнце. Мишка вычистил щуку, выкопал продолговатую ямку в мокром грунте и поместил туда рыбу, закидав густо травой. Денис Иванович смотрел на старательного подпаса какими-то блуждающими глазами.

— Паренек, — спросил он, — ты снова спать не собираешься?

Мишка отрицательно встряхнул своими вихрами.

— А пасти твоя смена когда?

— Долго еще.

— А до Нуромска ты успеешь сбегать?

Подпасок поглядел на далекий березовый большак, за которым скрывался город.

— Успею. Было бы за чем.

— Конфеты «Ирис» знаешь?

Мальчик улыбнулся.

— Ну, так поди продай в Нуромске щуку, купи мне хлеба, сахару, чаю, проса кило и поищи цельного гороху. Тебе за труды коробку «Ирису». За щуку дадут: на все покупки хватит.

Вчера днем Денис Иванович неосторожно утопил в Севастьяновском омуте свои припасы. Мишка живо продел под жабры упругую ветку ивы и молча помчался от озера. Щука висела у подпаса сбоку, словно обнаженная широкая шашка, и хвост рыбы почти волочился по земле.

Клев карасей продолжался недолго. Солнце размаривало. Сказывалась жара и бессонная ночь. Удочки еще стояли, но

наживка на крючках не менялась. Усталость наступала быстро, точно болезнь. И мы слышали привычный густой гул в вышине, по которому проверяли часы.

— Берлин — Москва, — сказал Денис Иванович, — семь часов.

Из минуты в минуту утром и вечером пролетал почтово-пассажирский самолет над Нуромой. Он и сейчас распахнулся над заливыми лугами, сверкая на солнце, крылатая тень его прошла над озерком, и воздушный корабль, как бы спускаясь к качабровской березовой роще, нырнул в последний раз над самыми далекими маковками деревьев.

Мы вдвоем выудили сорок карасей. На поздний клев не было надежды. Черепухин стал собираться на отдых. Он беспокоился, что подпасок зря прибежит сюда, но скоро решил не жалеть молодых ног. Мы не сомневались в находчивости Мишки, который найдет Дениса Ивановича, где угодно.

Тяжелая карасевая ноша и снасти довольно нас измучили. Мы брели вяло, потихоньку и безмолвно. Засмеялся Черепухин, когда мы, радуясь прохладе, переходили брод. Старик вспомнил мое падение в озерко. Случаи бывали и похуже.

— Под Ярославлем годов десять назад, — сказал Черепухин, — был я в командировке от завода. Ну, дело делом, а как же не закинуть уду. Ловил в запретной зоне. Как командированному из уважения разрешали. Да и неладно у них получилось с питомником — развелась щука. Думали, когда спускали пруд, всю ее уничтожили, а она ухоронилась в бочагах и в заливчиках с травами. Живорыбку опять наполнили водой и пустили молодь дорогой и хорошо распложающейся рыбы. По миновании одного лета и зимы щука вылезла на промысел. Подросла, значит, и загуляла. Зеркальному карпу — погром. Деньги государственные выброшены на ветер. Ротозея-директора выгнали. Другой хозяин заповедника подготовлялся к новому спуску воды. Только щуку, конечно, и разрешал брать. Я хоть, кроме удочки, ничего не признаю, а здесь попробовал на директорский спиннинг. Директор, чтобы виднее было, как гу-

ляют щуки, сделал, сажени за две вглубь высокий мостик на двух колышках, ходил туда по доске и жарил оттуда по щуке из ружья. Палает раз, да как вскрикнет. Я на крик из-за куста. Думаю, несчастье: ружье разорвало. Гляжу, мой директор валится на сторону, булькнул во всей одежде и ружье утопил. Колышки жиденькие были. Не выдержали и погнулись.

VI

— ...на сорок седьмом году моей жизни пришли большевики, — сказал как-то Денис Иванович еще в самом начале нашего знакомства.

— Вы, поди, спросите: слышал ли слесарь Черепухин о большевиках, — улыбнулся Денис Иванович, — али от рожденья бродил по рекам да по озерам, таскал рыбку, и на все ему было наплевать с высокой лестницы? Слыхал. В пятом только потому и не дрался, что раньше месяца за два посадили в Таганку. Сцапали нас, рабочих, человек тридцать на собрании в Марьиной роще. Выпустили через полгода. Я прикинулся без вины виноватым. Но, по совести скажу, помощник я был плохой. Это мне теперь издали видно. Там, где много сердца, а ума мало, меньше половины дела. Сочувствовал, а по-настоящему не впрягся. Таких нас была тьма, а работников не на жизнь, а на смерть горсточка. Не отставай мы, давным-давно перекувырнули бы старое государство.

Денис Иванович говорил это неспокойно, с явной укоризной, не мог простить себе ошибки и хотел найти оправдание.

— От выстрела и дурак вздрогнет, — нахмурился он, — но не всем дано догадаться, что стрелять будут и надо стрелять. Мозг у меня не дотянул. Я с незаряженным ружьем шлялся. Но жилось мне, ох, горько! Говорят, это скрытая болезнь в человеке. Не могу сидеть на одном заводе. Сначала ничего, потом так потянет куда-то, наскандаю — и айда дальше. Прибегу в другое место, обоснуюсь. Ну, думаю, тут-то хорошо. А кругом все то же. Так и колесил, и колесил. Однажды стою в по-

ле, у железнодорожного переезда, несется поезд, свистит, машинист видит бродягу у шлагбаума... Наверное, подумал машинист: «А чорт его знает, что в пустой голове у прохожего? Что-то он подозрительно навалился грудью на перекладину и глаз не сводит с паровоза?». Поезд прокатил, машинист на меня из своей дыры хмуро поглядел и кулаком погрозил, я глаза отвел, и ворот у меня у рубашки стал мокрый. Непутевая жизнь — непутевый человек.

Черепухин, попыхивая трубочкой, долго в задумчивости смотрел мимо меня. Воспоминания давались ему не легко. Боль ценко ухватила старика и не отпустила. Он морщился и брезгливо складывал губы, отбивался от своего прошлого, не желая застревать на нем лишней секунды. Мое молчание как будто помогло ему.

— Вы меня, право, чудным назовете, — застенчиво вымолвил он, сильно затянувшись, огонь в трубке вспыхнул, и черешневый круглый боченок ее сделался весь красным. — На сорок седьмом году я хватился жить. Человек к своему закату приближается, за спиной полвека, у другого горб вырастет. А меня жадность обуяла, будто мне до того дня ни пить, ни есть не давали, и был я голоден и в жажде, по солнцу давно шел с ношей за плечами. Во все суюсь, до всего мне дело, не спрашивают, а лезу. Хлопochу, хлопochу и подумую: «Не спятил ли, так-то молодясь, не смешно ли на взбалмошного слесаря Черепухина глядеть?». Нет, ничего. Оглянусь — да ведь я же не один такой: жизнь перековывают, перековываются в ней и люди, молодой конь берет смачу, старый с бережностью, сперва попробует, а воз везут вместе. Вы только подумайте, что значит для миллионов слесарей Черепухиных все это новое, какой это веселый сон. В новом доме ни пыли, ни нафталина от старых шуб. Нынче, конечно, мода хвастаться молодостью. И оборотни еще не все перевелись. Другой языком трещит, слезу даже выдавит из глаз, все прославляет, как большевики хозяйничать начали, он в счастливую жизнь окунулся, а сам,

прохвост, за углом харю кривит. Я вам откровенно. Я разум в себе почувствовал. Не могу глазам своим не верить, чего вижу. Мысль моя перестала бродяжничать...

Потом в одну из откровенных минут я узнал от Дениса Ивановича, что его больше всего беспокоило, как велико может быть человеческое долголетие и не поздно ли в сорок семь лет начинать жизнь сначала?

— Но вы же двадцать лет прожили, — засмеялся я.

— Ну, что двадцать, — пренебрежительно махнул он рукой. — Вы меня, пожалуй, укорите, что я для разгона сорок семь лет отмахал, как будто с полустанка до Селивановского омота дошел. Мало. Ворон живет триста лет. Цука не меньше. А человек — пустяки. Куда это годится? — Черепухин подтянул к себе ивовую ветку, обломил кончик и понюхал. — Сока, а не кровь. Ива мне ничего не может сделать, а я весь куст выдеру шутя. А никто ее не тронет, ива перестоят и меня, и вас, и, может, все Качаброво, и, чорт ее знает, всех. Не должно же быть таких ошибок в природе. Самому первому лицу на земле недолговременных восьми десятков лет не минет, а дереву, а твари всякой — живи, не ленись. Завидую и не хочу уходить.

И он старался, как умел и как находил правильным, подольше удержаться на земле. Старик наблюдал за собой, и никто бы его не уверил, что спать на брезенте в кустах после дождя вредно или целый день сидеть на солнце с открытыми кудряшками опасно.

Денис Иванович горячо доказывал, что надо слушаться своего тела: оно никогда не ошибается и беды на себя не накличет. Огонь жжет, нам холодно, женщина на сносях кушает угли и глину, неприятную пищу тело не принимает.

Черепухин любовно гладил себя по груди, трепал по плечам и был убежден, что тело понимало его. Старик неожиданно в неподходящую для этого погоду закутывался, надевал сапоги в самый зной, прикрывал голову в бессолнечное раннее утро.

— Все по времени, — рассуждал он. — Тело позовет, значит, так и следует поступать. Каждое живет по-своему. Степью я шел. Язык высуну — жарко. Стоит телеграфный столб. Какая уж от него тень? В три пальца. Огромный бык улегся башкой под эту обманчивую тень, прикрыл середину лба. Другой бык ходит рядом по солнцу, хвостом трясет и траву кушает. Говорят, бессмысленная тварь, а она вовсе не такая: понимает. Или другой пример. На Кавказе солнце — два наших солнца. Отара баранов в полдень замерла на горке. Точно лежит большое, мохнатое, черное колесо. Баран барану между ног голову прячет. И стоят они грудкой, покада не свалит жар. А то был я под Новоросийском на вершущке одного перевала, прямо недалеко от неба. Пришлось мне заночевать в деревне. Чудными яблоками меня там угощали! И народ сам, должно быть, от яблоков, походит на них: в румянце, кожа желтая, крепыши, жизнь брызжет из каждого, как сок из плоти яблока, когда всадишь в него здоровые зубы. Любуюсь. Разговорились. Старичок — детина вдвое меня выше, голова откинута назад, как у гордого чересчур человека. А милый и простой мужик. Оказалось, деревня всего-навсего выстроена тридцать лет назад. Воронежские мужики сожгли помещика. Которых из мужиков повесили, которых выпоролы, которых в остроге сгноили, а кто меньше замешан, тех целой деревней подняли с места и сослали сюда в лес и глушь на горы, подальше от своего деревенского народа. Власти рассчитывали на другое, — ан вышло не то. Старик мне сказал, что незадолго до меня умерла в деревне старуха ста восьми годов от роду. Первая смерть за три десятка! Племя новое выросло — тридцатилетки. Было это пять лет назад, когда соблазнили меня в фабкоме курортом и послали на Кавказ. Отчего воронежские мужики помирать разучились? От воздуха. От солнца. От моря. Воздух с солнцем и у нас есть, взамен моря реки и озера. Мне вот подавай только их, и я здоров, весел, песни рад петь, не чувствую, что ноги и руки и спина у меня по седьмому десятку на

исходе, а на курорте я зачах. За неделю до срока сбежал оттуда. Другие наши ребята приехали с курорта здоровыми, а я нет. Значит, Черепухин устроен так, что ему помогает березка, осока, пшенная каша из рыбацкого котелка, ушища из непотрошенной рыбы и вольная жизнь на Нуроме.

Предупрежденный рассказами Дениса Ивановича, я не приглашал его к себе. Мне грозил явный отказ. Старик упорно и настойчиво лечился воздухом, солнцем и ветром. Как будто бы рыбалка для него была необходимой лишь потому, что ею он занимал себя от безделья, привыкнув за всю свою жизнь не сидеть, сложа руки. По крайней мере, он тем иногда оправдывал свою страсть к удочкам.

VII

Прошла неделя, как приехал Денис Иванович. До своего отпуска старик удил по выходным дням. Времени было мало. Чтобы не потерять ни одного лишнего часа на переезды, он ловил вблизи Москвы. Солнце покрыло его медью. Теперь под постоянным солнцем и ветром Черепухин почернел. Резко выделялись большие синие глаза. Они как будто стали еще лучше видеть. Старик говорил звонко и чисто, словно собирался заменить разговорную речь пением. Он становился все веселее и веселее. Густо пошла борода, изменяя его лицо, но нисколько не старя. Он неутомимо двигался по всей Нуроме, и я не успевал за ним.

Сегодняшнее утро мы просидели около мельницы, километрах в пяти от Качаброва. Денис Иванович сварил замечательную пшеничную кашу, выпарил из нее без остатка всю влагу, отжал. Каша пружинила и трудно резалась ножом. Таковую нам и было нужно. Маленький квадратик ее, насаженный на крючок, не размокал в воде и через несколько часов. Но легци не шевельнули яства.

— Сыропуст, — презрительно проворчал Черепухин, что означало негодование его против бесплодно попробованной еще раз растительной приманки.

Он предоставил мне возиться с кашей, а сам насадил червяков. Клынуло.

— Подустик есть для начала, — сказал Денис Иванович, — рыба мясо любит.

Попадались вперемежку некрупные окуни, головы, ельцы. Старик ценил нежного и вкусного подуста.

— Неужели придется на одном загоститься? — спрашивал он себя и ругался, вытаскивая другую рыбу — Подуст мне нынче нужен позарез.

Он хорошо знал повадки этой хитрой, осторожной и очень ловкой рыбы, которая часто сходит с крючка и плохо берет без прикормки. Тем не менее старик упорствовал, бродил кругом по берегу, зорко с вышинки его разглядывая хрящеватое дно, где могли стоять подусты. Ничего.

Какой-то шальной лещ проглотил мою кашу. При виде клевка Денис Иванович даже охнул. Я не рассчитывал поймать леща почти у самого берега и закинул маленькую удочку с тонкой леской в надежде только на мелочь, годную для наживки. Да и вели мы себя вопреки правилам при лещевом сидении: шумели, когда следовало походить на покойников.

Рыбу пришлось выводить осторожно, памятуя о ненадежной снасти. На маленьком удилежке поддетая рыба вообще кажется тяжелее. Лещик, весом кило, долго упирался, наконец, вынырнул и лег на воду широким золотым боком. Я подтащил смелее. Но лещ собрался с последними силами, перекувынулся, рванул, ударился о борт лодки, привязанной к колышку на мели, и скрылся.

— Ухожен, всплывет сейчас, — жадно воскликнул Денис Иванович. — Раздавайтесь скорее.

А мало верил в возвращение рыбы и, находясь в грустной растерянности, промедлил. Зато старик проявил неожиданную и непонятную мне прыть. Он почти мгновенно разнагишился и уже полез в воду.

Действительно, лещ поеторил обычное свое движение, когда он устал и замучен: вдруг золотая доска заблестела опять на поверхности. Денис Ивано-

вич сунул ему в раскрытый рот палец и поднял рыбу с довольным смешком:

— Жарево! Долгожданный слаще скороспелки!

Я стоял в одном сапоге — второй успел скинуть — и держал наготове подсачник.

— Получайте, — вдруг хмуро сказал старик и ловко швырнул трепещущего в воздухе леща в мою сетку, — благодарите лодку. Он о нее разбился и очумел.

Я подметил, что Денис Иванович почему-то хотел объяснить мою победу над ледом чистой случайностью.

— Да он, о лодку не задел, — сказал я, — только взбурлил возле нее воду.

Черепухин иронически свистнул:

— Лодка чуть на берег не выскочила, а вам на радостях глаза пеленой застлало.

Я поторопился насадить свежую кашу и забросил ту же удочку.

— Рыба сегодня постничает, — сказал я с самым серьезным и деловым видом, ухмыляясь в душе над стариком, — вы бы, Денис Иванович, все же изменили своим червякам. У меня опять дергает...

Отвлечшись разговором, я подсек раньше времени и только наколол рыбу, она сделала на крючке два-три сильных рывка в стороны, — и на лесе пусто.

Губы старика сложились в кривую усмешку. Такая уж смешная натура почти у всех рыболовов: мне показалось, что друг испытал удовольствие от моего промаха.

Вскоре Черепухин резко выдернул на лучшей своей удочке крупного ерша, уколол до крови о его колючие иглы палец, обсосал и с отвращением отбросил рыбку далеко в кусты.

— У, как еж, проклятый колючеперый, — прошипел досадливо старик, — выпустил свои шила!

Но ерш этот и сломил упорство Дениса Ивановича. Когда меня постигла третья рядовая неудача, он покосился совершенным зверем.

— Каша, так каша, — взвизгнул Черепухин. — Не может быть, чтобы сле-

ва рыба ее жрала, а справа пренебрегала.

Он тщательно вырезал ножиком из каши небольшой кусок с лесной орех, поплевал на него, как на червяка, и пустил в плавание.

Но счастья не было уж ни у меня, ни у Дениса Ивановича. Пришли мы к мельнице надолго, в намерении пробыть до вечерней зари. Старик внезапно заскучал и стал извиняться передо мной, что завел человека далеко, а сам хочет бежать отсюда.

Одному в незнакомом месте, возле глухого леса, неповадно, и я особенно не жалел: кстати и лещ мой стоил всего улова Черепухина, и я успел сделать этюд с мельницы. Старик быстро собрался: не забыл он в кустах и ерша.

— Тяжеловато нести, — лукаво улыбнулся он, — да чего ж оставлять на растерзание чайкам или кошке мельника.

Мы приближались к Севастьяновскому омуту около полудня. Денис Иванович шел в глубокой задумчивости. Есть люди, поступки которых всегда неожиданны. Я привык к этой особенности Черепухина. Он неловко помялся и робко спросил:

— Лещика вы мне не уступите, Николай Дмитриевич?

По правде говоря, я сначала обомлел и принял это за какую-то стариковскую каверзу.

На лице Дениса Ивановича через темноватый загар щек пробился легкий румянец.

— Не люблю чужой рыбы, — сказал тихо старик, — но сегодня захотелось мне вашего лещика зажарить, как будто я его не едал от роду...

Так вот почему Денис Иванович кинулся в воду за рыбой, чего никогда не делал раньше, и сам отказывался от помощи. С притворной готовностью я отдал леща, расстроился и постарался скорее уйти домой.

Старик догнал меня уже далеко в поле, вывалил в мою корзинку всю свою утреннюю добычу и много всякой вечерашней рыбы из сажалки.

— Менка на воронка. — бормотал он,

запыхавшись. — Сразу-то не пришло в голову...

Не взять — обидеть.

После обеда мы опять сидели рядом с Денисом Ивановичем и удили. Старик часто поглядывал на проходящие за березовой рощей вечерние поезда. Их все прибывало и прибывало. Москву разгружали, чтобы завтра с утра так же наполнять ее. Наконец, Черепухин нежно сказал:

— Идет...

По береговой тропке шла от четырех сосен девушка в белом платье и розовой повязке на голове. Незнакомка энергично шагала и размахивала зеленой корзинкой, похожей на садок Дениса Ивановича. Я знал уважение старика к женщине и не удивился его ласковому тону. Но девушка подходила все ближе и улыбалась нам, как хорошо знакомым людям. Я не понимал, разглядывая изящную, легкую в походке, женщину лет двадцати двух. Она сравнялась с нами, молча присела на корточки и поцеловала старика в щеку.

— Елене Денисовне, — сказал он и подмигнул мне. — Дочка прибыла с фуражом. Я им питание, они мне. По выходным.

Елена ласково обняла отца за плечи и таким же, как у него, ликующим голосом воскликнула:

— Папка, ты выглядишь на сорок лет! Просто прелесть! Весь подобрался, подтянулся, даже морщинок у глаз меньше!

Денис Иванович, кажется, мог расплавиться от удовольствия.

— Одним небо помогает, другим земля, — с игривостью пошутил он и поймал мой недоуменный взгляд. — Дочь — парашютистка, отец — рыбак.

До сих пор Черепухин не обмолвился о своей семье, а я почему-то даже и не предполагал, что она у него была: такие люди чаще одиночки.

Парашютистка унаследовала всю приятность от Дениса Ивановича, вдобавок смягченную женственностью. Девушка была умна, смела и красива. Должно быть, такой же алой свежестью пылали щеки Черепухина в юности, синели бездонно глаза и густо, мно-

го, широко росли золотистые брови, почти неотделимые одна от другой и напоминавшие распластанные в полете крылья ласточки.

По случаю приезда дочери Денис Иванович забросил ловлю. Ничего мне не говоря, он за полчаса перед этим развел костер и повесил на него чайник.

Отец и дочь со смехом принялись угощать друг друга. Елена выложила из корзинки все, что привезла, и перевернула ее вверх дном. Пирог, извлеченный из синей чертежной бумаги, заставил старика аппетитно крякнуть. Он сразу полоснул по нему ножом и протянул мне такой большой кусок, что осилить его было трудно.

— Нынче с телячьим ливером, — сказал Денис Иванович, — через неделю Елена привезет нам с рыбой. — Он смешно чмокнул и сделал «козу» дочке. — А баночку я выпью...

Из городского фуража он взял граверный пузырек, на котором еще уцелела наклейка «Одеколон Сирень».

— Мы с мамой его балуем раз в декаду, — засмеялась Елена, — и то во время отпуска.

— В остальное время я сам пью, — хвастливо подхватил Денис Иванович и высоко поднял зеленоватый, налитый до половины, пузырек. — Десятый год служит посудина.

Он прямо из горлышка и выпил, закусил и показал мне на пузырьке рубчик:

— До этого. Докторская порция. Изучил. Выпьешь с напльвом — лишнее. Тело сердится. Во всем в тебе заекает, застучит, вредно. Вы, милый товарищ художник, не подумайте, что я в самом деле пьяница! Я только перед вкусным рюмочку. И то изредка. Я даже всегда завидовал товарищам по заводу. Они соберутся компанией и могут выпить много, а я не компанейский, никак не угонюсь. Смолоду отчаивался, что природа обделила меня такой радостью: хмель в голове чувствовать и забываться от всего горького. Под старость утешился и обрадовался: оказывается, я в себе клад здоровья сохранил, что лишнюю рюмочку не пригубливал.

Я бы и без этого предупреждения не ошибся: старик слишком любил жизнь. Он тщательно заткнул пробкой горлышко, и Елена положила пузырек обратно в корзинку, завернув его в тряпочку.

Настала очередь угощать приезжих. Я давно заметил, что почему-то брезент Дениса Ивановича прикрывал береговую ямку, в которой старик обыкновенно сохранял дрова от дождя. Туда-то к ямке сейчас и бросился хозяин. Он достал глубокую сковороду с румяно-зажаренным лещом.

— Поняли, для кого старался! — воскликнул весело старик. — Для дочки. И вам дам ребрышко.

Мне было удивительно хорошо. Трапеза и чаепитие наше прошли в смехе, шутках и безумном разговоре.

Старик так просто и любовно и открыто хвастался Еленой, что она не стеснялась и не мешала ему. Елена училась в одном из институтов. Она только чуть посмеивалась над воодушевлением отца, когда он прочил ей в будущем постройку мостов чуть ли не через все самые большие реки Союза, где еще мостов не успели соорудить.

Потом он подсчитал, сколько раз Елена прыгала с парашютом и сколько раз ей еще осталось, чтобы завоевать рекорд. Денис Иванович с гордостью сообщил мне, что московский комсомолец выделяет ее с осени в школу летчиков, и его девочка будет инженером-летчиком-парашютисткой и вообще всем, чем она захочет и что от нее потребуются. Елена встала и прервала отца:

— Папка, будет! Лови свою рыбу, мама велела привезти больше. А я хочу гулять.

Елена пела вдали, купалась, белое платье ее мелькало в кустарниках, в самом крайнем Селивановском овраге, потом девушка исчезла надолго, старик начал беспокоиться, а вместе с ним и я.

Но она неожиданно окликнула нас с противоположного берега: девушка перешла по перекату. Она прижимала к груди огромный букет пестрых полевых цветов. Так ненасытно собирают цветы городские люди, которые редко вырываются в поле.

Поздним вечером Елена подняла корзину с рыбой, немного выбросила, чтобы облегчить ношу, и пошла к поезду.

Мне тоже захотелось кончить скучный лов. Я донес ее корзину до Качаброва: дальше Елена не пожелала провозятых. Мы только простились у нашей дачи, как в окно высунулась Варя.

— Ленка, — закричала сестра. — Ты как здесь?

— А ты? — отвечала Елена, обрадовавшись встрече не меньше Вари.

— Я живу в Качаброве с братом...

Елена на ходу помачала сестре букетом:

— Ну, вот брат тебе и расскажет, а я тороплюсь, опоздаю к десятичасовому. А то идем вместе?

Варя выскочила из калитки, шепнула мне, что зимой познакомилась с Леной где-то на вузовском шахматном турнире, — сестра была шахматисткой, — и догнала ее.

VIII

Денис Иванович привычно остужал уху в пещере. Я часто видел там котелок, от копоти черный, как голова негра. Старик стоял среди своих донков, жерлиц и удочек вполводы, точно дирижер оркестра. Черепухин взбежал на высокий берег и всматривался оттуда на расходившиеся круги по реке, где плеснулась крупная рыба. Он следил за направлением рыбы и старательно переставлял ближайшую жерлицу. Шло обыденное и знакомое.

Зной повис над омутом. Легкий ветер против течения словно причесал Нурому. Она напоминала чешую огромной извивающейся рыбы. Каждая чешуйка нестерпимо блистала. Мы жмурились от переливчатого сияния и нередко зевали, когда поплавки уже скрывались в глубине, а нам казалось, что их забивает мелкой всаной. Вода в ветер обманчива, и почти неуловим первый клевок.

Время шло в тишине и безлюдьи. Мы опять были вдвоем в целом мире. Солнце валилось на нас с высоты, жар душил. И Денис Иванович захотел купаться. Он забрел возле переката на мель, зажал лицо ладонями, хотя надо

бы заткнуть уши и ноздри, и упал камнем. Старик, шумно отфыркиваясь, погружался без числа, громогласно восклицал от восхищения, потом надолго улегся, изредка мочил темя и насвистывал. Я расположился рядом. Черепухин весело косился на меня и шутил:

— Подсвистывайте на досуге. Отдыхать, так отдыхать. Вы о чем-нибудь думаете?

— Решительно ни о чем, — расхохотался я, — прямо даже странно.

— И я ни о чем. Вода такая теплая, спать в ней можно. И чувствую я себя мальчонком лет десяти. Отец у меня перевозчиком был на большой реке. Возле перевоза песчаная коса. Песок крупный и золотой, как пшено. Заберешься на него с утра и разляжешься. Накалит тебя солнце, будто утюгом горячим гладит, — с боку на бок винтом и в воду. Весело, смешно и от дома близко: кусок хлеба схватишь у матери в лапу — и счастлив. Больше ничего не надо.

— На воде родились, — сказал я, — а плавать не выучились.

Я подозревал, что старик меня почему-либо обманывал и умел плавать.

— Не выучился...

Он вздохнул.

— И не пробовали?

— Нет. Отец полжизни перевозничал, а воды боялся. Врожденный, должно быть, у меня страх к тому месту, где не видно дна. Батюке не зря трусил. На моих глазах в бурю паром на середине реки опрокинулся, и все переезжающие утонули. Перевозил отец двух лошадей. В телегах сидели нарядные бабы с ребятами и песни пели. Пьяные мужики коней держали под уздцы. Народ куда-то ехал на праздник. Гром грянул, лошади испугались, отпрянули в сторону, — и все кончено. Отца моего задком телеги столкнуло первого. Лет пятьдесят с лишним тому назад я осиротел, а вижу, словно нынче, как отец свалился на спину, а из телег крошатся вниз головой бабы в красном и в белом. Никто не выплыл. Помаячили недолго конские морды, заржала одна лошадь, но пожаловалась напрасно — понесло ее вниз и затянуло с головой. С тех пор боюсь в ложке утонуть. Без людей не полезу

в воду. Никогда не рыбачил с лодки. Рыбак я береговой...

Денис Иванович продрог от долгого пребывания в воде и поспешно поднялся. Я последовал его примеру. Мы повернули к берегу.

Черепухин крикнул и взмахнул руками. Прямо против нас с усмешкой на лице стоял пожилой человек, рядом с ним мальчик, оба они были навьючены рыбацкими принадлежностями.

— Денис Иванович!

— Шатунов, Петя!

— Он...

— Ох, ты, милый человек, давно не видались! Я уж думал, не помер ли гденибудь на речках да на озерах. Оплосность подстерегает горячих людей, а ты у меня огонь из ружья...

— Нет, зачем же помирать раньше времени, — пробормотал Шатунов серьезно и печально и пошутил, — кто же тогда станет глушить рыбу без нас с тобой?

Денис Иванович быстро побрел из воды. Шатунов неловко переступил, опираясь на палочку, и пошатнулся.

— Не затопчи, не затопчи одежи, — испуганно выкрикнул Черепухин и забрал в охапку ее из-под самых ног приятеля. — Ты это что же, Петр Данилович, с ключечкой? Не прокусила ли тебе щука икру?

Шатунов горько покривил губами:

— Нет, хуже. Провалился я в театральный люк в клубе имени товарища Гуляева.

— Знаю клуб Гуляева, — прервал Денис Иванович, влезая в рубаху, — это за Красным селом. Там по октябрьским праздникам для нашего завода целевые спектакли Художественный театр даст. Как тебя, недотепу, угораздило низвергнуться в знакомый люк?

— Декорации переставляли. Товарищи стенку от павильона несли, я посторонился, мне под сценой надо было кое-что доделать, сам и люк открыл, забыл и оступился. Бедро напололам.

Денис Иванович, поддержанный Шатуновым, тихонько засмеялся.

— Сердцу больно от беды с другом, — навел на меня лукавые глаза Черепухин, — вы, художник, старика за

бесчувственное дерево не посчитайте. А рыбак-то, рыбак-то какой! Ему надо в лежку лежать, а он натруждает ногу из-за пустяков! Смех и грех!

— Я бережно... — застенчиво оправдывался Петр Данилович. — Ничего... Во время последней перевязки доктор сказал: «Ходи недалеко, помаленьку». От полустанка сюда раз мигнуть.

Денис Иванович провел по нечесаным льняным вихрам мальчика.

— Сынка я у тебя не видал...

— Гриша — сосед по двору, — сказал Шатунов, взглядывая с большой любовью на своего спутника. — Злой ершатник и гроза для пискарей, а мой дорогой поводырь. Один только человек в Союзе плакал, как сломал я ногу...

Петр Данилович сказал это с сильным чувством и широкой ладонью вытер лоб мальчика. Тот как будто с особым удовольствием прижался к ладони.

— Роса выступила...

Денис Иванович пошел рядом с Шатуновым, приноровляясь к его тихому шагу.

— Где ловил? Не видать в здешних краях.

— По ту сторону Москвы, к Александровской слободе.

— На Переяславском озере две недели жили, — вставил Гриша.

— На Переяславском и Тарбеевском. Третье лето неразлучны.

— Чей парнишка-то? Ты чей? — шутивно зарычал Денис Иванович и притянул его к себе.

— У меня папа суфлер, — улыбнулся мальчик, — а мама артистка.

— А, понимаю. Родителей никогда дома нет, тебе раздолье. Весь Ре-се-фе-се-р обскачешь, никто не вспомнит беглеца?

— Папка на свободе тоже с нами бродит... Только он охотится на одного хищника.

В голосе мальчика почуялось снисходительное сожаление к отцу. Подошли к нашим удочкам.

— Хоть и смерть рад тебе, Петр Данилович, — сказал Черепухин, точно извиняясь, — а лучшие местешка в омуте, сам понимаешь, расхватаны...

— Места на всех хватит, как любви человеческой, — усмехнулся игриво Шатунов. — Другой раз на бросовом берет лучше, чем ковшом начерпаешь из жиборыбки. А теребит на хорошем-то?

— Теребила...

— Пойдем, Гриша, вон туда на песочек, — показал неподалеку Петр Данилович, — человек человеку не должен мешать в серьезном деле.

Они разместились на песке.

Вскоре приехала Елена. Я и забыл, что нынче выходной день.

Все повторилось, как в прошлый раз, но только Елена больше была с нами, чем уходила, цветов принесла меньше, безумочно смеялась над каждым словом отца, выглядела красивее в другом нарядном голубоватом платье с желтым бантиком. Кружок наш пополнился Петром Даниловичем и Гришей. Я зарисовал группу.

Денис Иванович и Петр Данилович жадно, с восторгом, перебивая друг друга и дополняя, вспоминали о всяких случаях, бывших с ними на рыбной ловле.

Воспоминаниями можно жить. Гриша не сводил с рассказчиков напряженных блестящих глаз, а сами рассказчики были счастливы. Они держались за руки, дружно закуривали, перемигивались, Денис Иванович заразительно и молодо смеялся, закидывая высоко голову, Петр Данилович только посмеивался, почему-то конфузливо прикрывая лицо рукой и наклоняя низко голову.

Больше половины проходило мимо моих ушей. Но все же Денис Иванович и Шатунов столько назвали имен и фамилий рыболовов, с которыми они stalkивались на веку, что я невольно улыбнулся, представив себе московские октябрьские и майские демонстрации, когда десятки тысяч людей идут по улицам с бамбуковыми удилищами, привязав к кончикам маленькие красные флажки.

— Вся Москва состоит из рыболовов? — подтрунил я.

Денис Иванович, к случаю, забрал мой снасти и горячо советовал покупать удилища только в ноябре, чтобы

отобрать самые гибкие, длинные и прямые: тогда есть из чего поживиться, к празднику заготавливают самое лучшее.

Вечер надвинулся с облаками. Солнце перестало светить раньше времени. Замолкла, как вымерла, вдруг Нуромы: не плеснет. Денис Иванович недружелюбно осмотрелся: перемена погоды не понравилась ему. Он взглянул на Елену, словно подумал, что она легко одета и может вымокнуть, и погнал ее домой. Пятидневка эта не удалась. Зеленая корзинка была полупуста.

IX

Теперь я знал, что, где бы Денис Иванович ни бродил по Нуроме, к выходному дню он возвращался к Севастьяновскому омуту. И начиналось приготовление угощений. Он разнообразил блюда: жарил подустов, головлей, плотву и красноперку, варил ершовую или окуневую уху. Елена ему подражала и привозила пироги с начинкой тоже из разной рыбы.

Петр Данилович как бы унес с собой хорошую погоду. В ночь пошел мелкий и надсадный дождь. Небо накопило за время жары целые океаны. Вода сочилась медленно, скупно, точно через марлю. Шатунов двое суток безнадежно ковылял по берегу с палочкой, сидел под зонтом около удочек и нелепо отставлял свою большую ногу под самый ливень. Но большую часть дня мы торчали в нашей пещере. Зонт Петра Даниловича, поставленный у входа, увеличивал помещенье. Гриша раскашлялся и побледнел. Шатунов испугался. Мальчик робко на него поглядывал: он явно хотел домой. На беду дождями промыло крышу у пещеры, и она обвалилась. Неудачники уехали, поймав несколько ершей.

Я не выдерживал ненастья. Но никакими силами нельзя было зазвать к себе Дениса Ивановича. На него, дождне действовал никак. Старик сделал новую пещеру рядом со старой, расчистил себе внутри них сидение, искусно связав вершинки двух ивовых кустов, покрыв кусты брезентом, и благодушеествовал. Дымок его трубки мирно курился из са-

модельного шатра и низко расползался в сыром воздухе над осоками.

Как было не засмеяться и не почувствовать симпатии к старику, когда однажды, пользуясь передышкой в дожде, я подходил к Севастьяновскому омуту, Денис Иванович высунулся из своей конуры и прересело закричал мне, что нет худа без добра, на берегу появилась готовая наживка, и он показал мне полную консервную банку с червями.

В самую слякоть приехала Елена. Старик примирялся со всем для себя, а за дочь очень волновался. Он целый день морщился, косил глаз на Качаброво и качал головой.

— Неужели эта сумасшедшая Ленка не понимает, что хороший хозяин в такую погоду пса не выпустит на улицу и сам сидит под крышей, — а дочке моей все нипочем? — как будто спросил он у меня.

— Конечно, она не приедет, — утешил я Дениса Ивановича.

Черепухин помолчал и, лукаво улыбаясь, уронил:

— Ну, тогда мы жареную плотичку скушаем с вами.

Он, несмотря на дурную, неклевую погоду, все же как-то ухитрился поймать рыбы и приготовить ее для Елены.

Когда она, вымокшая, в сером плащике, подбежала к нам, Денис Иванович встретил ее почти с отчаянием:

— Где же ты обсохнешь? Ведь и костра настоящего не разложишь, не земля, а море плывет по земле.

— Папка, — засмеялась возбужденно и радостно она, — поедем домой?

Она сразила его. Денис Иванович на минуту растерялся.

— Не-ет, — замахал старик обеими руками, — во всю мою жизнь не бегал ни от одной беды. Да... мне... Я не против дождя... Не сегодня-завтра он кончится, клев будет на удивление...

Черепухин запустил глубоко руку в береговой песок, достал из своего тайника бересту и кое-как затеплил кострик. Денис Иванович покормил дочь и уже перекидывал из сажалки в зеленую корзинку несколько мелких рыбешек.

— Кошку хоть побаловать, — бормотал он.

— Папка меня отправляет, — сказала Елена. — Понимаю... Он боится, как бы я все-таки не уговорила его ехать вместе.

Денис Иванович поставил корзинку, в задумчивости уставился на меня и с хитрецей спросил:

— А может, вы приютите мокрую путешественницу? Вы ведь рядом.

Я охотно согласился, зная, что и сестре Варюше доставлю большое удовольствие, приведя приятную гостью.

— Николай Дмитриевич, до завтра, — кричал мне издали Черепухин, — завтра ведро наладится.

Елена переделалась, загостилась у нас, ночевала, и я рано утром отвел ее к первому поезду на Москву. Она поехала в плаще Вари, оставив у нас непросохший свой.

В утреннем свете лица кажутся моложе и свежее. Я как будто бы увидел новую Елену. Легкий румянец, что потайной свет, лег на ее щеки. Он то разгорался, то затухал. Так он и не сходил с ее прекрасного лица.

Денис Иванович был прав. На другой день часов с двенадцати долгое ненастье начало поворачивать к ведру. Вечером от непогоды ничего не осталось. Черепухин довольно потер руки и смешно шевелил плечами:

— Баня кончилась. Солнце сушит моря и реки, маленького человека и недавно...

Мы грелись после дождей. Словно у нас прибавилось сил. Мы неумоимо шагали с одного места на другое, везде с удачей и с избытком.

Х

И так мы ловили с Денисом Ивановичем до глубокой осени. Давно кончился отпуск Черепухина, но старик неизменно являлся в ночь накануне выходного дня.

К рыбной ловле пристрастилась и Лена. Она приезжала с первым утренним поездом. Денис Иванович ликовал: дочке неожиданно передалась его рыболовная страсть.

Мы крепко и тепло подружились. Неугомонный Денис Иванович удил и зимой. Соблазнил он и меня. Я купил себе валенки, которых никогда не носил раньше. В условленные дни я стал появляться в квартире Черепухина, нагруженный всем необходимым рыболовным скарбом для ловли в ледяных лунках.

С нами просилась Лена. Денис Иванович почти во всем уступал своей любимице, но только не в этом. Старик вдруг скидывал свою дорожную сумку, швырял в угол коротенькие удочки-кодолки с пробковыми ручками и говорил мне:

— Нынче Черепухину не попутная...

В душе мне хотелось взять с собой Лену, и она смотрела на меня решительными и строгими глазами, требуя поддержки.

Однажды мы едва не рассорились с Леной навсегда. Она пристала к Денису Ивановичу неотвязно. Старик заколебался. А я взглянул на девушку, вспомнил, как мы с Черепухиным промерзли в последнюю поездку, и неожиданно для себя покачал отрицательно головой.

Денис Иванович сразу же опять окреп в своем упорстве. Лена поблудила, метнула на меня совершенно ненавидящий взгляд и, хлопнув дверь, вышла.

Месяца три Лена не показывалась у нас, и Варюша никак не могла понять, что случилось с ее подругой.

Помирились мы с Леной в один из ранних весенних дней, когда я сам предложил Денису Ивановичу взять дочку с собой: были уже закраины на реках, на солнце загорали люди, и голодный окунь хорошо брал на мотыля не только в прорубках, но даже в полыньях.

На следующее лето я поселился в своей старой качабровской даче. Лена уже жила со мной.

Денис Иванович не изменил себе, и породнясь с другом-рыболовом. Он переночевал у нас, когда приехал поздней ночью, в грозу и вихрь, открывая свой месячный рыболовный сезон, и когда уезжал из отпуска. Остальное время он не покидал берега любимой Нуромы ни на час.

Лене теперь было ближе забирать домой рыбу. Приходили они с Варюшей попеременно.

Иногда мы вчетвером ночевали у коистра. Денис Иванович никогда не повторялся и рассказывал все новое и новое из своих блужданий по земле русской. И нам казалось, что воспоминаний достало бы еще на столько же лет, сколько уже старик прожил на свете.

Пленный швед

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

В Перми есть пермень. В Златоусте есть злато.
Я видывал Азию. Глазом солдата
Смотрел я на Азию. Очень богата!
Вот я расскажу, что я видел когда-то:
Послушайте вы, молодые ребята!

Я Карлусу храброму не был изменник, —
Нас честно побили. И вот, бедный пленник,
Больной и в лохмотьях я был и без денег.
Мне в Питере булочник-немец дал пфенниг,
Но пфенниг истрачен, я снова без денег.

Царь Петер сказал: «Швед! Вы сделали нищим,
Но вы не печальтесь, вам дело подыщем!».
...Телега гремит. На восток кнутовищем
Ямщик показал: «Там не будешь ты нищим,
Там станешь ты жирный, с тугим животищем!».

И пьян конвоир. И одна с ним беседа:
«Не выпить ли, швед, нам с тобой до обеда?»
А хочешь, мы выпьем и после обеда!».
— О, ваша победа! Не надо обеда!
Пусть смерть угостится останками шведа!

А лес все сосноее. Сосны да елки,
Все сосны да елки, все сосны да елки!
Зеленые, острые, злые иголки
Прилипли к мундиру, торчат в треуголке.
Вот через Тобол мы плывем на тоболке,
И снова качаются дикие елки.

И тут есть Сибирь. На ее косогоре
Я встал и смотрел. Я забыл свое горе.
О, боже! Драконоподобные зори
Стоят над востоком, как будто в дозоре!
Все жарче, все ярче! Путь к югу. И вскоре
Сверкнул солончак, — пересохшее море!

Меня поразило величье такое,
Но дальше мы мчимся, и нет мне покоя!
И вижу я крепость над мутной рекою.
Из крепости этой над мутной рекою
Выходит начальник и машет рукою.

И мне говорит он: «Помощник мне нужен!
 Коль станете, швед, вы мне искренно дружен,
 То будет подарок богатый заслужен —
 Я вам подарю пресноводных жемчужин!».
 И я говорю: «Я вам искренне дружен!».
 И он отвечает: «Зову вас на ужин!».

Веселый был ужин. Мы сделались пьяны.
 Мы пили и строили многие планы:
 «Что Санкт-Петербург нам? Там снег и туманы,
 А в нашем владеньи восточные страны!».
 О том говорили, как сделались пьяны.

И был я, как викинг, а он, как боярин.
 Мы делали вместе обход солеварен.
 «Мы сами с усами! И что нам Гагарин!»
 Наместник Гагарин над нами не барин!
 Он есть лихоимец, хитер и коварен!».
 Но Петр все знал сам. Мудрый был государь он.

«Вам пьянствовать хватит, собакины дети! —
 Так Петр нам сказал: — Захотели вы плети?
 Гагарин виновен. Он будет в ответе!
 А вы отправляйтесь к далекой Эркети.
 Где золото есть, там на карте отметьте,
 Чтоб стали нам ведомы россыпи эти!».

И вот я в Сибири не стал домоседом.
 За русским начальником двигался следом,
 Служил и способствовал новым победам,
 Победам петровским над турком, над шведом.
 Не даром Россия кормила обедом!

И вот — год за годом, поход за походом —
 Со славным сдружился я русским народом.
 Он мирный народ, но привычен к походам,
 Острастку и нашим он дал воеводам.
 Царь Петер! Великим ты правил народом!

Когда же ордою Цевана-Роптана
 Мы были обложены возле кургана,
 Нам гибель грозила. Но помощь неожиданно
 Пришла от Петра. Мы погнали Роптана!
 В сражении этом получена рана,
 А также получен и чин капитана.

Я рапорт писал! Я за все благодарен —
 За чин и за дом, что казною подарен.
 Я жив, а казнен лихоимец Гагарин.
 Женат я на русской. Мой сын русский парень.
 Я есть православный. Я венником парен!

★

О, Петр дал мне все. Мудрый был государь он!

Дорога жизни

ПОВЕСТЬ

МАКС ЗИНГЕР

★

I

В ящике на рессорах под вагоном было холодно, ветрено и пыльно. Поднятый вместе с пылью мелкий гравий больно бил по лицу и по всему худенькому тельцу Фильки Гиндина. Он бежал из одесского детдома, где заставляли ежедневно принимать столовую ложку рыбьего жира и наказывали заслушивание тем, что не водили вместе со всеми ребятами в кино.

Шум под вагоном был такой, что говорить становилось невозможно. А поговорить хотелось нестерпимо. Напротив, в другом ящике, ехал филькин товарищ, Белобрысый, или Колька Хохол, как его называли в детдоме, а настоящая фамилия мальчика была Завьялов.

Нельзя было вытянуться во весь рост в тесных ящиках. Приходилось лежать полусогнутым. Поезд шел долго без остановок. От неподвижности немели бока и свисавшие из ящика ноги. Ногами можно было нечаянно зацепить за шпалы, и тогда — конец! Приближение остановки чувствовали по замедленному бегу колес и скрипу тормозов. Не так уж билась пыль, становилось тише под вагоном и можно было переговариваться.

На остановках друзья просили у пассажиров милостыню, пели песни и перед отходом поезда торопливо занимали свои опасные места.

В Курганах, под Севастополем, жили в пещерах Валька, Маруська, Колька

Гоценко — беглецы из детдома, откуда были и наши герои. Туда, в Курганы, и стремились Филька с товарищем.

В пещере у ребят был свой шалаш. Жили вместе две девочки и трое мальчиков. Для шалаша выбрали самую просторную пещеру, где валялись кости скелета человека и животных, неизвестными судьбами попадавших сюда. Вместе с ребятами жила и собака Василек. У нее была еще и вторая кличка — Муныш. Собаку подобрал на базаре Колька Хохол. Она никого чужого в пещеру не пускала, а своих знала и любила.

Ребята спали на соломе вповалку. Грелись у костра. Жили милостыней и мелким воровством. Таскали у торговков на базарах булки, колбасу, рыбу. Однажды Фильку ударили палкой, и он думал, что не встанет больше. Но поднялся все же и даже буханки хлеба из рук не выпустил. Он знал, что в Курганах ждут его голодные ребята. Деньги, собранные на базарах, проигрывали друг другу в карты.

... Поезд мчался в Москву.

Колька Хохол полулежал на ящике на рессорах. Он был гораздо длиннее других, и теснота его особенно мучила. Филька смотрел на товарища и показывал ему знаками, что не прочь бы сейчас что-нибудь пожевать. Вдруг глаза Фильки расширились от ужаса. Он вскрикнул, увидя, что Колька Хохол свалился. Фильке померещилось, что он

слышал хруст колыкиных костей. Ничем не мог он помочь своему товарищу.

По лицу Фильки грязными ручейками текли крупные слезы. Он не мог утереть их. Обими руками он цепко, судорожно держался за ящик, чтобы не выпасть из него подобно Кольке Хохлу.

II

После гибели Хохла Филька и Колька Гоценко решили в Москву не ехать. В Севастополь возвращаться было опасно, свернули в Екатеринослав.

— У меня там тетка есть. Проживем мы как-нибудь у нее вдвоем, — уговорил Колька приятеля.

Вместо Екатеринослава попали в Кривой Рог. Остальные ребята уехали в Москву. В Кривом Роге играли в бильярд и в карты «на интерес». Из Кривого Рога подались на Екатеринослав. Сели в тормозную будку на товарный поезд, отехали километров шестьдесят, вдруг проводник заметил их да как закричит:

— Слезай, а то убью!

— Что ты, дяденька, как же на таком ходу нам прыгать, мы же побьемся! — сказал Филька.

— Говорю, слезай! Стрелять буду! Не велено тут ездить!

Колька соскочил и упал на стрелку. Филька за ним. Нельзя товарища оставлять одного в беде. Видиг — лежит Колька Гоценко без памяти у стрелки, голова вся в крови. Стало Фильке страшновато и Кольку жаль. Какой-то полустанок виднеется недалеко. Филька потащил товарища к полустанку.

Кольку отвезли в ближайшую больницу. Филька расстался с ним и поехал один в Запорожье, а оттуда — в Кичкас. Там прожил с месяц, скучно показалось, потянуло в Москву. Кругом гворили, что там — хорошо. Но до Москвы успел еще Филька побывать в Киеве, Белой Церкви, Харькове и на многих других станциях. И поехал Филька снова в Москву, куда давно собирался. Вот Филька у Кремлевской стены, в Александровском саду. Потащивает от голода. Голова кружится.

Сколько раз присаживался на скамейку в саду. Но голод не проходит. Рядом на скамье сидит человек в пенсне, читает газету. Филька прочитал: «25 сентября 1926 года» — и прошел мимо.

Возле ворот Филька стащил у торговки булку, с'ел. Стало легче. Идет по саду, тверже ставит ноги. Солнце еще светит с пригревом. Газоны еще сочные, будто весенние. Трава радостно зеленеет. Так бы лег на спину, закатил глаза в голубое небо и лежал бы целый день. За железной оградой гудят машины. Какая здесь быстрая жизнь! Все куда-то спешат, обгоняют друг друга. Над городом вьются самолеты, точно чайки над кораблями. Вспомнились родное Черное море, Севастополь, Пещеры, пещерные друзья, Колька Хохол и Валька. Взгрустнулось. Глаза затуманились. Захотелось покурить, да нечего. Напротив, в теневой стороне, сидел в задумчивости бородатый человек. Филька знал, что у таких задумчивых можно потянуть из кармана все, что угодно, — не услышат. Филька подошел к нему:

— Дяденька, дай чинарик покурить.

— А кокаин нюхаешь?

— Как-то пьяный китаец угостил, понюхал я — и сразу стал спиридон.

— Что это значит?

— А пьяный, больше ничего.

— Откуда ты, паренек?

— В Москве обитаюсь. Места мне нет. Хотел куда-нибудь определиться. Вот уже полгода мыкаюсь. Бог свидетель!

И стало вдруг Фильке стыдно своей лжи, и он заплакал!

— Э-э-э. а я-то думал, что ты настоящий мужчина! Отвечал бойко — да вдруг и распустил нюни, как девчонка. Не годится, друг! Пойдем-ка со мной! Тебе, видно, одеться не во что, да и пообедать ты не прочь. Мы что-нибудь сделаем. А скарлатина была у тебя?

— Была...

Филька был в рваной женской кофте и бос. Он робко пошел за человеком, опасаясь, как бы тот не посадил его в трамвай. Ему стыдно было лезть босиком в трамвай в своем вшивом, рваном одеянии. Но человек шел пешком, то-

ропливой московской походкой, и Филька рысцой едва поспевал за ним.

В доме, куда его привели, пахло лекарствами. Здесь несколько дней назад умер от скарлатины мальчик, одних лет с Филькой. Этот бородатый человек потерял сына. Фильку одели, выкупали в ванне, накормили досыта (он съел три тарелки супа), дали ему пальто, ботинки и белье покойного сынишки. Хозяйка сказала:

— Приходи, Филья, каждый день в два часа, будешь с нами обедать.

Мальчика в первый раз назвали не Филькой, а Фильей. И эта ласковость странно резнула слух. Как-то неудобно было ходить к чужим людям обедать, Филька стеснялся и нередко оставался без обеда. Затем совсем прекратил столоваться «по-культурному». Получилось это еще и потому, что Филька променял и продал постепенно все вещи, полученные от бородатого доброго человека, а без них к нему являться было неловко. В последний раз он, ласково глядя стриженную филькину голову, сказал:

— Из тебя, Филипп, может выйти человек. Ты пойдешь в МОНО. У них есть мастерские для детей. Ты научишься ремеслу и будешь жить, как люди.

Эти слова запали в душу мальчика. С твердым решением переменить жизнь он вышел на улицу. Проезжал по дороге воз. На возу в ящиках стояла водка в полулитрах. Несколько мальчиков, таких же, как Филька, «шопали» водку. То же самое сделал (в последний раз перед честной жизнью) и Филька, но неудачно. Его поймали и отправили в исправительный дом. По дороге Филька вырвался и прибежал в МОНО, стал проситься в детдом.

— Мы должны проверить тебя сначала, — строго сказала ему высокая, полная седая женщина.

Филька был переведен в детдом до истечения испытательного срока. В детдоме кормили хорошо, давали даже какао. Незнакомый напиток понравился ему. Он украл, сам не знал, зачем, коробку какао и валенки, юкнул в калитку и был таков. Шел он по улице в раздумьи. Вспомнил бородатого человека, его добрую жену.

«Я мог бы стать человеком, но и тут сблатовал» — подумал Филька.

Долго он кружил по московским, кривым улицам.

С Ярославского вокзала поехал на восток: Свердловск, Новосибирск, Красноярск. Потом вернулся обратно. Перекочевал на Волгу.

III

Скучно было Фильке ездить одному. Он растерял по дорогам своих товарищей. Не оставалось на свете никого близкого. Вспомнил тут он о родном брате, проживающем в Херсоне. Махнул Филька в Херсон и разыскал брата.

Встреча была холодная. Филька даже не знал, о чем, собственно, говорить. Брат ходил из угла в угол и курил папиросу за папиросой. Филька едва узнавал знакомые черты. Так давно они не виделись друг с другом.

— Филька! Я тебе сто раз говорил: ты будешь босяком. И вот полюбуешься — вырос! Ты уже не ребенок. Тебе скоро пятнадцать лет. Когда же ты станешь, наконец, человеком? Я могу тебя устроить в сверхброню на завод. Там сельскохозяйственные машины делают.

Филька поступил на завод. Жена брата недолюбливала Фильку и помыкала им: посылала, надо, не надо, на рынок, заставляла мыть полы, картошку чистить и даже стирать белье, ругала его часто.

Как-то брата не было дома. Филька прокрался к столу брата, где — знал — лежит в незапертом ящике наган. Барабан нагана был пуст. Филька подумал: «Дай пострашаю сноху!».

Подкрался к ней, навел наган и скомандовал:

— Руки вверх!

Та закричала. Филька испугался крика. Наган выпал у него из рук. На крики женщины сбежался народ. Один из соседей, почтенный старик, держал Фильку крепко за рукав, твердил одно:

— Его надо только убить! Я сколько раз говорил об этом! Это неспра-

вимый парень! Его надо совершенно изолировать раз и навсегда от общества.

Филька вырвался и убежал, бросил завод и уехал в Геническ.

Геническ манил Черкеса издавна. В этом городе жилось лучше, чем в других, так казалось Фильке. Появился здесь Филька снова, зашел в винную лавку, попросил у кассирши пять копеек. Та посмотрела на него ласково и спросила:

— Как тебя зовут, мальчик?

— Филипп.

— А сколько тебе лет?

— Скоро пятнадцать.

— И давно ты кочуешь?

— Порядочно.

— А где твои родители?

Сколько раз слышал Филька эти обычные вопросы и сколько раз отвечал на них, выпаливая, как молитву, заученные слова.

Кассирша написала короткую записку, дала Фильке двугривенный и сказала:

— Вот тебе, Филья, адресок, приходи сегодня ко мне вечером, я с работы освобожусь, кое-что тебе приготовлю из одежды, потолкуем.

Черкес долго раздумывал: итти или не итти? Он был любопытен, как все дети. Филька пошел к незнакомой женщине — Шориной, тете Симе, как она разрешила звать себя. Тетя Сима приготовила Фильке ванну, дала ему белья, какое нашлось дома, угостила чаем со свежими, мягкими булками:

— Филечка, ешь, сколько хочешь. Чем богаты, тем и рады.

Оказалось, что тетя Сима сражалась в партизанских отрядах и затем в Красной Армии против Деникина и Врангеля, работала против белых и них же в тылу как разведчица. Весь вечер говорил Филька с тетей Симой. Филька остался жить у тети Симы на кухне. Вставал рано, колот дрова, топил печь, убирал помещение и шел на работу в винный магазин — бочки катал, посуду подавал с воза в магазин и пустую тару из магазина на воз. Рассказал тете Симе про себя все без утайки. У него в этом никогда не было стеснения. Женщина слушала его, утирая слезы.

Как-то пришла она с работы домой и говорит:

— Я тебя, Филечка, на завод устрою. Не думай ты больше о своей прежней жизни. Что было, пусть пройдет, как плохой сон! Выкинь все из головы!

И погладила его по стриженной голове. Фильке стало тепло от давно невиданной ласки. Его все только ругали и били, за ним постоянно гнались: он вырывал из чужих рук — у него вырывали, он толкал — его толкали, он крал — у него крали. Он так и думал, что это и есть жизнь. Материнской ласки он не помнил. Мать умерла, оставив его совсем маленьким. Отец женился вторично и мало думал о Фильке. Отдал его в детдом...

Устроился Филька в мастерские учеником-слесарем.

— Чувствую, что прошли теперь мои экстазы и начинается этап в жизни, — высокопарно говорил Филька тете Симе. Он нахватался за последнее время непонятных слов и охотно употреблял их в разговоре.

Беспризорная жизнь начинала понемногу отталкивать мальчика от себя. Он забывал о ней. Но твердо он еще не мог решить про себя: «Да! Вот теперешняя моя жизнь самая настоящая: вот так жить и надо!».

Ему не понравилось на заводе. Завод был небольшой, дело было поставлено плохо.

— Тетя Сима, — обратился Филья, — мне очень хочется путешествовать, на пароходах плавать. Неинтересно жить все время на берегу. Хочу я быть, кажется, моряком. Что вы скажете на это?

Тетя Сима сначала не соглашалась отпустить Фильку, потом уступила и сама снарядила его в Ленинград и даже адрес дала, к кому можно заехать, остановиться на время.

Филька ехал по железной дороге не под вагоном или скамейками, а как настоящий пассажир, с оплаченным билетом. В первый раз Фильку провожали и приветливо махали ему платком. Бывало, когда беспризорничал, смеялся над провожавшими, а теперь... Тетя Сима

стала ему, как родная. Мальчик уезжал и думал:

«Когда вырасту, стану человеком, непременно заеду в Геническ, разыщу тетю Симу, она будет, небось, уже старенькой. Я ей тоже помогу, как она мне в жизни».

Устроился жить по письму тети Симы в Ленинграде у студента рабфака Григория Сорокина.

1928 год был переломным для Фильки. В этот знаменательный год Ленинград встречал своих героев. В Неву входил после легендарного похода ледокол «Красин», оваянный мировой славой. На капитанском мостике стояли советские моряки, снявшие со льдины группу Мальмгрена.

Филька никогда в жизни не видел столько людей. Идя по набережной лейтенанта Шмидта, он наткнулся на оброненные зонтики, палки, калоши. Народу было так много, что несколько человек сорвалось с набережной в Неву. Каждому хотелось посмотреть героев, их самолет и славный ледокол, побывавший далеко во льдах Арктики. Фильке тоже хотелось взглянуть на героев. Было так тесно в толпе, что невольно у Фильки мелькнула мысль о том, чтобы «шопнуть» в последний раз. Это было соблазнительно легко.

Кто мог подумать в такие торжественные минуты о воровстве, когда душа каждого пела от восторга. И Филька сам был в восторге от зрелища. Но думалось так: в этот день можно в последний раз сделать «экстаз», «наколоть» сразу много денег и перестать вести заброшенную жизнь. Филька подряд и без промаха достал четыре бумажника с деньгами и документами. Документы и бумажники тут же подбросил на мостовую, а деньги сунул за пазуху. Всего «наколоть» в тот день пятнадцать узелков и четыре бумажника.

— Теперь амба! На этом Черкес закончил свое «гопничанье». Это его последний «экстаз». Да здравствует новая жизнь!

Филька поступил на завод «Красногвардеец», потом на завод точной механики. Перешел на жительство и селовался в комсомольской коммуне. Выдвигали его председателем коммуны и послали в школу матросов на Крестовский остров. Школу кончил в полгода (товарищи говорили про него: башковитый!). Но в совторгфлот не пошел, а направился в Мурманск, в тралфлот.

Мурманский райком комсомола послал Филиппа в Умбу проверить состояние рыболовецкой кооперации, провести контроль хозрасчета и снижения цен. До Кандалакши Филипп ехал поездом. В Кандалакше трое суток добивался лошадей. Оленей не было. Достал клычонку. Дорога вилась среди гор, по озерам, засыпанным снегами. Все было здесь для Филиппа необычно после родного Юга. Все казалось таинственным, волнующе-новым и увлекательным.

Филипп остановился в квартире председателя сельсовета. Через два дня все село уже знало приезжего. Приходили к нему люди с жалобами на предрика: товар в кооперации берет, денег не платит.

Никак не удавалось Филиппу с ним беседовать. Как только приходил Филипп к нему, тот просил прощения и обязательно куда-нибудь срочно уезжал. У него постоянно были какие-то неотложные дела.

В Мурманске написал в «Полярную правду» статью о проделках предрика и его хозяйничаньи. Предрика вскоре сняли с работы. Филипп отчитался перед окрпотребсоюзом, работу его по обследованию признали удовлетворительной, а он устроился на тралбазу. Он знал, что на тральщиках не сладко жить и работать, но все же размышлял так: «Поплаваю три-четыре рейса, выдержу марку, тогда на любое торговое судно примут и буду наравне со всеми другими моряками».

Филиппа назначили на новый, недавно приведенный из Германии тральщик «Осетр». Тральщик на рассвете уходил в рейс. Предстояло суток двадцать «молотить» в море. Перед отходом на промысел Филипп сидел с товарищами в ресторане. Вспомнил об «Осетре» только под утро, вскочил со стула и — к вешалке.

— Ты куда? — крикнули ему товарищи вдогонку.

— На судно.

— Сиди с нами! Прими расторопных капель, успокойся! Все равно теперь опоздал! — А сами ему водки подливают.

Но Филипп не вернулся к столу, а побежал на тралбазу. «Осетра» у причала уже не было. Глянул на залив, — тральщик выходил на рейд. Филипп Гиндин отстал от рейса. Ему было обидно. Скажут теперь в комсомоле, что Филипп недисциплинирован, «труса празднует», боится в штормовое время рыбу промыслить.

В «Полярной правде» Филипп вскоре прочитал ошеломившее его известие. Радиостанцию «Осетра» перестали слышать во время сильного шторма. Филипп едва познакомился с моряками «Осетра», чтобы никогда с ними более не встречаться...

Больше года проплавал Филипп в Баренцовом море на тральщике «Нева», лазил по мурманским становищам, промыслял селедку и треску. Потом вернулся в Ленинград и был назначен на пароход «Донец». Перед самым отходом судна Филиппа пересадили неожиданно на другой пароход. «Донец» ушел в рейс и не вернулся, пропал без вести. Впоследствии нашли у финских берегов боцмана «Донца» и буфетчицу. Их безжизненные тела выкинуло волной. Два раза уходил Филипп от смерти.

Много повидал он на своем коротком веку такого, что переволновало его кровь. И он находил, что морская жизнь, полная неожиданностей, куда спокойней, чем прежняя его жизнь в Курганах, в Пещерах, под вагонами, в разрушенных домах... Каждый день ложиться на койку, застланную чистым бельем, получать в определенные часы, как в санатории, завтраки, обеды и ужины, слушать по радио последние известия, видеть свое имя среди других передовиков флота и мечтать еще о лучшей жизни, — как все это было не похоже на его детство! Жизнь моряка текла от вахты до вахты. В свободное время он зачитывался книгами. Иногда думал, что срок, положенный ему природой, слишком мал для того, чтобы сделать настоящую жизнь.

IV

Отдел кадров в ленинградском торговом порту послал Филиппа на пароход «Минск».

— У меня мест вакантных для матросов нет! — встретил его капитан. — Пойдешь коком!

— Да я же никогда коком не плавал!

— Какие могут быть разговоры, когда у меня комиссия уже на борту? Через час — отход!

Утром встал рано, пришел на камбуз, не знает, за что взяты. Старший повар сказал ему строго:

— Филька, кипяти куб!

Филька выполнил работу. Пошел в кладовку, принес к завтраку для команды колбасы, хлеба, масла. Видит, стали готовить на камбузе обед. Шеф-повар спрашивает:

— Филька, скажи честно, ты поваром работал или нет?

— Бог свидетель, что работал!

— Вот я и вижу!.. Поставь, парень, тесто!

Филька признался второму повару. Тот выслушал и посоветовал:

— Не боги горшки лепят. Возьми теплой воды ведро. Разведи дрожжей. Добавь соли и сахару по вкусу. Пусть бродит. Побродит немного, и давай все это в корыто! Тогда замешивай муки, сколько руки будут чувствовать! Понял?

— Понял!

В следующий рейс пошел Филипп ко-чегаром. Он решил испытать все морские профессии. На берегу жил снова у Григория Сорокина. Только Сорокин был теперь не один. Он женился на курснице — Надежде, молодой и бойкой девушке. Неудобно было Филиппу стеснять молодоженов, но хозяева были молоды, веселы и гостеприимны. У них Филипп не чувствовал себя чужим.

На улице, близ Гостиного двора, он встретил нежданно Кольку Гоценко.

— Смотри: явился, не запыхался! — крикнул ему обрадованно Филипп.

Гоценко был одет прилично и стоял, опершись на новые костыли.

— Как живешь, корешок?

— Живу хорошо, бросил водку пить, начал деньги на водку копить, — подмигнул Гоценко. — Женился, брат. Приезжай ко мне!

С пустыми руками не хотелось ехать к товарищу. Привез он Кольке на квартиру вина и закусок. Встретились тепло, как старые приятели. Оба рассчитались с беспризорной жизнью и поставили на ней крест. Жена Кольки работала в магазине за прилавком, а сам он столлярничал в мастерской. Филька остался ночевать у Гоценко. Он попросил разбудить его рано утром, в шесть часов, чтобы успеть к началу вахты на судно.

Днем после вахты направился в магазин, набрал всякой всячины в подарок для Сорокиных, пошел платить в кассу, хватился, бумажника при нем не оказалось. Это ошеломило его. Не жалел денег. Деньги — дело наживное! Жалко было: товарищ его честь потерял. Они вместе в детстве горе горевали и вдруг — такое свинство!

Встреча с Колькой Гоценко принесла Филиппу незнакомое ранее чувство: его охватило презрение к воровству и дармоедству.

V

На пароход во время стоянок к Филиппу часто приходил репортер местной газеты Яков Курочкин. Моряки подшучивали над репортером и говорили, что он представляет собой редакцию «Земля и глина».

Яков Курочкин появлялся на кораблях всегда с одним и тем же вопросом:

— Пришел к вам за петушком! Нет ли какого-нибудь настоящего петушка? Петушком Яков называл такие случаи из судовой жизни, которые кричали сами за себя. И, когда такие случаи отыскивались, восторгам Якова не было конца.

Едва с парохода замечали приближавшегося Курочкина, как уже кричали:

— Идет! Готовь петушка, а то Курочкин яйца несть перестанет.

Моряки любили его, но так уж принято на каждом судне посмеяться при случае беззлобным смехом.

Филипп был ровесником Курочкина. Им обоим в тот год сравнялось по восемнадцати. Филипп, как и Курочкин, знал многое, но не знал еще настоящей любви. Он читал много книг. В них часто говорилось о любви. Филипп не встретил еще на своем пути такой девушки, которую действительно полюбил бы. Он перебирал мысленно всех своих знакомых — убитую Вальку, неизвестно где теперь скитающуюся Маруську и всех других девушек, с которыми спал под ларьками и парадными лестницами. Но разве это была любовь? Ведь каждая из них любила и Фильку, и Мотьку, и Кольку, и Пашку Цыгана. Разве вот только Валька отдавала предпочтение Кольке Хохлу и зато распростилась с жизнью. Но и такую любовь Филипп теперь считал ненастоящей.

— Филипп! — сказал однажды Курочкин. — Завтра наша художница придет делать зарисовки на вашем судне.

— Художница, ого! — заинтересовался Филипп. — Вот это, действительно, будет петушок. Я — кочегар, а она — художница, может быть, даже с высшим образованием. Так она пройдет мимо меня, как поезд перед нищим. Что ты скажешь, Яков?

Курочкин промолчал.

— Я спрашиваю, что же ты молчишь?

— Это будет зависеть от тебя. Ты же — с головой? Был бы я девушкой, я бы, наверное, полюбил тебя за одни твои рассказы.

VI

Художница Софья Морозова пришла на пароход в самый разгар вахты Филиппа. Он работал в топках за переvalами в котле на самой пыльной и грязной работе. Он никак не ожидал, что именно в этот час она появится на судне. Он стоял перед ней черный, только белели зубы. От нее пахло дорогими духами. Филипп знал им цену. В намякиюренных пальцах она держала обстрижку¹, чтобы не запачкаться при

¹ Концы, пучок ниток.

спуске по трапам в кочегарку. Когда кочегар увидел Софью рядом с Курочкиным, то даже вспыхнул от злости и досады и, вместо приветствия, сказал злобно:

— Кажется, я тебе, Яков, устрою сегодня похороны! Так вы и есть художница Софья Морозова? Разрешите представиться: инженер-паропроизводитель Филипп Гиндин. Когда мы знакомимся в кино с соседками по ряду, то так себя обычно называем.

— Я хочу зарисовать вас на работе, — сказала деловито Софья,

— Как, в таком виде?

— Можно и в таком.

— Нет уж, увольте, через полчаса конец моей вахты, и после бани я — в вашем распоряжении. Можете писать портрет хоть до самого вечера.

Филиппу вдруг стало легко и свободно, захотелось петь и танцевать. Не потому, что пришли его рисовать. Портреты ударника моряка Филиппа уже помещались в профессиональной печати. Не это воодушевляло его...

— Так вот, друзья, ступайте в красный уголок! — предложил Филипп. — Я буду скоро возле вас.

Вернувшись после душа, Филипп застал гостей в красном уголке за патефоном.

— Все в порядке, бычки в коробочке! — сказал Филипп взамен приветствия.

Филипп остался вдвоем с Софьей. С парохода пошли в портовый ресторан, пили пиво, — было невероятно жарко.

— Культурная, красивая и, главное, незагибистая! — оценил Софью по своему Филипп.

Через несколько дней Филипп пришел к ней в гости. Софья обрадовалась, усадила в мягкое кресло, отодвинула от окна высокий мольберт, загораживавший дневной свет, положила моряку на колени увесистый альбом с рисунками.

«Я разбираюсь в этом, как дельфин в библии, — думал про себя Филипп. — Кажется, мне сейчас устроят похороны. Засыплюсь окончательно. Никогда не приходилось вести разговоры об искусстве. Надо будет перевести разговор на морские темы, травануть

что-нибудь такое от норда к весту, ближе к месту».

Но все не подвертывался удобный случай, Софья говорила без-умолку о живописи и художниках. Филипп сидел в кресле, тоскливо, в который раз перебирая страницы уже просмотренного альбома. Все это было куда хуже штор-ма для молодого моряка.

Вдруг она сама (тут Филипп чуть не подскочил от радости) сказала:

— Филя! Здесь во дворе живет Лиза Соколова. Вы ее, небось, знаете?

— Лиза Соколова! Так это буфетчица с «Двины», — оживился Филипп.

— Я ее позову сюда. Будет веселей!

Каждому моряку есть что порассказать о штормах, туманах, подводных рифах, пожарах на судне. Филипп говорил с жаром. Его рассказы ничуть не волновали буфетчицу Лизу. Она сама видала и не такое в море. Но Софья слушала Филиппа с увлечением. Это еще больше горячило его. Ему хотелось нравиться Софье.

У Филиппа кружилась голова...

Софья сказала, что ей нравится жизнь моряка. Она сама мечтала поплавать, повидать моря и земли. Но, конечно, это были только мечты.

Филипп живо рассказывал о своем пребывании в заграничных портах.

— Сколько ни путешествуй, а надо едет по чужим землям таскаться! — говорил Филипп.

Софья провожала Филиппа в дальнее плавание. «Двина» уходила с Филиппом из Ленинграда в Неаполь.

Последний вечер Филипп провел с Софьей в Русском музее. Долго в рейсе помнились и поразившие его картины, и мелочи последней встречи с Софьей: в каком она была платье, какую сумочку держала в руках. Но вот лица ее, как ни силился, представить себе не мог. И это немало огорчало его. Мучил вопрос: «Что ей за дело до меня? Она даже не просила, как другие девушки, привезти что-нибудь из-за границы, какой-нибудь пустяк, карандаш для губ или бровей...».

Вернувшись из дальнего плавания, Филипп не застал Софью в Ленинграде. В коммунальной квартире, где жи-

ла Софья, моряку сказали, что она уехала в Крым. Обострившийся туберкулезный процесс в легких заставил художницу спешно выехать на постоянное жительство в Крым.

Неожиданная разлука с Софьей в самом своем начале дружбы сильно огорчила Филиппа.

К зиме перестал Филипп в штормливых рейсах тосковать по Софье, но навсегда осталась у него любовь к живописи, к искусству.

В свободное время Филипп любил «баловаться» акварелью. Под койкой кочегара в сверкающем лакировкой чемодане хранились коробка акварели и небольшой альбом из ватманской бумаги. В нем он делал зарисовки из судовой жизни для стенгазеты и писал акварелью морские виды «для себя». Имена многих художников, прежде совсем неизвестные Филиппу, стали ему близкими после частых совместных с Софьей посещений ленинградских музеев. Живопись стала волновать Филиппа так же, как музыка. Моряк знал: это новое в его жизнь внесла с собой так неожиданно прошедшая мимо Софья...

Радостное чувство новизны открывающегося перед ним мира он ощутил еще и в тот день, когда впервые понял речь обратившегося к нему в Ливерпуле англичанина-матроса. И хоть несложный был этот разговор (англичанин попросил у Филиппа «рашен сигарет»), но Филипп, ответив матросу по-английски, почувствовал себя так же, как близорукий, надевший первый раз очки. Да, новый мир, новая жизнь навсегда вырвали его из прошлого.

Группу английского языка на пароходе «Двина», с которым сроднился Филипп, вел сам капитан. К концу первого года дальних плаваний Филипп с помощью капитана и самоучителя настолько овладел недавно чуждым языком, что мог свободно читать английские «ньюспейперс» (газеты).

VII

— На море — дома, на берегу — в гостях. Эх... скорей бы в гости! — говорили старые моряки на «Двине».

Филипп любил свой корабль и сроднился с ним. На корабле ему было даже лучше, чем на берегу, так порой ему казалось. Не было у него никого в Ленинграде из близких людей, кроме Сорокиных, но и они были всегда очень заняты. Сложилось так, что он не имел друзей. Его мучило иногда одиночество. Вспоминалось, что рос он в безотцовщине при родном отце, и душу щемило при этой мысли. На корабле, где была общая работа, где все заботились об общем деле, Филиппу было легко. Время шло размеренно и незаметно. Вахты чередовались одна за другой, занятия по техминимуму и чтение книг незаметно отнимали все свободное время. Он не любил «забывать козелка» — играть в домино. После усиленных занятий он валялся на койку и засыпал без тревог и раздумий. Ни туманные гудки, ни звон рынды, ни свистки вахтенных штурманов его не беспокоили. Его сон был крепок, как и здоровье. А вот на берегу спалось плохо. Там больше думалось о неустроенности собственной жизни. Вот Сорокины оба стали инженерами. А он своей жизни еще не устроил по-человечески, по-советски.

Он объездил многие земли, побывал в разных портах мира, видел черных, желтых, краснокожих людей, богатство одних и нищенство других, добро, зло и неравенство. Филипп подолгу думал о жизни. Здесь, на «Двине», в море, его приняли единогласно в комсомол. Он без утайки рассказал все о себе на общем собрании. Никто не выступал против. Наоборот, каждому хотелось, выслушав его, помочь ему и чем-нибудь порадовать. Это тепло кубрика обогрело Филиппа. После собрания он долгу еще в столовой рассказывал, как жил и как собирается строить свою жизнь.

— Буду учиться. Это главное! Науку одолею, обзаведусь семьей. А то болтаешься, как валенок в проруби!

Старый кочегар-холостяк перебил Филиппа:

— Зачем жениться? Когда в каждом порту у тебя может быть прекрасная жена. Жениться — это не вопрос для моряка. Моряк жениться не должен. Зачем? Для удобства товарища?

Вот в прошлом году ходили мы в полярку, на «сквозняке»¹. Добрались до самого устья Колымы, — бац! Старшина кочегаров получает телеграмму:

«Вычеркни меня навсегда из своей жизни. О вещах не беспокойся. Маруся».

Филипп знал: спорить с таким — дело бесполезное. Не переубедишь. Филипп верил, что встретит на своем пути девушку, которая станет его верной подругой и внесет в жизнь то, чего он был лишен с самого детства, — чело-вечность.

... Гриша Сорокин много раз говорил Филиппу, что в Ленинграде есть одна девушка Шура, работница со «Светланы», — другую такую нескоро сыскать. И обещал познакомить с ней Филиппа, но в то же время сам предупредил Шуру:

— Я познакомлю тебя с одним моряком. Но помни, какие моряки грачи!

У Сорокиных была встреча нового года. Собрались близкие друзья, пришел Филипп, ждали Шуру. Но она позвонила по телефону, извинилась и сказала Грише, что никуда не ходит по вечеринкам. Такая в доме установка.

Шура жила под Ленинградом — в Шувалове, совсем недалеко от места дуэли Пушкина.

Филипп сам предложил Сорокину:

— Поедем, Гриша, в следующий выходной к той девушке, про которую говорил!

— Поедем! Ради тебя, Филипп, поедем!

— Понимаешь, Гриша! Точно одному. Скучно! Если понравлюсь Шуре, приду с рейса, будем вместе с нею время проводить!

Моряк часто думал о предстоящей встрече и ловил себя на том, что немного робел. Условились с Сорокиным так: если Шура Филиппу не понравится, он толкнет своего товарища, это будет означать: снимайся с якоря!

Приятеля подошли к тенистому саду и остановились у крашеной калитки. Виднелась островерхая, крытая железом

крыша. Гостей встретила приветливо сама мать Шуры, еще молодая женщина:

— Заходите, заходите, молодые люди!

В саду цвели яблони. Все казалось весенне-праздничным и нарядным. Филиппа так и влекло заглянуть в дымчатую белизну сада. На террасе он увидел девушку в красной косынке, синем сарафане и босиком. Она мыла полы, подоткнув платье спереди. Увидав вошедших, она смутилась и торопливо заговорила:

— Извините, извините, вы застали меня врасплох. Если вы не спешите, то вам придется немного посидеть в саду.

Она удалилась в комнаты и вскоре вынесла коврик, подушки и альбомы. Расстелила на траве ковер и, улыбаясь, сказала:

— Помните, у Чернышевского, кажется, так сказано: «Если в доме нет ни собаки, ни кошки, то может найтись третья тема для разговора с гостями, это — о погоде». Но у меня и для этого сейчас времени нет. Так вот на выручку приходит альбом с фотографиями. Это палочка-выручалочка. А меня извините. Я должна закончить все по хозяйству. Я — в вечерней смене. Одной маме со всем хозяйством не управиться.

Шура понравилась моряку с первого взгляда, он сам ясно не сознавал, почему.

Она вышла к гостям в сад слегка прихорошенная, играя цветущей яблоневой веткой. Филиппу показалось, что Шура держалась несколько стеснительно, и вдруг понял причину этого. Она была слишком просто одета, в то время как Филипп разоделся: на нем были лакированные туфли французской работы, куленные в Руане, синий английский костюм из добротного материала. Ярко белела сорочка. Нарядный галстук был к лицу. Филипп почувствовал, что лучше было приехать в синей, простой, морской робе. Кстати, она очень шла к нему. Он это знал. Тогда легче было бы говорить. Это роскошество, очевидно, отчуждало Шуру от него. Филипп предложил Шуру покататься на шлюпке по озеру. Гриша ушел недалеко к своим знакомым, договорились, что к вечеру встретятся.

¹ Сквозной рейс.

Сидя в лодке, Филипп не заводил морских разговоров, не рассказывал Шуре о музеях Европы. Больше всего он опасался показаться Шуре хвастуном. Но она сама начала:

— Я слышала от Гриши, что вы — моряк. Он рассказывал мне о вас, когда приглашал к себе на новогоднюю вечеринку.

И как-то невольно потекли морские разговоры. Он говорил смешливо, сам пошучивая над собой, и Шура весело смеялась.

Шура окончила недавно семилетку, работает на заводе, мечтает поступить в вуз. Филипп слушал, когда она рассказывала о себе, и думал:

«Кажется, милая и скромная Шура, ты понравилась мне, как ни одна из девушек на свете. Я еще не знаю, что ты думаешь обо мне. Но моряк не теряется. Приду с рейса, лучше познакомимся, — может быть, и я приду к тебе по сердцу».

Филипп размечтался и отвечал Шуре невпопад, как влюбленный. И Шуре это не казалось странным. Она сама была в каком-то волнении от встречи и разговоров.

Стоянка в Ленинграде продолжалась еще четыре дня.

И каждое утро Филипп ездил в Шувалово. Дни проходили незаметно. Филипп чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И, когда «Двина» дала три прощальных гудка, моряк понял, что оставляет в порту самое дорогое — Шуру.

Рейс тянулся бесконечно долго, как никогда ранее. Бывало, жизнь Филиппа начиналась с отходом из Ленинграда. Теперь все пошло по-другому. Чуть ли не с первого дня потянуло обратно в Ленинград, в Шувалово. Из каждого порта Филипп писал Шуре и часто получал от нее ответы.

«Двина» вернулась в Ленинградский порт поздним летним вечером. Комиссия приняла пароход, и команду спустили на берег уже далеко за полночь. Филиппу скорее хотелось в Шувалово. Он мог бы взять такси и быстро приехать к Шуре. Но какое право он имел так поздно приезжать в чужой дом?

Как посмотрели бы на него родители Шуры? Отец Шуры был красным партизаном и строгих правил человеком. Не даром дочь его по вечеринкам не ходила. Тут еще раз пожалел Филипп, что нет у него такого угла, где бы всегда его с приветом и лаской встретили. В комнате одиноко и пусто. Товарищи приглашали его с собой в ресторан поужинать и потанцевать. Не протянуло, отказался.

Филипп едва дождался утра и с первым трамваем покатил к Шуре. Ехать надо было долго. Филипп, глядя в просторное окно вагона, думал о том, как встретит его Шура. Мелькали дома, сонные улицы, встречные трамваи. В письмах Шура писала, что ждет его с нетерпением. В письме-то может быть одно, а вот приедешь в Шувалово — и выйдет совсем по-другому. Филипп ехал теперь в английской морской рубе. Он мало тратил денег на развлечения, но любил одеваться хорошо. Он брал у жизни реванш за свое босое и нищее детство. Заработанные деньги не пропиывал и не проигрывал в карты.

В Шувалове у калитки заветного сада Филиппа первой встретила младшая сестра Шуры и звонко крикнула:

— Шура, Шура, Филя приехал!

На террасе мелькнула красная косынка, и послышалось ласково:

— Заходи, Филипп, заходи!

Тут в первый раз они поцеловались, торопливо, как дети, стукнувшись носами. Моряк рассказал о своем последнем рейсе и пригласил Шуру с сестрой в кино. Он с трудом уговорил Шуру. Но в ресторан пойти из кино она наотрез отказалась, сколько ни уговаривал ее Филипп. Она сказала резонно:

— У меня и дома — хороший обед. Я не голодна к тому же. Не стоит.

Эта простота и скромность совсем подкупили Филиппа. Назавтра, в выходной день, Филипп приехал в Шувалово с театральными билетами на «Холопку». За каждый билет уплатил по шестнадцати рублей. Шура отказалась пойти в театр. Филипп был очень огорчен отказом, он сказал только:

— Что же, Шурик, так, значит, и пропадут билеты?

Тут мать позвала Шуру в комнату и что-то долго с ней говорила. Почудилось ему, что Шура плачет, и стало жаль ее. Хотелось пойти сейчас же утешить ее и приласкать... Потом вдруг сообразил, что у Шуры сбиты туфли, ей не в чем пойти в театр. Она стеснялась пойти в спортивках. В следующую полочку она собиралась купить себе обнову. Не во-время приехал Филипп со своими билетами. Он тихонько вышел из дома, не попрощавшись.

Наутро он приехал в Шувалово с двумя свертками. В одном были закуски и вино, в другом духи «Красная Москва», пудра, туфли и красивый берет. Думал так: выпью для храбрости, а потом и передам ей подарок.

Он опасался, как бы не оскорбить Шуру своим подарком. А потом вдруг сказал решительно:

— Вот тебе, Шурик, сверток. Ты не открывай его ни в коем случае, пока я не уйду отсюда. Иначе мы поссоримся. Самое трудное было сделано.

В следующий раз Шура встретила Филиппа с обычным дружелюбием и приветливостью, только отвела в сторону, взяла за ухо, потрепала ради шутки и сказала своим певучим голосом:

— Ты, Филя, большой транжир!

У Филиппа мелькнуло беспокойство: уж не смущает ли ее вопрос — откуда у него столько свободных денег? Он и билеты по шестнадцать рублей бросает на ветер, и покупки дорогие делает! Что это за грач такой! И он стал пространно объяснять, что все советские моряки, идущие в заграничное плавание, получают большие деньги.

— Понимаешь, Шурик, в море кооперативов нет! На корабле деньги моряку ни к чему! Их надо тратить на берегу, вот я и трачу.

— И без толку! — рассудительно сказала Шура.

...Шура обращалась к Филиппу в письмах на «ты» и писала, что ждет его прихода. Пусть в любое время приезжает к ним на квартиру. Все будут ему только рады.

Филипп стеснялся рассказывать товарищам о своей любви к Шуре. После

вахты, лежа на койке, Филипп часто думал:

«Шура мне очень нравится. Я ее люблю, в этом надо откровенно признаться. Она меня — тоже...».

И во сне к нему не раз приходила Шура в красной косынке, голубоглазая и веселая.

Прошло уже пять месяцев их знакомства. Короткие дни стоянок были памятными и волнующими.

Филипп приехал с парохода поздно вечером. Его оставили ночевать. Весь дом заснул. Мерно тикал будильник на комодке, слышно было, как за печкой в кухне возились мыши. Возле кровати Шуры сидел Филипп с томиком Лермонтова и восторженно вслух читал «Мцыри», представляя себе так, что Мцыри и есть он сам, Филипп, — недавний беспризорник. У Лермонтова все это так поэтично и красиво, потому что было сто лет назад... К себе на диван моряк так и не пошел. Она тихо шептала с тревогой:

— Рано! Этого нельзя!

Потом беззвучно заплакала, сдерживая себя, чтобы не услышали в соседней комнате.

Филипп обнял Шуру, утешал, как маленькую, и шептал без-умолку о своей любви.

— Если ты меня любишь, тогда все в порядке! Ведь я же тебя люблю, мне без тебя нет жизни. Я в море только и думаю, когда же мы с тобою встретимся. Я всегда смогу сделать так, что тебе будет хорошо.

Моряк уходил в длительный рейс. Он сказал Шуре на прощанье:

— Я уйду надолго, на несколько месяцев, но верь мне — все время я буду думать, что у меня на родине есть Шура. Жизнь по-другому стала светить теперь для меня.

Письма от Шуры заставляли Филиппа в портах Англии, Бельгии, Франции. И однажды он получил большое письмо, где Шура сообщала, что она беременна: «Скоро об этом узнает и мать. Этого не скроешь. Я согласна на аборт. Я еще не могу быть матерью...».

Филипп дождался, когда кончилась его вахта, пошел под душ, переоделся и

сел писать ответ. Он вдумывался в каждое слово. Письмо начиналось так: «Ни в коем случае, детка, не унывай! Аборт делать категорически запрещаю. Почему запрещаю? Ты скажешь еще — что за повелитель выискался! Потому, что ребенок такой же твой, как и мой! Это наш ребенок! И пусть он растет хорошим гражданином. Я об этом давно мечтал. Теперь моя мечта сбывается...».

В последнем письме скачущими буквами было написано:

«Филечка, я ушла из дома. Четвертые сутки живу у двоюродной сестры. С ней ходила к профессору, чтобы сделать аборт. К нам вышла жена профессора, седая, пожилая женщина, и стала подробно меня спрашивать о нашей жизни и о тебе, кто ты такой, чем занимаешься, сколько тебе лет. Она ласково сказала мне:

— Видимо, парень этот действительно любит вас. Не делайте аборта! Вы можете искалечить себя! Вы можете погубить свою молодость и навсегда лишиться материнского счастья.

И много других, хороших слов сказала она еще.

И я решила отказаться от аборта и ушла к двоюродной сестре. Стыжусь итти к своим в Шувалово. Теперь я совсем одна...».

Письмо носило на себе следы слез.

Шура каждый день звонила к Якову Курочкину в редакцию и спрашивалась о том, где сейчас «Двина». Яков знал о передвижении всех пароходов Балтийской конторы.

Перед возвращением из долгого рейса, затянувшегося на целых пять месяцев, Филипп дал Шуру телеграмму:

«Встретимся у Курочкина».

Филипп вошел в комнату Якова, держа в руке большой сверток с костюмом для Шуры. Сначала он поздоровался с женой Якова, потом с ним самим и только затем, улыбнувшись, сказал:

— Ну, что ж! Здравствуй, Шурик!

Тут они крепко обнялись, и она расплакалась. Филипп смущенно разглаживал шершавой рукой ее шелковистые волосы. И сам думал:

«Держись крепко, Филипп! Вида моряка не теряй! Иначе Шуручка разволнуется совсем!».

Потом сказал:

— Не дрейфь, моя дорогая! Все будет ол рай!

Курочкины обступили их и радостно наперебой заговорили:

— Что ж, можно теперь вас и поздравить!

В трамвае Шура сказала:

— Филечка, мне надо на завод к вечерней смене. Ты езжай один к моим родителям и потолкуешь с ними. Отец, кажется, доволен, что станет молодым дедушкой.

Филипп один поехал в Шувалово. Здесь моряка приняли необычно сдержанно. За чаем он сказал родителям:

— Мы женимся. Все в порядке!

Тут словно лед тронулся. Филипп почувствовал снова, что он здесь не чужой.

Ночью поехал на завод встречать Шуру, возвращавшуюся с работы. После второго гудка Шура вышла из заводских ворот.

— Ну, как дома? — спросила Шура, крепко сжимая руку Филиппа.

— Все в порядке! Утром идем в загс.

Филипп остался жить в Шувалове.

Моряка призвали в военный флот на трехмесячную подготовку. Как-то днем звонят Филиппу в воинскую часть по телефону:

— Филя, Шура родила мальчику, такого хорошенького! Двенадцать фунтов!

Говорила мать Шуры. Она была счастлива. Это чувствовалось в ее голосе. Когда Филипп обратился с просьбой отпустить его по семейным обстоятельствам в город, командир немедленно сказал дежурному:

— Уволить на сутки краснофлотца Гиндина в город!

Филипп перевозил Шуру на машине из родильного дома и никому не доверял нести своего сына. Имя сыну дали Владимир...

VIII

Филипп и Шура учились на рабфаке при Лесотехнической академии. Акадез-

мия находилась поблизости от Шува-лова, в Лесном.

Филипп ушел после окончания военной службы из флота на завод. Днем работал на заводских компрессорных установках, а по вечерам ездил вместе с Шурой на рабфак. Она была на втором, он на первом курсе.

Филипп жаждал пополнить свое скудное образование. Он мечтал перейти в мортехникум на механическое отделение, чтобы плавать впоследствии механиком.

Год в техникуме прошел незаметно. И снова Филипп пошел в море, теперь уже на «Герцене».

Пароход «Герцен» направлялся из Ленинграда в Гетеборг и затем в Мурманск, где предстояло бункероваться и взять пассажиров, ехавших на Шпицберген для работы.

Вышли из Мурманска поздней осенью последним рейсом. Взяли курс от Нордкапа к месту назначения. Близ самого северного мыса Европы море встретило «Герцена» штормом, дошедшим до ураганной силы.

... В Ленинграде уже считали, что «Герцен» утонул, не дойдя до Шпицбергена. Каждый день к Якову Курочкину приходила Шура, держа на руках маленького Владимира. Приходили и другие жены моряков. Курочкин не хотел их волновать и рассказывал неблизко о том, что кораблю дано важное срочное задание. Он говорил это со всей серьезностью, и Шура верила, только удивлялась, почему же Филипп не отвечает на ее запросы.

На Шпицбергене «Герцена» встретили с музыкой...

IX

Шура с тоской провожала Филиппа в дальние рейсы и долго смотрела вслед уходившему кораблю. Вдоль борта стояли моряки и горячо отвечали близким людям, махавшим на берегу белыми платками, как чайки крыльями.

В Немецком море на корабле потекли котлы. Филипп напряженно работал в топках. Вместе со вторым механиком он получил легкие ожоги. Двое суток неуправляемый корабль носило в откры-

том штормующем море. Помощи, однако, не просили. Сами пришли к месту назначения — в Антверпен.

Двадцатилетие Октября пришлось Филиппу встречать в Лондоне. В честь праздника на клотике советского парохода подняли красную, светящуюся звезду. Приехала полиция, попросила звезду убрать. Капитан отказался.

— Пароход — это наша советская территория, мы свою эмблему поднимаем, и никто нам не может это запретить.

Филипп ушел утром в гости на соседний английский пароход, грузившийся машинами для колоний. В кубрике было чадно и дымно от камелька. Люди лежали на нарах в грязной рабочей робе. Они проклинали пароход, судьбу и своего сварливого капитана, и вечный туман Лондона.

Приятель кочегар с английского парохода пришел к Филиппу на судно. Филипп жил в просторной двухместной каюте, спал не на нарах, а на кровати. Кровати были застланы байковыми одеялами, ласковой свежестью сияло белье. На палубе были разостланы коврики, и у самых дверей Филипп оставял свою обувь. Англичанин-кочегар тоже снял свою обувь и поставил ее возле дверей каюты Филиппа.

Взамен английских камельков здесь паровое отопление излучало бездымное тепло. Филипп угостил товарища советскими папиросами и рассказал ему о том, как начинал свою жизнь. Как ночевал под асфальтовым котлом, в нишах Китайгородской древней стены, подстав под себя сорванные с витрин афиши и плакаты. Как ездил под вагонами по необъятным просторам родины, как терял товарищей под колесами вагонов, в горах Крыма и как нашел свое место в жизни.

— Еще один рейс, и я снова берусь за учебу, чтобы ее закончить. Я буду плавать тогда механиком на этом же пароходе, — говорил англичанину Филипп. — Мне в этом помогает моя родина. Знаете ли вы, что такое петушок? Это такая газетная заметка, которая сама за себя кричит во весь голос. Так вот я рассказал вам о себе небольшой

петушок. Но конец его должен быть самым интересным. Победный конец, непременно победный, и мы его найдем!

В каюту Филиппа постучались. Радист корабля принес толстую общую тетрадку с последними радиоизвестиями, принятыми от газеты «Советская Балтика». Корреспонденты газеты обошли родных тех моряков, которые находились к двадцатилетию Октября в чужих водах, и передали от них ответственные радиотелеграммы морякам.

Шура поздравляла Филиппа с праздником и ждала домой.

Филипп вышел вместе с англичанином на верхнюю палубу и, облокотившись на релинг, долго смотрел на огни ночного и туманного города. Потом вместе подняли высоко головы.

Здесь, в этом сумраке тумана, среди шумов порта, призывно горела красная звезда на клотике советского парохода.

Мачт не было видно, и казалось, что звезда светила с неба.



Разлука

А. КОВАЛЕНКОВ

★

Я духоту глотал в вагоне,
Мне пылью сыпало в глаза;
Круговоротами в погоню
Неслась косматая гроза.

Я прыгал на песок перронов
Один, а не вдвоем с тобой.
Один смотрел на листья кленов
И клумбы с желтой резедой.

Москва казалась краем света,
А время пешеходом шло
В приморском городе, где лето
Подсолнухами заросло.

Желтели дыни, зрели сливы,
Волна качала паруса,
Жуки с оранжевым отливом
Вплетались ночью в волоса.

Над стойбищами диких уток
Шли облака и ястреб пыл,
Тебя недоставало всюду,
А почтальон не приходил.

Вот это и была разлука,
Та самая, когда грустят,
Гадают, слушают вполслуха
И отвечают невпопад.

★

Дело об игумене Парфении

РОМАН-ХРОНИКА

А. ДЕРМАН

★

ГЛАВА I

ВСТРЕЧА

Обедня кончилась. Молящиеся, — кроме монахов, человек десять, не больше, — жидкой цепочкой потянулись к кресту. Игумен Парфений — высокий, крепкий, с сединой в резко черных волосах — стоял неподвижно и крест держал тоже неподвижно, близко к себе, так что целующий касался лицом его облачения. Он нетерпеливо ждал, прикрыв глаза, задерживая дыхание, и не глядел на молящихся. Но каждого он узнавал. От Акилы, монастырского маляра, запахло олифой; ударило перегаром водки от верзилы-странника, на котором все было пугающе и умышленно растерзанное. Чисто дожнуло вином сосновой стружки — прибожился молодой послушник столяр Николай. Парфений вздохнул и приоткрыл глаза. Человек, единственный, кого он прежде здесь не видел и кого в течение всей службы тщетно старался рассмотреть в дальнем углу храма, стоял теперь на виду, под куполом, откуда лился звон,

О г а в т о р а. Роман-хроника «Дело об игумене Парфении» написан по архивным материалам, хранящимся в государственных архивах Крыма (Симферополь), Москвы и Ленинграда.

Во всех случаях, где автор приводит в вычках выдержки из официальных бумаг, он дает совершенно точные цитаты из архивных документов. Действующим в романе лицам оставлены те имена, под которыми они проходят в архивных материалах.

но ко кресту не шел, а удивленно, раскрыв рот, глядел на игумена.

Парфений впился взглядом пронзительным и раздраженным: «Консисторский шпион...». Но тотчас усомнился: «Алексеевы шпионы к богомольцам лепятся...».

Игумен ткнул крестом в губы последнего молящегося, — то была старая усатая гречанка — и, недобро усмехнувшись на ее испуг, ушел в алтарь.

— Рыжий в очках — кто таков? — коротко кинул он, не глядя, тощему монаху Варсонофию, помогавшему игумену разоблачиться.

— Не могу знать, отец игумен, впервой вижу. Человек, по всему видать, гордый.

— Ты в чем это гордость его заметил?

— Помилуйте, отец игумен: за всю обедню лба не перекрестил. В храме божием стоит столбом и на ваше преподобие дерзко взирает...

Игумен захохотал.

— Все взял на замочку, смиренный, — блеснул он глазами и, точно пером по бумаге, построчил пальцем по ладони. — Гордый человек... Вот ты не гордый: «точно так, не могу знать»... Дрессированный.

— По малости чина, отец игумен...

— Солдаты царя небесного... Гордый человек! Много ты понимаешь! Может, не гордый, а умный? Запирай церковь.

— У-у-у, дикий волк, — прошипел, сжав кулаки, Варсонофий, когда стихли

шаги игумена. — Злобствуешь? Наступили змее на голову? Ладно ужо...

Прямо против храма, на широкой площадке, охваченной полукольцом лесистых гор, стояли покои игумена — в полтора этажа небольшой дом с четырьмя окнами. Парфений медленно шел, опустив голову, не глядя по сторонам.

— Отец игумен, минуточку... — не по-монастырски громко окликнул его веселый голос.

Размахивая руками, к нему спешил от трапезной рыжий человек в очках. Подойдя вплотную, он, не сняв картуза, остановился, весело и даже лукаво улыбаясь, прямо в глаза игумену. Помолчали.

— Ну? — коротко бросил Парфений.

— Не узнаете?

Парфений давно привык с первых же слов сортировать людей по положению. Он был игумен, и потому каждый показывал ему не свое человеческое лицо, а свое положение в жизни. Послушники — полное ничтожество перед ним. Монахи — смирение и льстивую покорность. Богомольцы из простых — страх. Богомольцы из богатых, чиновники, дворяне — уважение к его сану и свою независимость. Высшее светское начальство — уважение к сану, но презрение к мужику. Духовное начальство — пренебрежение и к нему, и к его сану.

Сейчас перед ним стоял человек лет сорока в парусиновой вышитой рубаше и парусиновых штанах, заправленных в белые от пыли, стоптанные сапоги. Из-под картуза во все стороны и до самых плеч медными кольцами рассыпались волосы. Быстрые глаза за стальными очками блестят весело, пожалуй, дерзко. В руке — толстая, суковатая палка. Головы не склоняет, под благословление не подходит, — куда его зачислишь?

Вдруг он погасил улыбку на лице, переложил палку в левую руку, а указательным пальцем правой коснувшись до груди игумена, произнес тихо, словно сообщая тайный пароль:

— Учитель! Петр Алексеич!..

Игумен побледнел так, что карие глаза стали черными. Он резко приблизил лицо к рыжему, потом так

же резко отклонился и широкими шагами пошел прочь.

Человек растерянно глядел ему вслед. Черная фигура, ярко облитая солнцем, быстро удалялась. Не останавливаясь, уже у самого дома игумен обернулся и молча сделал знак следовать за ним.

Стоя спиной, Парфений поджидал у невысокого крылечка; наверху стоял келейник, молодой послушник, тонкий и высокий, как лозинка, и непрерывно кланялся. Пропустив игумена, потом гостя, он и ему поклонился — так низко, что пышные волосы скользнули с узких его плеч и сошлись внизу мягкой волной.

Пройдя небольшие сени, в которых было зелено от густой листвы перед окнами, насквозь прохваченной солнцем, они вошли в покои. На круглом столе, покрытом суровой скатертью, кипел начищенный самоварчик.

— Садись, — приказал игумен и прошел дальше, притворив за собой двери.

Гость осмотрелся. Комната была большая, но как бы придавленная низким потолком. Перед образами — их было всего три — горела лампадка. Вдоль стен тянулись некрашенные, грубой работы, шкафы с книгами. В углу — большой столярный верстак с инструментом. Ни картинки, ни портрета на стенах. Все было чисто и уныло.

Немного погодя вышел из задней комнаты Парфений, уже в подряснике. Гость поднялся.

— Сиди, сиди.

— Да вы признали меня?..

— Не суетись. Мишка Ачкасов? Ну и ладно.

И Парфений сурово усмехнулся одними губами. Он достал из шкапа вторую чашку, мед, бутылку с красным вином, пару тонких стаканчиков, наполнив их, чокнулся.

— За приятную, стало быть, встречу? — молвил он насмешливо, в упор глядя на гостя. — Чудеса, а?

И вдруг расхохотался, блеснув глазами и зубами.

Так же внезапно оборвав смех, он повернулся к окну и долго молчал. Потом произнес тихо и неожиданно мягко:

— Да, Миша, давненько мы с тобой не трапезовали.

— А я вам скажу: в лето от рождения христова одна тысяча восемьсот сороковое, месяца июня в день двадцать девятый, по случаю торжественного дня вашего тезоименитства.

— Ай-ай-ай... Ай-ай-ай, — протянул игумен едва слышно, с острой скорбью. — Двадцать шесть лет... Двадцать шесть! Верно, верно, на именинах... Я училище кончал.

— И вот смотрите: встретились, а путем не поздоровались, — сказал Ачкасов, приподнимаясь.

Парфений поморщился, сердито махнул рукой:

— Оставь... Обниматься?

— Да нет, отец игумен...

— И это брось. Отец! Игумен! Благословиться не хочешь ли? Во имя отца и сына... — он скучно отвернулся.

— Нет, что же... Вы простите. Не знаешь, ведь, как вас и называть.

— А называй, как называл... Либо дураком называй, — добавил он и опять, как давеча, коротко и злобно хохотнул. Помолчали.

— Ну, ты кто теперь? Сказывай.

— Ваше место заступил, Петр Алексеич. Ребят обучаю.

— В каких местах?

— Где доведется. Я ведь не в школе.

— Почему так?

— Не соответствую видам начальства.

— Вот как! Гордый человек? Ай да Варсонофий, сразу, собака, учуял.

— Это кто ж такой?

— А тут один, тоже из ангельского чину. Как заметил, что ты к кресту не подошел, так и припечатал: гордый человек. Выходит, правда?

— Не скрываю: реалист емь и с суевериями воюю по мере сил.

— А-а? Из сонма нечестивых господина Чернышевского Аника-воин? Вот со мной и повоюй. Какого тебе еще суеверия? — насмешливо произнес Парфений.

— С вами? — Ачкасов решительно поднял голову. — Чего ради с вами воевать, коли вы сами с собой воюете?

Игумен потемнел и медленно приподнялся. Машинально и так же медленно поднялся с места и Ачкасов. Разделен-

ные столом, они, как звери перед поединком, упорно глядели друг другу в глаза. Парфений указал рукою в угол и тихо произнес:

— Забирай свою палку и уходи прочь.

Ачкасов изумленно и гневно глядел на игумена, не трогаясь с места.

— Не уйду! — закричал он, стукнув кулаком по столу. — Хоть всех ваших чернецов созовите! Пусть силой выволакивают.

В дверь просунулось испуганное лицо келейника.

— Вон! — заорал Парфений. — Судах потрошенный! Чего лезешь, когда не звали!

Келейник мигом исчез. Игумен зашагал из угла в угол, громко отфыркиваясь. Потом сел, побарабанил пальцами по столу.

— Каким чортом тебя сюда занесло? — спросил он сурово.

— А я уж который год по монастырям шатаюсь. И здесь, в Крыму, то же самое. В Херсонесском был, в Успенском под Бахчисараем, в Топлах, в обоих Георгиевских... Из Георгиевского, что под Старым Крымом, к вам и прибрел.

— Так-так. А чего тебя носит по монастырям?

— Наблюдения делаю. Признаться, работишку одну замыслил.

— А-а-а? Ты, стало быть, пиши-пиши, как наши татары писарей называют?

— Как вам сказать?.. Пока больше по мелочам, а сейчас помышляю за серьезное взяться.

— Та-ак... Значит, старого учителя между делом обрел? Ну, а насчет наблюдений скажу, что ведешь ты себя глупо.

— Чем же глупо?

— Амбицию не к месту показываешь. Коль скоро цель твоя — наблюдать, не выделяйся: веришь, не веришь — крестись и молись наравне с прочими. А то торчишь, как пень, внимание на себя навлекаешь. После этого какой же дурак станет с тобою откровенничать?

— Ну, уж это — покорно благодарю. Подличать не согласен.

— Ка-кой павлин с хвостом! Ну и получишь вместо наблюдений — шиш, — заметил игумен, пояснив свои слова жестом.

— Едва ли. У меня к чистосердечию есть ключ получше притворства.

Ачкасов запустил в карман руку и неожиданно потряс над головой полштофом.

— Шельма ты. Только неизвестно, чей ты язык раньше отопрешь: свой али чужой.

— Это не страшно. Я своих убеждений ни от кого не скрываю.

— Гм. Скажи, пожалуйста... В деревню, к мужикам, к навозным жукам, которые щипают лаптем хлебают, придет на побывку такой же павлин. Кавалегард петербургский... Видал когда-нибудь? От страха у родной матери в горле першит, а уж у девок подолы сами задираются. А он — шинель с правого плеча на левое, с левого на правое — разливается: «Сидим это мы с анпиратором в распивочной, пиво пьем, салом заедаем...». Очень ты на него похож.

— Я б сказал, да боюсь: опять будете в шею гнать.

— Вали-вали. Уж одно к одному.

— Да вот вы... разные насмешки и презрение, а у самого завистью глаза горят.

— Эх, пообещал не гнать! — сказал с сожалением Парфений.

В дверь постучали — привезли почту. Игумен перебрал несколько пакетов, нетерпеливо разорвал один, быстро пробежал. Глаза его оживились. Как победоносным оружием, погрозив бумагой Ачкасову, он скрылся за дверью в смежную комнату.

Ачкасов сидел, выпил вина. От скуки бродил глазами по книжным полкам. К удивлению его, там очень мало было книг церковного характера, зато множество по физике, механике, кораблестроению, архитектуре, даже книги по военному делу встречались... «Ай да батка!» — покрутил он головой.

Время уходило, Парфения все не было. Ачкасов распахнул в окне сетку, придвинул кресло. Домик игумена висел над обрывом, внизу чернела дубовая роща, над нею взбегали серебряные валы

покрытых сосною холмов. Кусты нежно-го, как лен, кизила зелеными искрами теплели в этом темном хаосе, разорванном в разных местах багровыми осками горных обрывов.

Справа расстилалась обширная ярко-зеленая табачная плантация, за нею — громадный сад. Редкие фигуры монахов, как черные свечи, возникали перед глазами то там, то здесь. Где-то гремело под молотками железо, визжала пила, наверху, на пути горного потока, на низкой струне глухо гудела мельница, возле нее стояли две мажары, запряженные черными буйволами. Коровье стадо широким пятном шевелилось на горном лугу позади сада...

«Однако... тихая обитель, нечего сказать» — подумал Ачкасов. Он перешел к окну напротив, выходящему на окаймленную дубами монастырскую площадь. Ее замыкали все такие же беспокойные багровые скалы с крутыми обрывами, среди которых белая церковка глядела совершенной сиротой. На двух скалах, самых высоких и, казалось, неприступных, гигантские кресты, точно мачты с реями на корабле, перечеркивали густосинее небо. Слева и справа тянулись прочные, грубые здания гостиниц и бесконечных монастырских служб. И все было, как и в доме игумена, — чисто и неуютно.

— Любуешься? — раздалось за спиной.

— Не очень, — сухо возразил Ачкасов, взглянув на игумена, вид у которого был торжествующий, возбужденный.

— А что тебе здесь не по вкусу? Плохое, скажешь, хозяйство?

— Хозяйство громадное... Глядел-глядел, да и вспомнил, как под Елисаветградом мы с вами в военные поселения ходили.

— А-а, ты вот про что... Это возможно. Меня, знаю, и монахи за глаза Аракчевым величают. Ну, ничем тебе не угодишь. Погоди, однако, сейчас ты у меня другое запоешь.

Он вышел и тотчас воротился с пачкой бумаги в руках.

— Садись. Садись и внимай. Ты вот сейчас величался предо мной. Мол, убе-

ждений своих не скрываю, никаких подлостей... Так вот послушай, господин кавалергард...

— Ничего я не величался...

— Ладно, не перебивай. Мы еще не знаем, какие-такие у тебя убеждения. Может, ты гордостью своею и кормишься...

— Как так?

— А уж так. Монах смириением питается, а ты, может, гордостью. Все это надобно проверить. А пока ты вот меня проверь, вот, — хлопнул он по бумагам.

— Это что же такое?

— Переписка моя с начальством. На, читай. Сам читай. Вслух. Первое — указ из консистории — можешь пропустить: так, знаешь, узоры благоразбойничьего красноречия. Они мне сюда разную дрянь на эпитимию присылают. Я сначала честью просил: не присылайте, все равно прогоню. Прислали опять. Ну, а я с ними не церемонюсь: пришлют на месяц какого-нибудь пянчужку, я его — за работу. Он то да се, грыжа у него видишь ли, ревматизм. Я на другую. Он опять увиливает. Тогда я его в шею при всем честном народе. Консистория на дыбы: как смеешь, если начальство прислало на месяц. А вот смею. Раз, другой... Наконец, получаю угрозу: как ослушник начальства и нарушитель третьего правила Константинопольского собора, буду подвергнут отлучению от святых таин. А-а, грозить? Так вот, получайте! И накатал посланице. Вначале рассказал им, как я отношусь к дармоедам, а дальше вот читай:

«Из вышепрописанного епаохиальное начальство усмотрит, как должен был меня обрадовать полученный мною в мае месяце консисторский указ о назначении мне новых нетрезвых и неспособных людей из коих о. Трифилия я лично знал около 10 лет. На это консистория делает мне замечание, что я поосил ее не посылать ко мне означенных лиц еще до прибытия их в киновию, как будто бы мне не было достаточной рекомендации о них, поописанной в указе. Личное мое с ними свидание только подтвердило указную аттестацию. Я мог рассчитывать на уважение моей просьбы консисторией, но ошибся, мне грозят отлучением, но эта угроза имеет на меня обратное действие, потому что для меня ни выигрыша, ни потери нет, находясь ли я настоятелем киновии или буду где-нибудь дворником».

«Новый мир», № 7

— Вот это здо-орово!—воскликнул Ачкасов с восхищением, даже растерянно глядя на игумена, словно перед ним сидел новый человек. — Что ж они вам на это ответили?

— А ни-ни! Ни звука!

— Проглотили — и крышка?

— Крышка-то крышка, вопрос — кому? Вот дальше увидишь. Человечек один из консистории доверительно сообщил: больша-ая была буря. Иные предлагали немедля меня слопать, но жадность, понимаешь, помешала. Видал, небось, какую я им вотчину соорудил? У них глаза разгорелись: пусть блван еще одну такую же воздвигнет. Здесь же, по соседству, в Топлах, где ты был. А уж потом мы его цап-царап. Так и присудили, и преосвященный благословил: «Приложить к делу и иметь в виду при возобновлении игуменном подобных неприличий». Ты заметь: уверены, мерзавцы, что возобновлю!

— И возобновили?

— Во-зо-бновили! Ясно, как божий день. Ведь то, что ты сейчас прочел, — это им от меня не первая шишка на лоб. Еще года три назад от нынешнего же владыки было мне «строжайшее внушение» за «необдуманное и дерзкое» письмо к вице-губернатору нашему Сонцову. А я при личном свидании и брякни: «Дерзкое, не спорю. Но, ваше преосвященство, верьте совести иерея: вполне обдуманное...». Эх, тебе бы лица этого показать! Мешок сала... Попробовал мне указание делать. Я и закатил ему!.. Было и еще, всего не расскажешь... Копийки сохраняю, захочешь — познакомя, а ты сейчас вот эту бумажку прочти, к самому его преосвященству. Любопытная тоже личность. Смиренник, голосок цыплячий, волосенки — что корвалеской весной, а на кухне, под видом сиротки-племянницы, этакая, знаешь, Матреха: чернобровая, дебелая, — хоть бы и тебе, нигилисту... Придет в магазин полсапожки покупать, примерит и все юбку вокруг ноги обжимает: и спереди посмотрит, и сзади, и сбоку. «Оно, гозорит, будто ничего. а между прочим как преосвященному понравится?..».

— Да вы откуда эти подробности знаете?

— Дурачок, кто ж их не знает? Здесь у кого какая пища в брюхе урчит — и то все знают. Только сплетней и дышим. На сплетнях и я сердце срываю, как все прочие. По уши в болото забрался. Ну, да ладно, читай. Вот эту теперь читай, насчет попытки Топловский монастырь на шею мне навесить. Сездил я туда, поглядел — змеиный клубок. Интриги, подвохи, все насквозь пакостью протухло... Будь вы прокляты, не желаю!.. Самый конец читай.

«Уведомляя ваше преосвященство о сем, могу надеяться, что и мое назначение при Топловском монастыре будет неуместно, тем более, что взгляды мои на монашество, постановления вселенских соборов и все учения св. отцов во многом изменились, я читаю их, как историю, и во многом не могу согласиться с ними о применимости их учений к разным случаям современной жизни, а при таком взгляде на вещи я, по совести и убеждениям, не могу сочувствовать и поддерживать размножение монастырей, как предмета, не достигающего цели. 25 лет, прожитые мною в монашеском звании, при разных обстоятельствах, достаточны для убеждения, что первые мои взгляды на монашество совершенно неосновательны. Теория и практика не одно и то же.

В настоящее время я имею много дела в Кизильташе, а быть может, в конце января я буду в Симферополе по делам, тогда надеюсь об'ясниться пространнее

Вашего преосвященства нижайший послушник
игумен Парфений»

— Ну, и что дало свидание с преосвященным?

— Не состоялось. Его как-раз вызвали в Петербург, а с консисторской шайкой я и разговаривать не стал. Секретарь там, черепаха... Как увижу — не могу: задушить хочется... Короче сказать — армии заняли прежние позиции, но сейчас дело приходит к развязке. Вот прочти еще бумажку.

«5 июля 1866 года.

В таврическую духовную консисторию.

Указом таврической духовной консистории от 24 июня сего года мне сделано формальное замечание, будто бы «за превышение своей власти» по повелю отпуску священника Дьякова из вверенного мне монастыря к своему месту прежде исполнения им возложенной на него эпитимии.

На что имею честь оной консистории об'яснить следующее.

Священник о. Василий Дьяков, как и другие эпитимийцы, присылаются во вверенный мне

Кизильташский монастырь на труды и послушания. Священник Дьяков кушал и пил исправно, а по приглашении его на послушания у него оказывалось, по его словам, то головокружение, то колики в боку, спине и проч. Не имея возможности проверить, что делается в его голозе, боках, спине и проч., я предлагал ему итти в келию успокоиться, полагаясь на совесть священника Дьякова, но он продолжал болеть при исправном аппетите до 10 дней, после чего я вынужденным нашелся от праздного человека избавиться, отпустив его к месту служения, и донес в то же время консистории, в надежде, что консистория распорядится и о взыскании с Дьякова за содержание в монастыре кормовых за 10 дней.

Неизвестно мне, что сделано с Дьяковым, но меня присудили под статью законч о наказаниях, которого я не признаю законным, а потому возвращаю присланный мне указ обратно. Покорнейше прошу принять к сведению, что самолюбием начальствования я не заражен, и ежели епархиальному начальству угодно, чтобы я оставался еще в Кизильташе настоятелем, то на будущее время я уже буду знать, куда следует отправлять негодных к послушаниям, не ожидая так долго, как это делал с Дьяковым. Если же начальству благоугодно будет выдать мне билет для избрания рода жизни, то я буду ему очень благодарен, 1-е, потому: что прежние мои понятия, бывшие при поступлении в монашество, о святости и непогрешимости духовенства и его уставов давно миновались, и 2-е, что тот кусок хлеба, которым я пользуюсь от монастыря, я надеюсь заработать и в другом месте без риска попасть под суд.

Настоятель игумен *Парфений*»

— Надеетесь, что выдадут? — спросил Ачкасов.

— Билет? Наивный человек!

— Для чего же было писать?

— Для ясности. Карты на стол!

— А они — мимо ушей?

— Не-ет, — раздумчиво произнес Парфений. — Видят — лопнул аркан, на котором двадцать пять лет они меня водили, так они теперь цепью аркан заменяют. Не перегрызешь.

— Симптомы есть?

— Книжный ты человек. Симптомы! Прямо сказать: нож у горла. Ну, понятно, не мужицкая рогатина, елеем ножичек смазан... Вот сейчас при тебе принесли, — видал? Приглашение от имени его преосвященства явиться в Симферополь для участия в некоем церковном торжестве по случаю неудачного покушения этого... как его... нигилиста вашего, ну — Каракозова, на особу государя. Видимость такая, что его прео-

священство оказывает мне почет, от прочих отличает. А я еще вчера добыл копию консисторского протокольчика совсем иного свойства:

«Игумен Парфений по делу о нездравомыслии и неприличных выражениях относительно распоряжений епархиального начальства на основании определения консистории и резолюции его преосвященства вызывается в 1-х числах сентября в консисторию для объяснений и увещания».

А уж ежели столь недвусмысленную цель, как объяснение и увещание, святые отцы умасливают лестным приглашением для участия в церковном торжестве, то и младенцу понятно, что второе придумано для усыпления моей бдительности. Ну, маленько промахнулись благочестивые.

— Одного я в толк не возьму: на кой им прах с вами миндальничать? Явиться такого-то числа — и дело с концом.

— Вишь ты! А вдруг не явлюсь?

— Силой забрать.

— Это в святую-то обитель отрядить станового с воинской командой, чтоб настоятелю руки скрутить вервием и гнать через весь Крым в губернский город? Глуп ты, я вижу. Выманить надожно. Обязательно выманить! А я заплыл под корягу, да и не беру наживки, хоть ты что. Вот почти-ка, что я сейчас настроил:

«10 августа 1866 года.

Его преосвященству преосвященнейшему Алексию, епископу Таврическому и Симферопольскому и кавалеру.

Вследствие предложения от лица вашего преосвященства прибыть в Симферополь для участия при внесении евангелия в кафедральный собор, устроенного духовенством и дворянством Таврической губернии в память события и спасения монарха 4-го апреля сего года от руки убийцы, имею честь донести, что как по случаю приезжающих богомольцев я на долгое время отлучиться от монастыря не могу, а таврическая духовная консистория требует моего (вероятно, к суду, который во всяком случае должен быть гласным) прибытия в ону в 1-х числах сентября, то я и нахожусь в необходимости отложить мою поездку в Симферополь до назначенного консисториею времени.

О чем вашему преосвященству почтительнейше честь имею донести.

Игумен Парфений»

— Позвольте, стало быть, в первых-то числах сентября вы все-таки намерены поехать?

— Бесконечно тянуть нельзя... Не ехать нельзя, а поедешь — не вернешься. Решение-то ведь ими уже принято. — То-есть?

Игумен поднял тяжелый взгляд и после паузы тихо промолвил:

— Заключение: келейно заарканить и — в Суздаль.

Ачкасов медленно приподнялся, не отрывая взгляда от Парфения.

— Я там был... — произнес он в замешательстве. — Вы понимаете — Суздаль?!

— Имею туманное представление.

— То-то туманное, — нетерпеливо перебил Ачкасов. — Фабрика сумасшедших, вот это что. Каторга, казнь, пожизненное заключение — это все не то! Тут, понимаете, величайшая, обдуманная забота: в кратчайший срок навеки отнять у человека разум. Вчерашний враг уже готов: не человек, а грязный зверь, который день и ночь воет, прикованный двухпудовой цепью к стене. Но в этом виде он нужен, он уже полезен: этим своим воем он душит проблески разума у тех, что сидят рядом с ним. А тут же, через стену, доносятся звуки тропарей и акафистов... Если же случится, что вой смолк и акафистов не слышатся, то воцаряется тишина склепа, о которой со страхом сами тюремщики говорят... И так год, два, три, десять лет, двадцать, тридцать... Потом этот номер, — ведь имя твое исчезает, как только переступил порог тюрьмы, — номер этот тайком сволокут на отдельное кладбище, а на твою цепь, на теплое еще место — другого. Петр Алексеич, я вам прямо скажу: чем Суздаль — лучше застрелиться!

— И на том спасибо,—молвил игумен.

— А если сан с себя долой?

Парфений лишь отмахнулся лениво.

— Да почему же? Ведь сами пишете в этих бумагах, что взгляды ваши переменились, что кусок хлеба зарабатываете чем-нибудь другим...

— Что мне кусок хлеба! — восклик-

нул игумен. — Только руки развяжи, я тебе десять кусков заработаю. Думаешь, кроме «господи помилуй» да «подай господи», я ничего не умею? Я, брат, тебе и дорогу проведу, и фабрику поставлю, и корабль построю... Эх, голубчик мой... Рассказать бы тебе мою жизнь — сказка! Ведь пятнадцать лет тому назад я лично представлял кавказскому наместнику, Воронцову князю, модели портовых машин, которые и были его приказом введены на черноморском побережье. А мне, по распоряжению его светлости, в награду сто целковых отвалили. Потом я и повнимательней забрался: самому великому князю Константину Николаевичу представил проект поднятия затопленных в Севастополе кораблей и опять же благодарности удостоился. Ну, много ли ты встречал таких монахов?

— Так и сбросьте с себя к чорту эту хламиду!

— Двадцать шесть лет в монастырях, двадцать один год, как пострижен; уличен в нездравомыслии, в дерзостях, в непослушании, в осуждении монашества и духовенства, в гордости ума, в нарушении соборных постановлений. А главное — всю эту закулисную механику знаю, как «Отче наш». Тут у них только одна забота: тихим манером такую печать на уста наложить, чтоб никакие силы адавы не сорвали. И давно бы наложили, да я всю политику на скандал веду. Хотите судить? — судите. Но гласно, открыто. А я перед всем светом покажу, кто вы такие. Забрать хотите? — берите силой. Ну, на этой ниточке недолго провисишь. По всему вижу — близка развязка. Уже бо и секира при коюени древа лежит...

— А тогда, Петр Алексеич, вот что: бежать немедленно.

Игумен сидел, облокотясь на стол. Он взглянул на Ачкасова и отвернулся.

— Я говорю — надо бежать.

— Да слышу, слышу... Снять сан, бежать... Как ты не понимаешь, что нет дня и часа, когда бы я об этом не помышлял? Наяву думаю, во сне думаю... Ну, ладно, допивай вино, да пойдем, походим.

— Мне и вообще-то пора уходить.

— Чего так? — удивился Парфений. — Переночуй, а утречком ступай.

— Не могу: мы с товарищем условились к вечеру в Отузах сойтись.

— Ну, коли так, провожу тебя.

Не успели они показаться на крыльце, как справа, у флигеля, промелькнула черная фигурка, проворно юркнувшая вверх по ступенькам к раскрытой настежь двери.

— Ну-ка, ну-ка! — крикнул Парфений, хищно маня монаха пальцем, — сказывай, зачем в гостиницу ходил?

— Я, отец игумен, не в гостиницу. Сапоги прохудились, так я насчет подметочек к отцу Трифону понаведалься...

— Врешь ты все, — прервал игумен. — Ступай своим делом занимайся.

— Не извольте гневаться, отец игумен, право слово, к отцу Трифону... Поздравить дозволейте, отец игумен, — добавил он с крайним смирением в голосе и с нескрываемой наглостью во взгляде.

— С чем это? — спросил Парфений, наклонив голову и глядя в сторону.

— Как же, довелось за трапезой невзначай услышать, что на церковное торжество от самого владыки удостоились приглашения. Стало быть, с благоволением начальства.

Сжимавшая посох рука игумена задрожала. Он медленно перевел глаза на монаха и вдруг улыбнулся с такой гадливостью, что тот заморгал.

— Покорно благодарю, отец Варсонофий, — произнес он тихо.

— Слышал? — после долгого молчания толкнул он локтем Ачкасова. И, обернувшись к своему дому, крикнул: — Феофилакт!

Келейник опрометью кинулся, путаясь в полах.

— Клики сюда отца гостинника.

Немного погода низенький и необычайно тучный монах подкатился к игумену, отмахнул с натугой поклон и вопросительно уставился взором, сложив на животе налитые желтым жиром руки:

— Отец Геннадий, по какой надобности приходил к тебе Варсонофий? — резко спросил игумен.

Отец Геннадий нелепо заерзал, многозначительно перебегая взглядом с игумена на Ачкасова и обратно.

Парфений расхохотался.

— Говори, говори, не стесняйся.

— Как прикажете, отец игумен, — Геннадий поклонился, насколько ему позволял живот. — Насчет вот них допытывался, — добавил он сконфуженно, скосив глаза на Ачкасова, и замолк.

— Выкладывай, выкладывай.

— Стало быть, у меня ли остановились, да не знаю ли, что за человек, да по какому случаю у вас трапезуют... Дошный он, отец Варсонофий, сами изволите знать.

— Ладно, ступай, — благодушно отпустил его Парфений. — Вот ты какого переполоху натворил, нигилист окаянный...

Дорога шла круто вниз, в лесную лошину: дойдя до конца спуска, игумен остановился.

— Тебе вон туда, в гору. Ну, прощай.

— Может, отдохнем? — предложил Ачкасов.

Игумен молча посмотрел на него и сел на свалежное дерево, Ачкасов опустился рядом.

В сырой ложине, сжатой лесными дебрями, стояла скованная, тяжелая тишина.

— Ты что возрился? — недовольно буркнул Парфений. — Навеки запечатлеть дорогие черты учителя?

— Будет вам, — досадливо поморщился Ачкасов. — Постарели вы здорово, вот что.

— Сказал бы: возмужали, мне бы и было приятней, — усмехнулся игумен. — Нет, я еще молодец. Ведь я здоровый. В Крымскую кампанию застрял я в Севастополе после того, как потопили корабль, на котором я за попа плавал; так офицеры потехи ради борьбу, бывало, устроят и любят, как я одного за другим кладу. Один там был, граф Толстой, тоже здоровый зверина, так бывало сцепимся, — ни я его, ни он меня. Кругом соберутся, подзадоривают, а мы и сами с задором... Я на него, сказывали, и лицом был похож. Сейчас

он в сочинители вышел. Кой-что из повестушек его я читал. Умно пишет. Все, бывало, допытывается, почему я в монахи пошел да как верую... Про бесмертные души тоже...

— Ерунда! — махнул рукой Ачкасов.

Они замолчали. Игумен, смяв широкую свою бороду, сидел, подперев голову рукою и глядя перед собою отсутствующим взглядом. Ачкасов ковырял палкой влажную землю. Вдруг над ним пронеслось громкое, наглое верещание, в одну ноту, и после короткого интервала — опять.

— Это что за птица?

— Крымский соловей называется: зеленая лягушка. Древесница.

Опять помолчали.

— Для тебя, небось, и заправский соловей — вроде как баловство, — тихо заметил Парфений, — а я их любил когда-то.

— Почему «любил»? Разлюбили?

— Какие здесь соловьи. Иной раз, правда, по весне залетают...

И после долгой паузы добавил:

— Да все равно. Мне их теперь и слушать неприятно. Соловей ли поет, ворон ли каркает, или вот древесница верещит, — слышу я одно и то же.

Он поднял голову и всматривался во что-то поверх Ачкасова.

— Всяк по-своему, а только — обличают, — продолжал он раздумчиво: — Ворон — грубо: проворонил, крышка! Лягушка издевается: дурак, говорит, дурак, дурак... Соловей — все о прошлом... Замечательная в самом деле вещь! Ведь вот — в двадцать лет, в двадцать пять, бывало, слушаешь соловья: сплошное обещание блаженства! И то-то будет тебе, и это — все богатство мира перед тобой рассыпается... А теперь явственно так выпевает: и то-то было перед тобой, и другое...

— Как это могло с вами случиться? — с величайшей робостью в голосе произнес Ачкасов после долгого молчания.

— Вот это? — дернул на себе рясу игумен. — Чистоты мира захотелось. Праведной жизни... Ты — нигилист, ты должен понять. Ведь цель-то у вас

та же. Вы грешный мир на праведный лад хотите перестроить, а в мое время об этом не имели понятия. У нас было так: обступила тебя скверна и мерзость мира сего — отряхни его прах от ног своих, оставь погибать, а сам уйди спастись...

— Помнишь ли ты, — заговорил вдруг Парфений чужим, высоким и тонким голосом, — в Елисаветграде штабного лекаря Остроглазова?

— Ну как же, сосед...

— Дочь у него была, Ксюша, высокая такая девушка?

— Помню отлично. Она за этим была, как его...

— Замужем?

— Ну да, за остроглазовским же помощником...

— За Муратовым?

— Вот-вот. А что?

Игумен поднялся, пристально посмотрел ему в глаза. Лицо его слегка побледнело. Над их головою снова заворещала древесница. Парфений вскинул руку и, словно воткнув палец в эти нахальные звуки, сказал тихо, но внятно:

— Соловей: и то-то было, и то-то было, и...

Он дернул поднятую руку и к самому носу Ачкасова поднес кукиш.

Повернулся круто и крикнул из-за спины:

— Прощай!

— Петр Алексеич! — кинулся было за ним Ачкасов.

Игумен не ответил. Его черная фигура быстро взбиралась по откосу, мелькая меж деревьями.

★

Размеренный день игумена был нарушен. Когда он — сосредоточенный и суровый — воротился в монастырь, его уже дожидались три-четыре монаха. Отмахнувшись, он прошел прямо к себе. Приказав принести воды из верхнего источника, он жадно выхватил ледяной, запотевший графин из рук келейника, выпил его почти весь и лег на кушетку, не притронувшись к обеду.

Игумен Парфений уже давно питал

свою душу злостью и раздражением. Было тяжело, но он привык к яду этой пищи, а главное — злость его стегала, как бичом, держала в постоянной строптивости. А сейчас — вдруг непривычная, мучительная, расслабляющая жалость к себе самому заполнила грудь, мешала дышать. Час прошел, другой... «Отец игумен» — доносились порой из сеней робкие голоса. Парфений морщился, не откликался. Наконец, в дверь постучали осторожно. Игумен не отозвался, закрыл глаза, словно там могли видеть этот притворный знак. Стук повторился.

— Во имя отца и сына...

Парфений, сжав зубы, соскочил, приотворил дверь. Феофилакт, низко кланяясь, пролепетал чуть слышно:

— Ради Христа, отец игумен... Отец Лампад неотступно требуют доложить..

Парфений шагнул в сени. Высокий монах с необыкновенно тонким, красивым лицом и длинной черной бородой поднялся с лавки.

— По вашему вызову, отец игумен, карам из Феодосии приехал. Разрешите насчет сада посоветоваться. — И многозначительно взглянул на Парфения.

— Взойди.

Как только они остались вдвоем, монах огляделся и прошептал:

— Слушок промежду братии недобрый...

— Не тяни.

— Сказывают, заточению подвергнетесь, отец игумен.

— Знаю, — безучастно молвил Парфений.

Он опустил в кресло и опять, как давеча, закрыл глаза. Монах долго глядел на него.

— Доложил, и ступай, — не поднимая глаз, приказал игумен.

— Спасайтесь! — страстно прошептал о. Лампад и вдруг, припав, стал целовать его в плечо. — Спасайтесь, отец игумен!..

Парфений отстранил его и махнул рукой на дверь. Монах вышел на цыпочках, как от тяжело больного.

Бездумно окаменев, игумен до самой вечерни не тронулся с места. Такая пу-

стота и в сердце, и в голове! Явись к нему волшебник со словами: лишь пожелай — все исполнится, он не придумал бы, что сказать.

Зазвонили к вечерне. Парфений машинально надел мантию и отправился в церковь. По вороватому любопытству во взглядах он видел, что все известно, все ждут. Стена хищной вражды встала вокруг. Раздается сигнал, и вся эта черная стая накинется остервенело, заcludes, задушит...

Парфений прошел в алтарь, облачился и вышел служить. Варсонофий взглянул на него с ненавистью, с злорадством и овечьим голосом возгласил дервянно-покорно:

— Благослови, влады-ыко!

И, задыхаясь от гадливости к шпиону, ответил игумен:

— Благословенно царство отца и сына и святого духа всегда ныне и присно, и во веки веко-о-ов.

И толпа этих грубых рабов, ненавидевших его и презираемых им, мягко и стройно пропела:

— А-ами-инь.

Сами собой сбегали с его уст тысячу раз повторенные возгласы. Сами собой воздымались и опускались руки. Голос, где надо, делал привычные вибрации, замирал. А сам он, Парфений, не принимал в этом никакого участия, и если бы в середине службы он запнулся и спросил себя, на чем остановился, то не сумел бы ответить.

Но мысли его, еще час назад скованные оцепенением, сейчас, в привычных, размеренных движениях, освободились и собрались на одном: он думал теперь, какой это жестокий возраст его — 56 лет! Глаза стали зорче, сознание — глубже: громадный опыт жизни не прошел даром. Вот сейчас только видать стало, что за штука такая — жизнь, как ее строить, что в ней чудесно, а что глупо и ничтожно. Но на поверку выходит так, что делать с этим опытом нечего, что пригодился он только на то, чтоб подвести страшный итог: обманулся!

Но вот и службе конец. Парфений вышел на паперть, остановился на минуту. Горы грубыми массами реза-

лись на палевом небе. Серый пепел сумерек засыпал всю обширную монастырскую котловину, одинокие огоньки келий светились жалко. «Сплю, сплю!...» — тягуче, с необыкновенной печалью, сообщала совка-сплюшка, но заснуть никак не могла.

Игумен прошел к себе, напился чаю и, придвинув счеты, стал заниматься. Бумаг накопилось немало, и он просидел за ними часа два или три. И все время что-то назойливо, но безотчетно мешало сосредоточиться, точно надобно было что-то вспомнить... Вдруг он затаил дыхание, прислушался и — понял: мешало чье-то незримое присутствие. В комнате он один, ставни закрыты, но, чорт возьми, кто-то был еще, тут же, рядом! Чугунное ядро злости заворочалось в сердце. Он сбросил сапоги и босиком зашагал из угла в угол. Сделав несколько концов, он вдоль стены прокрался к окну, выходящему на монастырский двор, и беззвучно вынул чеку из болта, запиравшего ставень снаружи. Еще раз-другой прошелся по комнате и, поровнявшись с окном, саданул со страшной силой кулаком в раму. Окно и ставень распахнулись с грохотом, — сдавленный стон — и все затихло. Было необыкновенно приятно чувствовать боль в руке! Парфений осмотрел перед лампой кулак с ободранной кожей, потом сунул в стол бумаги, задул огонь, лег и мгновенно заснул.

Еще было темно — Парфений отправился к ранней обедне. Отец Лампад подждал его на крыльчке.

— Благословите, отец игумен, за дьякона послужить, — тихо попросил он. — Отец Варсонофий ослобонить просили: зубами маются и лик разнесло. Сказывают — осиное гнездо невзначай разворошили.

— Ну, пойдем, — весело сказал Парфений.

Обедню служил он небрежно, торопливо. День предстоял трудный. Вчера не все повершил, к завтраму, по случаю празднования девятого дня от успения, в монастыре ожидался наплыв богомольцев, а между тем необходимо было съездить в Судак, где ждала куча дел. Утром завтра привести там все в по-

рядок, и пораньше назад, к вечерне. Весь вторник уйдет на возню с богомольцами. Отделаться от них — и уж тогда, без помех, принять твердое решение насчет консистории.

Как ни спешил, однако выбраться в Судак до полудня не удалось: монахи, приезжие так и наседали со всех сторон. Сильная, темнорыжей масти, рослая лошадь уже более часу дождалась, привязанная, у его крыльца, а Парфений все еще отдавал приказания то тому, то другому. Наконец, наскоро пообедав, он надел черный атласный кафтан, черную байковую круглую шляпу, сунул в карман бумажник, снял с гвоздя плеть, захватил на случай покупок саквы и вышел на крыльцо. При виде хозяина Атаман замотал головой, заржал нетерпеливо. Парфений попробовал седло, засунул палец под подпругу, спустил чуть пониже стремяна и, отстранив рукой хотевшего поддержать его келейника, сильным движением тела махнул в седло. Игумен сдвинул плеть, сползавшую ему на руку, и тронул заплывавшего Атамана. Пять-шесть монахов и послушников, провожавших Парфения, поклонились, игумен кивнул головой, но ходу лошади не давал: припоминал, все ли сделано.

— Отец Симеон, — повернулся он к эконому, слоноподобному рясофорному монаху, — коли купец этот придет, Барабаш, который урожай с сада торгует, накормите его посытней и водки дайте сколько захочет.

— Слушаю, отец игумен. Только ежели сколько захочет — нашей нехватит. Здоров пить.

— На него одного хватит, — прищурившись, сказал игумен, причем все, кроме эконома, сдержанно улыбнулись.

Игумен помолчал, все еще припоминая, и вдруг — поводом, плетью, стремянами — кинул Атамана вперед.

— Чтoб тебе шею свернуть, господи праведный! — горестно выжал сквозь разбитые зубы о. Варсонофий, из оконца кельи наблюдавший отъезд игумена. Лик его был обмотан полотенцем, за которым правый глаз укрылся совершенно, левый же более походил на черту, положенную чернилами на красном

поле. Но из этой щелочки глядела и змеиная ненависть, и зависть, и все адские чувства, какими только наделила человека природа, и еще...

О. Варсонофий служил некогда псаломщиком в военной церкви при кавалерийской дивизии, много перевидал лихих наездников и сейчас с невольным восхищением, от которого хотелось плакать с досады, любовался на картинный вылет темнорыжего Атамана, пущенного железной рукой игумена.

ГЛАВА II

В СУДАКЕ

До Судака от монастыря было верст семнадцать, из них добрый десяток сплошным горным лесом. Выехав на почтовую дорогу, игумен перешел на неторопливую рысь — и вскоре лес остался позади. Налево открылось море с белевшими по берегу дачами и усадьбами, направо стеною встали серые безлесные горы. Еще далее обозначились тонкие минареты Таракташей. Слева, из Малого Таракташа, и справа, из Большого, выбегали на дорогу татарчата в черных шапочках. «Здравствуй! Здравствуй!» — кричали одни; другие, держась поодаль, дразнили: «Поп!», и Парфений с притворной суровостью грозил им плетью.

Неподалеку от Судака стоял в саду дом вдовы-капитанши Рудневой. Отношения с нею были самые тягостные для Парфения. Уже года три они находились в связи. Она обожала его, заглядывала ему в глаза, домогалась его ласк. А игумен не только ее, но и себя ненавидел, когда происходили их встречи, содрогался от отвращения к ее рыхлому телу. Но был он крепок, свеж, силен, а положение обрекало его только на такие связи: с ханжами, святошами, стареющими истеричками, психопатками — под покровом благочестия и обожания его сана. И теперь, въезжая на просторный двор, он морщился от муты позорных воспоминаний.

— Батюшка, отец игумен! — выскочила из дворовой кухни кухарка Авдотья, фартуком на ходу вытирая губы,

чтоб не запачкать игуменовой руки. Она засуетилась — и благословиться, и убрать лошадь, и посудачить.

В доме Рудневой Парфения раздражала решительно все. Авдотья раздражала его болтливостью, сплетнями, взглядом хитрой сообщницы, длинным желтым передним зубом, который оттопыривал ей нижнюю губу. Игумен отводил глаза, но видел только этот зуб, а когда она целовала руку, то и на руке его почувствовал.

— А барыни-то нетути, в Киев уехали святым угодничкам поклониться. И-и-и, жалеть будут... Давненько, батюшка, к нам не бывали. Пожалуйте, отец игумен, чайком напою. А может, пообедаете? Кефаль нынче принесли — серебро! Крупная, жирная.

— Благодарю, обедал, — буркнул Парфений. — Чаю дай. А как постройка?

— Против прежнего много хуже. Глазу хозяйского нет. Хоть бы и Герман Софроныч. Ему б выпить, да себе в карман, да боле ничего. Последнее время и ходить перестал. Совсем старуха плоха.

— А что с ней?

— Да кто ее знает. Сказывали — жабу с водой проглотила. А жаба-то самая скок да скок. До груди доскочила — ни взад, ни вперед. Старухе много ль надобно...

В больших комнатах со множеством икон, перед которыми горели лампадки, Парфений, как всегда, почувствовал стеснение в груди и тоску от неимоверного количества неопрятных вещей и вещей. Фарфоровые безделушки на подзеркальниках были шершавы от пыли, тюлевые занавески — желты от грязи, пальмы, фикусы, араукарии — в паутине... Но всего более угнетали картины. В столовой охотничьи сцены, куропатки с висящими головками, по которым струится кровь, фрукты. В гостиной, будуаре и кабинете Дарьи Ивановны висели по стенам портреты военных с висячими севастопольскими усами, но более всего было картин на мифологические сюжеты. Были тут и хорошие французские гравюры, и совсем топорные олеографии, и на всех одно и то же: голые

женщины — музы, грации, Психеи, нимфы, Венеры, с купидонами и без купидонов, розовые, лиловые, кремовые, перевитые гирляндами, раскинувшиеся на лужайках, с руками воздетыми, с руками у груди, с руками у лона... Несметная голая рать наступала со всех стен, приторный несвежий запах в комнатах словно исходил от этих тел.

По случаю воскресного дня на постройках, которыми руководил игумен, работа не производилась. Надо было повидаться с приказчиком капитанши, Шампи, но в доме у него по случаю болезни его старухи-матери была, вероятно, суета, не хотелось туда итти. И вышло как-то, что торопился он в Судак по неотложным делам, а приехал — ничего делать не хочется, да и дел особенных как будто нет никаких. Он сидел, облокотясь на стол, подперев голову, лениво отмахивался от наседавших мух... Авдотья заглянула — игумен сидел над нетронутым чаем.

— Дайте переменею.

— Оставь. Не хочется.

— Верно, вам нездоровится, отец игумен. Может, солнушком головку напекло?

— Тут чего-то... — показал Парфений на сердце.

— Подкатывает? У меня самой, не поверите, так и подкатывает...

Он хотел было что-то сказать, увидел желтый зуб, отвернулся.

— Может, кваску принести? Холодненького?

— Ничего не хочу, — буркнул игумен и поднялся.

С неприятным ощущением пристального взгляда Авдотьи за спиной Парфений вышел во двор, заглянул в конюшню и отправился в усадьбу Антона Христиановича Стевена, капитан-лейтенанта в отставке, расположенную в версте от дома Рудневой. У Стевена надо было прикупить табаку: нехватало для большой партии, еще весной запроданной феоdosийскому караиму.

Однако и у Стевена мало было приятного. Как всегда, сухо-вежливо встретил его хозяин, средних лет немец, сплошь бесцветный, — бесцветно было его несколько скопческое лицо, бесцвет-

мы приглаженные волосы. водянистые глаза. Комнаты в этом доме прежде нравились игумену: скупость их обстановки и строгая чистота делали их похожими на собственные его комнаты в монастыре. Но этим самым они были ему сейчас неприятны..

Сели за стол и пошли хитрить. Игумен подвел разговор к табаку, похвалился хорошим урожаем. Стевен знал, что это неправда, и пожаловался на плохой урожай у себя. И Парфений знал, что это неправда. И оба понимали, что тому и другому известно, какой у кого урожай и ради чего они хитрят. Долго тянулась эта канитель. Наконец, игумен вскользь заметил, что не прочь купить у Антона Христианыча пудов тридцать.

— Право, не знаю, у меня поставки. Завтра дам ответ. Поговорю с Сейдаметом.

В понедельник, рано утром, еще солнце не выкатилось из-за моря, игумен Парфений вывел из конюшни Атамана и отправился по делам. Он любил этот час утренней зари в этом месте, между Судаком и Таракташем, и говаривал не раз, что другой такой картины нет в целом Крыму. В пасмурный день, в дождливую погоду и даже при ярком солнце есть что-то угрюмое, почти безнадежное в голых и крутых, каменистых скалах, тесным кольцом охватывающих Таракташ с севера. Они сухи, безжизненны. Татарские сакли у их подножья, серые, как эти горы, похожи на кучи скатившихся сверху камней. Но в ясную утреннюю зарю таракташские горы веселы, игривы! Фантастические, нелепые, забавные отростки их вершин, изогнутые и острые, как щучьи зубы, тянутся к небу и ловят первые лучи встающего из моря солнца. Они розовеют, золотеют, сияют, они играют и живут, шалят и резвятся. Одни исчезают, погаснув, другие загораются — и весь горный гребень беззвучно шевелится перед глазами.

Но в это ясное утро Парфений видом гор не любовался. Опустившись всем телом, сидел он понуро в седле, не глядя по сторонам, не отвечая на приветствия редких встречных. В Айсавакской

долине, в саду сестры Стевена, Катерины Христиановны, где строился по его плану большой дом, Парфений машинально задавал рабочим вопросы и невнимательно слушал ответы. Потом, так же машинально, бродил по постройке, лазил по стремянке смотреть накат на потолках, стучал кулаком по печному борю, проверял обмеры произведенных работ. И вдруг обессилел — сел на лошадь и вернулся на дачу капитанши. Авдотья не ждала его так рано, разахалась, проворно накрыла стол на балконе и подала чай с закуской. Но Парфений к закуске не притронулся, — сидел молча, опустив глаза в громадную синюю чашку с золотым ободком, которую в буфете держали специально для него. Явился, запыхавшись, за распоряжением приказчик Катерины Христиановны, полнотелый татарин Сеид Ибрам с заляпанными известкой черными усами, — он испугался, не застав на постройке игумена. Парфений слушал, что ему тот говорил, но не понял было — слышит ли: молчал. Сеид Ибрам решил, что поп сердчает, — оробел. Помолчал немного, потом сказал, осмелев:

— Гвозди надо. Шибко надо гвозди. Каждый гвоздик считаю — все одно пальцы... Два дюйм. Пять дюйм.

Долго ждал ответа, не дождался, — улыбнулся сконфуженно и пошел со двора. Потом явился хватунишка Соловьев, столяр с рудневской постройки, оправил на себе красную рубаху и покашлял. Игумен не поглядел, и Соловьев, сдернув картуз с русой лохматой головы, попросил мелочишки в счет работы, и по голосу было ясно, что на успех он не надеется. Но Парфений полез в карман, вынул две серебряных монеты и кинул через перила.

Наконец Парфений поднялся и поехал к Стевену.

— Так-эдак, давайте кончать, — буркнул он нетерпеливо, ответив на приветствие хозяина молчаливым рукопожатием.

— Насчет табаку? А вот я сейчас с Сейдаметом посоветуюсь.

Он вышел во двор и направился к приказчику, чистившему лошадь возле конюшни.

Парфений не любил стариков и был равнодушен к детям. Но он не то, что любил, — это было не то слово, — весело возбуждался при виде сильного расцвете: молодой лошади, молодого сада, засыпанного цветом, сильных молодых людей; ноздри его широкого носа хищно при этом раздувались, и на сумрачном лице пробегало подобие веселой улыбки.

Сейчас он глядел из окна на капитан-лейтенанта и его приказчика, но не видел их. А между тем в другое время он непременно вонзился бы взглядом и в Сейдамета, и в его лошадь. Молодой татарин был одет в просторные шаровары, подпоясанные красным поясом, и в широкую белую рубаху. Сухое, статное его сложение от просторной одежды выигрывало: казалось, что рубаха и шаровары на нем только для того, чтоб дразнить глаз скрытой красотой тела. Ни одна изнеженная черта не портила загорелого, мужественного лица — лица генуэзца. А лошадь, которую он чистил, крымский буланный иноходец, была золотая игрушка. Засучив рукава, Сейдамет положил на спину иноходца короткопалую, широкую руку (в другой он держал щетку) и слушал хозяина, хитро подмигивая, на весь двор сверкая безликой улыбкой.

— Можно, — об'явил, входя, Антон Христианович. — Только условие: позавтракаем.

Они сговорились о цене, позавтракали, потом пили кофе. И опять — вяло, сухо и скучно. Часов в одиннадцать игумен поднялся.

— Куда торопитесь? Оставайтесь обедать.

— Да как же. У меня нынче богомольцев наплет труба непротолченная. Надо к вечерне поспеть да еще тут койкого повидать. За табаком я Сеид Ибрама пришлю.

— Как он там у сестры? Справляется?

— Бестолков немного. А ваш как?

— Был хорош, а сейчас испортился. Рассеян стал... Подозреваю одну штуку, — добавил он с особенной улыбкой.

— За бабами бегают?

— Они за ним. Это бы ничего, да вот представьте: в верхние этажи полез, — засмеялся Стевен. — Роман у него с мадамзель Шампи.

— Вот как? Не по себе, дурак, дерево рубит. Кстати, старуха-то, видно, помирает?

— Очень плоха... Вот Сейдаметка-то и того... Под предлогом помощи и днюет там, и ночует. Придется, кажется, прогнать.

— Ну, всех благ...

Воротясь к Рудневой, Парфений застал там Сеид Ибрама: он сидел на крыльце и балагурил с кухаркой.

— Вот тебе бумага, ступай к Антон Христиановичу, сговоришь насчет вывоза табаку. Тридцать пудов.

После бессонной ночи в голове стоял шум, звенело в ушах. Он прилег на кушетку, но щекотали мухи, сердце колотилось от сжимавшей горло досады и раздражал осторожный шопот Авдотьи в соседней комнате. Так и не задремал, только голову плуце разломило. Переполненный досадой, поднялся.

Проходя мимо зеркала, увидел себя: голова лохматая, лицо желтое, глаза желтые, сам старый — смотреть тошно! Хотел волосы поправить — гребешка в кармане не оказалось, — видно, обронил, когда по стройке лазил. Взял было с туалета капитанши дорогой белый гребешок слоновой кости (их тут всяких было множество), но стало вдруг гадко, отшвырнул и руку об кафтан вытер.

Стол уже был накрыт. Парфений жадно выхлебал тарелку крошки со льдом, от прочего отказался и в два часа выехал со двора. Не доезжая Таракташа, нагнал Сеид Ибрама, — тот шел в деревню за хлебом. Татарин опять напомнил про гвозди. Поп буркнул что-то, но приказчик не разобрал, а переспросить не посмел: поп был шибко сердитый.

Знойная пыль стояла на дороге, садилась Парфению на широкую бороду. Солнце жгло спину и плечи. Бурные отвесные скалы Таракташа вскоре бросили тень на дорогу, стало не так знойно, но легче не стало: тесно было дышать от их угрюмой близости. Потом потянулись виноградники, фруктовые сады, дорогу

пересекло каменистое ложе высохшей речки и, наконец, зазеленел лес.

Бывало — истоскуешься на этой длинной, пыльной, безотрадной дороге, а в едешь в лес — точно в роднике выкупался. По почему же этот светлый покой леса не доходит сейчас до сердца?

Главное — унижение! Ведь хуже быка. Бык сам на бойню не идет. Ну, провались сейчас сквозь землю этот монастырь, разве пожалел бы? Лампад? Феофилакт? Эх, кролики красноглазые! Может, и жалко, да тошно. Трудов своих неусыпных жалко? Садов, плантаций, всего, что создал? Нет, нет! Пышная могила страстей, которую сам себе вырыл. Вот об одном бы разве пожалел: что не довелось собственными глазами насладиться, как Варсонофию лик искалечил.

Игумен свернул с почтовой дороги направо, к монастырю, и увидел незнакомую татарку, одетую по-праздничному — пестро, ярко и тяжеломерно — в сопровождении молодого татарина, тоже незнакомого. Татарин проводил игумена любопытным взглядом, в глазах же татарки изобразился испуг. Цепляясь за своего спутника, спотыкаясь, она, как заколдованная, глядела, не отрываясь, на всадника.

Парфений при встречах с татарками нередко читал страх в их взгляде, и обычно его это забавляло, иногда раздражало. На этот раз едкая горечь шевельнулась в нем. «Пугало!» — проворчал он с презрением к самому себе. Разминувшись, он оглянулся: татарка, точно ожидая преследования, озиралась назад, торопясь и все не выпуская из руки рубахи своего спутника.

— Тьфу! — плюнул Парфений и плетью огрел Атамана.

С каждым шагом лошади, приближавшим его к монастырю, игумену все труднее становилось дышать. Уже и мыслей никаких не было: носились в голове обрывки какой-то чепухи. Стук конских копыт тянулся навязчивой дребеденью: «вот этак и ты, вот этак и ты...».

Игумен расстегнул кафтан, рванул ворот рубахи. Он задыхался. Сердце гул-

ко и пусто колотилось в груди, красный туман клубился перед глазами.

— Стой, окаянный!... — прохрипел он, соскакивая с лошади.

Это было то самое место, где давеча он расстался с Мишкой Ачкасовым. Не выпуская плети из руки, игумен повалился на землю и закрыл глаза.

ГЛАВА III

НОЧЬ В ДОМЕ ШАМПИ

В доме Чернявской, который занимала семья Шампи, вот уже несколько дней не закрывались двери. Кто сам не мог зайти, присылал узнать — как и что. Иные дамы приходили с рукодельем. Навестив старушку, находившуюся в беспамятстве, поохав, усаживались тихонько где-нибудь в уголке, вязали, вышивали, дремали. Потом брели в столовую, где круглые сутки не сходил со стола самовар, пили чай, посылали к себе домой записочки, что вся надежда на бога, и судачили.

Среди бела дня в столовой, в присутствии дам, появлялись нечесанные люди в жилетках, в спущенных с плеч подтяжках, брали кипяток и уходили. Тут же на диване кто-нибудь громко храпел после утомительного дежурства. То и дело приходил и уходил работник Ляtif, бегавший на посылках. Сейдамет и какие-то горничные шмыгали, как у себя дома. Никого это не удивляло. Но поведение сына больной, рудневского приказчика Германа Шампи, осуждали почти все.

Герман только-что проснулся и потягивался на диване, когда в дверь просунулась черная голова грека Алифери и сделала ему тайный знак. Герман тотчас исчез вместе с греком. Две-три дамы за столом многозначительно переглянулись.

— Это он с горя, — попробовала смягчить общее осуждение фройлейн Доротея Бриттер.

Мадам Ларгье, седая, но крепкая француженка, с крошечным лбом и громадным подбородком, насмешливо поглядела исподлобья на тучную немку.

— Вы ему очень сочувствуете, правда?

Всем было известно, что фройлейн Бриттер/при случае не отказывается от рюмочки. Немка ловко вывернулась:

— О, да, — произнесла она с умилением, — он так любил свою бедную мать!

— Да, вы можете это понимать, — отчеканила француженка. — Вы сами были дочь и теряли свою мать. Но вы не можете понимать, как страдает мать от подобного сына. Почему? Потому что никогда вы не были мать. Извините меня, дорогая *мадмазель* Бриттер.

— О, — подхватила Бриттер, расцветая свекольным цветом.—самопонятно, страдание матери вам чересчур давно известно.

— Что хочет сказать ваше «чересчур», *мадмазель* Бриттер?

Ссору прервало появление господина Редерера.

Это был лечивший старуху учитель из немецкой колонии, полный человек, с дымчатыми бакенбардами, без усов и с выбритым подбородком. Он не имел медицинского образования, но такое лицо, такие бакенбарды, такие тонкие, строго сжатые губы не были бы неуместны у самой крупной медицинской знаменитости.

— Ну, что? — накинулись на него.

Франц Иванович строго оглядел присутствующих:

— Я сделал больше, чем мог (*Редерер* ткнул пальцем себе в грудь), он пусть теперь делает (*Редерер* тем же пальцем указал вверх).

— Неужели никакой надежды? — молитвенно сложила руки Бриттер.

Редерер строго к ней обернулся:

— С ним я не имею силы спорить, фройлейн Доротея. Попробую повторить банки, но...

Скрипнула дверь, и в столовую невольными шагами вошла Мария Шампи. (У дам изобразилось на лицах одно и то же выражение: подчеркнутое участие и хищное любопытство). Платье на ней было помято, помята была и ее прическа. На смуглом, уставом лице видны были следы слез. Но громадные темно-серые глаза были так чисты, взгляд их

так доверчиво просил поддержки, а изнеможение от горя во всей фигуре было так искренне, что на лицах дам промелькнуло еще и невольное восхищение.

— Франц Иванович, — произнесла она, глядя прямо в глаза *Редереру*, — ей хуже?

Только один *Редерер* мог найти в себе силы не солгать перед этим взглядом. Он опустил руки по швам, вздернул голову и торжественно произнес:

— Дорогая *мадмазель* Мари, мужайтесь.

Он застыл на мгновение в этой позе, чувствуя, что, не поддавшись искушению жалости, он сам служит лучшим примером героизма для бедной девушки. *Редерер* исполнил свой долг.

Девушке неодолимо хотелось плакать. Чтобы подавить подступившие к горлу слезы, она делала какие-то нелепые движения ртом, от которых было мучительно стыдно.

Она поспешно вышла на террасу. Вдруг, точно ей кипятком в лицо плеснули, услышала внизу на дворе беззаботный смех брата Германа, что-то оживленно говорившего работнику *Лятифу*, который между тем уже ее заметил и глазами делал *Герману* знаки остановиться. *Герман* обернулся и мигом натянул на себя маску озабоченности (в этой маске все теперь ходили у них в доме). И тут *Мария* не выдержала, громко заплакала.

— Ну-ну, — сконфуженно забормотал *Герман*. — Успокойся. Ведь ничего еще не случилось...

— Плакать будешь, не плакать будешь — все одно. Нельзя помогать, — сказал *Лятиф*. И добавил участливо: — Прощай год у меня мать тоже помер.

— Твоя мать — это одна мать — презрительно заметил *Герман*, — наша мать — это другая мать.

— Каждому свою мать жалко, — тихо ответил *Лятиф*, покраснев.

— Кошка тоже имеет мать.

— Ты... Ты! — вскипел работник.

— *Герман!* — с укором воскликнула сестра. — Как ты груб, *Герман*... — И пуette заплакала.

Герман опешил. Ему и жаль ее было,

и конфузно перед работником. Лятиф это чувствовал и, потоптавшись, ушел. Герман не знал, что с собой делать, и потому обрадовался, увидев степенского приказчика Сейдамета, который, войдя в раскрытые ворота, направился к террасе. Обрадовался, хотя относился к нему враждебно.

Он не любил его за то, что этот монгол явно считал себя умнее и выше его, и за то, что сестра уделяла ему слишком много внимания, о чем в Судаке уже поговаривали. Главное же, он не раз замечал огонек восхищения в обращенных на Сейдамета женских глазах, отвечавших равнодушием на его, Германа, домогательства. Сейдамет же в свою очередь не любил Германа, потому что считал его нечистым человеком. Он презирал его за то, что ему ничего не стоило соврать, слукавить, дать слово и не исполнить. Герман ничего толком не умел, выпивал, поворовывал на службе, мотал деньги, и Сейдамет был уверен, что, когда старуха помрет, Герман через год, через два пустит сестру по миру. Сейдамет завидовал только его умению вежливо и ловко шутить с барышнями, но не понимал, как он может у них за спиной говорить про них такое, что и мужчине стыдно слушать. Месяц назад между ними произошло столкновение. Герман, Алифери и Сейдамет сидели в винном подвале у Рудневой, когда пришла Мария. Пьяный Алифери такими глазами обшарил девушку, что она, вся вспыхнув, вырвала из рук брата ключи, за которыми приходила, и убежала. А Герман хлопнул грека по плечу и сказал, смеясь:

— Что, пиндос? Штаны с тебя падают?

— Ты!.. — воскликнул Сейдамет. — Ты брат! Родной брат! Такое слово сказал!..

— А ты азиат, баранья голова! — презрительно крикнул Герман. — Какое ты право имеешь за мою сестру вступаться?

Они поругались жестоко, едва не подрались, и только теперь, когда захворала старуха, Герман нехотя примирился с посещениями их дома Сейдаметом. Татарин помогал им, приходил на ночь де-

журить, и Герман по малодушию принимал его услуги, избавлявшие его от скучных обязанностей.

Сейдамет широкими шагами неторопливо взшел на террасу. Постоял, покачал головой и серьезно, с расстановкой, произнес:

— Когда мать плохо, дочке плакать надо. Хорошо.

— Утешил! — фыркнул насмешливо Герман и, махнув рукой, удалился в комнаты.

Сейдамет постоял молча. Было тихо, и в тишине рыдания Марии звучали необыкновенно горько, словно они раздавались в пустыне. Первые крупные звезды засветились в небе; бессильной жалобой донесся издалека призыв муэдзина: а-а-а!... — и замер.

— Барышня Маша, — несмело сказал татарин, — немножко надо свое сердце руками держать.

И, так же несмело, как звучал его голос, легли ей на плечи легкой тяжестью его широкие руки.

Она подняла мокрое лицо, взглянула на него.

— Очень тяжело, Сейдамет.

— Конечно, тяжело. Одно слово — мать. А ты — немножко плакай, немножко отдыхай. Потом еще раз немножко плакай, немножко отдыхай.

Она улыбнулась сквозь слезы и долго молча на него глядела.

— Ты кушать хочешь?

— Спасибо. Уже кушал.

— Ну, чаю?

— Чай — не водка. Ведро можно пить.

Чай пили долго, чтоб время убить. Снизу из кухни пришел соскучившийся там Лятиф — Мария и ему налила. Работнику! Лятиф видел, как Герман бросил на сестру негодующий взгляд, и заколебался. Но пить сильно хотелось, а главное — посидеть с господами за столом было необыкновенно заманчиво. Лятиф осторожно сел и, буйно потев, выпил с тихим достоинством стаканов семь. Герман не глядел в его сторону и немного погодя улегся на диван, наказав себя разбудить, если что понадобится. Дамы — Натара, Ларгье, почтмейстерша и Бриттер — размести-

лись с рукодельем вокруг столика в углу, судача и жадно наблюдая. В конце-концов, для старухи смерть, может быть, — самое лучшее. Нет, но татары! Зазнались как!

Пора было, однако, и по домам. Фройлейн Бриттер вызвалась подежурить, прочие разошлись. За самоваром оставались Мария с Сейдаметом и Лятиф, которого сильно разморило. Трудно было держать голову. Сначала медленно-медленно опускалась, потом вдруг упала на грудь. Сейдамет весело подмигнул на него Марии, но тотчас же лицо его приняло свое обычное выражение, — серьезное, даже суровое, — и он по-татарски заметил Лятифу, что спать за столом неприлично. Работник открыл глаза, сконфуженно прокашлялся и ушел спать на кухню.

— Барышня Маша, — сказал Сейдамет, — тебе тоже отдых надо. Ты себе спи, я — караульщик буду. Крепко себе спи, ничего не бойся.

— Спасибо, Сейдамет, я не лягу. Не могу.

— Как хочешь. Я тебе буду скуку на сердце не пущать. Смотри немножко сюда, — поманил он ее, держа раскрытый альбом с медными застежками. — Твоя сестра?

На желтоватом дагерротипе изображена была тонкая девочка с бантом в локонах, в натянутых на стройные ножки чулочках, играющая в серсо.

— Это я.

— Ну! Разве правда? — живо воскликнул Сейдамет. Его большие, ярко-черные, строгие глаза быстро перебежали с девушки на карточку и опять на нее. — Ну, да, ну, да, — произнес он тихо, в своем воображении соединив девочку на карточке с высокой девушкой, склонившейся над альбомом. Не отрывая взгляда от Марии, он положил альбом на столик, забрал руку девушки в свою и другою рукой стал ее гладить.

Несмелая ласка этих сильных жестких рук вызвала у Марии странное состояние: она себя почувствовала ребенком, а Сейдамета — своим отцом, и в то же время — себя матерью, его — ребенком.

Она чуть-чуть потянула к себе руку,

он тотчас отпустил, и оба они разом глубоко вздохнули.

— Сходи — мама посмотри.

Она вышла поспешно, а когда вернулась, на диване попрежнему громко храпел брат Герман, взлохмаченный, багровый, с раскрытым ртом. В черном квадрате открытой на террасу двери спинную к ней стоял Сейдамет. Она с минуту глядела на его широкую спину в белой рубашке, на красную, загорелую, сильную шею. Она и любовалась им, и почему-то было жалко его.

— Сейдамет, — тихо позвала она.

Он обернулся.

— Живой? — воскликнул он, бодростью в голосе отвечая на что-то в ее взгляде.

— Я боюсь сказать... Знаешь, мне кажется — она ровнее дышит.

Он приблизился к ней своими легкими, широкими шагами и, глядя в упор, почти торжественно произнес:

— Ты помни хорошо: твоя мама будет живой. Совсем крепкий будет твоя мама!

Она хлинула коротко, улыбнулась, отерла платком глаза и сказала радостно:

— Пойдем, Сейдамет, в кухню, я тебе кофе сварю. Немка возле мамы. Не спит.

В кухню вела лестница из передней вниз. Сейдамет пошел вперед, Мария следовала за ним, держась за перильца. На середине уже ничего не было видно; ноги Сейдамета, обутые в чувяки, ступали бесшумно. И все-таки Мария, не дотя до низу, почувствовала, что он остановился, — почувствовала, но продолжала спускаться, — только сердце упало на мгновение и тотчас застучало гулко, медленно. Она услышала его дыхание, простерла вперед руки и коснулась в потемках его лица. И вдруг ее охватили эти страшные, нежные, грубые, дорогие руки! Она затрепетала, обвила руками горячую шею, прижалась к его лицу головой, коя себе щеки его жесткими усами. Сейдамет осторожно взял ее голову в свои ладони и, приблизясь лицом, тихо сказал:

— Птица мой... Когда мама совсем будет здоровый, — можно тогда женить-

ля? Прямо скажи. Хочешь — прямо скажи. Не хочешь — тоже прямо скажи.

— Я согласна, Сейдамет, только бы мама поправилась...

— Я тебе сказал: совсем мама крепкий будет.

— Только ведь в России это нельзя...

— Белый свет много есть места.

— Я за тобой, куда хочешь, пойду, только...

— Ну, больше ничего. Я слышал, один бог видал, — больше ничего. Теперь будем кофе пить вроде могарыч.

Она засмеялась и толкнула дверь. В кухне было душно, загудели потревоженные мухи. Слышно было ровное дыхание Лятифа. Мария нашарила сернички, запалила лучинки в широком устье печи и стала варить кофе. Сейдамет, сидя на лавке, глядел на ее лицо, по которому прыгал свет от горящих лучинок, на брови, длинные и высоко поднятые, точно она чему-то простоудивно удивлялась, на каштановые волосы, обильной, нежной волной выющиеся над высоким лбом. Щеки похудели за эти дни, и такая вся измученная... Верно, легонькая стала! Поднять бы на руки и покачать, чтоб уснула. Она чувствовала его взгляд на себе, было чуточку неловко и приятно.

Кофе вкинул. Сели за стол Сейдамет жадно отхлебнул, покрутил головой.

— У-у, хороший! Никогда такой не пил. Твоя рука, — причмокнул он.

— Вот глупости! Самое обыкновенное кофе. Я, Сейдамет, плохая хозяйка.

— Немножко неправду врешь. — ласково погрозил он пальцем. — Твоя рука на всякий дело мастер.

Они постоянно вступали в странный спор: Сейдамет хулил всякий свой поступок и хвалил все, что делала Мария, и точно так же она горячо доказывала, что он все знает, все умеет, а она настоящему ничего не знает и все делает кое-как. Это было не жеманство.

Выпив свою чашку, Мария побежала наверх. Ее долго не было, и Сейдамет хотел уже пойти узнать, как услышал сверху ее торопливые шаги. На лице

девушки было выражение радостного испуга, недоверия.

— Сейдамет, голубчик, ну, ей-богу же лучше!

— Конечно, — произнес он тоном глубокой уверенности.

— Мне кажется, мама узнала меня... Ничего не сказала, но так посмотрела...

Она порывисто обхватила его и, потянувшись, поцеловала прямо в губы.

— Понимаешь, это ты... это ты... Как ты сказал, так оно...

Деревянная койка заскрипела под Лятифом. Они отскочили в разные стороны, замерли и одновременно погрозили пальцем друг другу. Лятиф пробормотал что-то неразборчивое и спустил ноги на пол. Он, шурясь, глядел то на Сейдамета, то на Марию, то на свои босые ноги. Мария рассмеялась.

— Вставай, Лятиф, кофе пить.

Было еще темно, стояла тишина. Время от времени Мария подымалась наверх и всякий раз возвращалась с этим особенным выражением радости, надежды и боязни ей поверить. Свеча в чугунном подсвечнике догорела, новую не стали зажигать, посидели в потемках, и вскоре посерело окошко, по углам заволокли мухи. Сейдамет подошел к окну взглянуть на часы, но на его громадных, похожих на флягу, серебряных турецких часах стрелки показывали полночь: он позабыл их с вечера завести.

— Двенасать час, спать надо, — пошутил он.

Смех овладел вдруг Марией, сказывалось нервное возбуждение этой необыкновенной ночи. Она смеялась, не могла остановиться, Сейдамет с Лятифом удивленно на нее глядели, улыбались из вежливости.

Залаял Марс на дворе — Лятиф пошел взглянуть. Мария задумалась внезапно.

— Сейдамет, — сказала она тревожно, — а что, если Герман нас проследил? Поитворился, что спит, и проследил, — а?

— Брось, барышня Маша — махнул он презрительно рукой. — Пьяный он был.

— А доктор? А немка?

— Э-э, — снова отмахнулся он.

— Нет, ты не говори. Я последнее время замечала, что на нас с тобой поглядывают, знаешь... И сплетни уже ходят, я знаю...

— Я тоже знаю, — перебил он. — А ты — душа своя крепко держи! — воскликнул он, подняв кулак и сверкнув глазами. — Ничего не бойсь! Пушдай мне голову режут, — одно слово не скажу. Твой секрет, мой секрет, — что хочем, делаем.

— А я не спокойна... Ах, зачем ты татарин!

— А что татар — не человек? — вспыхнул Сейдамет.

— Нет, ты не понял... Для меня ты лучше всех на свете, а вот для них... Понимаешь — как это татарин смеет...

— Понимаю, понимаю! — перебил он живо и злобно. — Я это дело хорошо знаю. Герман пьяница, ленивый — он первый сорт человек. Сейдамет — работающий, водки в рот не берет — он второй сорт человек.

— Вот-вот! Не один Герман. Возьми доктора, возьми мадам Ларгье. Их оскорбляет, когда они нас видят вдвоем.

— У-у, Ларгье, — повторил он презрительно. — Хуже собаки брешет. Она — хорошая, я — худой... Ехать надо другой край. Далеко надо ехать...

Задумались оба.

— Ну, прощай, барышня Маша, мне на работу пора.

Мария поднялась наверх. Больная тотчас на нее взглянула, и девушка ясно прочла во взгляде матери легкую улыбку любви и ободрения... Прижав рукой бьющееся сердце, Мария кинулась в столовую.

— Господин Редерер, — подступила она к немцу, — правда, маме лучше?

— Не так экспансив, милая фройлейн, — произнес тот невозмутимо. — Болезнь вашей маман есть оч-чень серьезная болезнь. Вам надо быть ко всему готовой.

Мария глядела в упор на его толстое лицо в очках. С каким наслаждением она сию минуту выгнала бы его вон, затопала ногами! Но она пересилила себя. Лицо ее приняло насмешливое

выражение, и тихим голосом она отчеканила:

— Через неделю мама будет здорова. Увидите.

— О-о, дай бог, дай бог, милая фройлейн, — снисходительно молвил учитель. — Какие же вы имеете основания для ваш диагноз и для ваш прогноз?

— Самые тзердые, — ответила девушка, таинственно улыбнувшись.

Франц-Гуго Редерер склонил голову, выжидая, выдержал паузу, пожал плечами и проследовал в комнату к больной. Он взял за руку старушку Шампи.

Пульс вел себя совершенно непристойно: он упругим молоточком гвоздил прямо в прижавший его плотный палец. И господин Редерер, чувствуя, как от этих толчков разрушается его высокий авторитет, нахмурился...

Только на другой день, когда сознание вернулось к больной совершенно и когда она выпила чаю, господин Редерер, наконец, заявил, что вторично поставленными банками ему удалось, как он надеется, победить болезнь.

ГЛАВА IV

ТРЕВОГА

Рано утром, во вторник, когда над домом Шампи блеснул первый луч надежды, во двор усадьбы капитанши Рудневой в ехал верхом на лошади молодой парень. Авдотья в одной рубашке, расставив толстые локти и мелькая красными икрами, выносила ушат с помоями.

— Тебе чего? — окликнула она. — Откудова взялся?

— У монахов я работаю. Мне бы отца игумена. Вызови, сестрица, на часок.

— Какого тебе игумена, дьявол лохматый?

— Известно какого. Сказывали — у капитанши, у вдовы, отец Парфений постоянный двор имеют.

— Дурака ломаешь аль вправду дурак, — заметила она, опустив ушат на землю. — Тебя когда послали?

— Нынче, чем свет.

— А они вчерась после обеда уехали. Как победали, сели на лошадь и к себе домой уехали.

— Дома их нетути.

— Тебя кто послал, молодца?

— Отец Симеон. Так где ж мне их тут искать?

— И вправду, гляди... А я думала — шуткуешь.

— Я б с тобой, бабочка, пошутковал — время нету. Поглядела б ты на монахов наших...

— А что?

— Всполошились! Праздник, богомольцев этих самых — как пшена в горшке, а дело упредить некому. Игумен-игумен — нет игумена. Поверишь — монахи всю ночь не ложились, поджидали. Ну, солнышко еще не встало, скачи, приказали, в Судак, доложись насчет положения. Должно, захворали они у капитанши, потому при своей строгости в такой день вечерни не пропускают.

— Болезни не заметила, ну, скучный уехали.

— Где ж мне их искать? Я тут никого не знаю...

— То-то «не знаю». Послали сватом сопливого — невесту с души рвет. У помещиков ищи, вот где! У Стевена, у Стевенши, у Паскевича, — мало ль их, дьяволов.

— Ты, слышь, не сердчай, как звать-то тебя...

— Ну, Авдотьей. Ну?

— Вот и ладно. Самогб меня Пантелеем звать... Так слышь, Авдотьюшка, пошла б ты со мной да показала. Право. А я тебе кой-что шепну...

— Не подманивай, лиса! «Шепну». Вас много, шептунов. С вечера до зари все шепчете — и послать некогда.

— То другим часом, а я тебе правду говорю. Про отца Парфения слушок.

— Не обманешь. По зенькам видать — брехня.

— Ну, не хочешь, прощай. Но, Серый... — повернул он коня к воротам.

— Стой, леший! — крикнула Авдотья. — Завлек, сатана.

Вывернув тут же ушат, Авдотья кинулась в кухню, выскочила оттуда в платке и минуто спустя уже шлепала

тяжелыми босыми ступнями по дорожной пыли рядом с Серым, не сводя глаз с лукавого седока. Проводив его до усадьбы капитан-лейтенанта, Авдотья знала, по какой причине отец Парфений настолько заскучал, что пренебрег ее кефалью. Однако ей этого было уже мало: от Стевена она отправилась с Пантелеем и к Стевенше, и только тут неохотно рассталась с монастырским посланцем, порешив немного погодя сбежать еще и на почту, где собирались господа, — поспросить насчет игумена и удивить всех новостью. А парень отправился во-свояси объявить монахам, что отца игумена нигде в Судак не оказалось.

Досталось в тот день и Пантелею, и Серому! На богомольцев уже никто не обращал внимания, всю строгость, все монастырское благолепие — смахнуло, словно пыль. Службы проходили торопливо, кой-как. Монахи смешались с мирянами и, не стесняясь, высказывали догадки насчет пропажи игумена. Отец Варсонофий скрежетал уцелевшими зубами. «Сбежал, волчище!» — вопил он, потрясая кулаками. Он в испуге визжал, что надобно немедленно отправить по эстафете донесение к преосвященному, разослать гонцов, произвести облаву. Братия, однако, колебалась. Игумена не было, но трепет еще держался, — а ну, как вернется к вечеру! Не знали, кому повиноваться, кого слушаться. Слушаться хотели все, но распоряжаться никто не смел. Все-таки рясофорный Симеон по причине сана и дородства стал заместо игумена. Он отправил пять-шесть верховых, приказав рассыпаться в лесу, по дорогам и что есть мочи «гукать» отца игумена: может быть, в дороге чем-нибудь завлекся, свернул, да и занемог внезапно, лежит теперь где-нибудь под деревом. Но это было так глупо, что верховые уехали в явном конфузе и воротились ни с чем. Уже под вечер пришлось Пантелею вторично мчаться в Таракташ, заявить в волостное правление, чтоб с утра подымали народ.

На слоподобного Симеона глядеть было жалко: сирота! Затворясь в келье с рясофорным же Афанасием, он

битый час совещался, после чего вынес решение: всю ночь палить костры в киновии и с версту по дороге.

Даже и монахи, которые посмелее, смущенно улыбались. А миряне подходили к пылающим во мраке кострам и творили издевку:

— Тэ-эк-с. Уж водицы бы поставили да пшеном засыпали, все бы не даром дровам перевод.

— На кашу и пропавший игумен скорей заявится.

— Погоди, они и в колокола вдадут, — прогудел разбойничьего вида громадный чернородый человек в армяке. Он стоял, опираясь обеими руками на шест, и уничтожающе глядел на послушника.

Тот тряхнул волосами, зевнул приторно.

— Пойти отцу Симеону доложиться... — проговорил он небрежно, медленно отходя от костра.

— Поди, поди. Дровец принеси.

— Пшена не позабудь!

— Да сала, сала поболее!

— Го-го-го!..

Так всю ночь и промаялись у костров послушники. А в среду рано утром полетело по встафете в Симферополь к преосвященному донесение от рясофорных монахов Кизильташской киновии Симеона и Афанасия: отправился-де 21-го игумен Парфений в Судак по своим надобностям, 22-го выехал из Судака, но до сих пор его нет, просят «о назначении им кого следует, о розыскании о. игумена и принятии Кизильташской киновии».

ГЛАВА V

ВЕЧЕ

Когда в почтовую контору Александра Трофимыча Власова приходил кто-нибудь сдать страховое письмо или еще за чем, то встречали его здесь недружелюбно: настоящие посетители приходили сюда не за этим. Паскевич, Илья Уварович, отставной майор и судакский помещик, пятидесятилетний, но вечно юный, рослый, картинный мужчина из севастопольских ополченцев, побывав-

ший и на самом Малаховом, зиму и лето щеголявший в русской поддевке и потому причислявший себя к «славянам», называл контору «наше вече», а почтмейстера Власова — «наш посадник». Наоборот, граф Ростислав Капнист, тоже севастополец, побывавший на Малаховом, однако, носивший короткое серое пальто «рамзайку», что пошло на Руси от английского генерала Рамзая, именовал, как западник, почтовую контору «клубом», произнося это слово столь небрежно и в то же время внушительно, что и других манило при случае звернуть его с той же грацией. Иные и пробовали, — например, штабс-капитан Качиони скажет «клуб», но почему-то поперхнется, покраснеет. Так и остался «клуб» монополю за графом Ростиславом, прочие же утвердились на «вече». Кстати, и супругу Власова звали Марфой Акимовной, и создался приятный каламбурчик: стали называть ее Марфой-Посадницей. Даже татары так величали. Но если при этом случались дамы, то они изображали смущение, потому что у татар выходило так: Марфа-позаднис.

Еще до полудня вече уже бывало в сборе. Поглаживая длинные, висячие севастопольские усы, раскатисто хохотал Илья Уварыч; спокойно принимал всеобщее уважение граф Ростислав, — черный, сухощавый, корректный, левая рука всегда в перчатке, пенсне на широкой ленте; нервно сутулился где-нибудь в уголке акцизный чиновник Зотов в своем стареньком мундире. Антон Христианыч с одинаковым равнодушием и безо всякого выражения в своих водянистых глазах выслушивал все, что ему сообщали. Боясь промахнуться в русской речи, осторожно подбирал слова самолюбивый штабс-капитан Качиони, мнительно лоя быстрыми глазами взгляды собеседников, — не перемигиваются ли по его адресу. С громом накрахмаленных юбок влетала мадам Ларгье и сообщала о чем-нибудь поразительном, — о письме, полученном из Швейцарии: в ее племянницу влюбился английский наследный принц или что магнолия в ее саду дала такой чудовищный цвет, что собака в будке за-

дохнулась от запаха. Правда, случившийся при этом сообщении о Василии Косовский, судакский священник, тоже завсегда тай веча, женоподобный человек с пухлым лицом, на котором он безуспешно пытался мазями и снадобьями выгнать хоть какую-нибудь растительность, позволил себе неосторожность с сомнением улыбнуться, но кончилось это весьма для него печально.

— Вы мне не верите? — жутким голосом среди тишины произнесла мадам Ларгье. — Вы гораздо лучше своей жене не верьте. Или свой сосед татар не верьте. Или своим детям не верьте. Ах, пардон, какая я дура! Откуда у вас дети? У вас не было детей и у вас их не будет никогда!

Один князь Кантакузен нашел в себе смелость остановить скандал:

— Успокойтесь, мадам... — обратился он к ней по-французски, — уверяю вас, улыбка о. Василия совершенно не ж вам относилась... Как-раз перед вашим приходом мосье Паскевич рассказал анекдот, над которым все мы много смеялись...

Мадам Ларгье кивнула головой и торжественно объявила:

— Господа! Князь Кантакузен мне говорил, что батюшка смеялся не надо мной. В таком случае публично прошу пардон: слова насчет его жена, насчет детей, которых нет, насчет сосед-татар, — все эти слова имеют другой адрес.

— Так-то лучше... — пробормотал о. Василий, вытирая платком совершенно мокрое лицо. — Худой мир, как говорится... Это всегда приятней... Не выношу, ежели личности... Пожелаю, господа, доброго здоровья. У Дарьи Ивановны обещался побывать...

Так и не дослушав, бедняга, любопытнейшей статейки из «Голоса», которую со вкусом читал Александр Трофимыч. Эти чтения и составляли главную приманку веча. Соберется общество, о. Василий оглянет публику. «Ну-с, от Каткова Михаила Никифоровича чтение!» Или же: «От господина Краевского чтение!».

И тогда почтмейстер Власов обеими руками огладит голую, как резиновый

мяч, голову, расстегнет на шее мундир, медленно развернет запрессованный газетный лист и голосом пожилого барана — зычным, но сухим и вязким — начнет.

Выдержать его чтение более десяти минут никому из слушателей не удавалось. Не успев Власов дочитать до половины, как кто-нибудь подхватит то или иное слово, смотришь — и спор завязался. А там и закипела внутренняя и внешняя политика!

Во вторник, 23 августа, все были на своих местах, но к чтению не приступали: с недоумением поджидали аккуратнейшего Антона Христианыча. Беседовали о том, о сем: о ценах на виноград, об ожидаемом урожае табаку, о злостястях семьи Шампи. Граф Ростислав поведал о полученном из Петербурга письме: сообщают, что графа Муравьева Михайла Николаича постигла серьезная болезнь.

Илья Уварыч так и ахнул:

— Эх, кабы поднялся Михайла Николаич с одра болезни да кабы дать ему наш благословенный Крым! Хоть на годик, на один! То-то татарва бы залопотала! Только бы клочья полетели.

— Уж это точно! Это вы справедливо, уважаемый Илья Уварович, — молвил радостно о. Василий. — А то ведь житья никакого не стало.

— Помилуйте! Ведь для чего-то мы Крым завоевывали? Кровь свою для чего-то проливали? — ударил себя кулаком в грудь Илья Уварович. — Для чего, я вас спрашиваю? Чтоб Ахметка воючий или Абдулка эту жемчужину царской короны всю... всю...

Он запнулся, обежал общество взглядом, махнул рукой.

— И сказать непристойно, и смолчать мочи нет... Посудите сами, господа. Вздумал я сад расширить в сторону чира, которым ни одна собака не пользуется, — не смей! В суд, мерзавцы, тащат: «Наш земля. Общественный земля». Засуха, табак у меня весь гибнет, а хочешь сделать поливку, — не смей. Опять не смей! «Общественная вода!». Жди своей очереди. А пока до тебя очередь дойдет — весь табак сгорит. Сена в лесу не смей накопить — «общественный

лес». Стало быть, я, русский офицер, дворянин шестой книги, родной племянник кузена светлейшего князя Иван Федорыча Паскевича-Эриванского, поставлен на одну доску — с кем? С кем-то? С поганим татариним?

Дико вращая глазами. Илья Уварович уставился на одного, потом на другого, на третьего и продолжал:

— К сожалению, далеко не все занимают твердую позицию в этом кровном для нас деле. Дворянство российское терпит обиду за обидой, потому что оно вразброд смотрит. Гнилой Запад внес злую отраву в нашу среду, посеял смуту и поколебал наши ряды. Так и там, в Петербурге, так и здесь, в Крыму.

Все отлично понимали, в кого метит Илья Уварович. Но граф Ростислав не поднял брошенной перчатки. Взгляд его изображал спокойное, учтивое и отчасти ироническое любопытство — в такой лишь мере учтивое, что ясно видно было кончик иронии, но чтоб ухватиться за него было невозможно, не компрометируя себя.

Паскевич вскипел:

— Ваше сиятельство! Я — прямой человек! (Бух кулаком в грудь.) Я не дипломат, а солдат! (Бух.) Я — православный русский человек. (Бух.) Как дворянин у дворянина я вас спрашиваю: люблю видеть вам, как Махмутка нас утешает?

Граф Капнист поднес к глазам руку в серой перчатке и внимательнейшим образом стал ее разглядывать через пенсне. В конторе ощутительно повисло предчувствие скандала. В злоеющей тишине только и слышно было, что тяжкое дыхание Паскевича, да еще остро звякнуло стекло: Марфа-Посадница стояла в дверях с рюмками на подносе, прыгавшем в ее дрожащей руке.

Граф Ростислав медленно опустил руку, лениво поднял голову; «заметив» перед собой фигуру в поддевке, впросительно поглядел. И вдруг «вспомнил»:

— Махмутка?.. Да, шельмы они ужасные. У меня в лесу то-и-дело порубки. Штрафуешь-штрафуешь, а все без толку... Какие-то меры принять не мешало бы. Безусловно. Впрочем, господа, по

моим сведениям, во время последнего своего пребывания в Ливадии государь открыто выразил пожелание обрусить наш Крым.

В конторе произошло движение.

— Взаправду ли?—воскликнул о. Василий. — Дошли до престола всевышнего наши жаркие молитвы.

Он поглядел с умилением на портрет царя, висевший против входа в контору над головой Власова; Александр II был изображен во весь рост, с кивером в левой руке на отлете, — в той самой позе, копирующей портреты Николая Павловича, которую сам Николай Павлович копировал с портретов прославленных героев бородинской эпохи. С портрета, просозерцав его некое приличное время, о. Василий перевел взор на икону и медленно перекрестился.

— Дело, видите ли, в том, что дворцовая администрация в Ливадии проявила недостаток такта: набрала для различных работ чересчур много татар. В одно прекрасное утро, после доклада, который вызвал неудовольствие у государя, он отправился на прогулку один, ежели не считать знаменитого сеттера Милорда. Подходит он к оранжереям, а там вертится этот толстяк, наш Сонцов. (При упоминании имени таврического вице-губернатора на всех лицах слушателей появилась совершенно одинаковая улыбка.) Ну, я вижу, господа, мне нет нужды вам объяснять, что милейший наш Сонцов острою ума не отличается. Не разобрав, что государь в нерасположении, он вместо того, чтоб исчезнуть, прямо навстречу ему плывет со своим, извините, брюхом. Государь хмурится, но здоровается. Сонцов настолько бестактен, что делает попытку следовать за государем. Неудовольствие государя растет. Он против желания останавливается и про первое попавшееся растение — сказывали: кактус какой-то — сердито спрашивает:

— Эта штука как называется?

Сонцов подкатывается шаром, изгибается (вы представляете себе?):

— Рододендрон-с, ваше величество.

— А это?

— Тоже рододендрон-с, ваше величество.

— И это рододендрон-с? — спрашивает насмешливо государь еще там про что-то.

И вот, вообразите, наш умник молдцевато отчеканивает:

— Точно так, ваше величество, и это рододендрон-с!

Государь спрашивает у Сонцова, откуда он почерпнул эти ботанические познания. Оказывается — у садовника, но не у старшего, француза, а у младшего. Сюда его. Является садовник. Татарин. Ахметка, как Илья Уварович изволит говорить. История начинается сначала: о чем ни спросишь — все рододендрон. Кто тебе сказал? Другой садовник. Зови. Является — и тоже татарин, и здесь разыгрывается сцена. «Крымский я хан или русский император?» — этими словами выразился государь. И тут же высказал пожелание, чтобы татар ни в коей мере здесь не задерживать. Хотят переселяться в Турцию — скатертью дорога...

— Истинно, истинно! — вырвалось у о. Василия.

— ... Но, разумеется, — с легкой гримасой взглянув на Косовского, закончил граф, — безо всякой излишней официальности, без неуклюжих эпизодов, однажды, как вы знаете, уже вызвавших крайнее неудовольствие его величества.

— Великолепно! — воскликнул Илья Уварович. — Конечно, все дело в исполнительцах царской воли. К ним как попадет, так и начнут миндальничать. Ведь вот — переселение. К чему свелось? Как было, так и есть.

— Ах, нет, не скажите. Илья Уварыч, — скромно вмешался Зотов, застегивая в волнении мундирчик, который только-что, тоже от волнения, расстегнул, слушающая рассказ графа. — Не скажите... На прошлой неделе довелось мне по делам службы съездить в Перекоп-

ский уезд. Был я там последний раз годов четырнадцать назад или тринадцать, чтоб не соврать... Знаете — глазам не верил.

— Перемены? — спросил Паскевич. — Я там отродясь не бывал.

Зотов pokrутил головой.

— Узнать нельзя! Бывало едешь — многолюдство... Деревни, села богатейшие. А сейчас — одно можно сказать: пустыня. Час едешь, другой, третий — развалины и кладбища, больше ничего. Какое и попадетя селение — одна видимость... Ни тебе улицы, ни переулочка. Стоит сакля, как сирота, а кругом — кучи мусору. Потом опять сакля... На целые версты — сплошь одичавшие сады: черешня, груша, яблоня, мушмала... От фонтанов — сколько их было! — одно воспоминанье...

— Ага, ущемили хвост! Поделом, — заметил Паскевич.

— От живности тоже мало что осталось. Этих взять верблюдов, буйволов... Где-нигде попадетя парочка дохленьких — и все. А ведь тучами ходили... Да что буйвола, лошадей, и тех нет, а какие остались — выродки, с прежними и сравнить нельзя. То же самое овцы... Как-то ночью случилось проезжать через деревню, повидимости, только-что покинутую. Думал — помру от страха. Вой, знаете... Собаки голодные. В пустых саклях окна и двери болтаются на ветру, хлопают...

— Уж больно вы чувствительны, Лев Николаевич, — молвил насмешливо Паскевич. — Ну, кошки. Ну, собаки. Сделайте одолжение, у меня у самого, что ни ночь, собаки воют, ну что ж из того? Ерунда.

— Илья Уварыч, родной, вы бы сами поглядели! Понятное дело, с чужих слов... А я вот видал, как это самое у них происходит...

— Расскажите, расскажите, — загорелась почтмейстерша.

— Да что рассказывать... Не расскажешь... На заре... Гляжу — мажары с татарским хламом. Стоят на дороге запряженные, а возле — ни души. Что за оказия? А ямщик-татарин сразу догадался: должно быть, говорит, кладбище тут поблизости, народ пошел «папаша-

мамаша» прощаться. И верно. Пригорочек такой при дороге, взошли мы — тут и кладбище. Снизу его не видать. Ну, знаете, кладбища эти татарские...

— Никакого благолепия, — заметил о. Василий.

— Ни малейшего. Так, вроде как подсолнухи. Головки срезали, палки остались. Уныние. Подошел поближе — на каждой почти могиле татары. Мужчины, женщины, и совсем древние, ветром качает, и грудные у матерей на руках. Словом сказать — поголовно все население деревни. Молчание, тишина. Какой-нибудь лягушонок квакнет — ну, мать тотчас его уймет. Постоят-постоят — на колени обустятся, плачут, кулаками в грудь бьют, землю целуют, — и всё, заметьте, молча. Припадет лицом к земле, полежит, потом оторвется... Я жду, чем кончится. Они меня видят, но никакого внимания... Напоследок старик один, очень древний, тихо что-то сказал, а сам к себе в карман, достал капшучек такой или вроде кисетик, нагнулся, поскреб-поскреб ногтями и горсть земли с могилки в кисетик положил. За ним и прочие. А там и пошли к своим мажарам, но уж тут татарки в голос...

— Прелестно, прелестно рассказали! — захлопала в ладоши Марфа-Посадница. — Совершенно как в повестях господина Марлинского.

— Лев Николаич мастер сказки скандалить. — заметил с неудовольствием Илья Уварович. — Я — русский человек, я на вещи гляжу с русской точки. А тогда дело ясно: завоевали мы Крым? Завоевали. Нужны нам татары? Нимало. Ну, так и убирайтесь по-добру, по-здорову к своему султану.

— Верно, верно! — поддержал о. Василий.

— Верно, да не совсем, — внушительно заметил граф Капнист.

— А что, фигли-мигли разводить? Гуманности?

Капнист слегка побледнел.

— Ежели вы точно интересуетесь моим мнением, — проговорил он тихо, — то извольте говорить серьезно.

— В чем же состоит ваше мнение? — несколько опешив, спросил Паскевич.

— Мое мнение состоит в том, милостивый государь, что поголовное переселение татар в Турцию не в интересах русского поместного дворянства. Ну, опустеет Крым. А работать-то кто будет?

— За этим дело не станет, — молодецки тряхнул головою Илья Уварович. — Пусть только матушка Расея прослышит про свободные места, — мужичье попрет, мое почтение! Реформа-то эта тоже, знаете, палка о двух концах. Вон у меня в Новгородской губернии в самую страду: бабе — гривенник в день, мужику — пятиалтынный, двугривенный. Сделайте одолжение.

Капнист поглядел на него с сожалением.

— Это, стало быть, новгородские мужики да полтавские хохлы станут у вас виноградники разводить? Табачные плантации? Ну, поздравляю.

— Не вдруг, понятно... — сбился с тона Паскевич. — Но что же, по-вашему? Критику-то легко наводить, а вот извольте-ка предложить нечто положительное. Или сложить ручки, да и пусть Махмутка что хочет с нами делает?

— Вот то-то, ваше сиятельство, — присоединился о. Василий. — В самом-то деле, как нам быть, русским людям?

— Вам, батюшка, обидню служить, как и служили, — молвил с улыбкой граф Ростислав.

О. Василий спохватился:

— Оно-то всеконечно... Правильно изволили сказать. Однако, хоть я и не имею высокой чести принадлежать к первейшему сословию империи, но с другой стороны — как сказать? И садик, и виноградничек. Как-никак — владелец. Равняться не думаю, но владелец. И тоже, как они говорили, взять ли полвку, или опять же сенокос — большие поитеснения...

— Мне бы казалось так, — прервал его Капнист, мечтательно глядя в потолок. — Хороший кучер по лошади не молотит, а только показывает ей кнут. В иных случаях, понятно...

Но граф не успел договорить: в передней раздались громкие голоса, тяжелые шаги — и в дверях появилась запыленная фигура феодосийского исправ-

ника Лагорио в сопровождении капитан-лейтенанта Стевена. И сразу помещение конторы сделалось тесным.

Исправник Лагорио был человек, сооруженный из шаров. Громадным шаром было его туловище с тучными плечами, с грудью колесом. На туловище, без всякой шеи, водружен был круглый котел, служивший исправнику головой, а два крупных шара, вставленные в этот котел, были исправницкие глаза. Лагорио с грохотом покатился по конторе, заорал, захохотал. Вечевики опасливо подбирали ноги, разминали в кармане пальцы после исправницкого рукопожатия. Марфа-Посадница поспешно передвинула на середину стола поднос с рюмками, и у всех сразу заняло в ушах от грома, покотившегося из исправницкой глотки. Антон Христианыч имел вид унылый, отчасти даже замученный: Лагорио вымотал его до дна.

— Го-о, вече в полном составе! — возгласил исправник. — Ужо доберусь, крамольники... Кума! Посадница! Ручку! (Поцелуй в ручку прозвучал, как выстрел из пистолета.) Ваше сиятельство, как здравствовать изволите? Ха, Илья Муромец! И как ты можешь в такую жарынь в поддевке? Я у себя в канцелярии, поверите, господа, голый всех принимаю. Извините, кума.

— Господа, — сказал Стевен, ища спасения от ливня громовых раскатов, — если читать, то начнемте, а то мне скоро уходить.

— Вас только и ждем, Антон Христианыч, — сказал Власов, отодвигая в сторону приготовленный было «Голос», где он уже наметил статеечку с перцем, и берясь за более благонамеренные «Московские ведомости».

Но не суждено, видно, было вече в тот день наслаждаться искусством Александра Трофимовича. Из передней донеслось торопливое топ-топ-топ, — в контору влетела Авдотья.

— Тебе чего? — зыкнул Власов.

— Да я... Может, кому из господ известно, куда вчера о. Парфений уехал?

— Мое почтение, — отозвался Стевен. — К вам в усадьбу и уехал.

— К нам-то я знаю, а от нас куда? Нету их нигде.

— Где нету, не пойму, — у вас? У Дарьи Ивановны? Или в монастыре? Да говори, наконец, толком, чего тебе надо?

— Господи, еще вам как говорить! И там нету, и тут нету.

— С чего ты взяла, что в монастыре нету?

— Здрассте, с чего взяла. А патлатый-то?

Капитан-лейтенант развел руками:

— Вы что-нибудь понимаете, господа?

— Стой! — ринулся исправник, — кто тебе сказал, что о. Парфения нет в монастыре?

— Пантелей, — мотнула головой Авдотья. — Монахи прислали. Монахи, говорит, шибко тревожатся. Не бывало, сказывают, чтоб о. игумен к сроку не вернулись. Скажи, говорят, в Судак, не иначе о. игумен захворали.

— Может быть, вам что-нибудь известно, господа? — обратился Лагорио к вечевикам.

— В монастырь уехал, — сказал Зотов. — Еще вчера утром мне говорил, что к вечеру должен быть на месте.

— То же и мне говорил, — подтвердил Стевен. — Там у них какой-то особенный день... Ожидалось много богомольцев.

Исправник, глядя себе под ноги, крепко о чем-то думал. Вдруг глаза его блеснули огнем догадки:

— Повесьте меня, если его преподобие не улепетнул!

Со всех сторон посыпались возгласы, и только одна Авдотья, безо всякого удивления, весело молвила:

— В одно слово с патлатым, ваше благородие.

— Что-о?! — мгновенно накинулся на нее исправник. — Ну-ко, ну-ко, что он тебе говорил?

— Ничегошеньки я не знаю, — спохватилась она в испуге. — Что вы, господь с вами!..

— А-а, не желаешь? Влепить ей сотню горячих! — обернувшись, гаркнул исправник в пространство.

— Мать пресвятая!..

— Выкладывай, что патлатый говорил!

— Да я ж... Ваше благородие, ничего ж я не знаю... Сказывал, окаянный, слушок будто промежду монахов насчет о. Парфения...

— Какой слушок? Не тяни, стерва! — рывкнул исправник и умильно бросил, оборотясь назад: — Простите, кума! В нашем деле без этого не обойтись. Ну!?

— Стало бытъ, провинились о. Парфений и себе от начальства наказания ждали...

Исправник обернулся, мигнул многозначительно и снова:

— Ну?

— Ну и слушок пошел... Что, может, отлучились куда ни то...

— Ну?

Авдотья отступила на шаг и широко развела руками:

— А теперя — все. Чистая перед вами, как из бани.

Лагорио с минуту ее созерцал.

— Ступай. Да смотри у меня — лишнего не болтать!

— Сам нивестъ что болтает, — шепнул о. Василий Паскевичу.

Исправник носился из угла в угол, не отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Наконец Посадница не выдержала и, поймав его, уцепилась за рукав.

— Матвей Лукич, куманек, — взмолилась она, — да будет же вам... Сию же минуту извольте все объяснить; вы же видите, я сгораю от нетерпения... И все мы... Правда, господа?

— Да, да, совершенно! — поддержали ее все, и даже граф Ростислав улыбкой и легким наклоном головы подтвердил, что совершенно сгораёт.

— Ах, господа, — удивился Лагорио. — Неужто сами вы не видите, что святой отец... — И сделал пальцами, словно ворушек, вспорхнул.

— Перекрестись, любезнейший! — с упреком воскликнул Паскевич. — Можно ли этакий вздор городить?

— Вполне с вами согласен, почтеннейший Илья Уварович, — решительно вмешался о. Василий. — Скажу более: таковая мысль о монашествующем лице,

тем паче об иерее, весьма и весьма огорчительна.

— Ах, о. Василий, ведь мы не в церкви, а в своей компании! Вот постом приду к вам говеть, тогда и поучайте... Ну, скажите, куда этот иерей наш девался?

— Сего знать не могу, но полагаю, что и судить об этом преждевременно. Мы тут с вами горячимся, а тем часом о. Парфений, возможно, вернулся уже в обитель.

Исправник безнадежно махнул рукой.

Почтмейстер вскинул на него глаза и проговорил:

— Что-то и мне так сдается...

— А-а-а! — загремел Лагорио. — По-ни-маю!

— Как, и вы? — оторопел севастополец. — Чорт возьми... Какие же, наконец, основания...

— Ему основания нужны! — орал исправник, заговорщицки подмигивая Власову.

Но Паскевич нетерпеливо его перебил:

— Будет вам однако в шарадь играть. Почему все-таки вы настаиваете, что о. Парфений... того...

— Алегро удирато? Да вы, батенька, что, с луны свалились? Не слышали про его баталии с консисторией? Вы это имели в виду, Александр Трофимович?

— Именно.

— Слышать-то слышал, но...

— Нет, господа, погодите, — вскричала Посадница, с минуту как бы находившаяся в столбняке. — Это значит — мой собственный муж имеет от меня секреты?!

— Ну что ты, что ты... — испуганно забормотал почтмейстер.

— Это значит — случайно не будь меня здесь, так я бы последняя узнала?!

— Ну, успокойся же, Марфинька...

— Это значит — завтра я могла встретиться с вашими супругами и от них узнать, что происходит у меня в доме?! А? Утаивать? А?

— Теперь и этот сбежит, — буркнул Паскевичу исправник. — Кума! Да что утаивать? Про поединки о. Парфения с консисторией и вы знали не меньше других. Ну, а кто же мог предвидеть, что с его стороны произойдет столь поспешная ретирада...

— Нынче у вас, Матвей Лукич, какие-то все слова неблагоуместные, — раздраженно заметил о. Василий. — Удирато да ретирада... Уши коробит... Да и нет этого ничего. Что угодно готов допустить, но не это. С человеком все может случиться. Могли и убить его по дороге.

— Среди бела дня? Эдакого медведя? По крайней мере я про таких отчаянных разбойников в нашем краю не слыхивал.

— Да тут у нас все кругом разбойники. Возьмите татары: поголовно разбойники.

— Верно, верно! — поощрил Илья Уварович.

— Ну, уж это вещь известная, — безнадежно махнул рукой Лагорию, — Вам с о. Василием всюду татары мерещатся. Прощайте, господа. Посмотрим, что завтрашний день скажет.

Наступившее утро ничего, однако, нового не принесло. Ночью примчался из Кизильташа в Таракташ нарочный от монахов — сбивать народ на поиски игумена, и волостной голова Мейназов, богатый татарин с перстнями на толстых пальцах, еще солнце не встало, партиями направлял татар во все концы Кизильташской лесной дачи. Татары покорно уходили, дивясь на бестолковое распоряжение: все знали, что большому попу каждое дерево в лесу знакомо, и вздыхали — жалко было бросать рабугу в садах и виноградниках.

В Судаке, в почтовой конторе, уже с утра толпились вечевики, но о чтении газеты никто не помышлял, а меньше есех — почтмейстер, имевший весьма угнетенный вид. В другое время не обошлось бы без шуточек и намеков, но в тот день все отступило на второй план, и даже когда мадам Ларгье сообщила, что старуха Шампи пришла в полное сознание, пила чай и понюхала принесенные ей цветы, — все отнеслись к этому с полным равнодушием. Но, когда она же рассказала, что стевенский приказчик Сейдамет, узнав об исчезновении игумена, бестактно расхохотался и в ее присутствии сказал: «Такой святой, верно, улетел на небо», — то общество возмутилось, а о. Василий воскликнул:

— Как вам понравится! Сами убивают да сами еще насмеваются.

Мадам Ларгье поколебалась: ей Косовский был противен, но татар она ненавидела, особенно же Сейдамета. В конце-концов последнее перевесило:

— Ужасный народ! Ужасный! А этот Сейдамет... Я не имею слова... Азиат! Зачем ты смеешь за французской деушкой ухаживать! Я не имею слова! Всех татар надо долой из нашего Крыма. Долой, долой!

Это, кажется, был первый случай единомыслия о. Василия с мадам Ларгье, но обстоятельства были такие, что и это никого не удивило. Вслед за мадам Ларгье в ужасном волнении появилась фройлейн Бриттер — редкая посетительница вечера.

— Доброе утро! Доброе утро! Ах, какой ужас! Я себе сижу, я себе читаю, я себе ничего не думаю, как вдруг мне говорят...

В это мгновение с шумом вошел Илья Уварович. Он был возбужден, лицо его дышало решимостью:

— Доброго здоровья, господа! Слышали? Ищут. Кто ищет, я вас спрашиваю? Волка послали за пропавшей овцой! Хороши пастухи? А? Неужто мы будем спокойно ждать, пока эти азиаты спрячут концы в воду?

— Я думаю, — истерично воскликнула фройлейн Бриттер, — мы все должны хватать оружие, прогнать из леса татар и найти патер Парфений!

Смушение пробежало по вечу. Мадам Ларгье немедленно заняла позицию:

— Вы будете впереди, верхом на лошади. Амазонка. Капли воды.

Паскевич с крайней досадой поморщился:

— Искать игумена — обязанность законной власти. Но ей мы должны почтительно указать, что такой порядок вещей, когда среди бела дня посягают на служителей церкви, — такой порядок, господа, не-тер-пим! — ударил он, как молотом.

— Истинно, истинно! — поддёржал горячо о. Василий.

— Самая гибель о. Парфения да послужит на пользу русскому делу в Крыму, которому он отдал все силы и самую

жизнь свою. Укротить коварного татарина, смыть грязь с жемчужины русской короны, — таков да будет нерукотворный памятник достойному иерею!

— Bravo, bravo! — воскликнул Лагрио, весело поглядывая на удивленные лица вечевиков. — Молодец, Илья Уварыч! Режь правду-матку!

— Совершенно справедливо, душевно уважаемый Илья Уварович. — первый пришел в себя о. Василий, не менее других изумленный поддержкой исправника. — Как иерей, не имею права без благословения начальства молиться об о. Парфении, яко об усопшем. Но, как человек, нимало не сомневаюсь в его гибели от руки татарина.

Вечевики все без исключения отлично знали, что игумен Парфений презирал севастопольца, называл его «цымбалами», что столь же мало уважал он о. Василия, говорил, что в его душе — все кисель, кроме жадности. Знали и то, что Паскевич и о. Василий платили игумену взаимностью. Но сейчас никому это и в голову не приходило, все находилось в экстазе. Все распри забыты во имя чего-то высшего, священного. И если бы в ту минуту невзначай открылась дверь и на пороге появилась фигура погибшего о. Парфения, то у каждого, вероятно, шевельнулась бы против него неприязнь, как против изменника русскому делу в Крыму.

Единственный человек, не разделявший всеобщего воодушевления, был граф Ростислав Капнист.

Илья Уварович решительными шагами направился к нему.

— Ваше сиятельство, — начал он и сразу вспотел, заметив едва уловимую улыбку на губах графа, — неужто вы в этом деле умываете руки?

— Не умываю, но и грязнить не хочу, — возразил граф Ростислав. — Ежели будет петиция к местной власти об энергичных розысках игумена и о примерном наказании убийц, ежели действительно убийство произошло, то я, вероятно, не откажусь в ней участвовать. Но с шумом забегать вперед, когда еще ничего толком не известно, когда с часу на час... Да нет, покорно бла-

годарю. Я не желаю себя ставить в смешное положение.

— Вы не желаете себя ставить в положение русского человека, — произнес с крайней досадой Илья Уварович.

Граф Капнист иронически пожал плечами, но ничего не ответил.

ГЛАВА VI

У ВЛАДЫКИ

Секретарь таврической консистории Тихомандрицкий Анемподист Кузьмич корпус имел большой, но вялый. Когда бывало, плотно застегнется на все пуговицы, то получался вид такой, будто для солидности он под мундиром обложился соломой. Голова же была у него совсем маленькая, удивительно подвижная, на длинной, тонкой, гусиной шее. За глаза называли его Черепахой.

Донесение от осиротелых монахов Кизильташской киновии подали Черепахе уже на исходе присутствия. Пробежав его глазами, он положил бумагу на стол, разгладил, внимательно перечел и вдруг с непостижимой быстротой завертел головой, точно воротник стал ему нестерпимо тесен.

Причиной его волнения отнюдь не была тревога об исчезнувшем игумене. Тихомандрицкий, вообще, никогда и ни о ком не тревожился.

Душевные состояния, которые принесла с собой депеша из монастыря, были: неутоленная злоба и радость облегчения. Тихомандрицкий никогда не мстил тому, кто его ненавидит, только за то, что тот его ненавидит. Когда кто-нибудь из доброхотов передавал ему злобные слова, неосторожно оброненные вразом по его адресу, Анемподист Кузьмич кротко произносил: «Любите враги ваша, благословите кланущия вы». Своих врагов он действительно любил, потому что их ненависть доставляла ему сладостное ощущение собственного могущества. По положению секретаря консистории он ненависть к себе со стороны епархиального духовенства почитал явлением столь же естественным, как любовь детей к матери. И если бы он узнал, что какой-нибудь

священник или игумен не питает к нему вражды, он был бы душевно огорчен, не колеблясь, приписывая это какому-нибудь своему упущению по должности.

Ненависть к нему со стороны игумена Парфения, о которой он был хорошо осведомлен, его не тревожила нисколько. Но во всей епархии игумен Парфений был единственный, кто ненависть свою к Черепахе не прикрывал лестью и подбострастием, а, напротив, открыто и с презрением ее выражал, где только мог, при случае — и в глаза, и публично. И вот только за это Анемподист Кузьмич злобствовал. Уже давно обдумал он план заточения игумена и медленно, но верно его выполнял. Теперь, получив депешу, он почувствовал, что зверь вырвался из капкана. В эти минуты он заново пережил все свои обиды, все до единой, до самой мельчайшей! Каждая из них была достойна казни. И вот — показал ему язык проклятый волчище в черной мантии, щелкнул зубами, — и был таков! А он в дураках остался перед всей епархией.

Но это было не все. Уже два года, как Тихомандрицкий жил в тягостном предчувствии публичного скандала, который учинит Парфений, когда дело подойдет к развязке. Этого могущественный секретарь консистории боялся хуже землетрясения. Каждая бумага из Кизильбашской кинови пахла порохом; получив ее, Тихомандрицкий на два, на три дня заболел, падал духом и спать ложился не в спальне с белокурой женой Клавушкой, а у себя в кабинете на кожаном диване.

И вот — развязка наступила, развязка тихая, приличная. Благодарь божия! А неуголенная злота? Но зато чинно, благородно! А то, что Парфений заочно, но всем это известно, обозвал его церковной килей? Но зато отныне невозмутимый покой и крепкий сон с бело-розовой Клавушкой!

Тихомандрицкий блаженно вздохнул: его сердце сразу опросталось до конца и навеки от мстительной злобы, полновластной хозяйкой царила в нем чистая радость избавления от тягостного скандала.

И сразу все стало ясно. Тихомандрицкий почистил перышком свои плоские лиловые ногти на длинных, худых пальцах, пригладил щеточкой волосы, плотно запаковал соломенный свой корпус в мундир и приказал подать «дело» игумена Парфения «о нездравомыслии и неприличных выражениях относительно распоряжений епархиального начальства». Засунув его вместе с последним донесением в портфель, щелкнул замком и мимо почтительно поднявшихся с мест канцеляристов вышел на улицу.

Архиерейское подворье с садом, сбегавшим по косогору к Салгиру, было расположено через два дома от консистории, против кафедрального собора. Тихомандрицкий намеренно замедлил шаг, чтоб еще раз хорошенько обдумать, как повести политику с преосвященным.

Преосвященный Алексей, когда ему доложили о Тихомандрицком, находился у себя в кабинете: кончал вторую чашку чаю. Он всегда вкушал в это время чай, ровно в четыре часа, перед тем, как приступить к серьезным делам, уже освободясь от мелкой повседневной докуки приемов, докладов, резолюций и неизбежных «потяганий», как называл он внушения и назидания вызываемому в епархию духовенству. Тонкий аромат чая, — ни жидкого, ни чрезмерно крепкого, — подымавшийся из прозрачной голубой фарфоровой чашки, и ласкал, и дразнил обоняние, веселил душу. Взяв с тарелочки двумя перстами ломтик в меру подсушенного шафранного бисквита, преосвященный обмакивал его в чай и, выждав, покуда он напится, осторожно подносил к устам, предварительно стряхнув над чашкой, дабы на бороду не накапать. Борода же была у него даже не белая, а нежнозеленая, мягче льна, — еще несозревшие початки кукурузы обернуты вот такую нежнозеленой воздушной волокнистой прелестью.

На столе, по правую руку, лежала наготове книга в синем сафьяне с золотым обрезаем и таковым же тиснением, гласившим: «Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского». Если поднять крышку переплета, то на белом муаровом листе начертано

«Любезному сердцу моему епископу дмитровскому Алексию от восприемного отца его, смиренного Филарета, митрополита московского, с любовью и благословением. Москва, 1856 года. Генваря 18».

Образ московского святителя воистину царил в покоях преосвященного Алексия, особливо же в кабинете его, где взор посетителя встречал повсюду, куда ни обращался, имя и лик Филарета. Как-раз против входа, позади кресла владыки, возвышался громадный, в золотой раме, портрет митрополита в белом клобуке с крестом. В темных дубовых шкапах мерцали за стеклом золотые наименования митрополитовых сочинений. На письменном столе, на самом видном месте, возвышался богато украшенный ларец, на крышке коего красовалась необычайно тонко сделанная из бюрузы надпись вязью: «Собственноручные письма его высокопреосвященства, митрополита Филарета».

Владыка уже издавна привык и в горестях, и в радостях обращаться к своему неизменному и могущественному покровителю, — не только устно или письменно обращаться, но даже и мысленно.

Кончая свою вторую чашку и чувствуя прилив бодрости, преосвященный погладил переплет, предвкушая сладость путешествия по драгоценным страницам. В ближайшем наступал день сугубо важный: в Александровском соборе, перед дворянством, духовенством и наиболее именитыми гражданами всей губернии, готовилось внесение богатейшего евангелия по случаю избавления царя Александра Николаевича от святотатственной руки. Событие это имело для преосвященного и свою сокровенную сторону. Года четыре назад, на встрече государя в Ливадии, владыка упустил, что стояла жаркая погода, и своим приветственным словом продержал его величество не менее как четверть часа под палящим солнцем с непокрытой головой, чем затруднил государя и едва ли не разгневал: по крайней мере, ожидаемой алмазной панагии он к новому году не получил, а в ответ на горькую жалобу по сему поводу в письме к митрополиту Филарету сей последний намекнул, что

именно случай в Ливадии послужил тому причиной. Но одновременно утешил, что дело поправимо и все зависит от усердия Алексия, однако благоуместного. Владыка теперь и полагал, что минута для такого усердия настала, и, готовясь к высокаторжественному дню, приступил к составлению приличного событию слова.

Но вот келейник доложил о приходе Тихомандрицкого, который нынче утром уже являлся с обычным докладом. Стало быть, дело, не терпящее отлагательства. У владыки шевельнулась в душе досада и нечто похожее на грусть об утраченном вдохновении.

— Прости, — молвил он сокрушенно.

Якобы углубясь в занятия, от которых его оторвали, он не тотчас ответил на приветствие вошедшего, затем поднял голову, кивнул ему, молча указал на кресло против себя и снова погрузился в размышления, водя карандашом по бумаге. Когда таким путем секретарю было достаточно ясно показано, что владыка лишь через силу его принял, Алексей вздохнул, отодвинул от себя бумагу и, восклонясь, проговорил тихо, шевельнув тончайшим шелком бороды:

— Чем порадуете, Анемподист Кузьмич?

— Простите ради Христа, ваше преосвященство, что потревожил в неурочный час. Долго не решался, поверьте, но поопасался, как бы и малое промедление не повлекло худых последствий... Прощество весьма и весьма сумнительное. Донесение с эстафетой из Кизильташской киновии... Извольте сами ознакомиться, ваше преосвященство.

Алексий углубился в бумагу. Лицо его оживилось, рука, державшая донесение, задрожала. Внезапно отшвырнул с гадливостью.

— Жаловаться еретик поехал... Мимо начальства своего... Рука нашлась... — кидал он раздраженно.

Тихомандрицкий молчал, давая понять, что и возражать владыке он не решается, и согласиться с ним не может.

— Ваше мнение? — поднял на него глаза преосвященный, не глаза, а глазки, почти такие же нежнозеленые, как и борода.

— Сколько известно, сильной руки у него нет. Да и не таков человек... весь в гордыне погряз... Опять же касательно подозрения на жалобу мимо вашего преосвященства... Ему-то ведь хорошо известно, что такое нарушение порядка отнюдь не встретит поощрения свыше. Наконец, и то принять надобно в соображение, — приятно ослабясь, добавил секретарь, — что отеческое попечение московского святителя о вашем преосвященстве и Парфению известно не менее, чем другим. А ведь святейший правительствующий синод и высочайшее преосвященнейший митрополит московский — едино суть, — закончил он, почтительно поклонившись и чувствуя с удовольствием, что в таком виде возражение владыке приятнее, чем иное согласие.

— Допустим, — с улыбкой согласился Алексей, — однако куда же горошина-то эта закатилась?

Секретарь развел руками:

— Сие токмо одному богу известно. По моему ограниченному разумению, если не погнушается выслушать, выходит так, что дерзкий ослушник вашей воли скрылся в предвидении законного возмездия...

— Монах? Игумен? Что вы такое говорите?!

— Да ведь монах-то каков? Сами изволили сказать: еретик. Ничего другого не придумаете, ваше преосвященство. Среди бела дня... Опять же в нетрезвости никогда не был замечен. С другой же стороны, не мог он и не знать, что возмездие ожидает его суровое...

— Откуда мог он это знать? Ведь вызывал-то я его для участия в великом торжестве.

— Это так, ваше преосвященство, но на сей счет едва ли он заблуждался. В чем другом, а в лукавстве ума ему отказать нельзя. Весьма и весьма вероятно, что нашлись доброжелатели парфениевы и в нашей среде. Предупредили.

— Господи помилуй!.. Куда же мог он скрыться?

— И на сие не берусь ответить. Отечество наше обширно, наконец и за пределы оно не так уж трудно проникнуть. Сел в турецкую фелюгу — и был таков.

— Пресечь... того... безотлагательно пресечь!.. — залепетал владыка и даже стукнул кулачком об стол. — Мало нам Трофимовского, а Парфешка еще поборзей будет...

Анемподист Кузьмич испытывал гордость: преосвященный пел, не сбиваясь, по нотам, которые он для него приготовил.

— А что ж, хотя бы и Трофимовский. Ну, сбежал. Ну, плел небылицы. А далее? Клеветник посрамлен к вящей славе вашего преосвященства — и только.

— Посрамлен! Совершенно посрамлен! Ведь чего только борзописец не измыслил: я и стяжатель, я и нетрезвости предаюсь, и даже разные глупости... А обернулось-то как? На голову врага все и обрушилось... Я, кажется, уже читал вам из письма ко мне московского архипастыря?

— Нет, ваше преосвященство. Это вы, верно, кому-либо другому изволили читать.

— Как же это я упустил... — засуетился старик, не глядя в лицо собеседнику. — Весьма назидательно... Весьма...

Он выдвинул средний ящик стола, вынул ключик на серебряном кольце, к которому был привязан билетец с лаконической надписью: «От ларца», и отпер последний.

— Вот тут... В минуту уныния пожаловался я святителю, а он, услыша скорбные мои воздыхания, пишет в ответ: «Да принесет посев слезный радостную жатву. Вы все о скорбях. Кто же их не имеет! Власти вас испытывают, а благочестивые люди утешают».

Анемподист Кузьмич весь склонился вперед и, сделав руку корытцем, приставил ее к уху.

— «Но не темнее ли вы видите иное, нежели на самом деле есть? Вы знаете, какими широкими путями ходит ныне клевета. Призовите бога в помощь. Клевет бояться не должно, а брать против них осторожность нужно».

— Мудрость! Мудрость! — воскликнул Тихомандрицкий настолько громко, чтоб преосвященный слышал, и настоль-

ко тихо, чтобы это походило на сокрытое движение души, бессильной сдерживать умиление.

— Слог-то какой! а?

— Воистину златоуст. А ясность какая! Хотя бы сие место взять: «Одна клевета, достаточно опровергнутая, лишает доверия многие клеветы».

— Но вы упустили, любезнейший Анемподист Кузьмич, другое и столь же мудрое изречение духовного моего отца и восприемника: «Клевет бояться не должно, а брать против них осторожность нужно». Сие не мимо сказано. И я полагал бы бесполезным предложить гражданской власти, нимало не медля, принять строжайшие меры к поимке беглого монаха, ежели точно он сбежал, что и мне представляется ныне вполне вероятным.

— В последнем не сумлеваюсь, равно как весьма и весьма сумлеваюсь в успехе розысков. Не таков человек Парфений, чтоб попасться. Но допустим — совершится поимка. Что из его последует, ваше преосвященство? Поимка Парфения приведет токмо ко все-российскому скандалу и величайшему соблазну верующих, перед которым ничто те клеветы, коих можно опасаться, ежели бы строптивец и проник за границу.

— А побег настоятеля монастыря, яко вора, не есть соблазн для верующих, когда сие разгласится?

— Справедливо, ваше преосвященство. Но ежели нет побега, то и соблазна нет.

— То-есть как же это? Вы начинаете выражаться загадками.

— Простите, ваше преосвященство. Я только хотел сказать, что дерзостное поведение Парфения едва ли представляет интерес для гражданской власти. Жил да был иеромонах Парфений, доверием вашего преосвященства возведенный на ответственный пост настоятеля монастыря.

— Так, так...

— Согласны, ваше преосвященство? И подобно тому, как вещественная, так сказать, часть киноленты окружена была дремучими лесами, так равно и духовная

ее сущность, вера христианская, православленная, суровым подвижником коей был игумен, находилась среди дремучего леса магометанства и не могла не быть враждебна оному...

— Так, так, так...

— Согласны, ваше преосвященство? Враждебна и даже ненавистна. Вот и все, что гражданской власти знать интересно. Как изволите видеть, никакого соблазна, а даже совсем напротив. Господь его знает, что там произошло. Вернется отец Парфений к месту служения — от него и узнаем причину отлучки. Не вернется, — в чем я мало сомневаюсь, — и причина эта одному лишь богу известна. Во всяком же случае гражданскому начальству сию причину надлежит искать в натуральных обстоятельствах происшествия, каковые и заключаются в самом местонахождении обители.

— Благая мысль. Благая мысль... Однако же... хе-хе... пяточка-то ахиллесова имеется и здесь. Мы даем гражданской власти намерк итти по такому-то следу. Она идет, идет, но что же она обрящет? Никакой, так сказать, вещественности, видимости никакой.

— А уж это не наша печаль, ваше преосвященство. Ежели гражданская власть ищет, но не находит, то, стало быть, ищет плохо, только и всего. А наше дело — сторона. Даже напротив: весьма и весьма удобный повод для вашего преосвященства посбавить спеси у его превосходительства при его постоянных поползновениях возвысить свою власть над вашей.

— Справедливо и это. Но что вы скажете, ежели Парфений объявится за рубежом?

— Ежели он из-за рубежа затеет брань, то сего надобно ждать в самом недалгом времени, — как это и с Трофимовским произошло. И тогда мы, по мудрому слову его высокопреосвященства, берем свои меры против клеветника. Весьма нетрудно будет доказать, что Парфений — богоотступник и злой еретик, продавшийся врагам православия. Ведь письма-то его и к вашему преосвященству, и в консисторию — целы, а в них чего только нет: и богохульство, и

чистый афеизм, и восстание на власть предрежающую.

Владыка молчал, размышляя, но размышления его уже не тревожили Тихомандрицкого. Все шло, как по маслу.

— Что же нам предпринять?

— Как укажете, ваше преосвященство. Я бы, с своей стороны, полагал не спешить с оповещением о происшедшем гражданской власти, несколько выждать, осмотреться... А затем благословите составить журналец хотя бы в таком виде: кому-либо из испытанных иеромонахов, хотя бы Петру, отправиться немедленно в Кизильташ для принятия по описи и проверки монастыря. Оному же иеромонаху оставаться временно в киновии заместо игумена.

Через пять минут журнал лежал перед владыкой. Обмакнув чистое, как снег, гусиное перышко в большую серебряную чернильницу, преосвященный медленно вывел на нем:

«В том случае, естли иеромонах Петр найдет игумена уже возвратившимся в Кизильташскую киновию, не следует предпринимать, против его желания, ничего, а только пригласить его в консисторию по известному ее требованию».

Тихомандрицкий изобразил на лице улыбку восхищения:

— На всякий случай? Дабы преждевременно не стронуть зверя в логове? Мудро, ваше преосвященство!

Он с умилением присыпал песочком свежую резолюцию. Положив журналец в «дело» игумена Парфения «о нездравомыслии и неприличных выражениях относительно распоряжений епархиального начальства», Тихомандрицкий с минуту помедлил, потом с улыбкой приписал:

«и о безвестном его исчезновении».

Необыкновенно приятно было выводить эти слова!

Лишь в стародавние времена прохождения бурсы выпадало преосвященному, тогда еще Руфишке Ржаницыну, сыну сельского попа из убогой вологодской болотины, переживать на каникулах такое радостное чувство узника, вырвавшегося из заточения, какое овладело им во уходе секретаря. Два года держал

его в непрестанном страхе скандала проклятый шелапут, и вот — нет его, заклятого врага. Дыши, радуйся, упивайся свободой!

Серьезным делом владыка уже не стал заниматься, не было должного расположения, неблагоуместная игривость порхала в душе. Да и время ушло: наступил час дневного отдохновения. Но странное дело, когда он прилег на кожаный диван и смежил очи, сон не посетил его. Что-то заскребло у сердца, что-то нарушало радость, под ложечкой стало тупеть, словно несвежей рыбы поел... Уже не притворяясь перед самим собой спящим, преосвященный открыл глаза и раздумался. И вдруг — так и подкинулся...

Опять обошел его рыжий тихоня! Поначалу — словно верный раб, готовый почтительно исполнить малейшую прихоть, а потом незаметно так все повернет, что владыка послушно выполнит его же волю, а сам останется в дураках. И почему-то всегда спохватиться, когда дело сделано. Да, приказал-то владыка, а кто подсказал? Оно бы сейчас можно переделать. Кажется, просто: позвать и приказать. Но силы нет в душе. Он знал, что за этим последует: Черепаха мигом поглупеет, перестанет подавать советы, кроме «как прикажете» да «слушай», клещами из него ничего не вытянешь, прикинется робким писарем, — поди, ворочай сам всю эту консисторскую машину! Двадцать раз попадешь в глупое положение. А прикрикнуть, топнуть ногой — тоже нельзя: синодом поставлен. Опять же связи. Нет, уж пусть по-заведенному... Видно, судьбы своей не минуешь... Значит, опять ходи с оглядкой, жди, что враг почище Трофимовского клюнет тебя в темя откуда-то из-за границы! О, господи!..

Кряхтя, преосвященный достал из ночного столика мягчайшие козловые зеленые туфли, переобулся и пошел бродить по пустым своим покоям. «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, потерплю и я» — попробовал он себя утешить, но досада не отошла от сердца.

Уже стемнело, а преосвященный все шагал из угла в угол, — то в кабинете,

то в гостиной, то в спальне. Ноги ныли от усталости, но только присядет, — тревога пуше завозится в сердце. В десять часов, по заведенному порядку, пришла Варварушка, воспитанница-сиротка, вроде племянницы, — в городе звали ее Вирсавией, — пришла взбивать преосвященному трехпудовую перину. Годуbinsкими ножками в зеленых козловых туфельках бесшумно бродил преосвященный, взошла смуглая, как цыганка, глазастая, чернобровая Варварушка, когда дохнуло свежим ситцем ее цветастой кофты, туго налитой чугуном крепкого тела, когда загремели по паркету подковки щегольских полсапожек, — владыке стало немного веселей. Крутые валы перины так и заходили под варваринными кулаками. Только и раздавалось глухое: бу! бу! Точно лопатами сбрасывали мокрый снег с высокой крыши. И с каждым ударом легче становилось на сердце у старика.

— Варвара, — позвал он нерешительно.

— Шо? — быстро обернулась она, не отрывая кулаков от перины.

В этой мертвой комнате, стены которой были увешаны изображениями таких же высохших старцев, как и он сам, после тревог этого дня, после беседы с Черепахой яркое лицо пышной Варварушки показалось ему таким легким и отрадным, что захотелось откровенно поговорить с нею, посоветоваться. Но — увы! — подходящих слов не было.

— Варварушка, того... Знаешь? Как его... кхм...

— Ну шо? Того-кого, а чего — не пойму.

— Да ты постой... Ну и сбила... Я вот про что. Помнишь, весной приезжал ко мне монах? Высокий такой, крикун? Строптивец? Парфением звать?

— Сурьезный такой мужчина? Скандалист? Та помню ж, помню! Ну як же. Та я ж после того за доктором для вас бегала. Такой бугай...

— Этот самый, Парфений... Так знаешь — пропал он.

— Вмер?

— Ничего не «вмер». Пропал, понимаешь. Исчез куда-то. Среди бела дня

поехал из Судака к себе в монастырь — и нет его. Пропал, неведомо куда. А теперь и беспокойство...

— Ваше преосвященство, вам же чего? Баба з возу — кобылы легче.

И Варвара раскатилась таким хохотом, что владыка оторопел. Он глядел на нее с испугом и с завистью, а она, вся изогнувшись, вжав голову в плечи и выставив круглый подбородок, сыпала на тщедушного владыку громоподобным хохотом, блеском темных глаз, сверканьем зубов!

И первый раз за весь день преосвященный улыбнулся. Легко вдруг стало дышать, и исчезла тревога. Главное — нет сейчас Парфения, гора свалилась с плеч, а там видно будет. И только для проформы, чтоб не зазналась баба, буркнул преосвященный притворно-сердито:

— Ну ладно, ладно. Сама хорошая кобыла. Думай, что говоришь.

Но Варвара только пуше развеселилась, повалилась лицом в перину, зарылась, завизжала, точно ее щекотали:

— Ой, боже ж мий! Ой, боже ж мий!..

— И впрямь кобыла, — молвил владыка. — Ох-хо-хо... Дадесь ми пакостник плоти аггел сатанин, да ми пакости деет...

ГЛАВА VII

ГУБЕРНАТОР ЖУКОВСКИЙ

Генерал-лейтенант Григорий Васильевич Жуковский, гаврический губернатор, 27 августа 1866 года принял из рук правителя канцелярии одновременно два пакета. Собственно, только один — настоящий пакет, — твердый голубой конверт, запечатанный по сургучу знакомой гербовой печатью однополчанина и приятеля Саши Турчанинова, занимающего видный пост в Петербурге. Второе — был не пакет, а депеша, вчетверо сложенная бумажка, заклеенная разорванной облаткой с изображением двух сигнальных рожков накрест. Депеша была уже вскрыта, и, подавая ее, правитель что-то собрался доложить, но генерал его остановил:

— Немного погода. Я вас позову, Николай Евстафьич.

Правитель, — аккуратный человек, с бородой такого ровного красного цвета и таким ровным четырехугольником обрезанной, что только вблизи видно было, что это не медная доска, — правитель учтиво поклонился и, ловко вычертив параболу, чтобы не повернуться к начальнику спиной, исчез за дверью.

Губернатор нетерпеливо сломал печать. Саша Турчанинов уведомлял, что к тезоименитству государя с производством его, Жуковского, о чем он кому надо напомнил, вышла неудача. Все было подготовлено, но как-раз накануне представления списков государю его величество по какому-то случаю высказал в разговоре с Валуевым недовольство своим последним пребыванием в Ливадии, а посему министры спешно и по всем ведомствам из предосторожности сократили, сколько возможно, списки по Таврической губернии, в чем и упрекнуть их язык не поворачивается. Зато уж по другим губерниям щедрый быдло не в меру...

Засим следовала лирическая часть, весьма, впрочем, краткая: дружеский совет потерпеть и уверенность, что удобной минуты не упустит сердечно преданный ему, и далее, вместо подписи, — клубок завитушек, в котором невозможно было разобрать ни единой буквы.

«Преданный или предавший — поди, разберись...» — горько размышлял генерал, барабанив пальцами по столу. Ясно одно: обошли! Его губерния окажется позади всех, — сколько же это прохвостов и шелопаев его обошлр... Теперь и в Петербург не показывайся... Недовольство пребыванием в Ливадии. Словно он там распоряжался, а не министр двора...

Про депешу Жуковский забыл. Только потянувшись к ящику за сигарой, он заметил бумажку и даже не тотчас вспомнил.

«22 числа 3 часа дня выехал игумен Парфений из Судака в Кизильташ верхом, спеша к вечерне, но до сего не разыскан. Предполагают убийство. В лесу найдена засада по дороге, девять окурков папирос разного табаку. Местные жители письменно просят меня о происшествии уведомить ваше превосходительство. Розыск

производится уже 3 дня. Мировой посредник Бескровный».

— За-ме-ча-а-тельно! — багровея, протянул генерал. Стукнул кулаком по столу, позвонив в колокольчик. — Правителя! — кинул он мгновенно появившемуся камердинеру.

В непостижимо короткий срок предстал и правитель. Повидимому, он дожидался рядом.

— Где я нахожусь? — закричал губернатор. — В гостях или у себя в губернии? 22-го числа убивают игумена, а мне об этом доносят на пятый день! И кто доносит? Мировой посредник какой-то... А где же исправник? Становой где? Без-зо-бразие! Вы ознакомились, Николай Евстафьич? Я поставлен в необходимость донести, что у меня убивают среди бела дня игуменов... Очень, очень лестно... Кстати, что за игумен такой?

— Как же, ваше превосходительство, тот самый, — помните? Что Петру Александровичу надерзил...

— Да, да, да, — замахал обеими руками губернатор. — Так это его убили? Уж лучше бы другого какого.

И губернатор усмехнулся, после чего правитель счел возможным заговорить о деле:

— Еще неизвестно, ваше превосходительство, точно ли убили...

— Ну, а что же? Как, бишь, там?.. «предполагают убийство». Другого ничего и не предположишь.

— Положительных указаний, повидимости, не имеется...

— Позвольте, что ж он — на небо взят живым? Признаться, меня удивляет, что консистория молчит. Неужто аввы святые ничегошеньки не ведают? — лукаво встрепенулся генерал.

— Сомнительно, ваше превосходительство...

— А я вам говорю — ни черта не знают! — весело крикнул он, стукнув по столу. — Пари держу — не знают! Поверьте, уже Черепаха приползла бы. Да и эта старая лиса, яко и пако... С какой стати стали бы они молчать?.. Нет, это забавно. Явиться к старцу: «Что ж это, владыко, — запел генерал

гнушавым фальцетом, — у вас в епархии игумены исчезают, а вам о том и не доносят?». Воображаю его лик... Яко и пако, того-этого... А вот возьму и поеду к нему, а? В самом деле, а?

— Как вам угодно, ваше превосходительство, — покорно молвил правитель, зная, что противоречие вызовет только раздражение.

— Глазомер, быстрота, натиск! Еду. Скажите там — подать коляску.

Темносерые в яблоках губернаторские львы в две минуты домчали генерала до архиерейского подворья.

У преосвященного и губернатора, издавна друг к другу не расположенных, молчаливо сложился твердый церемониал взаимных приветствий. Когда встреча их происходила на людях, то генерал подходил под благословение, каковое и совершалось по установленному чину. Но если они встречались приватно, то губернатор якобы делал попытку благословиться, владыка же эту попытку якобы останавливал: поспешно крестил склоненную голову генерала, но до лобызания руки не допускал, ограничиваясь простым рукопожатием. Неизвестно почему, — может быть, преосвященный уловил что-то на лице губернатора, — но только, когда сей последний сделал обычную попытку благословиться, владыка оной не воспрепятствовал. Напротив, словно не замечая склоненной головы и протянутой для пожатия руки его превосходительства, пребыл недвижим. Несколько тяжких мгновений обоюдного выжидания — и по левой руке генерала пробежала заметная судорога. Затем она как-то дернулась в локте и легла на давно уже протянутую правую руку. И тогда преосвященный, не спеша, возложил поверх этих крупных военных малиновых рук свою костлявую владычную ручку, не спеша, осенил крестом склонившуюся для лобызания голову и певуче произнес:

— Во имя отца и сына и святого духа... Добро пожаловать, ваше превосходительство, добро пожаловать. Душевно рад.

— Ф-фу! — отпыхнул генерал, синим батистовым платком вытирая пунцовое лицо и шею. А про себя подумал: «Сра-

зу с позиции сбил, черномор проклятый!».

— Весьма кстати пожаловали, ваше превосходительство. Только-только сам сбирался к вам с докукой. Вот сюда пожалуйте, в креслице... Избегая излишней переписки, вопросик хотел вам предложить: какие меры вами предприняты для обнаружения виновников злодеяния, учиненного над игуменом Парфением?

— Гм... Кхм... Да... Ну, обычные в подобных случаях...

— Да-да. Обычные. Д-да. Случай-то не совсем обычный. Как вы полагаете, ваше превосходительство?

— Разумеется!.. Я хотел сказать...

— Весьма рад нашему единомыслию, — перебил преосвященный. — Но ежели «случай», как вы изволили согласиться, особенный, то благоуместны ли «обычные», как вы паки изволили выразиться, мероприятия?

Генерал вспыхнул:

— Я, ваше преосвященство, желал бы знать, происходит ли здесь дружеское совещание высших представителей гражданской и духовной власти в крае, или же прях о словах?

— Не могу, ваше превосходительство, разделить с вами таковое пренебрежение к словам. Нам — разумею духовенство — вот с эдаких лет (он на аршин приподнял руку над полом) внушают: в начале бе слово, и бог бе слово. Народная же мудрость гласит: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Вы вот, повидимости, изволили разгневаться на мое смиренное замечание, о чем, поверьте, душевно скорблю. Но воззрите и с обратной стороны. О неслыханном злодеянии, совершившемся во вверенной вашему превосходительству губернии, надлежит мне, недостойному, безотлагательно донести святейшему правительствующему синоду, а равно уже, по давнему обычаю, приватно сообщить духовному отцу моему и благопопечительному покровителю, его высокопреосвященству митрополиту московскому.

Владыка неспеша повернулся в кресле, поднял взор к портрету святителя и снова обратился к собеседнику:

— Ежели теперь, точию, как вам благоугодно было выразиться, я напи-

шу: «гражданская власть, как лично мне изволил сообщить высший ее представитель в губернии, предпринимает меры, обычные в подобных случаях», то останетесь ли вы довольны, ваше превосходительство? Ежели да, то нашу «прю о словах» на том можно почесть и законченной.

Генерал сдвинулся на самый краешек кресла, не сводя с владыки выпученных глаз, в которых ничего нельзя было прочесть, кроме растерянности. От слов владыки, от мирного их журчания, а всего более от тихого покачивания его шелковой зеленой бороды генерала начала томить тошнота. Старик помолчал, ожидая ответа, но губернатор, сделав два-три раза какие-то движения ртом, ничего не сказал, все так же продолжая глядеть на своего мучителя.

— Ведь слова-то эти, ваше превосходительство, ежели вникнуть, даже двусмысленные: обычные в подобных случаях. Ведь выходит так, что случаи убийения игуменов в Таврической губернии не составляют редкости, — о чем и размышлять.

— Господь с вами, владыка! — вырвалось, наконец, у генерала.

— Господь милосердный присно да пребудет со всеми нами, от его же святаго имени и поведем ныне беседу нашу мирно и невозмутимо, к вящшей пользе православных, прискорбное же недоразумение между нами вменим яко не бывшая. Ежели обидел вас словом, делом или помышлением, от чистого сердца молю: простите великодушно!

Владыка протянул через стол свою сухую кремовую ручку, за которую генерал поспешно ухватился обеими руками.

— Охотно, ваше преосвященство! И с своей стороны прошу усердно о том же...

— Забвение. Полное забвение, ваше превосходительство. Итак, что же, однако, вами предпринято?

— Ищут энергично. Мировой посредник Феодосийского уезда вож уже три дня производит розыски...

— Бескровный? Д-да. Каковы же результаты?

— На мой взгляд — успешные. Там, в лесу, знаете ли, засаду обнаружили, в

которой, повидимому, находились злодеи. Целая шайка, повидимому... Знаете, разные следы, окурки папирос и прочее.

— Что же еще, кроме окурков?

— Ну, там, знаете ли... как обычно в засадах... Впрочем, главное — окурки. Это уж нить в руках умелого человека...

— В котором же месте засада-то эта самая?

— В лесу, в лесу.

— Понимаю, но в котором месте? Ближе к обители или к татарскому селению, как, бишь, его?.. Мудреное какое-то...

— Представьте, и я позабыл! Каучук, Биюк... Все они как-то на один лад... Разыщут, будьте покойны.

— Как не разыскать! Почитай, что у всех на глазах. К небу вопиет.

— Неслыханная дерзость! И кто это отважился, непостижимо.

— Ясно — христианская душа не отважится. Азиатское коварство.

— Вы полагаете?

— Как же иначе? Вы только представьте себе, ваше превосходительство: среди дремучего леса магометанства оплот православной веры мог ли не породить ненависти? Местонахождение обители ясно указывает натуральные обстоятельства злодеяния.

— Вполне возможно. Завтра же пошлю туда в подмогу толкового чиновника с надлежащей инструкцией.

— Благая мысль. Благая мысль... Куда ж вы, ваше превосходительство? Чайку бы откушали или кофейку.

— Благодарствуйте, ваше преосвященство, — в другой раз. Дела одолевают.

— Еще бы!.. Неусыпны и многообразны заботы вашего превосходительства... И среди таковых меня, старика, затем, стало быть, и осчастливили лестным своим посещением, чтобы побеседовать о горестном происшествии? Весьма и весьма тронут...

Генерал чуть не ахнул. Хотел захватить лису врасплох, а сам, словно младший канцелярист, за справочкой явился!

— Да, это само собой, это, конечно... Но за разговорами об игумене я упустил главную цель моего визита... Я, владыка, полагал посоветоваться с вами относительно... так сказать...

— О чем, ваше превосходительство? — бесстрастно спросил преосвященный, глядя губернатору в глаза с нескрываемой насмешкой.

Взор генерала прояснился:

— Ваше преосвященство, не сочтете ли вы полезным подвергнуть совместно-му обсуждению церемониал предстоящего нам великого торжества?

Генерал выпалил это с торопливостью школьника, хотя и поздно, но припомнившего ответ на коварный вопрос экзаминатора. Но владыка, как нарочно, с преувеличенным хладнокровием заметил:

— Весьма отраднo видеть таковое рвение вашего превосходительства о делах, до православной церкви токмо и касающихся. Осмелюсь лишь указать, что затрудняюсь придумать, о чем бы нам надлежало посоветаться: мероприятия духовной и гражданской власти по случаю великого торжества мало в чем соприкасаются. Чин, собственно, церковный строго предудказан, что же касается до ожидаемого скопления молящихся, соблюдения должного порядка и прочей мирской заботы, то едва ли ваше превосходительство нуждается здесь в моих советах, — рассмеявшись, добавил владыка.

— Д-да, а я полагал... Впрочем, честь имею кланяться.

— Всегда к вашим услугам, ваше превосходительство, всегда и всегда.

★

— Правителя! — гаркнул генерал, пробегая к себе в кабинет мимо окаменевших швейцара, лакеев, камердинера.

По лицу камердинера Николая Евстафьевича увидел, что струсилась беда, какая — он догадывался. Долгий опыт его научил единственному средству отводить в таких случаях грозу: внезапно отвлечь внимание генерала в другую сторону, предупредить первую вспышку.

— Непостижимая новость, ваше превосходительство! — воскликнул он, влетая в кабинет, где генерал, сопя и фыркавая, бегал, как тигр, в мучительном нетерпении излить на голову правителя пережитое унижение.

— Ну, что еще! — вздернул голову губернатор, круто к нему поверотась.

— С игуменом-то дело выходить не гладко. Сейчас заходил к нам соборный протоиерей, член консистории, я с ним и завел конфиденциальный разговор. Оказывается, Парфений-то этот самый распрю имел жестокою с консисторией и с преосвященным. И только-что они сбирались его упечь, как он — фюить!

— Хорошо, но убить-то его убили?

— В том-то вся интрига, ваше превосходительство. Официальное мнение консистории — убит татарами. А по углам шепчутся — сбежал.

— Как так сбежал?

— Упорно утверждают, ваше превосходительство. Как-раз его сюда вызывали, и в эти-то дни он исчез. В убийство совершенно не верят.

— Эт-то интересно! Стало быть, аввы благочестивые свой скандал — да на наши головы? Па-анимаю... Ах, иезуиты! Ах, мерзавцы!

— Только бы нам теперь не промахнуться, ваше превосходительство, а фарса для консистории может получиться прелюбопытная.

— Не-ет, шалишь! Теперь уж мы и сами яко змии. Аки и паки... Я бы так полагал, Николай Евстафьич: послать туда кого потолковее с инструкцией: разворошить в монастыре весь этот английский чин да и выяснить, какие такие дела побудили игумена сбежать со своего поста?

— Если позволено будет, ваше превосходительство, я бы полагал: повременить. Бесспорно — не сегодня, завтра получится донесение от исправника либо станového, а тем временем и под рукой поразведем. Черепаха-то шельма, а все и у нас кой-кто найдется... Тут великая требуется осторожность.

— Д-да... Ну, что ж, подождем. А вы не зевайте. Признаться, у меня руки чешутся хар-рошую пулю отлить святым аввам. Случай, кажется, подходящий.

Весь следующий день не принес, однако, губернатору никаких новых вестей, и правителю пришлось ужом извиваться, чтоб как-нибудь удержать нетерпеливого начальника от открытия военных дей-

ствий. А 29-го утром сразу пришло два сообщения.

Первое было от феодосийского помощника исправника Костюкова, который доносил, что ничего не найдено. «Доныне же, — заканчивал он, — из разных догадочных предположений, основанных на признаках, в одном месте, в роде засады, нельзя не поколебаться, что могло произойти и насильственное отсутствие поименованного игумена».

— Что это такое? — руками развел губернатор.

Николай Евстафьич в одной улыбке слил почтительность к вопрошавшему и насмешку к автору донесения:

— Старой формы служака... Я так понимаю, ваше превосходительство: ничего положительного для предположения об убийстве нет, толки ходят разные, а между прочим — как будет угодно вашему превосходительству. Старой формы...

— Что же мне угодно? Мне угодно знать правду. Чорт их возьми... Все в политику играют, а я — солдат, фиглей-миглей этих не понимаю.

Он вскрыл второй пакет, адресованный «в собственные руки», взглянул на подпись и стал читать про себя. Правитель терпеливо ждал.

— Из Судака, — не оборачиваясь, проговорил губернатор нехотя. — Тамощный помещик один пишет... Все мы где уверены здесь в гибели игумена от руки татар. А принимаемые меры недостаточно, дескать, энергичны...

Наступило молчание.

— Ваше превосходительство, — осторожно заговорил правитель, — а что, если б Феоктистова сюда кликнуть?

Генерал резко поморщился.

— Слово нет, мужик грубый, а коснись до темного дела, — как кошка, впотьмах видит.

— Не верю я ему.

— Никто не верит. А человек незаменимый.

— Ладно, позовите...

Феоктистов — в городе называли его Янус — работал у правителя старшим канцеляристом. В кабинет его превосходительства он взшел без малейшей робости и, поклонившись, стал к губернатору левым боком.

У Феоктистова была странная голова. Узкая, длинная, ровная плешь проходила по ней ото лба до самого затылка. От этого голова его казалась сверху до низу распиленной аккуратно пополам и потом склеенной. Глаза же были у него разные: один, левый, — маленький, темнокарий, поразительно живой, сверкающий; правый же, поврежденный, был громадный зелено-неподвижный, пустой и совершенно безжизненный. Когда Феоктистов слушал кого-либо, то поворачивал к говорящему живой глаз, а когда сам говорил — то мертвый к слушающему.

— Я вас позвал, господин Феоктистов, вот за какой надобностью, — начал губернатор, стараясь не глядеть на пожиривший его левый глаз. — Тут у нас в губернии история вышла с игуменом одним.

— Точно так.

— Ага. Что же именно вам известно?.. Только говорите ради бога громче.

— Все известно, ваше превосходительство, — хрипло прорычал Феоктистов. В его регистре отсутствовали средние ноты: либо он шептал, хоть ухо вплоть подноси, либо рычал.

— Именно, именно?

— Да... — поворотясь мертвым глазом к начальнику, стал объяснять Янус. — Стало быть... не велик секрет, ваше превосходительство. Кары убоаясь... сбежал, стало быть.

— Какой кары? Куда сбежал? Говорите толком.

— Точно так. Не велик секрет... Стало быть, вояка был. На архиерея возстал. Я, мол, все ваши шашни впрах. Они, стало быть, стреножить его собрались. Ну, он, не будь дурак, махнул хвостом и был таков.

— Да не кричите вы! Куда сбежал, я вас спрашиваю?

— Стало быть, не приведено в видимость...

— Не слышу, говорите громче.

— В видимость, говорю, не приведено, — зарычал Феоктистов, прорвав какую-то преграду в своем горле. — Думать надо — в заграницу.

— Гм... А между тем подозрение есть, что его убили.

— Слыхал, ваше превосходительство.
 — Кто же мог его убить?
 — Татары, стало быть. Не велик секрет...

— Как же так? То сбежал, то убили.
 — Точно так. Не приведено в видимость. Стало быть, польза большая от убийства.

— Что вы городите? Кому польза?
 — Тутошним попам да тамошним помещикам. Стало быть, маненько поприжать татарскую нацию. Не велик секрет.

— Погодите, Феоктистов. Выходит все-таки так: по одним сведениям — убили, по другим — сбежал. Ведь по двум следам и собаку не пустишь. Должен я дать инструкцию, куда направить внимание?

— Слушаю. — И, повернувшись к начальнику безжизненным глазом, Янус добавил: — Так иль эдак, беспременно требуется попов обскакать. Игумена ль ловить, аль его убийцов — надобно консисторских сзади на дистанцию оставить. Им-то лестно нашими руками жар загребать.

Губернатор хотел было что-то сказать, но Феоктистов медленно перевел на него живой глазок, сверкнувший таким яростным блеском, что генерал в испуге махнул рукой: уходи, мол, поскорее.

— Ваше превосходительство, а ведь шельма-то прав, — сказал правитель, как только за Янусом затворилась дверь. — Надобно нам самостоятельно действовать. Дело, бессомненно, дойдет до Петербурга. Риск нужен, ваше превосходительство.

— Для меня риск — разлюбозное дело. Укажи, где неприятель, я его и атакую.

— Я бы так полагал, ваше превосходительство: послать какую ни на есть мямлю для проволоочки времени, на случай, ежели игумен вдруг объявится. Дело ведь щекотливое... А опасность минует — тут уж насесть: вынь да положь преступников.

— Вот и выйдет по-ихнему, — с грустью молвил генерал.

— Союзник у них сильный: вла-

дельцы тамошние. Ежели пренебречь — врагов не оберешься.

— Вот то-то. Все нос суют... Кого ж бы туда послать?

— Кого прикажете, ваше превосходительство. Хотя бы Безобразова — вполне приличен, собой благообразен, а волею — второго не сыскать.

— Да, для проволоочки времени — незаменим, — усмехнулся генерал. — Пошлите мне его.

★

— Дознался я, ваше преосвященство, из весьма благонадежного источника, — докладывал Тихомандрицкий на утреннем приеме, — что клевета насчет побега отца Парфения коснулась ушей начальника губернии и пришлось весьма и весьма по душе его превосходительству.

— Вестимо. Любы ему скандалы в чужому дому. О, лицемер! Изми перее бервно из очесе твоего.

— Весьма и весьма разгневаны на ваше преосвященство за оказанный прием... Ну, это и лучше. Нет опаснее хладнокровного супостата. За всем тем не повредило бы тихую подготовочку вести: сегодня донесеньице святейшему синоду, завтра донесеньице святейшему синоду.

— Да ведь пока и доносить-то не о чем. Преждевременно бухнуть: убили — тоже нескладно выходит.

— Сохрани господь. А так, ваше преосвященство, окольно к сему подводить. Благовременно также упредить возможные слухи о несогласиях, якобы происходивших у покойного игумена с консисторией. Буде кто вздумает играть на этой струне, а уж святейший синод о том, осведомлен в должном свете. Ежели позволите, у меня и черновичок заготовлен. Вот, ваше преосвященство.

Владыка тихо забормотал, шевеля зеленым шелком бородки:

«Игумен Парфений... до сего не разыскан... судим и штрафован не был, но в 1863 году за оскорбление вице-губернатора Сонцова необдуманным и дерзким письмом сделано ему строжайшее внушение, как о том и было донесено...».

— Гм... Так... О прочем, стало-быть, умолчать... Признаться, мне и самому неохота касаться до этих дрязг, но как бы вы думали, на случай ревизии не воспоследует ли из сего упрека в сокрытии?

— Отнюдь нет, ваше преосвященство. Ведь о. Парфения консистория токмо что вызывала для объяснений, каковые могли привести к совершенному его обелению. В случае безрассудной попытки повернуть дело на побег ваше преосвященство и консистория с полным основанием укажут, что для побега у о. Парфения поводов не было никаких, у гражданской же власти, напротив, прямой повод чернить облик покойного игумена из памятозлбия за давнишний его проступок против Сонцова.

— Резонно, — согласился владыка. 1 сентября Тихомандрицкий явился с докладом, имея вид чрезвычайно довольный:

— Донесение из Кизильташа от иеромонаха Петра, ваше преосвященство. Все цело в келии покойного игумена: и деньги, и ценные вещи. Весьма и весьма благоприятное обстоятельство. Я уж и донесеньице в святейший синод на черنو набросал:

«... в келии игумена Парфения найдено денег свыше 500 руб. и некоторые золотые и серебряные вещи. Из сего с основательностью можно заключить, что игумен Парфений не умышленно оставил киновию, чтобы скрыться и уйти, например, за границу, и что предположение местного полицейского начальства об убийнии игумена правдоподобно...».

— Позвольте. Анемподист Кузьмич, для чего же нам упоминать об якобы побеге, хотя бы и лишая его всякого правдоподобия?

— Не упоминать совершенно — опасно, ваше преосвященство. Оградить г. оберпрокурора от вздорных слухов — не в нашей власти, так пусть же, по крайней мере, не помыслит его высокопревосходительство, что мы нечто от него и от святейшего синода утаиваем. Напротив, мы-то первые и уведомили. Тем паче, ваше преосвященство, что со стороны святейшего синода и господина оберпрокурора едва ли следует опасаться готовности придавать веру

слухам о подобных происшествиях в среде православного духовенства.

— На это и аз уповаю... Но вот касательно полицейского начальства. Копийка донесения Костюкова при вас?

— Ну да, у него иначе, «Нельзя не поколебаться, что могло произойти и назислבתное отсутствие поименованного игумена». Но к чему уже нам повторять выражения неграмотные и, так сказать, туманные?

— Туман-то у него с умыслом. Я имею сведения, что начальник губернии весьма и весьма колеблется...

— А мы и поможем его превосходительству выйти из колебаний. Не будем держать в тайне предлагаемого рапорта г. обер-прокурору, он и станет известен губернатору. Пусть же он в случае чего поставлен будет в необходимость опровергать донесения собственной своей полиции. А впрочем, как будет угодно вашему преосвященству.

— Хорошо, Анемподист Кузьмич. Велите перебелил и пришлите мне на подпись, — сдался после раздумья владыка.

★

6 сентября ассессор губернского правления Безобразов доносил губернатору:

«... не доверяя несколькодневым розыскам татар, были собраны болгары и русские, с которыми возобновлялся самый тщательный розыск на всем протяжении от Кизильташа до Судака; а также заметя с высоты Кизильташской скалы, что в расстоянии 5—6 верст от монастыря вьются над лесом и скалами орлы, и предполагая по этому признаку разлагавшееся в том месте тело, усилен был по всему пространству обыск, но, кроме остова с'еденного орлами собаки, никаких признаков к открытию следов Парфения не отыскано... Можно вывести два главных заключения: 1. Игумен Парфений мог умереть от насильственной смерти и 2. мог скрыться. Соображая местность, представляющую столько удобств для преступлений и скрытия следов их, с тем, что все имущество кинови и деньги найдены в наличности, можно предполагать убийство. С другой стороны, против убийства и бегства Парфения существуют некоторые данные, именно: консистория вызывала Парфения по разным неприятным для него делам, от слушания коих игумен уклонился, был скучен и задумчив не только в монастыре, но и в Судаках, в день выезда его в киновию. Далее, Парфений был человек крепкого сложения, хороший ездок, имевший под собою быстрого коня и в руке пасть с

металлической оконечностью, проезжавший днем по дороге мог бы избежать нападения на него, завидя приблизившихся из засады разбойников, коими та местность вовсе не славится, и не было никаких случаев даже простого грабежа; допустить же внезапное нападение в узкой дороге из лесу и убийства его невозможно потому, что нигде не найдено не только следов крови, но и других признаков, обличающих борьбу и насилие.

Пожав плечами, подчеркнув карандашом слова: «кроме остова с еденной орлами собаки» и надписав в этом месте на полях: «не много нашел», губернатор кликнул правителя:

— Вот не угодно ли? Полюбуйтесь.

— Водолей, ваше превосходительство, совершенный водолей.

— Мало водолей, — дуралей! Дайте-ка вот: «с другой стороны, против убийства и бегства Парфения существуют некоторые данные». Как это так одни и те же данные и против убийства, и против бегства? И данные-то как-раз в пользу бегства... С чем же мы, однако, остаемся?

— С чем были, ваше превосходительство. От него другого не жди.

— Ну, а дальше-то, дальше?

— По всему судя, на возвращение игумена надежда слабая, но... в ограждение от риска проволочимте, ваше превосходительство, еще недельку.

— А как святые аввы? Шевелятся?

— Они по своей линии гнут: убийство.

— То-то. Смотрите, чтоб нам в хвосте не остаться.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Налажено. Феоктистов прямо на-лету мысли их ловит.

— Вы не слыхом на него полагайтесь: предаст, того и гляди.

Утро следующего дня принесло сразу три новости. Первая — письмо от Саши Турчанинова. Он описывал свою встречу с шефом жандармов Шуваловым: у княгини Голицыной в Царском Селе «Петруша», как называл его в письме Турчанинов, зная о его приятельских отношениях с Жуковским, мимоходом заметил, что обер-прокурор синода давеча препроводил к нему копию полученной из Таврической консистории бумаги о какой-то «гадости» с каким-то

игуменом. В чем гадость состояла, Петруша сказать не мог: то ли игумен кого-то убил, то ли самого игумена убили, или что-то вроде. Петруша не вник, передав бумагу генералу Мезенцову.

Второе известие, также приватное, заключалось в том, что Илья Уварович Паскевич, о котором губернатору было известно, что он главный коновод тех судакских владельцев, кои недовольны вялостью принимаемых мер, внезапно выехал в Петербург, проездом через Симферополь побывал у лисы и не нанес визита ему, губернатору.

Последнее и самое неприятное сообщение исходило от Феоктистова: преосвященный не сегодня-завтра собирается лично посетить Кизильташскую киновию.

Сообщение обер-прокурора шефу жандармов о столь необычном происшествии было в порядке вещей. Но выезд лисы в Кизильташ, чего он никак не ожидал от этого скелета, смутил губернатора.

На этот шаг невозможно было ответить так, как того требовали обстоятельства: немедленно самому выехать на место. Это значило бы обнаружить боязнь перед Алексием, затеять какую-то непристойную игру вперегонки... Между тем совершенно необходимо было предпринять что-то безотлагательно... А все эта медная борода... тянул...

Решение принято было такое: под предлогом посторонних дел выехать губернатору немедленно в Феодосию и там, на месте, в якобы случайных беседах с помещиками и разного чина людьми, разведать, как и кто сморит на исчезновение игумена, затем вернуться, посоветоваться, принять окончательное решение и разом «навалиться на лису».

ГЛАВА VIII

ПУТЕШЕСТВИЕ

В Феодосии все протекало так, как испокон веку в уездных городах при посещении их начальниками губернии: колокольный звон, молебствие в соборе, окаменевшие городовые, до крови вы-

бритые чиновники, представление депутаций. Вот разве депутаций было больше, чем в обычных уездных городах, потому что и татары, и греки, и армяне, и евреи, и караймы, — не говоря уже о русском населении, — все послали своих депутатов к его превосходительству. Сопровождавший губернатора чиновник особых поручений, желчный и болезненный грек Вриони, уже не знал, куда девать блюда, солонки и по-всякому расшитые полотенца, на которых генералу подносили пышные караваи из отборной таврической пшеницы.

Приватных бесед было немало, и ни одна не обошла истории с исчезновением игумена. Но никакого твердого заключения генерал не вывел. Одни говорили так, другие—эдак... И только два человека по-настоящему заинтересовали губернатора: исправник Лагорио и дворянский заседатель Кондараки.

Исправник повел дело начистоту. На вопрос начальника, удастся ли раскрыть дело, Лагорио весело ответил:

— Преступление, ваше превосходительство, не знаю, раскроем ли, а преступников обнаружим.

— Однако, — и улыбаясь, и ворчливо возразил генерал, — все эти облавы до сих пор ни к чему не привели.

— Что облавы, ваше превосходительство. Облавы эти, осмелюсь доложить, вроде пикников для нашего брата. Ну съездили в лесочек... А вот ежели взять духовенство и дворянство Судака со всей округой, то едва ли не все поголовно ищут. Так ищут, как и мы не умеем. Наш брат удочкой норовит, а те — прямо сетями. Нам обязательно имя злодея подавай: Степанов там, иль Петров. Они опять же непривередливы: только б татарин был... Не извольте гневаться, ваше превосходительство, все это я так, по глупости.

Но генерал не гневался: напротив, с улыбкой невольного восхищения глядел он в умные наглые глазича своего любимца, ласково думая: «Вот шельма!».

— Туману много в этом деле, — чуть-чуть намекнул он.

— Простите откровенность, ваше превосходительство, но на мой глупый

взгляд так: ежели духу набраться — ва-ах трахнуть можно! — Все мощное тело исправника проиграло бурной волной. — Но Гога и Магога большо-о-ого придется иметь перед собой.

Мечтательная улыбка блуждала по лицу генерала. Вдруг он согнал ее, точно опомнился. Насупился слегка.

— А мне, знаете, сказывали, что вы имели неосторожность вслух выражать мнение, будто игумен.. того... сбежал.

— Ваше превосходительство, у кого из нас нет врагов? Мало чего ни скажут. А впрочем, иной раз такое сболтнешь — сам не рад... Будьте покойны, ваше превосходительство, верный слуга! Мнением же моим — вот уже двадцать восемь лет служу — никто не интересовался. Да и нет его у меня. Мое мнение — это как начальство прикажет. Ежели какое поручение от вашего превосходительства — исполню не хуже другого.

— Я и подумываю, в случае назначения следственной комиссии, включить и вас в ее состав.

— Рад стараться, ваше превосходительство. Покорно благодарю.

— Я вас больше не задерживаю. Там какой-то дворянский заседатель все ко мне добивается...

— Кондараки? Фруктец не из вкусных. Но все равно не отвяжетесь, ваше превосходительство. Впрочем, исполнитель, даже чересчур. Товарец всегда с походом отпускает.

— То-есть как?

— Через край хватает. Намедни еще случай был. Понадобилось купцу Шалыгину уличающее письмо жены к гарнизонному поручику, ну, на предмет бракоразводного процесса. Так что бы вы думали, ваше превосходительство? Кондараки три письма ему доставил, и все к разным лицам.

— Да что вы, — рассмеялся генерал. — Это интересно. Воображаю купца этого.

— Вот бы Кондараки препоручить игуменово дело. Недели не пройдет — он вам и убийцу доставит, и Парфения живехонько поднесет. На блюде, с зеленым горошком.

Генерал захотал:

— Ну-ну, придержите язык-то... Пошлите мне его.

Дворянский заседатель Кондараки был самый несчастный человек в Феодосийском уезде. Всю жизнь он стремился к тому самому, к чему стремятся все чиновники: сделать карьеру. И у него было для того все, что требуется: энергия, сообразительность, ловкость. Были и удобные случаи, и связи были кой-какие. Однако все у него кончалось крахом. К нему обращались довольно часто, за всякое дело он брался смело, но, когда обозначался успех и в воздухе начинал плавать аромат дележа, Кондараки впадал в иступление алчности: делиться ни с кем не хотелось, рождалось подозрение, что против него ведут интригу, хотят обделить, умолчать о его заслугах. Обороняясь от мнимых врагов, он принимался направо и налево доносить, предавал своих соратников и врагов мнимых обращал в действительных. И тогда его под благовидным предложением, обычно перед самым дележом, устранили.

Этого одного обстоятельства было предостаточно, чтобы жизнь уездного чиновника превратить в горькую полынь. А между тем судьба Кондараки этим не ограничилась. Во-первых, зиму и лето он обливался потом, — подлым каким-то, с тошным запахом тления. В субботу ходит в баню, а в воскресенье только сядет с чиновниками за партию в преферанс, — смотришь, партнеры все как-то отодвигаются, пофыркивая. Партийку кой-как дотянут, а за вторую никакими силами не усадишь. И даже собственная жена заставляла его спать в чулках да еще в одеяло ноги закутывать, будь то хоть в июле. Утром встанет Кондараки, умоется, а лицо у него такое, точно оно воды отродясь не знало: серо-оливковое и будто мелом вымазанное.

Всего горше, однако, был тик. Доктора называли его нервным, но чиновники уверяли, что и тик у Кондараки от жадности. Может, и правы: покуда Кондараки оставался спокоен, — ничего, но лишь загорячится, как правая рука судорожно дернется, делая круговоротное движение, словно в попытке обнять и

прижать того, кто сидит рядом, рот при этом раскрывался, и оттуда до самого корня выпадал толстый язык. А когда же не горячился Кондараки? Тик не оставлял его и по ночам. Только забудется первым сном, как поползут в голову дневные мысли: кто-то интригует, из-под носу вырывает награду, или ловить кого-то надобно, гнаться.

Так проходила вся жизнь горького неудачника. С его талантами у другого чего бы уж не было — и дома, и дачи, и рысаки. Он же пребывал беден, как церковная мышь, завистлив и алчен.

Перед тем, как явиться к губернатору, Кондараки сбегал к морю и битый час натирал свое отверженное тело глиной кил, плавал, нырял, под конец даже изнемог. Надел чистое белье и отправился.

Прими его губернатор тотчас же, проскочило бы гладко. Но пришлось два часа ждать. Кондараки от нетерпения разволновался, раскалился. И поднялись над раскаленным заседателем такие пары, что, когда он, наконец, переступил порог приемной, генерал оторопел, зафыркал и, кивнув головой на низкий поклон заседателя, не приглашая сесть, вопросительно на него уставился. Кондараки понял, что прием будет короток, и с места взял вскачь.

— Ваше превосходительство! — возопил он. — Как доверием господ дворян облеченный, осмелюсь доложить — все помещики в страхе! Ты поехал, примерно, к соседу, а поганый татарин в тебя из-за дерева — бац! и готово...

— Вы о чем?.. Только несколько потише, — болезненно поморщился губернатор.

— Не я кричу, ваше превосходительство, душа в сердце кричит... Я про игуменское дело, ваше превосходительство... гак!.. — Он дернулся и уронил язык. — Как знающий татарский язык... Доверием господ дворян облеченный, поручите дело мне! Через две недели — они у меня вот, — протянул он губернатору ладонь.

— Кто именно?..

— Убийцы, ваше превосходительство... Татары, ваше превосходительство... Сразу всю губернию очистим...

Генералу казалось, что страшный этот язык оторвется и шлепнется ему под ноги. Его мутило, сразу жестоко разболелась голова.

— Вы, господин Кондараки, вот что... Изложите это на бумаге, а сейчас... мне недосуг. Прощайте!

— Одна минута, ваше превосходительство! Полминуты... Так...

Язык метался перед глазами, и губернатор замахал на Кондараки обеими руками:

— Письменно! Я сказал — письменно!..

Заседатель исчез за дверью. Генерал в изнеможении упал в кресло и даже глаза закрыл. Потом потянулся к звонку.

— Изот, — обратился он умирающим голосом к старику-камердинеру, — распорядись там насчет ванны и того.. оддеколон приготовь, оботрешь меня... Ванну приму и поедем... И того... белье спрысни духами... Да скажи господину Вриони, чтоб через час был готов.

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

— О, господи! — простонал по его уходе генерал. «Им-то там легко командовать, — подумал он, неизвестно о ком. — Вот бы на моем месте попробовали».

— Их высокоблагородие приказали доложить вашему превосходительству, — войдя, объявил камердинер, — ехать не могут никаким родом: почки-с.

— Без него поедем.

Два часа спустя старинная венская желтая коляска качала на своих мягких рессорах вымытого и раздушенного губернатора.

В Старом Крыму губернатор не держался, — только вышел из коляски промяться, выпил две игрушечных чашечки крепчайшего турецкого кофию и с отрадой подышал прохладным, неуловимо-пахучим горным воздухом. На полу-пути между Старым Крымом и Карасубазаром стемнело. Форрейтор зажег фонари, а старик Изот засветил в коляске ревербер, при свете которого генерал с чувством отдохновения прочел несколько страничек игривого вранья из «Chronique de l'oeil de boeuf». Но в гла-

зах рябило, вскоре он сладко задремал под мягкое качанье коляски и проснулся только от жестоких толчков на путаных улочках Карасубазара. Народ еще не спал, на террасах кофеен гудели барабаны, звенели цыганские бубны, раздавался резкий стук игральных костей. Отовсюду светились огни, сновали черные на свету фигуры и поминутно оглашал пыльный воздух отчаянный крик «айдама!» — берегись! — везающего в улочку возницы: двум подводам здесь не разминутся.

Покончив наскоро с обязательными приветствиями встречавших, генерал, вопрепятв сопровождать себя, отправился пройтись перед сном, — безо всякой официальности. Здесь, среди громкого многоязычного говора татар, цыган, евреев-крымчаков, греков, караимов, на кривых, перепутанных, незнакомых улочках, смешавшись с толпой, он чувствовал себя Гарун-аль-Рашидом из восточной сказки. И, чтобы усилить это чувство, он скромно подходил к настезе раскрытым прямо на улицу дверям лавчонок и мастерских, где сапожники, медники, шорники, слесаря, невзирая на поздний час, колотили молотками, пилили, строгали и перекрикивались с заказчиками и покупателями. Ему казалось, что его не знают, и это веселило душу. Хотелось радостно поразить этих простых восточных людей, внезапно когонибудь облагодетельствовать, явиться, как с небес, защитником несправедливо обиженного горемыки. Но прошло полчаса, прошел час — случая не представилось, и генерал ограничился тем, что в одной лавчонке купил две пары туфель из сафьяна, — пару для своей супруги, вторую — для жены правителя канцелярии, необыкновенно игривой блондинки. Еще впрочем купил он в мастерской у медника куман, длинногорлый кувшин с носиком и с затейливой насечкой, какие рисуют в детских французских книжках на головах восточных красавиц, возвращающихся от фонтана. Но, уже близко от дома, где ему был приготовлен ночлег, он вдруг представил себе удивленные лица станового, полицеймейстера и прочих, когда предстанет перед ними начальник губернии с каким-

то кувшином в руках... И генерал, слегка поколебавшись, не то что бросил, а перестал держать эту медную посудину, жалобно завеневшую о камень. Бедняга! Как бы удивился он, если бы ему открыли, что вахмистр Кучеренко, по приказанию станowego следовавший на приличной дистанции за генералом в течение всей его поэтической прогулки, тотчас подобрал злосчастную восточную вещь, не замедлив затем представить ее становому, который, в награду за исправно выполненное тонкое поручение, великодушно вернул ему ее.

Рано поутру губернатор выехал из Карасубазара. На душе у него было легко, весело. Все эти попы, секретари, игумены, Кондраки представились назойливой нечистью, от которой хочется отмахнуться. «К чорту, к чорту!» — громко произнес генерал, не стесняясь присутствием Изота, давно привыкшего к манере губернатора вслух отвечать своим мыслям. «С какой стати, — размышлял он, — итти мне на поводу у этих мошенников? Ну что ж, ну, и татары. Из них тоже всякие бывают. Экая беда, подумаешь... Я бы старую лису на любого татарина променял, да еще и вонючку эту кинул бы в придачу».

И тут же вспомнились ему не только слова бестии-исправника: «Ежели духу набраться — ва-ах, трахнуть можно», не только веселый их задор, но и вся эта бурлящая человеческая громадина, которой только мигни — волною обрушится на лису, на Черепаху, на все эти аки и паки, и от них во все стороны — клочья! «Да что, в самом деле! — мысленно воскликнул он с одушевлением.— Вот приеду и прикажу ему написать, чтоб делал следствие по всей форме, а уж там кто попадетя — не зыщи!».

Решение было принято, и генерал окончательно успокоился. И только когда впереди выглянули купола симферопольских церквей, он вспомнил, что остался нерешенным один вопрос: которую пару сафьяновых туфель подарить супруге и которую — жене правителя. Он умышленно купил неодинаковые пары, — этого требовало приличие, — но далее начинались сомнения: кому луч-

шую, кому чуть похуже. Долг повелевал лучшую пару подарить супруге, а сердце соблазняло — игривой блондинке. Минут двадцать душа генерала представляла из себя арену борьбы между долгом и чувством, и только, когда коляска поровнялась с первой по пути церковью и губернатор, в назидание наблюдавшим его в'езд горожанам, сняв фуражку, осенил себя широким крестом, — он в тот же момент принял решение и по этому вопросу — решение в пользу долга. Неся в груди фиал, до краев наполненный благостью, начальник губернии подкатил на запыленных львах к подъезду своего дома и вступил в распахнувшиеся двери.

ГЛАВА IX

КОНЕЦ КОЛЕБАНИЯМ

Ответив на приветствие встретившего его в вестибюле правителя, генерал быстро поднялся по лестнице в кабинет: не терпелось тут же, с первых слов, закончить с надоевшей канителью и сообщить правителю о принятом решении.

— Ну, как тут у вас?

— Как вам сказать, ваше превосходительство...

Генерал понял, что ему преподнесут сейчас гадость. Обида, тоска, глухая злоба вдруг охватили его.

— Интрига? — тихо спросил он, не глядя на правителя.

— Возможно, что и так, ваше превосходительство. Консistorские спешат отрезать путь к отступлению. Феоктистов раздобыл копии с ремарок пресвященного и с его же донесения святейшему синоду. Не стану утруждать ваше превосходительство подробностями, но вот: «Все в киновии и в окрестных местностях, знавшие и уважавшие его, выражают единогласно прискорбную уверенность, что он убит. Полагают, что насильственная смерть нанесена ему... татарами из числа живущих в Таракташе». А нынешнего числа отправлено донесение в святейший синод, в коем преосвященный сообщает: «Определен туда новый настоятель из иеромонахов Космодамиановской киновии, благонадежный иеромонах Николай». И затем

добавляет: «Мною дозволено совершать церковные поминовения игумена Парфения, как отошедшего из здешней жизни».

— Д-да. Для гражданской власти создают fait accompli.

— Как-с?

— Ах, Николай Евстафьич, уж такие слова надо бы вам того... Правитель канцелярии губернатора как-никак.

— Виноват, ваше превосходительство.

— Ну, факт готовый, понимаете?

— Именно-с, ваше превосходительство. В случае чего, стало быть, мы, мол, об упокоении души его молимся, а вы среди живых ищете. Вроде того, значит, что против церкви восстаем.

Генерал, еще с дорожной пылью на бакенбардах и в морщинах стареющего лица, молчал, погрузился в раздумье. Правитель шагнул к нему:

— Ваше превосходительство. Ежели «навалиться на лису», как вы изволили выразиться, то самое время, а то как бы консисторские...

— Да, дьявол их возьми, из-под носу выхватят! Ну, ладно, теперь я им покажу! — стукнул генерал кулаком по столу. — Обскакать на полтора корпуса на короткой дистанции, чорт их подери! Шалишь, аввы благочестивые! Немедленно пригласите ко мне жандармского полковника.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, ежели насчет распри игумена с консисторией желаете осведомиться...

— К чорту! Довольно с этим провалялись. Разыскать преступников — и basta! Я у Калимахи попрошу напрокат Охочинского, вот что. Охочинский, становой, исправник, а в придачу им знаете кого? Кондараки. Мошенник, говорят, каких мало.

— Точно так, ваше превосходительство. Незаменим на такие дела.

— Мне его так и рекомендовали. Кстати, по-татарски знает. Наконец, и то, что дворянский заседатель. Помещики и садовладельцы проявляют большой интерес к этому делу, — вот и пусть будет в своре ихняя собака...

Взошел камердинер и, притворив за собой двери, доложил:

— Их преосвященство.

— Проси, — бодро кивнул генерал, переглянувшись с правителем.

— Так я, ваше превосходительство, сейчас к полковнику Калимахи поеду.

— Отлично. Впрочем...

Генерал на мгновение задумался. Ему вспомнились карасубазарские туфельки.

— Вот что, Николай Евстафьич. Сейчас, пожалуй, неудобно, вы можете мне понадобится. Да и тактичнее будет, если вы к нему поедете вечером, этак, на чашку чаю, с преферанцем, и передадите мое приглашение. За картами наведете разговор на игумена, глядишь — что-нибудь полезное узнаем.

— Слушаю-с.

— Ну, грядут лисе в сретенье, хо-хо... Вот я его сейчас в штыки возьму.

Обычно губернатор, встречая преосвященного, спускался к нему по лестнице вниз. Сейчас, приготовясь к бою, он решил начать с небольшого реванша за недавнюю обиду: стоя на верхней площадке, он поджидал, пока старик медленно взбирался по лестнице, делая в то же время какие-то движения плечами, символически обозначавшие его готовность опуститься к владыке, и приговаривал:

— Милости просим, ваше преосвященство. Весьма счастлив. Весьма, весьма счастлив.

Уже не ищущая судьбы, он сделал попытку благословиться, но владыка ограничился рукопожатием.

— Давно стремлюсь к вашему превосходительству, да все помехи. То немощен был, то по епархии отлучался. Совсем уж давеча собрался — сообщили, что вы в отъезде. А сейчас экононом мой с базара воротился, — видел, говорит, как его превосходительство к себе проследовал. Я и не стал откладывать. С благополучным возвращением, ваше превосходительство.

— Покорно благодарю, ваше преосвященство. Чрезвычайно кстати пожаловали, владыка: как-раз сбирался вас навестить для несколько конфиденциального разговора. Вот сюда прошу... Дело, ваше преосвященство, несколько щекотливое.

— С сугубым усердием внимаю вашему превосходительству.

— Покорно благодарю. Но разрешите мне, владыка, быть совершенно откровенным.

— Смиренно, но усердно о том прошу.

— Вы мне облегчаете задачу. Вперед прошу ваше преосвященство не гневаться. Я — прямой человек. Я — солдат, а не дипломат. Впрочем, вы сами сейчас изволите в том убедиться. Дело касается таинственного исчезновения игумена Парфения, которое положительно не дает мне покою... Скажите, ваше преосвященство, неужто в ваших интересах создать в Петербурге впечатление, будто из Таврической епархии в силу каких-то причин духовенство повально бежит за границу?

— Недоумеваю, с чего бы, однако, взяться таковому впечатлению?

— Ну как же, ваше преосвященство! То этот бердянский священник Трофимовский, теперь вот игумен Парфений... Я ставлю на ноги полицию целого уезда на розыски его убийц, а в это самое время получаю из Петербурга запрос относительно слухов о его якобы побеге, повидимости, от гнева вашего преосвященства!

— Кто же является распространителем подобных злонамеренных слухов?

— В этом-то все дело — кто. Как бы вы думали, владыка?

— Недоброжелатели и пакостники всегда и всюду найдутся...

— Ах, ваше преосвященство! После этих ваших слов я уж и не решаюсь назвать источник этих вздорных слухов!

— Усердно прошу вас о том.

— Сдаюсь, уповая на ваше снисхождение: консистория.

— Приятно видеть расположение вашего превосходительства к шуткам, хотя...

— Я не шучу, владыка. Ваш Тихомандрицкий, рапортует господину обер-прокурору, который копию с рапорта направляет шефу жандармов и министру внутренних дел, откуда я и получаю запрос, и копия эта вот. Извольте прочесть отчеркнутое мною место: «с осно-

вательностью можно заключить, что игумен Парфений не умышленно оставил киновию, чтобы скрыться и уйти, например, за границу» и т. д.

— Позвольте, но ведь тут как-раз опровергается...

— Ах, ваше преосвященство, ну кому придет в голову опровергать, что на вербе груши растут! А уж коли нашел нужным опровергать, да еще в рапорте к самому обер-прокурору, то какое еще вам нужно свидетельство, что слухи подобные имеются, и слухи серьезные, упорные. Не занимать же внимание обер-прокурора сообщением ему болтовни базарных торговок! Это было бы даже дерзко, согласитесь.

Владыка сидел совершенно убитый.

— Кто его, спрашивается, за язык тянул? И раз уж пошло на откровенность, то простите мое удивление: я знаю, секретарь имеет право непосредственно рапортовать господину обер-прокурору, но не менее того — как же не посоветоваться в столь серьезном случае с вашим преосвященством, которого слухи эти особенно болезненно касаются? Это уж прямо неприлично.

В ответ на жесткие слова генерала архиерей что-то прошамкал, но, что именно, губернатор, как ни напрягался, не уловил.

— Я, ваше преосвященство, по благопочтению моих чувств к вам, никогда бы себе не позволил вторгаться в вашу область, но снизойдите к моему положению. Меня запрашивают. Но что я могу ответить? Отписать, как бы и следовало, что слухи сии вздорны, это значит очернить вашу консисторию. Напротив того, донести, что слухи сии серьезные, — значит поставить под удар лично ваше преосвященство. Посоветуйте, как мне быть.

— А вы того... ваше превосходительство... Отпишите, что о таковых слухах вам ничего не известно, а?

— Из глубочайшего уважения к вашему преосвященству охотно пошел бы и на это, хотя подобное отрицание показало бы меня весьма плохим начальником губернии: как так губернатору неведомо то, что для всех — притча во языцех? Но все равно, повторяю, — я

готов. Однако тогда положение вашего преосвященства становится еще более, так сказать, двусмысленным. Либо в Петербурге не поверят и припишут мои слова могущественному влиянию вашего преосвященства, либо скажут: коли нет ничего, что же консистория сеет слухи, порочащие православную церковь? Говорю вам: положение совершенно безвыходное! Я готов обратиться в простого школяра и тут же, при вас, под вашу диктовку написать все, что вы мне прикажете.

Старик почти не слышал, о чем ему толкует генерал: его терзала загадка, — точно ли не знает злодей, что на подлинном рапорте проклятой Черехахи имеется его, преосвященного, резолюция, или только притворяется, что не знает. По усмешке, плясавшей в глазах генерала, похоже — притворяется. Но тогда, что же это, господи Иисусе? Измывательство, которому и примера не подберешь! Тогда — встань и уйди.

— Кхм... кхм... Покорно благодарю, ваше превосходительство... Где мне вам подсказывать... кхм... Я того... Воистину препинание произошло. Не подумавши... того... не подумал секретарь. Беда невелика. Вы, быть может, от себя соблаговолите отписать, что-де слухи сии действительно ходили, но едва ли не от злонамеренных лиц умышленно были пущены. Аз же со своей стороны...

— Слушаю, ваше преосвященство, — покорно склонил голову генерал. — Охотно готов исполнить.

— Душевно признателен... Вот мы подобным образом в полном согласии и единении... Также и на времена предбудущие... Царю, отечеству и церкви православной во благое преуспяние... В знак чего и примите архипастырское мое лобызание...

Старик поднялся и, засеменяв встречу генералу, поцеловал его в низко склоненную серебряную голову. Когда губернатор сделал при этом попытку поцеловать у владыки руку, он, не допустив до этого, трижды и уже совершенно братски с ним облобызался.

— А засим и во-своися мне разрешите, — облегченно вздохнув, молвил владыка.

— Уже покидаете меня? — огорченно удивился генерал. — Весьма сожалею. А я полагал, зная немощи ваши, что имеете до меня касающееся неотложное дело. В таком случае сугубо признателен вашему преосвященству за посещение.

Самая легкая акварельная краска тронула сухонькие щеки владыки.

— Нет, нет, — молвил он поспешно, — никакого дела. Токмо навестить ваше превосходительство. Давно стремился... Впрочем, раз уж вы о делах заговорили... Все по поводу покойного игумена. Разрешите полюбопытствовать, в каком сейчас положении...

— Все доложу. Только ради бога садитесь, ваше преосвященство. Дела таковы: дознание, произведенное Безобразовым, не удовлетворило меня несколько. Между тем я воспользовался своей поездкой в Феодосию для выяснения всех обстоятельств дела и пришел к положительному заключению, что игумен убит местными татарами. А посему завтра же и посылаю туда корпуса жандармов капитана Охочинского со строжайшим предписанием обнаружить злодеев во что бы то ни стало. А затем, когда с божьей помощью преступники будут открыты, я наряжу комиссию уже для формального следствия, в каковую усердно буду просить ваше преосвященство послать депутата от духовенства, поскольку церковь особенно заинтересована в раскрытии всех обстоятельств этого беспримерного злодеяния.

— Душевно тронут, ваше превосходительство. Сотове медовании словеса добрая. Не премину исполнить мудрое ваше пожелание.

Он протянул обе свои сухие кремевые ручки, которые генерал схватил и потряс с радостным жаром. Засим, с сыновней осторожностью проводив владыку по лестнице до самой двери внизу, генерал, напевая бравурный военный марш, взбежал вверх и распорядился немедленно приготовить ванну.

Погрузившись в нее, генерал Жуковский стал шалить, фыркать и выделывать антраша. Но старый Изот словно ничего этого не замечал. Он вымыл генерала, не допустив на свой каменный

лик даже слабого подобия фамильярной улыбки, точно он обмывал труп, а не барахтающегося веселого человека. Когда все было сделано, он высоко воздел руки с распяленной на них мохнатой простыней, напоминая верховного жреца, творящего таинственный обряд, и принял в свои объятия вымытого генерала. Досуха вытерев, он облек его в кремовый с голубою каймой нежный халат и, поддерживая под локоть, отвел в уборную, где уложил на покойную гамбсовскую софу. Подав после этого генералу полторааршинный узорчатый бисерный чубук, — подарок однополчан при переходе генерала на службу из военного в гражданское ведомство, — и оставив на столик поднос с горячим кофею в серебряном кофейнике, сливками и ванильными сухариками, столь крошечными, что зараз можно класть в рот по три штуки, Изот тотчас удалился, зная привычку генерала после принятия ванны полчаса лежа помечтать.

Посасывая из чубука отборный биюк-лаамбатский дыбек, изнеможенный генерал действительно отдался мечтам. Уже давно не наслаждался он столь полным душевным покоем. Все сомнения и колебания остались позади, реванш за обиду взял он у хитрой лисы такой, что теперь это не лиса, а ручная собачонка и вернейшая! Безмятежность охватила его.

Последствия перемены в душевном состоянии генерала были таковы: пережесясь мыслями к предстоявшему нынче же вечеру свидению с игривой блондинкой, губернатор, перерешив вопрос о направлении дела игумена, по трудно проследимой связи вещей, тут же внезапно перерешил и вопрос о двух парах сафьяновых туфелек: лучшую — жене правителя, а ту, что чуть похуже, — собственной супруге. Долг спасовал перед сердцем!

Когда часа два спустя губернатору доложили, что ее превосходительство воротились домой и просят к себе его превосходительство, генерал вынул из саквояжа худшую пару туфелек и, пройдя к жене, после обычных приветствий, преподнес подарок. Генеральша поблаго-

дарила с улыбкой, тут же кликнула горничную и приказала себя обуть. Горничная мигом стала на колени и овладела ножкой губернаторши. Увы! Туфельки оказались малы. Пустяк, но генеральша огорчилась не на шутку и, после тщетных попыток, нетерпеливо, наконец, выдернула ногу из рук горничной.

— Оставь. Ступай!

А когда генерал высказал сожаление, генеральша, сухая, выцветшая дама, с водянистыми и выпученными от базедовой болезни глазами, не глядя на мужа, буркнула с раздражением, уходя из комнаты:

— Пора бы, кажется, знать размер моей ноги...

Генерал пожал плечами. Вид у него был несколько сконфуженный. А вечером, засунув крошечные туфельки во внутренний карман пальто, начальник губернии отправился подышать чистым воздухом и совершенно незаметно юркнул в калитку сада, в глубине которого стоял дом правителя...

Бурно встреченный игривой блондинкой, растроганный генерал не стал медлить. Он прямо прошел в соседнюю комнату, лукаво погрозив блондинке чтоб не смела трогаться с места, и минуто погодя, появился с протянутыми руками: на каждой ладони, точно детская игрушка, блестела изумрудная туфелька.

В размере на этот раз губернатор не ошибся: если к четырем пальцам одной руки приложить еще два пальца другой, то это как-раз и составит всю длину ступни игривой блондинки. Нечто сказочное.

Жена правителя только на минуту оцепенела, после чего настоящий ливень веселья низвергнулся на голову генерала, и домой он воротился совсем поздно.

Поутру, после доклада меднобородого правителя и визита жандармского полковника Калимахи, генерал твердо и размашисто набросал в духе принятого решения предложение корпуса жандармов капитану Охочинскому произвестись розыски по делу исчезнувшего игумена Парфения. В тот же день, 16 сентября, аккуратно перебеленное распоряже-

ние было губернатором лично вручено с приличным напутствием капитану Охочинскому, копия же одного препровождена его преосвященству.

Для владыки, едва не занемогшего после беседы с генералом, это был в некотором роде бальзам для души, за который он не преминул сердечно поблагодарить губернатора. Тревога продолжалась, однако, его точить, и он, не совещаясь уже с Черепухой, отважился чистосердечно поведать обо всем своему отцу и благодетелю.

Во всей подробности изложил расприю с игуменом, его богохульные и дерзкие выражения, преосвященный затем сообщил об его исчезновении и о том, что в своих донесениях святейшему синоду он умолчал о поведении игумена, избегая без крайней нужды пророчить память иерея, по всей видимости, погибшего от руки врагов христианской веры. Но как до синода могли окольно дйти злонамеренные слухи о его якобы побе-

ге от преследований консистории, то он счел благоуместным в своих донесениях указать на полную неосновательность предположений о возможности такого побега.

С трепетом ждал владыка ответа и, когда оный получился, долго не решался вскрыть пакет. «Как неожиданно, — писал великий московский святитель, — строитель-игумен близко к Начальнику! С склонностью к такому образу мыслей шел в монашество? Суд божий над ним совершился. И вы хорошо поступили, что донесли о совершенном суде невидимого правосудия, не оглашая невидимого, подозреваемого преступления».

Посетивший в тот день преосвященного Тихомандрицкий, как ни ломал голову, как ни хитрил, так и не дознался, почему сияние тихого света исходит от владыки, столь беспокойного, смятенного и даже подозрительного во все последнее время.

(Продолжение следует)

В пургу

М. СПИРОВ

★

Меня в Забайкальи догнала пурга,
Я чувствовал лапы ее на груди.
Направо тайга,
Налево тайга,
Таежная ночь впереди.
Сначала я думал:
 «Пробьюсь, ни черта,
Давно за спиной Баргузин».
Но тут оборвалось хрипенье винта,
И вышел последний бензин.
Я каждой секундой в беде дорожил,
Но звезды со свистом летели за мной.
И месяц, ослепший от снега, кружил
Над самой моей головой.
И вдруг он ударил в крыло, как снаряд,
Мы вместе свалились в тайгу.
И тучи упали...
И звезды горят,
Как угли, шипя, на снегу...

★

Я утром очнулся.
Буран пронесло,
Дымок, словно парус, повис над костром.

Стоит самолет мой, подбито крыло,
Сугроб намело под крылом.
Мохнатые кедры, тайга, бурелом,
Завалены снегом сухие кряжи,
Махоркой дымят лесорубы кругом:
«А все-таки парень-то жив!».
И четверо суток и ночью, и днем
Тащил меня этот народ,
Хрипел и кричал я:
 «Когда же дойдем?».

И мне отвечали:
 «Вот, вот!».

И как я ребят ни просил, ни ругал —
«Морозно... Медведя проймает...»,
Мне каждый из них полушубок отдал:
«Скорей донесем, уж вот, вот!».
Нас ждали пельмени в высокой избе,
Всех жар камелька обогрел,
И даже буран, завывая в трубе,
По-дружески что-то мне пел.
Хозяйки всю ночь не гасили огня,
Дороги вокруг занесло...
Родным написал я,
Что есть у меня
Второе родное село.

★

Бегство

РАССКАЗ

В. ЩЕРБАКОВ

★

I

На дворе бушевало весеннее половодье света. Липкие листочки осокой пахли смолой. Зацветающие сливы покачивали пушистыми ветвями. Легкие тени скользили по теплой земле. В переулках оживленно трещали и дрались воробы.

Павло Бровчак один из богатейших в селе хозяев. Его не любят и боятся за скупость и жестокость.

— С родного батька сорочку зниме,— говорили про него.

Он избил и выгнал из дому сына только за то, что он начал ходить в сельбуд и захотел жениться на комсомолке.

За годы войны и разрухи, когда почти все село совсем обнищало, Бровчак разбогател еще больше. На хлеб он выменивал у голодающих швейные машины, часы, одежду. Когда вновь заработали сахарные заводы, Бровчак первым завел плантации бурака, получая авансы на обработку и семена. Пришлые голодающие работали на бураках Бровчака поденно, за харчи.

Сдавая бураки на завод, Бровчак получал сахар, мелясу и жом.

Жомом кормил скот, из сахара и мелясы гнал самогон на продажу.

Беднякам, не имеющим коня и инвентаря, он соглашался на время дать все это «за третий сноп», то-есть из каждого трех снопов будущего урожая один получал он. Он охотно ссужал семена-

ми, но с тем, чтобы осенью получить за пуд — два.

— Бо цена ж не та будет, голубе, ты ж пойми.

— Пухнет куркуль, и колы вины тильки лопне, — говорили сельчане. — Ну, да придет и на него час.

Бровчака не смущало это.

— Власть меняется, а крестьянин всегда был и будет, и труды его не пропадут, — приговаривал он.

Голодающих, заходивших во двор, Бровчак бесцеремонно выпроваживал:

— Много вас тут шляется, дармоедов. Еще украдешь что-нибудь. Иди, иди, а то собакою зацькую. Хай вам свобода хлеб дать.

Жил Бровчак в новой, крытой железом хате. Один угол большого двора занимали сарай и конюшня, другой — обора — огороженное пространство для скота. Три коровы, стоя у длинного корыта, лизали огромные куски каменной соли. Телята в колючих намордниках, чтобы не высосали коров, бродили по оборе. Длинная проволока тянулась через двор. Лохматый пес, привязанный к ней цепью, рванулся навстречу вошедшим и вдруг, поднятый на дыбы натянувшейся, как струна, проволокой, свирепо захрипел, показывая страшную черную пасть.

Приоткрывая дверь в хату, дед, высокий лысый старик, странно с'ежился, стал меньше ростом.

— Дома хозяин? — снимая брыль — широкополюю, собственноручно сплетен-

ную из соломы шляпу, — деланно-бодрым голоском заговорил он: — Христос воскрес, с праздником, будьте здоровы!

— Воистину, — нехотя ответила худая, остроносая Бровчиха, подававшая на стол пасхальную снедь. Стол был уставлен бутылками с самогоном, холодцом, пахнущими чесноком колбасами и высокими белоснежными «пасками».

На почетном месте под иконами сидели гости—богатый Карпенко с женой. И хозяйева, и гости уже изрядно выпили. Капли пота блестели на покрасневших лбах.

Несмело перебирая руками край брыля и стараясь не смотреть на расставленную на столе еду, дед кашлянул и сказал:

— Вот, Павло Иванович, пастушка вам привел.

Лениво повернув к Корочке рябое лицо со смешными, слипшимися от водки и пота усами, хозяин критически оглядел его:

— А сможет? Балованный он у вас, должно быть!

— Известно, безотцовщина, — вмешалась в разговор хозяйка.

— Не, — замотал головой дед, испугавшись, что Корочку могут не взять.— Хлопец смиренный. А если что, так вы и поучить можете, на то вы хозяин.

— Ну, добре, приводите после праздника, — куды ж вас денешь, — мило стиво решил хозяин.

Гости и хозяйева заговорили о своем. Смущенно топтавшемся деду не предложили сесть, не поднесли чарки водки. Он с'ежился еще больше. Серые холщевые штаны смешно отвисали на худом, старческом заду.

— Значит, после праздника, Павло Иванович? — заискивающе сказал он.— Ну, оставайтесь здоровы.

— Идите здоровеньки, — не поворачивая головы, ответил хозяин.

II

На утоптанной площадке возле колодца хлопцы играли в «пувычки».

— А, Корочка! Сыграем? — закричали ребята.

— Сыграл бы, та до Бровчака треба итти.

— Хай он сказыться, еще успеешь.

Корочка нерешительно остановился. Припав к земле, игроки азартно щелкали пуговицу пальцами, стараясь загнать в маленькую ямку. Кто это сделает, тот и берет себе пуговицу.

— Эх, чи пан, чи пропал, — решил Корочка, — сыграем!

Корочке не везло. Пуговицы не падали в ямку, как нарочно, ложились рядом, так что следующему игроку ничего не стоило столкнуть их в ямку. Скоро на рубахе не осталось ни одной пуговицы.

— Годи, — поднялся с земли Корочка, — больше играть не на что.

— А на штанах? — спросил соседский Степка.

— Та штаны ж спадут.

— А ты гвоздем, как я, — посоветовал Ромка: — Видишь?

Уголок пояса штанов заячьим ухом был продернут в петлю для пуговицы и заколот огромным ржавым гвоздем.

Проигравшись вдребезги, в расстегнутой рубахе и штанах, заколотых гвоздем, Корочка оставил увлеченных игрой хлопцев.

Очутившись у большого красного здания школы, Корочка влез на карниз и заглянул через окно в пыльный, загроможденный сломанными партами класс. Вспомнил голодную, но веселую толпу ребят, наполнявших класс зимой.

«Чорт его знает, что делать, — прыгивая с карниза, подумал он. — Чи итти уже, чи еще нет».

«Стоп! — вдруг осенила его идея. — Полезу ворон драть».

По стволу акации, растущей у самой стены, он вскарабкался на крышу и через слуховое окно пролез на чердак. Там было душно от накалившегося железа. Пахло старой краской и пылью. Косой столб света падал в слуховое окно. Крыша светилась множеством дыр, и желтые пятячки солнца были рассыпаны под ногами. Чердак этот знаком Корочке давно. Осенью он не раз лазил сюда вытаскивать из труб вороньи гнезда, в которых можно было найти не один де-

сяток орехов, наношенных запасливыми воронами.

Корочка сел у трубы, орудуя гвоздем, вынул кое-как заделанный кирпич и стал ждать. Было жутковато одному. Вспомнились страшные рассказы о домовых и прочей нечисти. Корочка пугливо поежился и оглянулся. Из темных таинственных углов, казалось, вот-вот выскочит что-то лохматое, страшное.

На трубе зашумело, закаркало... Забыв о домовых, Корочка торопливо засучил правый рукав и насторожился.

Шурша крыльями, вороны спускались по трубе и, не чуя беды, о чем-то ласково переговаривались на своем вороньем языке.

Связав ворон за ноги веревочкой, Корочка слез с чердака. Ворон можно было обменять на цыгарку или пуговицы у хлопцев. Или, в крайнем случае, навязать на лапы тряпок и мочалы и выпустить на потеху ребятам. Ошалелые вороны долго будут метаться по воздуху, своим необычайным видом распугивая птиц.

Размахивая живой каркающей связкой, Корочка шел через широкий, заросший подорожником двор бывшей панской экономии.

Молодая полуголая женщина лежала у стены сарая. Грудной, совсем голый, ребенок, беспомощно подвернув головку, лежал рядом. Солнце жгло худую спинку. Жирные мухи ползали по испачканному темной жижей задку. Корочка, сорвав большой лист лопуха, согнал мух и прикрыл от солнца голову ребенка.

— Ох, маты, моя маты, и на що ты мене на свит породила, — приоткрыв мутные глаза, простонала женщина.

Взгляд ее упал на ворон.

— Хлопче, ты отдай их мне, я их сваю, — попросила она.

Вороны, растопырив крылья, беспokoйно вертели матово-черными головками. Корочка размахнулся, ударил их о кирпич и, положив около женщины, убежал.

Бровчак в саду около сушарни гнал самогон. Сизый дымок плыл в воздухе. Пахло кислым хлебом, спиртом и гарью. Крупные чистые капли пшеничного «первака» падали в подставленную под змее-

вик вазочку для варенья. Когда вазочка наполнилась до краев, Бровчак взял ее, перекрестился: «Ну, боже, поможи» — и, крикнув, выпил.

— Шляешься, сукин сын... — встретил он Корочку. — Теперь шляться забудь. Ты теперь мой батрак, а я твой хозяин, понятно? Бо я тебе купив и еще раз могу купить разом с твоим задрипанным дедом. И ты слухайся мене, байстрюк, а то и дрючка схватишь.

Вечером к Бровчаку по-одиночке заходили желающие похмелиться после праздника.

Бровчак выносил из клуни бутылку и, обтерев полый свитки приставшую к ней полову¹, вручал покупателю.

— Гляди ж, пляшку принесешь, — считая деньги, говорил он.

III

Ноги Корочки покрылись ссадинами и нарывами от множества вонзившихся в них колючек. Кроме трех коров с теллятами, он пасет две пары молодых, еще не рабочих быков. В общем, в его стаде десять голов, и причиняют они ему достаточно хлопот. К вечеру он сбивается с ног от усталости. Убрав после доения скот и поев холодного борща, он заваливается спать.

Рано утром, когда еще совсем темно и с низкого неба чуть просачивается молоко рассвета, злая хозяйка приходит в клуню, где Корочка ночует на соломе, и будит его. Он идет с ней на обору и помогает ей доить коров, припуская и отгоняя телят. Отнеся в хату полное ведро пахучего, пенистого молока, он берет свою торбу, в которой лежит луковица, соль, кусок черного хлеба, и торопливо, на ходу, выслушивая ежедневные поучения хозяйки, гонит коров. Равнодушные животные покорно бредут по улице, взбивая неуклюжими ногами холодную, отяжелевшую за ночь пыль. На углу к нему присоединяется его товарищ Роман. Он пасет одну свою коровенку и пять чужих. Его отец — Петро Ткач, бедняк, пламенно мечтающий об организации коммуны из бедняков. Коровы

¹ Мякина.

дружелюбно обнюхивают друг друга. Неизменно сопутствующий Роману пёс Серко чинно подходит к Корочке и, поднявшись на задние лапы, кладет передние ему на грудь.

За селом свежо и просторно. Зеленеют по сторонам широкие поля кукурузы. Начинает подувать легкий ветерок. На небе все гуще проступают молочные тона. Край неба розовеет, сначала чуть-чуть, потом ярче и ярче, и вот брызгают первые лучи. Утренние полутени, лежащие на полях, испуганно метнулись к западу, и тотчас же, как будто он давно поджидал этот момент, в небе переливчато зазвенел жаворонок. Коровы жадно тянутся к подорожнику, густо заставшему обочины дороги.

Лес, в котором пасут Корочка и Роман, называется «плоский». Здесь много травы, земляники и змей. Часто, гонясь друг за другом, ребята натываются на этих животных, свернувшихся пружиной где-нибудь на полянке. Потревоженное пресмыкающееся шипит, поднимая злую головку. У каждого из пастухов по две палки. Одна для коров, другая — для расправы со змеями. Пастухи твердо верят, что палкой, которой убита змея, нельзя бить коров, так как от этого они болеют и гибнут. Также верят они, что корова будет доиться кровью, если под ней пролетит ласточка или если корову ударить палкой из «кривавика» — кустарника с ровным рубчатым стволом.

Только-что прошел «куриный дождь». Яркое солнце блестит на мокрой траве. Стоя на полянке, Корочка слушает треск сучьев, — коровы продираются сквозь кусты. Если треск начинает слишком удаляться, он свирепо орет, размахивая палкой:

— Да куда ж это ты, падаль, а? Ку-да-а-а!

Корова, хорошо знающая, что такое пастушеская палка, немедленно поворачивает назад. Если же она упрямится, Корочка забегает вперед и с криком бросает в нее палкой. Шелкнув по рогам, палка взвизывает вверх, корова испуганно шарахается назад. Теперь некоторое время она будет слушаться окрика.

К Корочке подбегает Роман, его черноголовый сверстник. Он хватает его за руку и молча тащит к большому пню, от которого отходят в сторону толстые корни. Заставив его влезть на пень и взобравшись сам, Роман показывает рукой в траву. Только сейчас Корочка замечает, что трава шевелится. В разных направлениях в ней происходят зигзагообразные движения. Видно, как гибкие серебряные ленты переползают через черные корни пня. Масса змей появилась на полянке. Приятели поджимают босые ноги и, переговариваясь шопотом, держат наготове палки.

Солнце поднимается все выше и выше. Коровы уже стоят в кустах, спасаясь от мух. Сидя в тени на траве, Роман и Корочка едят хлеб и грибы-колпаки, имеющие то неоценимое преимущество, что их можно есть сырыми. Закусив, ребята решают гнать скот на толоку. На толоке группа пастушков собралась в кружок. Посреди полулежит Гришка Толкач — гроза баштанов и огородов. У него на пятке огромный нарыв. Рядом сидит Степка Пивторадыдько и сосредоточенно ковыряет пятку иголкой. Гришка морщится и дергает ногой.

— Эх, вы! — говорит Корочка, решительно проталкиваясь вперед и отстраняя Степку. — А ну, давай сюда копыто.

Гриша недоверчиво протягивает ему грязную пятку, покрытую толстой, потрескавшейся кожей. Корочка достает из кармана свой нож, острый, как бритва, маленький кинжальчик, которым он очень гордится. У Гришки глаза широко раскрываются от испуга. Взвизгнув, он отдергивает ногу.

— Чудак, чего ты? — убеждает его Корочка.

— Не, пусть лучше он иголкой, — отчаянно мотает головой Гриша.

Соперничающий с Корочкой хирург Степка с готовностью вытаскивает спрятанную было в козырек фуражки иголку.

— Дурень, — говорит Корочка Грише, — иголкой же больней, ею ж дергаешь за кожу, а ножом только раз — и готово.

Ему удается убедить Гришу. Он завладевает его пяткой. Степка снова прячет иголку и, чтобы не остаться совсем в стороне от событий, берет на себя роль помощника. Он держит Гришку за ноги и, шмыгая носом, уже сам убеждает его, что иголкой больнее и что гораздо лучше нарывы разрезать ножом.

Кончиком ножа Корочка проводит по вздувшейся коже, тотчас же из узкой щели брызгает гной.

— Готово! — торжественно возглашает Степка. — Гуляй, здоров!

Наступает самое тяжелое для пастухов время — полдень. Жара. Со всех сторон слетаются слепни. Заслышав злое жужжанье, коровы, размахивая хвостами, начинают плясать на одном месте и вдруг, нагнув головы и взвив хвосты, бросаются бежать. Не разбирая пути, мчатся к высоким хлебам обезумевшее стадо, чтобы там найти спасение от своих жужжащих мучителей. Задыхаясь, сбивая о камни ногти, бегут пастухи, стараясь опередить стадо и встретить его на границе хлебного поля. Обычно это не удается, и они догоняют его только в хлебах. Коровы, вломившись в густую пшеницу, успокаиваются и стоят, обмахиваясь хвостами. Нужно выгнать их, пока не явился хозяин поля. Но это не легко, коровы не хотят уходить отсюда. Выгонишь одну, вернешься за второй, а первая уже снова стоит в пшенице. Тогда пастухи заходят с середины поля и начинают жужжать, подражая оводу. Услышав страшное жужжанье, коровы стремительно выскакивают из пшеницы, бегут к *озеру* и забираются в воду. Напив успокоившись стадо, ребята перегоняют его к развалинам спиртного завода, высящимся над озером, и, заложив выход толстыми вербовыми жердями, уходят.

Выкупавшись, друзья сидят у озера, наблюдая богатую жизнь в воде и над водой. Озеро мелкое. Глубина его нигде не превышает полтора аршина, а во многих местах его можно перейти, завернув штаны до колен. Рыбы в нем нет, зато масса водяных блох и лягушек. Столбы мошек толкуются над водой. Не-

правдоподобное насекомое стрекоза трещет в знойном воздухе. Легкий ветерок чуть рябит воду. Стройные тополя на плотине отражаются в зеркальной глади. Все это ребята видят каждый день.

— Пошли в гуральню¹, — предлагает Роман.

В гуральню уже собралось обширное общество. Десятка полтора мальчуганов лазят по балкам, уцелевшим на головокружительной высоте. Вновь пришедшие с увлечением присоединяются к ним. Старые балки, скользкие от голубиного помета, шатаются под ногами. Хлопая крыльями, мечутся испуганные голуби. Наконец, ребята спускаются вниз.

— Пошли в гости до Кривошапки и Квача, — предлагает кто-то.

Кривошапка и Квач поклялись оторвать ноги тем из пастушков, кого поймают в своих владениях. Страшно зато, но зато как приятно было бы в такую жару пожевать холоденького кавунчика.

— А, была, не была, — решают хлопцы. — Раз мать родила, раз и помирать, пошли!

Конопля Квача расположена рядом с баштаном Кривошапки. Стоит только перелезть небольшой овражек, проползти на животе пустую полосу, отделяющую баштан от оврага, и выбирай любой кавун. Скатив по два-три кавуна в овраг, ребята обычно таскают их в квачеву коноплю, посреди которой они вытоптали широкую полянку. Было уютно в жаркий день на этой полянке, окруженной высокими пахучими стенами конопли и усыпанной арбузными корками. Но один раз, направляясь к полянке, ребята услышали голос Квача, кричавшего через овраг Кривошапке:

— Семен, якись чорт все твои кавуны в мои конопля попереносил! Поймаю, ноги повыдергаю!

Ребята часто наблюдают издали, как Квач, явившись проведать свои конопля, с палкой наготове крадется к полянке. Иногда к нему присоединяется Кривошапка, и тогда они подкрадываются с двух сторон.

¹ Спиртной завод.

Кривошапка нанял сторожа — зайку одессита, осевшего в селе во время голода. Сторож сидит около будки. Он только-что с'ел обед, принесенный женой, и теперь дремлет, положив голову к ней на колени. Иногда он поднимает голову и сонными глазами осматривает баштан.

Ребята лезут по-одному, осторожно. Тихонько пощелкивая пальцами по арбузам, выбирают спелый. Выбрав, скачивают в овраг.

Вместе с ребятами, подражая им, по баштану ползает Серко. Наткнувшись на переспелую дыньку, он с удовольствием начинает ее есть, громко чавкая и роняя на землю капли густого оранжевого сока.

— Ч-ш-ш, цить, ты, гад соленый, — испуганно шепчет Роман, дернув Серка за хвост. Серко обиженно взвизгивает и поворачивается всем туловищем, стараясь схватить руку зубами. Роман возмущенно грозит ему кулаком. Серко вскакивает и пускается бежать через баштан, нимало не смущаясь тем, что может привлечь к ребятам внимание сторожа. Такое поведение хвостатого друга искренно огорчает ребят.

— От, чортов Серко, — шепчет Роман. — Ну, подожди ж, придешь ты...

Ребята сидят на полянке, налитой до краев зноем и душистым ароматом конопли. Высокие зеленые стебли плотной стеной окружают их. Разбивая о землю кавуны, ребята выламывают серединки. Опьяненные обилием добычи, они едят только их, выбрасывая остальное.

В разгар пиршества вдруг слышится сильный шорох. Кто-то пробирается сквозь коноплю.

— Квач, засыпались! — побелевшими от страха губами шепчет Степка.

Что делать? Бежать? Ребята мечутся по полянке, как перепуганные мыши. Шорох все приближается. Ребята бросаются в разные стороны. Выбегая из конопли, Корочка споткнулся о прошлогоднюю борозду. Падая, он видел улетающих по полю пацанов.

«Пропал» — мелькает в его уме.

Конопля с шумом расступается, из нее выскакивает Серко. С веселым лаем он

начинает прыгать вокруг Корочки. Он нашел ребят по следам и очень доволен.

IV.

Твердеют молочные зерна кукурузы. Дни стали ветреные. Серые облака мчатся над пустеющими полями. Роман и Корочка пригнали скот к оврагу. Одинокий красавец тополь растет на его краю, под ним любят сидеть ребята. Пока скот пасется на стерне, они забавляются, обваливая глыбы земли со стен оврага. Тяжело грянув о землю, глыбы рассыпаются на тысячи комков. Два брата Карпенко, выгнавшие на пастбище волон, подходят к пастушкам. Ребята не любят братьев, особенно старшего, Федора. Он уже «парубок» и все хвастается этим. Всегда самодовольно жуя что-нибудь, он рассказывает о своих похождениях на «вечерницах». Ребятам он всегда старается причинить побольше неприятностей. Подойдя незаметно сзади, он наступает носком смазного сапога на голую пятку Корочки.

— Пошел ты к чорту, брехло! — огрызается Корочка, потирая пятку.

Младший Карпенко, Андрей, во всем подражает брату, он так же груб и глуп. Федор где-то заразился дурной болезнью. Все село знает об этом и потешается над ним.

Ребята уселись на краю оврага.

— Ох, и шамать хочется, Ромка! — говорит Корочка. — Нету там' хоть корочки, а?

— Нету ни черта, — уныло ответил Ромка, выворачивая карманы, — хоть свистни!

Подходит Андрей, держа в руках огромный ломоть белого хлеба и кусок сала. Щеки у него жирно лоснятся. Он садится рядом и, громко чавкая, жует. Хлеб он натирает чесноком. Резкий запах чеснока и чавканье раздражают голодные желудки. Ребята проглатывают слюну. Андрей смотрит на них и, отломив кусок хлеба, протягивает им. Ребята удивлены такой щедростью. Роман несмело хочет взять хлеб, но Андрей отдергивает руку.

— А что, с'ел бы? — со смехом спрашивает он.

Роман краснеет и виновато улыбается. Глухая злоба закипает в Корочке, пальцы сами сжимаются в кулак.

— Ты, чортов куркуль, — медленно подойдя к Андрею и задыхаясь от ненависти, шепчет он, — смотри, а то сейчас полетишь в овраг!

Андрей испуганно отскакивает и жалобно вопит:

— Федор!

Из кукурузы, застегивая штаны, выходит Федор. Выслушав брата, он подходит к Корочке и начинает толкать кулаками в грудь, стараясь сбить его в овраг. Потом братья усаживаются рядом и жуют.

— Э, вы, голодранцы, хлеба захотели? — кричит Андрей. Он чувствует себя надежно под защитой брата.

Ребята молчат, отвернувшись в сторону. Андрей снова подходит к ним.

— Так дать хлеба, дать? — спрашивает он.

— Пшел ты, а то я тебе как дам! — отвечает Корочка.

— Я не тебе, я Роману, — говорит Андрей, испуганно оглянувшись на брата.

— Дам вот этот весь, — продолжает он, вынимая из торбы краюху, — только ты знаешь, Роман, что сделаю, знаешь?

— Что? — спрашивает Роман.

— Прыгни вот отсюда.

В этом месте глубина оврага достигает двух с половиной саженьей.

Роман смотрит вниз.

— Ну, что же ты, — торопит его Андрей, — хочешь? Нет?

— Давай, — решается Роман, — давай хлеб!

— Нет, ты сначала прыгни.

— Брось, Роман, брось, — отговаривает Корочка. — Пусть они подавятся своим хлебом, паразиты!

Но Роман не слушает товарища. Мысль о возможности получить кусок хлеба целиком завладевает им.

— Не обманешь? — спрашивает он Андрея.

— Нет, что ты!

— Ну, смотри.

Роман разбегается и прыгает вниз. Ударившись о землю ногами, он глухо

охаёт и приседает. Андрей и Федор, вытянув шеи, наблюдают его. Роман, прихрамывая, идет вдоль по оврагу, выбирая место, где можно бы взобраться наверх. Выкарабкавшись, подходит к Андрею.

— Ну, давай! — говорит он.

Андрей долго копается в торбе, потом вытаскивает хлеб и протягивает его Роману.

— Ты что, — хватая его за руку Федор, — хлеб голодранцам раздавать?

Он вырывает у Андрея краюху и прячет ее в торбу. Братья уходят, довольно посмеиваясь.

Глаза Романа наливаются слезами.

— Куркуль, куркуль, зараза! — кричит Корочка.

Федор поворачивается и злобно грозит ему кулаком.

V

По ночам шли холодные дожди.

В одно утро дед, обычно неделями не приходивший с баштана Карпенко, который он нанялся стеречь, вернулся домой. Зябко кутаясь в облезлый кожух, он кашлял и плевался коричневой слизью. В полдень за ним пришел Федор.

— Батько сказаны, щоб вы шли на баштан.

— Захворав я, сынок, дуже захворав. Может, ты б постерег до завтра, а? А завтра я пийду.

— А хлеб вам даром давать? Не хочете, так я так и скажу батькови.

— Ну що ж зробиш. Зараз иду, думав перележать день, та вже ладно, иду.

Но на другой же день он вернулся. Три дня пролежал дед на печи. Пришла знахарка, пошептала над ним и налила из принесенной с собой бутылки полный стакан желтой мутной жидкости — самогона, настоянного на «гадючем табаке» бакуне. Дед выпил залпом, закашлялся. Его стало рвать долго и мучительно, кровавой слизью. К вечеру он затих.

За Корочкой пришла соседка.

— Иди, деду щось плохо.

— Смотри раненько приходи, не пропусти, — напутствовала хозяйка. — Беда

с этими голодранцами. Есть — так за троих, а работать их нема.

Дед лежал на печи, свесив желтую, с синими выпуклыми жилами, руку, и тяжело, с хрипом, дышал.

Ночью смертельно уставший за день Корочка крепко спал и не слышал тревожного шопота деда.

К утру дед закончен. Только две старческих слезы, остановившиеся в уголках померкших глаз, напоминали еще о недавно трепетавшем любовью и мукой сердце.

Две-три старушки провожали деда на кладбище. Недовольный поп — много ли корысти от смерти такого бедняка, да еще и умер без покаяния, как собака, прости господи, — спеша и путая слова, побормотал что-то. Заныл, как больной зуб, дьячок. Поп торопливо помахал кадилом.

Корочка остался один в огромном, пустом мире. Страшно в 11 лет остаться одному; как будто ночью идешь босиком по болоту, пахнет гнилью и тиной, чавкает бездонная грязь, жадно засасывающая ноги, шипят и шуршат в камышах потревоженные гады, и нет конца болоту, и виснет над головой черное, безжалостное небо.

VI

После дождливой ночи выдался теплый, солнечный день. Стоя на опушке, Корочка загляделся на чистые, омытые дождем, чуть краснеющие листья. Легкие облака, не заслоняя солнца, мчались по небу. Было почему-то грустно смотреть на их торопливый, бесшумный бег. Легкая, призрачная тоска ласкала душу. Тянуло куда-то вдаль. Ноздри расширились, как будто в лицо уже веял ветер больших пространств. Вдруг сильный удар в грудь и одновременный толчок в ухо сшиб Корочку с ног. Плечи увязли в жирной, мокрой земле. Навалившись всем телом, Федор рвал на нем ворот рубахи.

— Босышка... — свирепо хрипел он, молота Корочку кулаками. — Я тебе покажу счас «заразу».

Мотая головой при каждом взмахе кулака, чтобы спасти лицо от ударов, Ко-

рочка в кровь изодрал себе щеки об острые камешки и ветки.

— Федор Корочку бьет! — кричали ребята, несмелой стайкой остановившись поодаль.

Извиваясь всем телом, Корочка хватался за землю руками и, ломая ногти, старался вырваться. Звенело в голове, липкая тошнота начала подступать к горлу. Сильный удар разбил ему нос. Судорожно дернувшись, Корочка вдруг ощутил в пальцах рукоять ножа, в свалке выпавшего из кармана. Кулак Федора остановился на полпути, встретив острое лезвие. Не помня себя от злости и страха, Корочка ударил ножом в склонившуюся над ним ненавистную рожу. Широкая струя крови брызнула из расцеченной щеки.

— А-а-а, — зажимая руками рану, жалобно завопил Федор. — Ножом ударил, бандюга! За что?

Загнав в лес стадо, Корочка обмыл кровь у холодного родничка.

— Ох, и будет тебе вечером, — сочувственно говорят ему товарищи, — убьет тебя старый Карпенко.

— Пусть не лезет, чортов куркуль, — вытирая подолом рубахи разбитые губы, отвечает Корочка. В нем нет ни капли раскаяния, наоборот, он очень рад, что отомстил за себя.

Корочка прихрамывает: стараясь вырваться от Федора, он своротил себе ноготь на большом пальце правой ноги, сгоряча не заметил этого, а сейчас нога разболелась. Задевая большим пальцем за стебли трав, он испытывает острую боль. С треском продираясь сквозь кусты, на полянку влетает Гришка.

— Тикай, тикай, — задыхаясь, кричит он Корочке, — старый Карпенко с косою тебя ищет. Говорит, порубаю.

— Роман, — просит Корочка, — отгонишь коров Бровчаку, ладно?

— Отгони, тикай скорей! — торопит Роман.

Не чувствуя боли, Корочка бежит в лес, перескакивая через полусгнившие пеньки, по-звериному скользя меж кустами...

... Когда-то давно вихрь подхватил семечко, унес далеко от родного леса и уронил на краю оврага. Проросло се-

мечко. Вытянулся из него молодой тополек. Не затоптал его скот, не сглодали голодные овцы, и вырос он, стройный, на желтом глинистом склоне и так стоял в своей одинокой красоте.

Корочка выбрался из леса, прихрамывая, брел без дороги. И, когда увидел знакомую, еще зеленую, вершину, что-то больно толкнуло сердце. Огненные гроздья облаков повисли над закатившимся солнцем. Где-то далеко-далеко ревел скот. Одинокая чайка с протяжным криком носилась над долиной. С севера упругими порывами налетел ветер. Со свистом он летел над пустыми поля-

ми и шумел в листьях тополя. Люди ушли домой к теплу и свету.

Корочке некуда было идти. Родное село стало чужим и враждебным. Подойдя к тополю и охватив его ствол, как шею близкого существа, он устало прислонился к нему.

Шумели листья. Теплый, нагретый за день солнцем ствол тихо покачивался, как будто убаюкивал Корочку.

Надвигалась осенняя ночь.

В эту же ночь на ближайшей станции Корочка влез в собачий ящик идущего на север поезда. Так кончилась его деревенская жизнь. Впереди ждал город.

Большая Москва

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

★

1

Ты шла по излучинам рек и по шляхам,
Кремль городила и срубы рубила,
Грозил железом ливонцам и ляхам,
И землю орала, и в колокол била.

Набив закрома и деньги не растратив,
Татарский ясак оплативши с лихвою,
В заволжскую глушь посылала ты рати,
Шла в степи, врубалась в чащобную хвою.

И Тверь, и Владимир, и Суздаль, и Углич
Следили, покорствуя и восставая,
Какие еще городища обуглишь
Ты, ярость московская, крепь постовая!

Во славу, во здравье той ярости юной
Кромешники лихо секиры скрещали,
И смерды по воле царева тиуна
Ковали твои бердыши и пищали.

От грубой леньки до заморского лала —
Все было тебе на потребу, все мало!
Так жарко пылала, так жадно желала,
Так часто добытое жгла и ломала.

И в тяжкие зимы, и в дни лихолетья
Ворон нехватало тебе на жаркое.
Но шитая лыком, но битая плетью,
Ты лишь одного не хотела — покоя.

Потом ты раскинулась бойким базаром,
Скликала гостей из Орла и Рязани.
Потом, опозорена охрой казарм,
Для Чацкого стала миллионом терзаний.

Шли десятилетия ни шатко, ни валко.
А где-то во тьме, в ликованьи и муке
Мужала твоя золотая смекалка,
Твои золотые работали руки.

Уже выросли, плечисты и зорки,
С хорошею памятью, с яростным сердцем
Наборщики Сытина, парни с Трехгорки
На горе купцам и на страх самодержцам.

Что пело в тебе и несло, и боролось,
И гибло на снежном, безлюдном просторе?
Как вырвался звонкий мальчишеский голос
Из гула студенческих аудиторий?

Свинцовые вьюги тогда пролетали,
Свистя в баррикадах расстрелянной Пресни.
И слово с чужих языков—«пролетарий»—
Тебе обернулось не словом, а песней.

Когда это было, — любимая, вспомни!
На миг затумянятся ясные очи.
Ты станешь еще веселей и огромней,
Но ты не забудешь навеки той ночи!

2

Я помню могучие годы Начала,
Твоих типографий бессонные вахты.
Тогда в дымоходах не вьюга кричала,
А волжские избы, донецкие шахты.

Над чадом буржук, над жаром тифозным,
Над граммами трудно добытого хлеба
Горело нам равенством тысячезвездным
Высокое республиканское небо.

Был день, — ты вождя провожала, рыдая,
Кострами, подобными пляшущим розам, —
Ты, осиротевшая, ты, молодая,
Под тридцатиградусным жгучим морозом.

Я помню, — ты завтрашний день торопила.
Был город театру сраженья подобен.
Асфальт закипал, выросли стропила,
Метро было кучей бугров и колдобин.

Я помню все осени, весны и зимы,
Тридцатые годы двадцатого века.
Я слышал по радио — неотразимый,
Уверенный голос того человека.

И каждый из слушавших, — помнит, какой он!
И памятью этой одной благороден,
Как Сталин, правдив и, как Сталин, спокоен
За братский союз и одиннадцать родин.

3

Не странноприимная слава монашья,
Не всеношных свечек престольная слава, —
Лихая безбожница, молодость наша, —
Так будь белокаменна и златоглава!

Ты больше не город, не сто километров,
Одетых в брусчатку или мрамор нетленный.
Ты — встреча всех сил, притяжений и ветров,
Скрепление всех рейсов и сердце вселенной.

Ты слышишь лобзання горячего юга,
Ты чуешь дыхание северной бури,
Ты помнишь — тебе откликался сквозь выюгу
Рыдающий зов Долорес Ибаррури.

Вот небо исполнилось гуда стального.
С причала воинственных аэродромов
Любимцы твои отрываются снова,
На север проносятся Чкалов и Громов.

Дыша напряженно, трудясь неустанно,
Ворочает время большие турбины.
И славит великий акын Казахстана
На башнях Кремля огневые рубины.

Нарядней фаты, аксамита и шелка,
Одетая в дамбы и розовый камень,
Тебя обнимает красавица Волга
Прохладными и голубыми руками.

Грохочут грома. Надвигаются тучи.
Москва моя! Сердце вселенной! Пробейся
Бок о бок с пилотами в крутень летучий,
К великому старту великого рейса.

Какое могучее небо над нами!
Как ветер ударил в распахнутый ворот!
Как вольно полощется красное знамя!
Как молод еще этот яростный город!

За это вот знамя под ветром, за годы
Рожденья и роста, и юности ранней,
За мужество ветреной этой погоды,
За говор предвыборных этих собраний,

За честь, за историю славы народной,
За все, что в тебе поднялось и боролось,
За труд человеческий и благородный,
За правду — прими избирательный голос.

Июнь 1938.

ИЗБРАННИКИ НАРОДОВ СССР

★

Замечательная победа сталинского блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховные Советы союзных и автономных республик явилась грандиозной демонстрацией народного единства, безграничного доверия и преданности партии Ленина — Сталина.

«В нашей стране сблизилась в одно целое две великие силы — народ и коммунизм» (М о л о т о в). И это единение, спаянное великой дружбой народов, нашло свое выражение в том единодушии, в том громадном политическом подъеме, под знаком которого прошли выборы.

Народы СССР избрали в свои Верховные Советы лучших, выдающихся, талантливейших людей своей социалистической родины. От первого депутата народов, товарища Сталина, и его славных соратников до знатной доярки колхоза, от академика и ученого до пастуха протянута единая нить, связующая их беззаветной службой народу и социализму.

В галлерее депутатов Верховных Советов мы находим много героев Советского Союза и рядовых тружеников во всех областях социалистического труда, стахановцев фабрик, заводов и социали-

стических полей: знатных ткачих, машинистов, токарей, слесарей, артистов и писателей, академиков, профессоров, ученых, педагогов, врачей, инженеров, архитекторов, музыкантов и певцов, бойцов и командиров Красной Армии и Флота и доблестных пограничников.

Мы печатаем ниже выдержки из предвыборных речей кандидатов в депутаты. В их биографиях отражены жизненный путь не только отдельных депутатов, но и история наших советских народов, их героическое прошлое и настоящее. Речи эти пронизаны патриотизмом, горячей, беззаветной любовью к родине, заботой о могуществе и крепости социалистической родины и ненавистью к врагам.

Эти живые голоса депутатов рассказывают, что «на наших фабриках и заводах работают без капиталистов. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли без помещиков, без кулаков. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту, это и называется у нас свободной, социалистической жизнью» (С т а л и н).

★ ★ ★

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**М. В. ЮДИН**

Товарищи, в 1936 году мне, молодому комсомольцу, советское правительство поручило почетное, ответственное задание. При выполнении этого задания я помнил, что я — сын трудового народа, что я — гражданин Советского Союза, что я — представитель Ленинского коммунистического союза молодежи, что у меня за спиной стоит могучая социалистическая родина. Задание я выполнил с честью. Я убежден в том, что миллионы патриотов нашей социалистической родины готовы выполнить любое задание партии и правительства.

Из речи М. В. Юдина перед избирателями Фрунзенского избирательного округа.

★

**СЛЕСАРЬ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
АГАНИЧЕВ**

В нашей стране хорошо работающий человек — самый почетный и уважаемый человек. Уверенные в своем завтрашнем дне, люди нашей страны радостно отдадут свои силы борьбе за новые достижения во всех областях социалистического строительства.

Советский народ соединяет моря и реки. Советские люди установили красный флаг нашей родины на вершине мира, на Северном полюсе. Наши летчики летают дальше всех. Мы имеем замечательных артистов, ученых, художников, писателей. Всего этого добился советский народ под руководством товарища Сталина. Разве есть высшее счастье, чем жить и работать в такой прекрасной и могучей стране?

Из речи П. Н. Аганичева перед избирателями Нижне-Тагильского избирательного округа.

★

**ЗАВЕДУЮЩАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ
ФЕРМОЙ КОЛХОЗА «ЛУЧ»
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ПРОНЬКИНА**

Я никогда не забуду тот день, когда узнала, что меня выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета нашей

республики. Меня, рядовую колхозницу, выдвигают в депутаты верховного органа власти. (*Аплодисменты*). Я помню своего деда, отца. Всю свою жизнь они тянулись к знаниям, к хорошей жизни, как стебельки к солнцу. Они хотели сбросить с себя темноту, невежество. Но так и ушли из жизни темными, забытыми. Жизнь нашего народа в Карелии была бесправной, горькой, унижительной...

Как живут теперь люди нашей Ладвы? У нас — три начальных и одна неполная средняя школа, педагогическое училище, авготракторная школа. Есть у нас два детских дома, детский комбинат, звуковое кино, клуб, радиоузел, детский сад, ясли и машинно-тракторная станция. Вот и судите сами, какие произошли перемены.

Много ли наших детей до советской власти училось в высших учебных заведениях, много ли вышло в люди? А за годы советской власти из Ладвы уехали учиться в Москву, Ленинград и другие города Союза не один десяток молодых и взрослых людей.

Из речи Н. А. Пронькиной перед избирателями Пионерского района, Карельской АССР.

★

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
ХАТЫМА ХАЙРУТДИНОВНА
ХАЙРУТДИНОВА**

Я родилась в 1914 году в деревне Нижняя Курса, Арского района. Семья наша была большая — 9 человек, а работоспособных только двое — отец и мать. Отец уходил на заработки. У богатых купцов в Казани он служил конюхом. Что было бы со мною и с тысячами таких же, как я, молодых девушек-татарок, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция? Подумать страшно!

В 1931 году мой отец вместе со всей семьей вступил в колхоз «Крас-Курса». Правление колхоза послало меня на курсы заведующих детскими яслями. В 1932 году я училась на курсах дошкольного воспитания детей. Несколько лет подряд я работала в детских учрежде-

ниях колхоза, а осенью 1937 года меня послали на курсы по подготовке председателей колхозов. В марте нынешнего года колхозники избрали меня председателем колхоза. С 1936 года я — комсомолка, руковожу комсомольской организацией колхоза. Я избрана членом Арского райкома комсомола и членом бюро райкома.

Путь, открытый передо мною советской властью, открыт перед всеми трудящимися женщинами нашей Татарской республики.

Из речи Х. Х. Хайрутдиновой на конференции женской молодежи Арского района, Татарской АССР (Сикертанский избирательный округ).

★

КОМБАЙНЕР ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ШЕЛЕСТ

Товарищи! Я родился в семье батрака в станице Пластуновской. В 1917 году отец пошел в ряды Красной гвардии, а мать была посажена белобандитами в екатеринодарскую тюрьму. Трудно нам жилось. Когда в 1920 году белые банды были окончательно разгромлены, отец вернулся с фронта, и мы начали заниматься сельским хозяйством. В 1922 году мы вступили в коммуну «Муравей» (хутор Нижний, Кореновского района).

В 1930 году мы вместе с бедняками станицы Платнировской организовали колхоз «Завет Ильича». В 1934 году я перешел в Платнировскую МТС на должность машиниста.

В 1935 году, как всем вам известно, Алексей Стаханов установил небывалый рекорд по добыче угля. Я также дал на общем собрании обязательство намолотить 800 тонн зерна. Старые машинисты говорили, что это сделать невозможно. Но с первого же дня уборки я убедился в том, что для меня этот план еще мал. Я дал райисполкому и райкому партии обязательство намолотить 1.000 тонн зерна. С этой задачей я справился и намолотил 1.107 тонн. В этом же году я был послан в Москву на совещание мастеров высокого урожая. За систематическое выполнение нормы выработки, за хорошее качество работы правитель-

ство наградило меня орденом Трудового Красного Знамени. (*Бурные аплодисменты*).

Из речи Я. П. Шелеста перед избирателями станицы Выселковской.

★

ЕВДОКИЯ ТРОФИМОВНА ГУЦЕНКОВА

Когда-то великий русский поэт Некрасов писал: «Ключи от счастья женщины, от нашей вольной волюшки заброшены, потеряны...». Ключи эти крепко держали в своих руках помещики и капиталисты.

В октябрьские дни 1917 г. партия большевиков вручила нам эти ключи. Октябрьская социалистическая революция освободила трудящуюся женщину от угнетения, дала ей равные права с мужчиной: право на труд, отдых, образование, право выбирать и быть выбранной во все органы государственной власти. Все эти права записаны в нашей Сталинской Конституции. Теперь мы видим женщину — инженера, капитана дальнего плавания, трактористку, врача, государственного деятеля и т. д.

Никому не отобрать у советской женщины, свободной женщины цветущей социалистической родины, тех заветных ключей от счастья, которые вручили нам наши вожди и учителя — Ленин и Сталин. (*Аплодисменты*).

Из речи Е. Т. Гуценковой перед избирателями Фундаминского избирательного участка БССР.

★

УЧИТЕЛЬНИЦА МАРГАРИТА ИВАНОВНА НЕКРАСОВА

Недавно в Кремле на приеме работников высшей школы товарищ Сталин, который пристально и любовно следит за всеми успехами советской науки, произнес речь, которая прозвучала, как призыв уделить еще больше внимания науке, окружить заботой ее деятелей, учащуюся молодежь.

Наши ученые, исследователи, наши летчики делают огромные научные от-

крытия, наши рабочие создают новую эпоху в развитии человеческого труда, наши колхозники ставят мировые рекорды производительности сельского хозяйства. Как бережно, с какой любовью наша страна, наша партия выращивают талантливых людей из народа! Какое счастье жить в стране, где обеспечено право на труд, право на отдых, право на образование!..

Вот почему при выдвижении кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР советский народ в едином порыве назвал первым кандидатом свою гордость, свою славу, свое знамя, того, кто всю свою замечательную жизнь отдает за счастье народа, того, кто вместе с великим Лениным провел советский народ через огонь классовых битв, через три революции, через фронты гражданской войны, через годы тяжелой разрухи, не зная страха, не зная сомнений в борьбе с врагами, того, кто привел трудящихся нашей страны к светлой и радостной жизни, — Иосифа Виссарионовича Сталина. Народы нашей страны с радостью называют в числе своих избранников ближайших соратников товарища Сталина...

Из речи М. Н. Некрасовой на общегородском митинге избирателей города Красноярска.

★

НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА БАРСОВА

Тысячи песен слагает свободный советский народ, — песен, посвященных великой сталинской эпохе. Как не похожи эти песни на те, которые еще так недавно пели народы нашей необъятной родины! В старой, царской России, в той России, которую великий Ленин назвал «тюрьмой народов», эти песни звучали тоской и печалью: Это были песни горя и страданий, песни, в которых народ выражал свою горькую долю; вы помните у Некрасова:

Вьдь на Волгу: чей стон раздастся
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...

Так писал русский поэт Некрасов, метко и точно определивший смысл, характер и стиль старой русской песни: песня-стон, песня-плач.

Но вот свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Под руководством партии Ленина — Сталина до неузнаваемости изменилось лицо нашей родины. Под живительным солнцем Сталинской Конституции расцвела в ней счастливая, радостная и богатая жизнь. И народ запел новые песни. Песни борьбы и побед. Песни о своем счастье. И молодые, и старые, и дети, и взрослые, вся наша страна от пионера до столетнего Джамбула — все поют эти песни:

... О Сталине мудром,
Родном и любимом,
Чудесные песни
Слагает народ.

Вместе со всем советским народом и я отдаю свои песни нашей великой эпохе, нашей чудесной родине, нашему любимому Сталину. (*Бурные аплодисменты*).

Моя жизнь, товарищи, как и жизнь миллионов советских людей, также расцвела под лучами этого яркого солнца.

В тяжелых условиях нужды, лишений воспитывалась и росла я. Упорным, настойчивым трудом я пробивала себе жизненную дорогу. Только с Великой Октябрьской революции началась моя жизнь, как оперной певицы.

Родина окружила меня заботами и вниманием. Своим искусством я хочу отблагодарить ее за эти заботы и внимание. Отдавая родине все свои силы, я считаю своим долгом подготовить для советского оперного театра новую смену из нашей талантливой советской молодежи.

Из речи В. В. Барсовой перед избирателями Свердловского избирательного округа.

★

ПРОФЕССОР АКИМ ФИЛИППОВИЧ ГОЛОВИН

Выдвижение работника науки в высший орган государственной власти возможно только в нашей советской стране, где установлен тесный союз науки и

труда, где рабочие на заводах, колхозники на полях, научные работники в лабораториях являются близкими товарищами, выполняющими одну общую работу для достижения одной общей цели — роста благосостояния социалистической родины. Это тесное единение всех созидательных сил Советского Союза под руководством партии Ленина — Сталина дало те исключительные достижения во всех областях жизни нашей страны, которые мы наблюдаем в последние годы, в годы сталинских пятилеток.

Из речи А. Ф. Головина перед избирателями Чусовой.

★

ПОЭТ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Я — поэт, и моя работа — это мои песни и стихи. Нет большего счастья для любого художника, как работать для народа, потому что все, что мы делаем для народа, возвращается к нам сторицей. Песня, которую поют миллионы, — это лучшая награда и лучший праздник для поэта. И я безгранично счастлив, что в моей песенной работе мне удавалось угадать то, чем живет и дышит, о чем мечтает наш народ.

Сердцем и разумом, словом и делом, звонкой песней и острым стихом я обещаю беззаветно и преданно служить нашей великой, любимой необъятной родине.

Из речи В. И. Лебедева-Кумача перед избирателями Фрунзенского избирательного округа.

★

МАСТЕР СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ЯСТРЕБОВ

Я — беспартийный, но готов всего себя отдать за дело народа, за дело партии Ленина — Сталина. У меня нет другого пути, отличного от того, по которому ведут нас большевики во главе с товарищем Сталиным. Этот путь — единственно правильный. Он проверен и горячо поддерживается миллионами граждан нашей родины и миллионами людей по ту сторону наших границ.

Мои родители, деды и прадеды — вся наша родня испытала на себе весь гнет и ужас капитализма и никогда не захочет их возврата. Вся наша родня стремилась к счастливой, радостной, свободной жизни. И уж коли эту жизнь мы получили — мы никогда никому ее не отдадим.

Из речи С. П. Ястребова перед избирателями в Сормове.

★

ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ТАТАРИНОВ

До революции Башкирия представляла собой царскую колонию. В ней не было промышленности. На сотни километров не имелось лечебных пунктов. Нам, медицинским работникам, приходилось работать в исключительно трудных условиях.

Теперь Башкирия стала цветущей орденоносной республикой, а башкирский народ — зажиточным и счастливым. У нас есть теперь и промышленность, и технически оснащенное сельское хозяйство, и театры, и больницы, и школы, и вузы. Мы, медицинские работники, работаем в прекрасных условиях, созданных для нас партией и правительством. Мы отдадим все свои знания, опыт и силы на благо трудящихся.

Из речи Д. И. Татарина перед избирателями на Благовещенском заводе.

★

СТАХАНОВКА НИНА СЕМЕНОВНА АГАШЕНАШВИЛИ

Товарищи! Я, простая работница, балотируюсь в депутаты Верховного Совета, вместе со знатными стахановцами, колхозниками, учеными, красноармейцами, артистами, инженерами...

... Мне отец говорил, что в старое время человек относился к человеку по волчьей. Страшное время! Ну, а всегда окружена друзьями и им обязана тем, что стала стахановкой. Дружескую поддержку я встречаю и вне фабрики. Честь и доверие, оказанные мне вами, разве не подтверждают мои слова?

Мы можем посоветовать всем угнетенным народам капиталистических стран последовать нашему примеру. Мы, в том числе вы и я, смеем мечтать о еще более прекрасных, сверкающих днях. И мы не только мечтаем, но и добиваемся с каждым днем таких радостей, какие не снились нашим родителям. Это стало возможным потому, что у нас есть непобедимая партия большевиков, потому что у нас есть великий Сталин, которому обязаны счастьем все народы нашей родины. (*Бурные аплодисменты*).

Из речи Н. С. Агашеншвили перед избирателями восьмого участка избирательного округа Челюскинцев.

★

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ПОЛИНА СЕМЕНОВНА ЖЕМЧУЖИНА

Я — выходец из рабочей семьи. Мой отец был портным, мать — кухаркой. Я — работница табачной промышленности. Мрачное детство, жизнь впроголодь, эксплуатация, подполье, ужасы контрразведки — все это я испытала на своем пути. Но вот уже 20 лет, считая с 1918 года, когда я вступила в партию, я живу полнокровной, яркой жизнью. Я вооружилась идеями Маркса—Ленина—Сталина. Я все отдавала партии, и партия сделала из меня человека.

Товарищи, 20 лет нахожусь я в рядах ленинско-сталинской партии. Это дает мне право и уверенность заявить вам всем, товарищи, что я буду всей душой прислушиваться к вашему голосу, буду стараться быть на уровне тех задач, которые поставил перед нами товарищ Сталин, когда говорил о том, каким должен быть депутат Верховного Совета. (*Аплодисменты*).

Из речи П. С. Жемчужиной перед избирателями в Батайске, Ростовского сельского избирательного округа.

★

ЗАВЕДУЮЩАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМОЙ КОЛХОЗА МАРИЯ АНТОНОВНА ЛАСКИНА

Я родилась в 1903 году в селе Ижевское, Рязанской области, в семье кре-

стьянина-бедняка. С детских лет пришлось идти в няньки к кулаку. Батрачила до 16 лет. Затем работала в своем хозяйстве. В 1930 году вступила в колхоз. Сначала работала в детских яслях, потом меня перевели на молочно-товарную ферму дояркой. В 1935 г. я получила от каждой из прикрепленных ко мне 8 коров в среднем по 3 392 литра молока. В 1936 году — по 4.701 литру. За это правительство наградило меня орденом Трудового Красного Знамени. Потом я училась на животноводческих курсах, а сейчас работаю заведующей молочно-товарной фермой в колхозе «Дело Октября».

Из речи М. А. Ласкиной перед избирателями в селе Елатьма (Рязанская область), Касимовского избирательного округа.

★

СТАЛЕВАР ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ДЫГАЙ

17-ти лет я поступил подвозчиком кирпича на металлургический завод, который сейчас носит имя тов. Андреева. А тогда он принадлежал Бельгийскому акционерному обществу. Труд был тяжелым, изнурительным. Мы работали за 70—80 копеек по 12—14 часов в сутки, а под воскресенье — почти круглые сутки.

До революции наша семья, как и многие другие, жила впроголодь. С малых лет отец вынужден был посылать детей в батраки к кулакам. От тяжелой, голодной жизни в детстве умерли два моих брата.

Сейчас моя семья состоит из шести человек. Одна дочь работает фрезеровщицей на таганрогском заводе «Точприбор», другая — в партийном комитете завода имени Андреева. Старший сын несет почетную вахту в Тихоокеанском военно-морском флоте, младший заканчивает среднюю школу и готовится поступить в Ленинградское морское училище.

Товарищи, нам, старикам, хочется, чтобы вы, молодые люди, не испытывшие капиталистического гнета и эксплуатации, умели бы достойно ценить нашу

прекрасную жизнь, еще горячее любили свою великую родину, свою родную мать — славную коммунистическую партию большевиков и своего отца и друга, вождя трудящихся всего мира, кузнеца нашего счастья — дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина. (*Бурные аплодисменты, возгласы «ура»*).

А на меня, старого сталевара, вы всегда можете положиться: я варил и буду варить такую сталь, которая с ног сшибет и в порошок сотрет любого врага, если он сунет свое свиное рыло на нашу границу.

Из речи Г. Ф. Дыгая перед избирателями Сталинского района г. Таганрога, Таганрогского городского избирательного округа.

★

КОЛХОЗНИК ГРИГОРИЙ МИРОНОВИЧ БОРУШКОВ

Я — простой крестьянин. Мне сейчас 68 лет. Полвека я прожил под гнетом капитализма. Мой отец никогда не имел своей земли, всю свою жизнь был батраком. В нашей семье хлеба никогда не хватало. С малых лет мне пришлось работать на помещика.

Только при советской власти я и моя семья познали настоящую жизнь. В 1929 году мы вступили в колхоз. Мне поручили уход за овцами. Я целиком отдался этой работе, зная, что, чем больше будет овец в хозяйстве колхоза, тем жизнь наша будет зажиточнее. Уже к 1935 году я добился высокого приплода ягнят. На ферме значительно улучшилась породность овец. И вдруг случилось то, о чем я и не помышлял. Меня вызвали в Москву, где я участвовал в совещании передовиков животноводства с руководителями партии и правительства. Меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. За что? Опять-таки за честный, добросовестный труд в колхозе. От радости мне хотелось плакать. Подумать только: 50 лет трудился я и моя семья на помещика и никогда, кроме ругани, другого слова не слышали, а тут тебе награда и почет какой — не рассказать! Это вселило в мою душу еще больше энергии. Я почув-

ствовал, как заботится советская власть о человеке, который честно трудится.

Я вот сейчас выступаю перед вами, — меня подняли на эту трибуну советская власть и великий Сталин! Это его забота о нас, колхозниках, превратила нашу жизнь в радостную, зажиточную. За эту жизнь и счастливую старость я от всей души благодарю товарища Сталина.

Из речи Г. М. Боружкова перед избирателями по Лоевскому сельскому избирательному округу БССР.

★

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ СОБОЛЕВ

Я принадлежу к числу научной советской молодежи. И выдвижение мое я рассматриваю прежде всего как выражение глубокого доверия ко всей нашей прекрасной советской молодежи, которая учится работать и побеждать у великого вождя народов — Сталина. (*Аплодисменты*).

Настоящая наука только тогда может считаться передовой советской наукой, когда она тесно связана с практикой.

Советский ученый — это проводник идей большевизма в своей научной работе. Это человек, который своим трудом борется за счастье народа и разит врагов. Нам известно, что враги народа приложили свои грязные руки к нашей советской науке и, в частности, не мало навредили в области учебной литературы. И наша задача — как можно скорей ликвидировать последствия вредительства в науке.

Из речи С. Л. Соболева в детском Краснопресненском парке перед избирателями 27-го избирательного участка Герценского избирательного округа.

★

ПОЭТ-АКАДЕМИК ПАВЛО ГРИГОРЬЕВИЧ ТЫЧИНА

Я горжусь своей родиной. Я воспеваю ее в своих песнях и стихах. Родина мне — мать родная. Благодаря советской власти, благодаря коммунистической партии и творцу Конституции великому Сталину я стал зрелым писате-

дем. И я ни на минуту не забываю, что, если бы не пролетарская революция, не были бы открыты двери моему творческому росту.

Проклятый царский строй, — а я его застал, я его хорошо помню, он мне всю душу выел, — проклятый царский строй по колючкам, по острым камням заставлял меня итти. Разве мог бы я стать поэтом, разве мог бы я развиваться в те времена жестокого угнетения?

Советская власть всячески заботится о развитии украинского языка, культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию.

Троцкистско-бухаринская погань и всякая буржуазно-националистическая сволочь пытались снова вернуть наш народ к темному прошлому, продать его в кабалу капиталистам. Славные органы НКВД пресекли злые намерения врагов народа. Мы стали еще более сильны, еще более крепки и монолитны.

Товарищи! Всю свою энергию, знания и силы, а если нужно будет, то и жизнь, я отдаю любимой родине, советскому народу, большевистской партии, родному Сталину.

Из речи П. Г. Тычины перед избирателями Каневского избирательного округа УССР.

★

КОМПОЗИТОР АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОГАТЫРЕВ

Я принадлежу к числу тех молодых белоруссов, которые могли вырасти и развиваться только в наше время.

Царизм беспощадно глушил национальную белорусскую культуру. Белорусский народ не мог в то проклятое время свободно говорить на своем родном языке, свободно петь свои звонкие песни. Национальная музыка существовала только в народных песнях, которые слагал и пел, несмотря на преследования, свободолюбивый белорусский народ.

За 20 лет Советская Белоруссия при помощи народов братских республик и, в первую очередь, великого русского народа далеко шагнула вперед. На нашей свободной земле появились новые

фабрики и заводы, выросли колхозы и совхозы. Пышным цветом расцвели наука, литература. Государственная консерватория, 12 театров, Государственная филармония, музыкальные техникумы и школы, более 2 тысяч самодеятельных кружков — вот яркие показатели расцвета искусства Белоруссии.

Я еще молод. Родился в 1913 г. в городе Витебске в семье учителя. В 1930 г. окончил среднюю школу. Одновременно занимался в музыкальной школе по классу рояля. Учился в Минском музыкальном техникуме, а затем в Белорусской государственной консерватории, которую и окончил в 1937 г. по классу теории и композиции. Одновременно работал концертмейстером в оперном театре. Мною написаны: симфония к 20-летию Октября для симфонического оркестра; скерцо для симфонического оркестра на темы белорусских песен; поэма-сказка на текст Пушкина.

Приятно и радостно, товарищи, жить и творить в такой стране, как наша, где все способное и талантливое окружено величайшей заботой и любовью народа, партии и товарища Сталина.

Я переживаю сейчас исключительный подъем. У меня большие планы на будущее. Я буду писать музыку о людях наших дней, о стахановцах заводов и полей, о славных часовых наших рубежей.

Из речи А. В. Богатырева перед избирателями Ворошиловского избирательного округа г. Минска БССР.

★

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР БЮЛЬ-БЮЛЬ МАМЕДОВ

Я — сын рабочего-кожевника. Отец был безграмотным. Я вырос в совершенных — советских — условиях. Я получил высшее музыкальное образование. Мне присвоено высокое звание народного артиста СССР, я — орденносец. Всем этим я обязан заботам большевистской партии и советского правительства. Благодаря этим заботам, благодаря мудрой ленинско-сталинской национальной политике неизменно изменилось лицо сегодняшней азербайджанской деревни.

Декада азербайджанского искусства в Москве явилась подлинным праздником азербайджанского и всего советского народа. А ведь всего 20 лет назад люди в Азербайджане жили в темных и грязных избах, 98 процентов населения было неграмотно!

Только в социалистической стране мы смогли поднять свое искусство на такую высоту! Я никогда не забуду энтузиазма, радости и восхищения всех участников декады, когда мы были в Кремле, где ашуги, зурначи сидели за одним столом с великим Сталиным и его ближайшими соратниками. (*Аплодисменты*).

Имя товарища Сталина — надежда всех угнетенных всего человечества. Это имя рождает вдохновение у всех наших поэтов, оно является воплощением силы и мощи 170-миллионного народа нашей великой родины.

Из речи Бюль-Бюль Мамедова перед избирателями селения Кемиль, Кубинского района.

★

СТАХАНОВЕЦ-РЕССОРЩИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

В царской России не было дороги рабочему и крестьянину, не было пути трудящемуся человеку. В нашей стране труд — это гордость и радость, трудящийся человек у нас окружен уважением. Большевицкая партия и советская власть открыли перед нами все дороги. Люби родину, будь предан советскому народу, честно работай, упорно учись, — и ты можешь достигнуть любой вершины. Немало беспартийных людей занимает у нас ответственные посты, выборные должности. Все это говорит о кровной связи большевицкой партии с массами беспартийных трудящихся.

Вот и я, беспартийный рабочий, проработавший на вагонном заводе 23 года, являюсь кандидатом блока коммунистов и беспартийных в депутаты Верховного Совета нашей республики.

Я — беспартийный, но в душе своей чувствую себя большевиком. Как и все, кто любит нашу родину-мать, я готов выполнить любой приказ большевиц-

кой партии и товарища Сталина. (*Бурные аплодисменты*).

Из речи М. И. Иванова перед избирателями на новостройках Новопромышленного района города Калининна.

★

МАСТЕР-СТАХАНОВЕЦ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРОВ

Мне 50 лет, из них 32 года я работаю котельщиком. Я хорошо знаю, что такое капиталистическая эксплуатация. Мы сейчас не можем себе даже представить, чтобы 9-летний сын нашего рабочего бросил школу и стал работать на заводе. Сейчас для нас это дико и бессмысленно. А при капиталистах и помещиках 8—9-летние дети рабочих вынуждены были, чтобы не умереть с голоду, идти на заводы и фабрики и работать по 10 — 12 часов в сутки.

Мне тоже с 9 лет пришлось гнуть спину для уфимского заводчика Харитоновна. И только после Октябрьской революции мне стало жить и работать легче и веселее.

В 1925 году я стал бригадиром, а в 1928 году — мастером котельного цеха, где работаю и сейчас...

... Мы живем весело и хорошо. Наши дети спокойно учатся и становятся инженерами, летчиками, учителями, агрономами. В верховные органы государственной власти мы сами выбираем лучших своих товарищей. На нашей шее не сидят больше помещики, фабриканты и кулаки. Родина наша цветет и богатеет, и всем этим мы обязаны великой партии Ленина — Сталина, партии, которая не знает страха и колебаний, которая все свои силы отдает на святое дело народа. (*Шумные аплодисменты*).

Из речи В. А. Перова перед избирателями 76-го избирательного участка гор. Уфы.

★

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗА АФНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ

Что я могу сказать о себе? До революции я испытал тяжелую жизнь батрака. Только при советской власти я стал жить по-человечески. В 1930 году

вступил в колхоз, стал честно трудиться. В 1932 году меня назначили бригадиром. Перед собой и своей бригадой я поставил задачу добиться высоких урожаев. И добился!

С зимы 1937 года я — председатель правления колхоза. Вот мой жизненный путь. Это — путь множества граждан нашей великой социалистической родины.

Из речи А. В. Попова перед избирателями в районном селе Алексеевке, Алексеевского избирательного округа.

★

БРИГАДИР КОЛХОЗА ХАРИТИНА ВАСИЛЬевна ТРЕТЬЯКОВА

Все молодые годы я, товарищи, мучилась в чужих людях, работала почти круглые сутки, а угодить хозяевам все не могла. Ругали, издевались, сколько им вздумается. Так жила не я одна, а большинство женщин при старом, проклятом царском строе. Так мучается трудящаяся женщина за границей и до сих пор.

В нашей стране уже 20 лет, как трудящиеся избавились от всех несчастий. Старое, проклятое житие уже не вернется никогда!

Требуется от нас только одно: честно работать, беречь народное добро. Фабрики, заводы, колхозы — все это наше, мы хозяева всех богатств великой, могучей страны. Все создано нашими руками!

Подлым фашистским псам хочется подорвать нашу счастливую жизнь. И у нас в колхозе был председателем вражеский агент. Он пытался развалить наш колхоз. Но не вышло его подлое дело. Мы разоблачили гада. Дело сразу пошло на лад. Мы дружно боремся за то, чтобы колхозное богатство росло с каждым днем.

Партия Ленина — Сталина указала мне, как и всем колхозникам, вернейший путь, идя по которому, мы уверены в своем благополучии. С этого пути никому, никогда свернуть нас не удастся.

Из речи Х. В. Третьяковой перед избирателями на Устьшоношской лесобирже, Вельского района.

СТАХАНОВЕЦ КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА Т. М. ТЕВДОРАДЗЕ

Товарищи избиратели! Любой из нас, кто правдивыми глазами обзирает нашу действительность, видит, как высоко мы поднялись, как светлее стали наши лица, как тверже стала наша поступь. Крестьянин, изумленный неведомыми ему доселе богатствами нашей земли, восхищается плодами трудов своих. Рабочий, проникнув в тайны сложнейших машин, подчинил их своему разуму, извлекая из них все, в чем нуждаются трудящиеся Союза. Дети наши, познав материнскую ласку родины, попадают в детские сады, школы, техникумы, институты, чтобы там, в окружении дружбы и забот, получить знания, столь необходимые нашей социалистической родине. Перестала пугать нас старость, омолодилась вся страна, и завтрашний день — мы в этом убеждены — будет еще прекраснее сегодняшнего.

Нас ведет вперед партия Ленина — Сталина. Будем же верными, честными, дисциплинированными бойцами ее. Будем неуклонно выполнять те указания, которые дает партия. И тогда еще краше станут наши дни. И тогда еще богаче станет наша страна, которой не страшны никакие вылазки врагов.

Из речи кандидата в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР тов. Т. М. Тевдордзе.

★

НАРОДНАЯ АРТИСТКА АРМЯНСКОЙ ССР АКОПЯН АСМИК

Чем была Армения в прошлом?

Веками поработенной под игом иностранных завоевателей колонией, где трудовой народ стонал под двойным ярмом иноземных и отечественных эксплуататоров.

Рожденная под двуглавым орлом царизма, кровавая партия армянской буржуазии — «Дашнакцутюн», интересы которой совпадали с интересами самодержавия, с первых же дней своего возникновения выполняла презренную роль царских палачей, жандармов, будучи правой рукой царизма в его кровавом

деле, в подавлении восстаний рабочих и крестьян.

Великому Сталину армянский народ обязан всем своим счастьем. Под руководством товарища Сталина были организованы первые большевистские организации Армении. Выпестованная, им славная армия закавказских большевиков организовала и повела народ на штурм основ самодержавия и капитализма. Под руководством товарища Сталина армянский народ уничтожил проклятое иго кровавых врагов — дашнаков. Под руководством великого Ленина и Сталина армянский народ достиг сегодняшней радостной, счастливой жизни...

... Я не молода, товарищи, за моими плечами несколько десятков лет сценической деятельности, я прошла дореволюционный тернистый путь армянского актера, который был осужден на голодное существование, на презрение буржуазного общества.

Из речи кандидата в депутаты Верховного Совета Армянской ССР народной артистки Армянской ССР Акопян Асмик перед избирателями.

★

ВРАЧ ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА ПРОКОФЬЕВА

Товарищи! Мы с вами — самая счастливая молодежь в мире. Мы живем в великую сталинскую эпоху. Нам незнакомы капиталистическая каторга, нищета и голод. Нам неведомы ужасы безработицы. Родина-мать заботится о каждом из нас. Перед советской молодежью широко открыты двери к знанию. Взять к примеру наш район. В дореволюционной Макеевке были 3 начальных школы, а теперь — 30 школ, из них 16 средних. Всего в нашем районе свыше 90 школ, в которых учатся 50 тысяч детей. Несколько тысяч юношей и девушек Макеевки учатся в институтах и техникумах.

Наша счастливая молодежь работает на социалистических заводах и фабриках, на колхозных полях для своей социалистической родины. Мы строим счастливую, радостную жизнь. Вот почему труд для нас, советской молодежи, стал делом чести, делом геройства.

Бесправие, беспросветная нужда, голод и безработица, отсутствие возможности учиться — таков удел молодежи капиталистических стран. Фашизм — злейший враг молодежи — бросает юношей и девушек в тюрьмы, в концентрационные лагеря. Когда мы сравниваем свою счастливую, радостную жизнь с каторжной жизнью молодежи капиталистических стран, мы проникаемся еще большей гордостью за свою чудесную родину. Героическая советская молодежь безгранично предана коммунистической партии, великому вождю и лучшему другу молодежи Иосифу Виссарионовичу Сталину. Героизм советской молодежи в мирных условиях проявляется в стахановской работе на заводах и фабриках, в шахтах и на колхозных полях, в овладении все новыми и новыми высотами науки, техники и искусства. Если фашисты попытаются посягнуть на наше счастье, вся советская молодежь встанет на защиту родины.

Товарищи! Моя жизнь напоминает жизнь десятков и сотен тысяч сыновей и дочерей нашей родины. Я — дочь рабочего, училась в начальной школе, в семилетке, на рабфаке. В 1936 году я окончила Донецкий медицинский институт и теперь работаю врачом в районной больнице. Моя младшая сестра заканчивает педагогический институт, другая сестра в этом году только поступает в институт, брат учится в десятилетке. При проклятом царизме мой отец не мог даже мечтать о том, чтобы дать детям хотя бы низшее образование. При советской власти мы получаем высшее образование.

Из речи Е. Т. Прокофьевой перед 2.200 избирателей. Макеевка.

★

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАН ТРОФИМОВИЧ ЕРЕМЕНКО

Я родился в семье рабочего-трамвайщика. Учился я всего полтора года.

В РККА я — с 1929 года. Окончив военно-теоретическую летную школу, я был учлетом, затем летчиком и командиром. Членом ВКП(б) состою с 1938 г. Правительство наградило меня двумя

орденами Красного Знамени, орденом Ленина и присвоило звание Героя Советского Союза. (*Аплодисменты*).

Советская власть и партия Ленина — Сталина воспитали из меня командира РККА. Наша великая партия, наш Ленинский комсомол, членом которого я являюсь, воспитали меня в духе ленинизма, в духе безграничной преданности нашей великой родине, нашей великой партии Ленина — Сталина, нашему великому вождю мирового пролетариата — товарищу Сталину.

Из речи И. Т. Еременко перед избирателями 33-го Слободского избирательного округа гор. Баку.

★

ЛЕЙТЕНАНТ ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ БУТЕНКО

Я — выходец из бедняцкой крестьянской семьи. Счастливая жизнь открылась мне с 1927 г., с того часа, когда я был призван в ряды Красной Армии. Меня воспитали и закалили большевистская партия и Рабоче-Крестьянская Красная Армия. В ее рядах я научился ненавидеть врага, научился бить его.

Охраняя дальневосточные границы Советского Союза, мне и группе бойцов пришлось встретиться с врагом, нарушившим нашу границу. По количеству и вооружению перевес был на стороне противника. В неравной схватке нам помогли наша боевая ворошиловская выучка и понимание того, что мы защищаем свою социалистическую родину. Противник был уничтожен, с нашей же стороны никаких потерь не было. За боевые заслуги советское правительство наградило меня в 1930 г. орденом Красного Знамени. После окончания военной школы меня направили охранять западные рубежи нашей родины. Заверяю вас, товарищи избиратели, что, если только враг решится посягнуть на наше социалистическое отечество, я и на западных границах проявлю свою боевую выучку, как и на Дальнем Востоке.

Из речи Д. Н. Бутенко перед избирателями 5-го избирательного участка Лепельского городского избирательного округа БССР.

★

КОМСОМЛКА ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА ЗИНАИДА ТИХОНОВНА ФЕДОРОВА

Я горжусь тем, что воспитана Ленинским комсомолом. Когда мне исполнилось 16 лет, я твердо решила связать свою жизнь с Ленинским комсомолом.

Как и многие наши молодые девушки и ребята, я окончила ФЗУ при Автозаводе им. Сталина и пошла работать токарем.

Вскоре меня перевели в наладчики, потом в мастера. А теперь я старший мастер пролета.

Все это время я училась и работала в комсомоле, выполняла поручения комсомольской организации, работала пропагандистом и агитатором.

А сейчас меня, работницу 1915 года рождения, выдвинули в верховный орган первой среди равных социалистических республик — РСФСР.

Мы с вами живем в великую сталинскую эпоху.

Наша родина, партия, товарищ Сталин открыли перед молодежью просторы замечательной, сказочной жизни.

Мы любим нашу родину, мы преданы ей. Родина-мать воодушевляет советскую молодежь на героические подвиги, умножающие величие и славу непобедимой советской державы.

Несколько дней назад наши сверстники-комсомольцы—орденоносцы Эмиль Гилельс и Яков Флиер на международном конкурсе пианистов в Брюсселе своей изумительной игрой, прозвучавшей на весь мир, как героическая симфония советской правды, доказали, что нет области, в которой молодежь, воспитанная партией большевиков и великим Сталиным, не добилась бы успехов.

Бельгийский студент, восхищенный победой Гилельса и Флиера, в неподдельном восторге воскликнул: «Что же это за страна, что это за строй, который во всех областях создает подобных людей!».

Я возьму на себя смелость от вашего имени с этой трибуны ответить бельгийскому юноше:

— Это — страна большевиков, партийных и непартийных, это — советский строй, это — партия Ленина — Сталина, ведущая страну от победы к победе.

Гением Ленина и Сталина, напряженной борьбой советского народа в течение двух десятилетий создано великое многонациональное социалистическое государство, прочности которого может позавидовать весь мир. Советский народ создал чудеснейшие сооружения социализма, хозяином которых являются сами рабочие и крестьяне. Только один наш Автозавод имени Сталина дает сейчас промышленной продукции столько, сколько давала вся дореволюционная Москва.

И все это наше, все это делается для улучшения нашей жизни. Как же не быть благодарным за это большевистской партии, великому организатору и вдохновителю социалистического строительства товарищу Сталину! (*Бурные аплодисменты*).

Из речи З. Т. Федоровой перед избирателями Пролетарского избирательного округа гор. Москвы.

ПИСАТЕЛЬ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ КОЛЬЦОВ

Я не работаю ни у станка, ни в поле. Орудием моей борьбы является печатное слово. Я горжусь этим орудием; товарищ Сталин назвал печать сильнейшим, самым острым орудием нашей партии. Почти двадцать лет я нахожусь в строю большевистской печати: своим политическим и литературным воспитанием я обязан старейшей большевистской газете «Правда», на страницах которой я всегда стремился сочетать работу писателя-художника и партийного газетного журналиста. Я направлял свой огонь против врагов народа, против капитализма, против фашизма, против его агентов — троцкистско-бухаринских шпионов, против всех прочих врагов народа, против бюрократов, лодырей, против всех тех, кто мешает советскому гражданину спокойно жить, трудиться и веселиться.

Пока хватит сил, я буду служить нашей стране, нашему народу, нашей партии, нашему Сталину.

Из речи М. Е. Кольцова, произнесенной по радио перед избирателями Пензенского сельского избирательного округа.

Академик Т. Д. Лысенко

ОЧЕРК

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ

★

Полуденное солнце затопляло выго-ревшую степь. Все, казалось бы, замерло, и только там, где промчался поезд, вихрилась едкая желтовато-серая пыль.

Человек в косоворотке смотрел в окно вагона и курил. Он впервые видел эти места, но сейчас ему казалось, что он давно уже знает их...

Он узнавал эти степи, остающиеся невозделанными из-за недостатка орошения. В серых, пропылившихся зарослях он угадывал местный гранатник. В приземистых кубиках — жилые постройки редких поселков. Увидев еще издали возделанные квадраты хлопчатника, он начинал искать глазами арык и находил его в виде тонкой черточки.

В то же время его воображение накладывало на этот пейзаж другие краски, освещаемые иным светом и иным совсем солнцем. То было солнце Украины, под которым он родился и вырос. Оно освещало степи, по которым он некогда ходил босой.

Там есть поля,—как и здесь, все еще разделенные узкими и частыми межами,—но зреют там иные ячмени, пшеницы, овсы. Не те зеленеют и травы, кучерявятся не те бобы.

Бобы, сидераты... Да, здесь они принесли бы большую пользу. Извлекая необходимый азот из воздуха, они обогащают почву, делая ее из года в год все плодороднее. Но где же здесь взять для них воду, когда Кура иссыкает, не добравшись до Каспия, когда весной

нехватает воды в арыках для орошения даже хлопчатника?.. Уж не попытаться ли отнять у хлопчатника его теплолюбивость, не сделать ли так, чтобы сеять его в январе — феврале, когда еще выпадают дожди и даже снег?

Уж не начать ли высевать бобы под зиму, как на Украине сеют пшеницу и озимый ячмень? Ведь, зимы мягкие, влаги достаточно, да и в арыках в это время зря вода журчит...

Не попробовать ли? Раннеспелые сорта бобовых культур дадут уже в марте прекрасный питательный корм и для буйволов, и для лошадей, занятых на хлопковых полях...

Поезд стоит в Гандже десять минут. Проводник уже вручил билет, надо взять вещи, но это оказалось не так-то просто, потому что пассажиры, прельщенные дешевизной местных фруктов, толпятся в тамбуре.

Приехавший выбирается из вагона за минуту до отправления.

Его уже ждут.

— Вы—Лысенко, новый научный сотрудник?

Чьи-то руки подхватили чемодан, и тот же голос крикнул на всю станцию:

— Товарищи! Здесь он, приехал!..

Из буфета выскочили двое, представились, по-кавказски горячо пожали вновь прибывшему руки, и через пять минут просторный фаэтон уже колыхался по белой от пыли дороге, увозя на селекционно-опытную станцию трех старых сотрудников и одного новичка.

★

На грядках станции Лысенко высеял целую коллекцию бобовых культур и изо дня в день наблюдал за своими воспитанниками.

Взяв такие культуры, как горох, вика, конские бобы и чечевица, он больше всего надеялся на ранние сорта, которые должны были созреть в Азербайджане тогда, когда на Украине начнется весенний сев.

Но тут-то и ждал его сюрприз. Горох, который на Украине является наиболее раннеспелым, повел себя в Кировабаде, как самый позднеспелый, а позднеспелая «виктория» оказалась раннеспелой.

Тут было, над чем задуматься. Широты, климат, другие внешние факторы, будучи разными, по-разному влияли на развитие растений, на их рост, цветение и созревание. Но в чем секрет, каков механизм этих процессов, — сказать было невозможно без дополнительных исследований и наблюдений.

И вот, начав со скромных бобов, молодой ученый сделал важное открытие. После ряда опытов он обнаружил, что различные сорта одной и той же культуры для своего роста и развития могут требовать различных внешних условий.

Чем меньше соответствует внешняя среда природе растений, тем медленней и хуже эти растения будут развиваться. При особо же неблагоприятных условиях они не только не дадут плодов, но и не зацветут, то-есть поведут себя так, как ведет себя озимая пшеница, высеянная не под зиму, а весной на Украине.

Этот вывод был, в общем, скромен, но с него-то и начал размахиваться весь клубок закономерностей.

Что значит ярь? Что значит озимь? Противоположны ли они по своему существу друг другу или нет? Заложены ли их свойства в генотипе растения или же создаются в процессе его развития? Опыты, проделанные Лысенко, показали, что резкой грани между яровостью и озимостью нет, что поведение одних и тех же сортов пшеницы, овса, ржи и т. д. может быть в различных условиях различным: озимые, ранние яровые, позд-

ние яровые—все это не больше, как ступеньки одной и той же лестницы, по которой восходят и нисходят растения в зависимости от разного рода внешних факторов. Изменяя внешние условия, можно позднеспелые формы сделать раннеспелыми, озимые—яровыми, яровые—озимыми. Какой простор, какие перспективы для селекции, для создания тысяч новых растительных форм, для расширения ареалов старых, для упрочения лучших, для торжества науки в сельскохозяйственной практике.

Подытоживая свои наблюдения, Лысенко живо представлял себе, как по широкому-широкому полю движется гигантская сеялка, разбрасывая новые семена. Он уже нашел способ их обработки. Начав с изучения длины вегетационного периода у бобовых, установив взаимную связь между сроками вегетации и условиями внешней среды, он попытался воздействовать на последнюю и убедился, что холод, который обязательно нужен озимым растениям, можно создавать искусственно, еще в амбаре, до высева семян в поле.

Правда, каждый сорт в разных условиях требовал разных температур и разных сроков охлаждения. Но это не смутило молодого ученого.

Так прошел год, за ним другой, третий. Лысенко, подытоживая свой опыт, последовательно выводил новый закон стадийного развития растений.

Наконец, он решил, что новому закону дальше незачем пребывать под спудом.

★

— ... Весьма знаменательно и то, что наш съезд открывается, уважаемые коллеги, именно здесь, в Ленинграде. Я позволю себе напомнить, что Ленинград—родина генетики. Да, да, именно в этом городе сто шестьдесят лет назад академик Кольрейтер впервые начал свои классические опыты по скрещиванию растений. В «Известиях» нашей Академии наук напечатаны все главнейшие труды первого в мире генетика Кольрейтера...

Оратор сделал паузу, в рядах захопали.

Горячо аплодировали генетики, более сдержанно—селекционеры, семеноводы и знатоки племенного животноводства. Последние смутно представляли себе «классические опыты», сделанные в XVII столетии, а иные, будучи сугубыми практиками, даже и не слышали о Кольрейтере.

Среди двух тысяч делегатов первого Всесоюзного съезда генетиков и селекционеров находился и Лысенко. Ганджинская опытная станция выдвинула его своим представителем на съезд. В числе трехсот докладов и сообщений, которые предстояло съезду заслушать, значился и его доклад.

Правда, выступить ему предстояло не на пленуме, а в секции, но это только радовало молодого исследователя: в секциях больше делового подхода. Радовало и то, что среди селекционеров были люди, выведшие по нескольку собственных сортов растений. Им будет интересно узнать, что между озимостью и яровостью принципиальной разницы нет, что сорта озимых культур теперь можно переделывать в яровые, а значит, можно и вообще переделывать природу растений.

Переделка природы растений!..

Эти три слова не были записаны у Трофима Денисовича в тезисах, но их он хотел видеть на знамени дальнейших исследований в лабораториях и институтах, на полях опытных станций, на узеньких делянках любителей и на полях сельскохозяйственных коммун, артелей, товариществ...

Да, так, только так должно строиться дело. В связи теории с практикой—залог успеха самой науки.

★

— Что он, собственно говоря, предлагает? — брезгливо поджимая губы, спросил у своего молодого соседа пожилой ученый в золотых очках.—Если говорить о холодном проращивании, то это далеко не ново...

— Предлагает мочить пшеницу, как воронежские бабы мочат бобы,—хихикнул молодой.—Страшно оригинально...

Тот, что был в золотых очках, не

первый год возился с так называемым «методом холодного проращивания» озимых культур.

Правда, в основу эксперимента была положена не своя, а чужая идея. Еще в 1918 году немецкий профессор Гаснер опубликовал работу, где доказывал, что озимые на первом этапе своего развития требуют холодного периода. Взяв семена озимой ржи, Гаснер проращивал их в своей лаборатории при температуре, хотя и положительной, однако очень близкой к нулю. Когда корешки достигали двух-трех сантиметров, Гаснер высаживал свои растеньица на грядки и в отдельных случаях добивался колосения.

Лысенко знал об этих опытах, интересовался ими, но в своих экспериментах шел собственным путем. Объяснение Гаснером озимости не удовлетворяло его. Что значит—«растение требует холода»? Необходимо выдерживать на холоду, пока корешки не вырастут до 2—3 сант. Разве не бывает так, что и без холода, пробыв в поле всю зиму, оказавшуюся на юге особенно теплой, растения летом тем не менее колосятся, и не на грядках, а на огромных площадях хозяйственных посевов?

Нет, Гаснер ошибался, как ошибались до него и другие исследователи, полагавшие, что озимые культуры для своего плодоношения требуют... промораживания. Ведь можно выращивать озимые в таких условиях, где никакого промораживания не будет, и все-таки эти растения во многих случаях выкинут колос...

Ничуть не лучше было и третье объяснение: озимые, дескать, требуют для своего нормального развития определенного «периода покоя», то-есть приостановки на некоторое время своего развития. Этот «период» приходится, мол, на зимнее время года, когда растения «отдыхают», а потому, посеянные весной и все время после того растущие, такие растения не могут развить колосьев и дать зерно.

Работая в Гандже, Лысенко знал, что это не совсем так, что можно и озимку, высеванную весной, заставить летом колоситься.

★

В нужности и полезности своих опытов молодой исследователь никогда не сомневался. Больше того, едучи в Ленинград, он был уверен, что самое главное теперь уже сделано, что его короткий доклад на съезде генетиков и селекционеров явится мощным толчком для того, чтобы теорию претворить в практику. Его скромный опыт будет бесконечно расширен, и он сам, принеся пользу народу, обоснует тем самым свое право на дальнейшие теоретические исследования.

И вдруг все поколебалось. Самый, казалось бы, цвет науки, все те, на кого он вправе был рассчитывать в своих исканиях, воздвигли перед ним китайскую стену отчужденности и постарались замолчать, замять, затереть.

В общей прессе были помещены большие статьи руководителей съезда, но авторы не соблаговолили даже хотя бы вскользь упомянуть о проблеме, над которой Лысенко так упорно работал почти четыре года.

Он был бы рад, если бы его опыты были повторены хотя бы одним человеком. Он был бы счастлив, если бы нашлись десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч таких опытников.

В существовании этих людей он не сомневался. С некоторыми из них он даже лично был знаком, но где они сейчас? Как дать им знать о том, что уже сделано? Как убедить их заняться немедленно проверкой ганджинских наблюдений, выводов?

Уж не бросить ли ему Ганджу?

Но разве он не гражданин своей страны? Осознав себя исследователем, добившись за три-четыре года исследовательской работы некоторых результатов, разве имеет он теперь право отказаться от дальнейших исследований на общее благо, на пользу науки, на пользу родной страны? Разве не об этом он мечтал, еще сидя на школьной скамье?

Лысенко вспомнил свои юные годы.

До революции в Карловке была одна-единственная церковно-приходская школа. Считалась она одноклассной, обучение было в ней рассчитано на три го-

да, но две трети учащихся обычно не доходили до старшего отделения: увидев, что мальчонка умеет читать-писать, родители считали образование законченным.

Денис Никанорович, отец Лысенко, человек грамотный и пытливый, был о науке иного мнения и дал возможность сыну учиться дальше: в 1913 г. Лысенко поступил в Полтавскую низшую сельскохозяйственную школу. Предметов там преподавалось немного, теория плохо увязывалась с практикой, и Трофим Лысенко мечтал о том, как бы перебраться в Умань, где была единственная на всю Россию средняя школа по садоводству.

Через три года, оставаясь учеником Полтавской школы, будущий исследователь приехал в Умань держать экзамены. Экзамены сошли хорошо, но по «закону божию» Лысенко провалился и был принят только через год.

Вспомнилось, как стал он селекционером.

Это было в Киеве, в начале 1921 года. Он только-что кончил Уманскую школу. Незадолго перед этим Киев занимали поляки. Теперь их выгнали, и помолодевший древний город спешил очиститься от иноземного нашествия. Возобновили работу советские учреждения.

Держа подмышкой свернутый в трубочку аттестат, Лысенко стоял на лестнице ревкома и читал объявление.

Одно из них привлекло к себе внимание выпускника. Республиканская контора Главсахара набирала слушателей на курсы селекционеров. Каждый курсант обеспечивался пайком, койкой в общежитии и маленькой стипендией.

Через полчаса новый курсант уже получил номерок от койки, хлебную карточку, курсантское удостоверение и толстую тетрадь для записи лекций.

Работа на курсах пришлась ему по душе. Опытные станции Главсахара нуждались в селекционерах, и хотя преподавание почти исключительно касалось сахарной свеклы, Лысенко был доволен. Курсы давали ему то, чего не было в школе.

Окончив курсы, Лысенко работал на Белоцерковской селекционной станции

Главахара, одновременно учась в Киевском сельскохозяйственном институте.

Совмещать учебу с работой было очень трудно, но жажда знаний была велика, и летом 1925 года он окончил институт.

★

Раздумывая над тем, как бы связаться с опытниками-крестьянами, которые помогут ему проверить полезность его опытов, Лысенко, возвращаясь из Ленинграда, решил съездить к отцу.

Давно уж не бывал он на родине. Уехав в Закавказье, каждый год собирался проведать старика отца, но всякий раз поездку приходилось откладывать, так как ганджинские опыты требовали неусыпных наблюдений. И вот он в Карловке.

Вечером, оставшись с отцом, молодой ученый принялся рассказывать о своих опытах: с чего он начал свои опыты, как их продолжал, о докладе на съезде генетиков и селекционеров и о чем докладывал на съезде. Как приняли, тоже рассказал.

... Через полчаса все было решено. Сын рассказал отцу, как надо подготовить озимые семена к весеннему севу, как следить за процессом охлаждения, как, наконец, уловить подходящий момент для высева.

★

Сообщения газет не оказались для Лысенко неожиданностью. В успехе оригинального посева он как будто бы не сомневался: должно было вырасти — и выросло. Но сколько было душевных волнений, навязчивых мыслей — а вдруг противники ученые-возражатели правы? Вдруг я ошибаюсь в теории, и озимая, посеянная отцом, весной, не выколосится. Тогда эти ученые правы, и мне нечего в науку лезть... Препятствие взято, в хозяйственных условиях выращен один гектар. Возвести об этом на весь мир.

И в тот же вечер, взяв кратковременный отпуск, уехал на Украину.

★

В Ганджу, Харьков, Одессу, Карловку, Полтаву из всех уголков страны шли в адрес агронома Лысенко многочисленные письма. Больше всего было писем от крестьян-опытников, колхозников, особенно из засушливых районов, писали агрономы, партийные работники, студенты, школьники, рабочие, домашние хозяйки.

Позже пришло несколько писем из-за границы. Немцы и американцы интересовались «опытами доктора Лысенко».

Лысенко не знал, что ему делать со всеми этими письмами. Не отвечать он не мог. И вот, освободившись, наконец, от всевозможных заседаний и комиссий, он сел в маленьком номере харьковской гостиницы за стол и принимался за ответы.

Уехать бы скорей. Все равно куда, лишь бы был клочок земли, семена и живые растения, которыми он мог бы заняться.

Наконец, его отпустили.

— Учтите только, — сказали на прощанье, — что вашей лаборатории в Одессе, в сущности, еще нет. Помещение получите, кредиты уже открыты, но тематика, люди, планы — все это на ваше усмотрение, все зависит от вас...

Говоря так, опасались, что он раздумает, не захочет обживать новые места и вернется в Ганджу.

Но Лысенко, наоборот, был только рад. Менее всего желал он быть вовлеченным в орбиту общеполитических дел, ибо к той науке, которая там в те годы процветала, не испытывал он ни малейшего уважения. Людей, работавших в Одесском институте селекции и генетики, он еще не знал, но с планами был знаком, и эти планы, так же, как и научная тематика института, поразили его своей оторванностью от жизни, своей беспочвенностью и пренебрежением к запросам практики.

Расположенный за городом институт жил обособленной, замкнутой жизнью, каждый научный работник кустарничал,

как ему вздумается. Одни и те же опыты ставились годами, не приближаясь к разрешению поставленной задачи, а иногда и вовсе не имея таковой.

Осмотревшись в Одессе, Лысенко разгадал причину этой косности. Большинство научных работников стояло на неверных теоретических позициях.

Эти ученые пребывали в убеждении, что невозможны коренные сдвиги природы растений: позднеспелость есть позднеспелость, озимь не ярь, ярь не озимь, хлопок — теплолюб и теплолюбом навеки останется, картофель родит на севере и вырождается на юге, и, вообще, Волга впадает в Каспийское море и никуда больше.

Лысенко стоял на совершенно иных позициях.

Силы нового строя, сила пролетарской диктатуры переделывали на его глазах город и деревню. В мире растений не только нужна, но и возможна переделка, которая поставит природу на службу новому обществу.

И он искал, он исследовал. Беседуя с опытниками-колхозниками, он учился у них и учил сам, и если что смущало его, то только недостаток времени, чтобы успевать и беседовать, и ставить опыты у себя, и рекомендовать их проверку по колхозам.

Пока самым главным делом была разработка методов обработки семян перед посевом. Яровизацией, как окрестили этот новый метод, увлекались и в Наркомземе, и на местах. На 1930 год планировался засев яровизированными семенами огромных площадей в колхозах и совхозах.

Для различных сортов требовалось уточнить сроки яровизации, требовались дальнейшие опыты.

У Лысенко были большие планы, и он понимал, что не справится с ними, если не найдет себе надежных помощников.

Один из таких помощников нашелся сам. То был рабочий Родионов, коммунист, человек пытливый, горячий и дельный.

Оставаясь при институте, Родионов незаметно организовал оригинальный отдел связи с колхозами: получал отсюда письма, отвечал на них, советовав-

шись сначала с Лысенко, высылал опытникам литературу, инструкции; на следующий год начал получать образцы семян, повел учет того эффекта, какой дала на местах яровизация.

★

Лысенко ценил созданный Родионовым новый отдел, который не только облегчал его работу, но и обогащал ее. Просматривая полученные с мест письма, отчеты, таблицы, он проверял себя и находил то новое, что проливало свет на его собственные поиски и размышления.

Он не имел больше оснований сомневаться в правильности своей теории. Его не смущали высказывания отдельных академиков. Больше того, он был рад, что удалось, наконец, разрушить заговор молчания. Его ответ академикам оказался не только ударом по формальной генетике и по антидарвинистам, но мощным набатом, зовущим молодые силы к подлинной исследовательской работе.

Яровизация как агротехнический прием теперь не могла его особенно интересовать. Все дело уже свелось к простенькой инструкции, из которой каждый мог вычитать, как надо яровизировать яровые культуры, чтобы сократить на несколько дней обычные сроки их вегетации, как яровизировать семена различных овощей, свеклы, картофеля.

Уже в 1930 году, в опытах с посевом озимых культур весной, «украинка» дала в коммуне «Первое мая» 17,2 центнера с гектара, в колхозе «Батрак Украины» — 21,4 центнера, в коммуне «Ильич» — 27,3 центнера, больше, чем любая яровая культура, посеянная в том году весной.

С этого и пошла яровизация как один из технических приемов для повышения урожайности. Практическое значение этот прием получил для яровых культур. В 1931 году в СССР было засеяно яровизированными семенами 3—4 тысячи га, в 1932 г. — 43 тыс. га, в 1933 г. — 200 тысяч га, в 1934 г. — 600 тысяч га, в 1935 г. — 2.100 тысяч га.

Но значение яровизации не исчерпывалось ее качеством агротехнического приема. Исследуя явления озимости и яровости однолетних культур, Лысенко открыл закон стадийного развития растений.

Растение развивается по этапам или стадиям, — перескочить через ту или иную стадию своего развития ни одно растение не может, стадии необратимы, на каждой стадии своего развития растение требует особых условий, отличных от условий в предыдущей стадии, — это все было открыто и блестяще обосновано автором.

Развивая теорию, Лысенко сразу же нашел, как применить ее на практике. Озимым культурам, в числе других условий, требуется на первом этапе холод. Только потому они и не колосятся летом, что при весеннем посеве им в поле бывает слишком жарко. Лысенко дал им холод тогда, когда семена находились в амбаре, установил, что первая стадия может быть пройдена даже в мешке, лишь бы семена тронулись в рост, — так возник технический агроприем яровизации.

Продолжая и дальше свои исследования, Лысенко устанавливает, что есть и вторая стадия, где одним из решающих факторов развития является свет, количество света. Растение может пройти первую стадию и вступить во вторую, но если световые условия для него не подходят, то оно будет расти, а развиваться не будет, — будет тянуться вверх все выше и выше, а плодов так и не даст.

Установлено было влияние света, и новая стадия была названа световой.

Зная теперь, что рост и развитие — не одно и то же, имея в руках могущественный метод, Лысенко стал думать уже не только о том, как создавать для растений нужные им условия, но и о том, как бы переделать самую природу растений, чтобы их удовлетворяли уже имеющиеся условия.

Чего недостает хлопчатнику, чтобы цвести на севере? Почему картофель выродается на юге? От каких причин вымерзают цитрусы в умеренном поясе? «Жарко», «холодно», «мороз» — ведь

это все слова, голые утверждения наблюдаемых фактов, а отнюдь не объяснения.. Ведь приспособляются же отдельные растения. Значит, на какой-то стадии можно дать растению то, что ему нужно, и тогда весь цикл развития обеспечен..

Эти вопросы волновали Лысенко, и вот почему он так сердился, получая вызовы на разного рода заседания: он хотел, он страстно хотел оставаться исследователем.

И он им остался.

Украинская Академия наук избирает агронома Т. Д. Лысенко своим действительным членом, а правительство УССР, отмечая его заслуги перед сельским хозяйством, награждает орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре после того Лысенко становится действительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, где встречается с теми, кто в 1929 году на съезде генетиков и селекционеров не желал с ним даже разговаривать.

Перестраивается, наконец, Одесский институт. Начав с организации маленькой лаборатории, Лысенко и его школа завоевывают институт изнутри, перестраивают его тематику и планы, ставя науку на службу социалистическому земледелию.

Лысенко — руководитель по научной части, а затем и директор института — продолжает свое дело: он развивает теорию и обогащает практику, не переставая оставаться исследователем природы.

Имя Т. Д. Лысенко становится в стране одним из самых популярных. Колхозники знают его труды по печати. Его статьи помещаются в журналах и газетах. Его книги выходят большими тиражами. Двадцать тысяч хат-лабораторий на Украине, десятки тысяч таких же колхозных лабораторий в РСФСР и других союзных республиках дружно двигают вперед новую сельскохозяйственную науку.

★

Иван Владимирович Мичурин испытывал легкое недомогание.

За последние три-четыре года это случалось с ним всякий раз, когда приходилось ломать установившийся порядок.

Правда, вчера и день был исключительный. Не выехать в город, не сидеть в президиуме торжественного заседания, не слушать пространных речей великий старик не мог. Вчера вся страна праздновала его юбилей, как большой межнациональный праздник.

Пышность чествования не утомила его в той мере, в какой он этого опасливо ждал. Нет, она даже обрадовала его, обрадовала тем, что через нее правительство показало массам всю важность дела, которому он отдал всю жизнь.

На чистеньком дворике перед домом юбиляра былолюдно, шумно и весело. Десятки столичных журналистов, колхозники со всех краев страны, школьники и рабочие, молодежь из близлежащего совхоза, фотографы толпились под окнами, ожидая экскурсоводов.

Группа вновь подошедших, посовещавшись в сторонке, выделила делегата, и тот, получив инструкции, смело шагнул на порог красного кирпичного домика.

— Не забудь сказать, что с нами Лысенко! — крикнул звонкий девичий голос. — Пусть сделают исключение!..

Минут пять прошло в томительном ожидании.

Вдруг распахнулась дверь, и на крыльцо выбежал один из сотрудников питомника. Человек этот был возбужден, его глаза бегали по толпе, кого-то выискивая.

— Кто здесь Лысенко? — крикнул сотрудник.

Из толпы выделился человек в косоворотке и подошел к крыльцу.

— Я — Лысенко, — сказал он просто.

Сотрудник рассмеялся.

— Нет, братец, — сказал он, похлопывая по плечу подошедшего. — Ивану Владимировичу нужен академик Лысенко.

— Я и есть академик Лысенко, — ответил тот с прежней простотой.

Сотрудник сообщил, что Иван Владимирович рад видеть у себя столь дорогого и желанного гостя.

Великий старик радушно принял молодого ученого.

— То, что я прочитал у вас, открыло мне глаза на многое, — сказал Лысенко. — Ваши труды для нас незаменимое руководство. В них — новая наука, которая переделает мир...

— Да меня-то уж никто не переделает, — с оттенком горечи сказал Мичурин. — Слышишь, никто!.. А, ведь, я только сейчас к самому главному-то подхожу. Подошел к искусственному вмешательству в экологические условия... Как у вас с яровизацией?

Лысенко начал рассказывать о последних работах своего института.

Мичурин слушал внимательно, каждое слово собеседника вселяло в него все большую уверенность, что дело, начало которому он положил полвека назад, в надежных руках: есть достойные преемники.

★

В беседе с Мичуриным Лысенко почерпнул новые силы для борьбы за свои идеи, которые, как он в этом теперь все больше убеждался, были вместе с тем и идеями Мичурина; перечитывая теперь его печатные труды, Лысенко находил в них такое, что раньше оставалось незамеченным, и поражался проницательности мичуринского гения.

В новом свете раскрывалось и наследство великого Дарвина. Многочисленные факты, в которых раньше так трудно было разобраться, теперь обяснялись теорией стадийного развития.

Одесский институт селекции и генетики перестраивался, но не так быстро, как того хотелось Лысенко.

Новая генетика завоевала институт изнутри. Группа молодых и способных ученых во главе со своим академиком все полней и глубже разрабатывала теорию стадийного развития растений, и эта теория уже не первый год обогащала колхозно-совхозную практику.

Иначе обстояло с селекцией. Семь тысяч различных сортов одной только пшеницы произрастали на территории

института, и селекционеры, хорошо зная каждый сорт в отдельности, не могли создать ни одного сорта собственного, который можно было бы рекомендовать для массового распространения. Занятый первые годы почти исключительно яровизацией, Лысенко не мог уделять достаточного внимания вопросам сортового отбора. Теперь он подошел к ним вплотную и пришел в ужас: семь тысяч сортов, собранных со всех уголков планеты, и ни одного собственного сорта...

Нужно было что-то предпринимать, чтобы богатейшая коллекция, сейчас мертвая, инертная, наконец, задвигалась, ожила, начала бы служить социализму. Нужна новая, четкая, ясная методика, нужно так подобрать пары для скрещивания, как это делал с плодово-ягодными культурами Мичурин: брал одно «плохое», другое «хорошее», а получал после скрещивания... лучшее.

Лысенко уходил с поля в лабораторию, из лаборатории в теплицы, оттуда опять в поле, а с поля, глядишь, куда-нибудь в канцелярию.

Вечером садился писать письма.

Писал и о картофеле. Требовал, чтобы планы по картофелю были пересмотрены, требовал включения в эти планы летних посадок, столь блестяще себя оправдавших.

Застенчивый в обращении человек, он находил яркие слова и формулировки, козь скоро дело шло о продвижении в жизнь, в практику всего того, что успевала отвоевать молодая, новая наука у вечно старой, вечно юной природы.

Работал, как в студенческие годы. Порой забывал о времени. Читал и писал до утра. Утром засыпал, не раздеваясь, через два-три часа опять был на ногах.

Едуци в 1929 г. на съезд генетиков и селекционеров, Лысенко не ждал триумфа. Выбод, который следовал из его трехлетних экспериментов, слишком расходился с обычными воззрениями, чтобы немедленно быть принятым. Лысенко рассчитывал на дискуссию, на проверку ганджинских опытов другими станциями, на то, что будет борьба, которая и покажет, кто же, в конце-концов, прав.

Ничего подобного не случилось. Борьба развернулась, но не совсем в том плане, какой рисовался Лысенко.

На первом этапе «ученые» огульно пытались отрицать эффективность яровизации, как агротехнического приема. «Нуждается в проверке», «ничего не дает», «далеко не ново», — вот что говорилось на ученых собраниях и писалось в специальной прессе.

Прошел год, яровизация вышла на поля целой тысячи колхозов и дала прибавку урожайности всюду, где была применена, и «ученым» пришлось срочно перестраиваться. «Интересно», «кое-что возможно и дает», «не особенно ново», «нуждается в уточнении», сам Лысенко — «талантливый практик», — эти песни зазвучали на втором этапе.

Третий этап... «Талантлив, очень талантлив... Можно мочить семена, потом охлаждать и сеять... Как будто что-то и получается...». И тут же эдаким шипом змеиным, вполголоса: «Но, помилуйте, причем здесь наука? Вот он и с картошкой что-то делает... Однако, разве это наука? Где база, где научная теория?.. Нет, знаете ли, мы не отрицаем его заслуг перед земледелием, но... это еще не наука...».

Так шептали.

И не видели, как росла новая сельскохозяйственная наука, как в союзе с массами, с колхозниками и рабочим классом страны строила она новое чудесное здание социализма.

Приглашение Лысенко на второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников в феврале 1935 года лишней раз засвидетельствовало, что новая наука не просто существует, но растет и побеждает, что есть у нее свои кадры, свои достижения, — наконец, самое главное — есть своя действенная теория, каждодневно подтверждаемая великолепной социалистической практикой.

Когда на трибуну съезда взошел Лысенко, когда произнес он оттуда свою замечательную речь, когда сам Сталин, слушая молодого исследователя, воскликнул: «Браво, товарищ Лысенко, браво!», — то и враги, и друзья (равнодушных не было и быть не могло) почувствовали, что, кроме теории, суще-

ствует и ее творец, и творец этот взращен народом, воспитан партией, правительством, страной, и самая наука, которую он так блистательно представляет в своем лице, есть наука народа, наука масс, переделывающих мир, та наука, где верным помощником Маркса и Энгельса был, сам о том не подозревая, Чарльз Дарвин, верным помощником Ленина—Мичурин, Лениным, в сущности, и открытый, а теперь есть Лысенко, которого показал всей стране, всему народу Иосиф Виссарионович Сталин.

Вот почему так волновался перед своим выступлением Лысенко, и вот почему такой замечательной по содержанию оказалась его речь.

Сходя с трибуны, Лысенко приобрел миллионы друзей, но также и тысячи врагов. Но многочисленность друзей не вызвала у него головокружения, так же, как бешенство врагов не породило и тени боязни. Нет, теперь он больше, чем когда-либо, верил в торжество социализма, которому служила новая наука.

Выступая в конце декабря 1935 г. в Кремле, на совещании передовиков урожайности, Лысенко представил партии, правительству, стране своего рода творческий отчет. Просто и ясно было сказано в нем о принципиальных расхождениях со старой наукой, указаны и доказаны ее основные ошибки, показано, какими путями идет новая сельскохозяйственная наука, чего добились она на этих путях, каковы дальнейшие ее планы и перспективы.

Возгласы одобрения, аплодисменты, бурные аплодисменты, веселый смех десятки раз прерывали эту замечательную речь, а когда Лысенко кончил и сошел с трибуны, ему устроили бурную, продолжительную овацию.

В новый тысяча девятьсот тридцать шестой год сельскохозяйственная наука вступила бодро и уверенно. Умножилось число опытников в колхозах. Больше стало в стране хат-лабораторий. Теория стадийности, обогащенная новыми фактами, легла в основу коренной, массовой переделки природы растений.

На груди же творца теории засиял орден Ленина, высшая награда в стране социализма.

★

Осенью 1937 года в Одессе, в Институте генетики и селекции, состоялось совещание колхозников-опытников Украины, РСФСР и других республик.

Сидя в президиуме, академик слушал очередной доклад. Докладчику аплодируют, и в его лице совещание приветствует многочисленные кадры новых людей, пришедших в сельскохозяйственную науку. Их много, и лучшие их представители здесь.

Вот сидит Терентий Мальцев.

Там, в глуши, где-то под Шадринском, Мальцев самостоятельно организовал в родном колхозе хату-лабораторию, связался через нее с большими научно-исследовательскими учреждениями Москвы, Ленинграда, Омска, Одессы, получил оттуда коллекции семян, высаял эти семена.

Лысенко смотрит в зал. Немало там знакомых, близких, родных ему по общему делу людей. Колхозная жизнь создала их и теперь продолжает учить, растить, воспитывать.

Вот сидит Иван Литвиненко. Парень молодой, а уже сегодня есть ему, о чем рассказать, — успешно скрестил он египет с пшеницей, получил гибридные семена, успел их высаять и получить второе поколение...

Вот молодой колхозник Казимир Мошинский. Мошинский опроверг тех, кто предрекал снижение урожая от применения яровизации.

Рядом с Мошинским сидит Деркач из колхоза «имени Коммунистического Интернационала». Тот самый Деркач, над которым так все потешались, когда он для борьбы с озимой совкой предложил разводить особой породы мушку. Но когда эта мушка начала откладывать свои личинки, когда выросшие личинки принялись истреблять совку, колхозники перестали смеяться и с тех пор зовут Деркача «собственным академиком».

Много ли он, Лысенко, мог сделать, если бы не было этих людей? Не с ними ли он разрабатывал свою теорию, не они ли проверяли каждое ее движение, каждый новый шаг? От них, только от них, взяла новая наука и свои бурные

темпы, непрерывно обогащая практику и сама на этой основе все время обогащаясь.

Два года назад, в Кремле, на совещании по вопросам сельского хозяйства, Лысенко вызвал на соревнование всех тех ученых, кто не верил в новую науку, кто оставался рабом прошлого и отрицал творческую роль человека в начавшейся перестройке природы.

Прошедшие два года не только доказали правоту Лысенко. Они еще и разоблачили тех, кто под видом защиты «чистой науки» боролся против партии и советской власти, проповедывал фашизм с его расовой теорией, за которой пряталось гнусное людоедство. В то время как страна, с великим энтузиазмом утвердившая новую Сталинскую Конституцию, готовилась к выборам в Верховный Совет СССР, эти прохвосты вели свою подлую подрывную работу, продавались иностранным разведкам, готовили народу голод, поражение в будущей войне и каторжное ярмо капитализма на шею.

Не вышло. Сорвалось.

... Объявляется перерыв. Сосед слева наклоняется к Лысенко, улыбается широкой улыбкой, протягивает свежий номер «Правды».

Академик Лысенко читает:

«Постановление окружной избирательной комиссии Ново-Украинского избирательного округа (Одесская область) по выборам в Совет Союза о регистрации кандидата в депутаты Совета Союза академика-орденоносца.

ТРОФИМА ДЕНИСОВИЧА ЛЫСЕНКО»

★

Гибридизацию как скрещивание двух видов растений путем опыления, т.-е. половым путем, представители формальной генетики не отрицали. Там для них все понятно... Сливаются две половые клетки, образуя зиготу, и так как обе клетки от растений разных сортов, то в результате скрещивания получается новый сорт, в той или иной мере обладающий свойствами обоих родителей.

Но как можно получить новый сорт путем пересадки одной ткани на дру-

гую? Какие силы заставят их слиться и образовать новый сорт? Мичурин получил такие гибриды, но ученые мужи не признавали их: либо вовсе отрицали самый факт получения вегетативных гибридов, либо — когда отрицать было невозможно — объявляли такие растения «химерами».

Вырастив из семян целое племя, Мичурин отбирал лучшее, но и это лучшее стремился улучшить путем соответствующего воспитания молодых сеянцев. Значит, и тут не просто условия, необходимые для «вещества наследственности», а создание нужных условий, т.-е. творчество человека.

Так, в частности, возник мичуринский метод менторов. В крону молодого сеянца Мичурин путем прививки вводил черенки другого сорта. Этот другой сорт и являлся ментором, т.-е. воспитателем молодого сеянца, — в результате получились вегетативные гибриды.

Если заставить столоны (подземные побеги, на которых развиваются клубни) одного сорта картофеля питаться продуктами ассимиляции листьев другого сорта картофеля, то должны получиться клубни новой породы. Они должны обладать в разной степени свойствами и одного, и другого сорта. Сделать это легко с помощью прививки: к стеблям одного сорта нужно привить черенки другого.

Лысенко не смущало то, что такие прививки делались неоднократно и раньше и не давали никаких гибридных клубней. Очевидно, для успеха дела требовалось умело заставить клетки одного сорта ассимилировать («поглощать») подставляемую пищу, вырабатываемую другим сортом. Нужно было также учесть избирательную способность клеток живого организма к пище.

Первые результаты получились обнадеживающие. Последний осмотр прививок показал Лысенко, что привитые растения развиваются нормально, не болеют. А это значило, что скоро будут получены новые сорта, которые нужны сельскому хозяйству, но которых еще не было в природе.

Легко представить себе, как много может дать вегетативная гибридизация,

когда она выйдет на колхозные поля, проникнет в сады, бахчи и огороды. Будут раздвинуты границы многих и многих культур.

Академик-исследователь Лысенко о своей личной роли в этом огромном деле говорит мало. Всю заслугу он приписывает Мичурину, чьи замечательные труды — основа новой советской, подлинно научной генетики.

Прениям, казалось, не будет конца.

Обсуждался проект новой структуры Всесоюзной академии им. В. И. Ленина.

Руководя собранием, новый президент испытывал досаду.

Не потому ли так отстала академия от жизни, что слишком много заседала, слишком много разглагольствовала? Большой коллектив ученых, а настоящей-то, подлинной науки еще маловато.

— Значит, вы предлагаете создать новый институт? — бросает президент реплику оратору. — Институт или... лабораторию?

— В крайнем случае можно и на лабораторию согласиться, — отвечает оратор, — но лучше всего, разумеется, институт...

— Не выйдет! — говорит президент. — Не выйдет! Вы дайте человека, человека, который понимал бы это дело, который рос бы на этом деле, вот что нам нужно, а коробку... коробку — институт там или что другое — мы всегда сможем придумать!.. Есть у вас такой человек? Тут исследователь нужен, с него надо начинать, а вы хотите создать штаты, построить дом, квартиры.

Еще в Одессе Лысенко понимал, почему академия, как таковая, не справлялась с задачами, какие ставили перед ней партия, правительство, страна. Руководство академии — ее президиум — было оторвано от науки.

Перестраивая академию, Лысенко нащупывал под ногами почву, которая должна была питать его, как исследователя. Узнав о своем переезде в Москву, он в первый момент ужаснулся. Неужели его исследовательская работа кончена?

Но вскоре он увидел, что его считают исследователем, подходящим для того, чтобы вернуть науку в академию, и что он обязан оправдать высокое доверие.

Так оно и оказалось. Когда Лысенко заявил в Наркомземе, что без перестройки академия жить не может, ему ответили, что пусть перестраивает...

— Скажите, пожалуйста, — наклонился президент к своему соседу, — Немчиновка от Москвы далеко?

— Совсем близко, — отвечает тот шопотом. — Это по Белорусской дороге, километров двадцать, если не ошибаюсь.

И он решает сегодня же съездить в Немчиновку. Там, насколько ему известно, имеется небольшая опытная станция. Кто там работает, над какими темами, — этого он точно не знает. Но ему нужна земля, почва, делянки, участки, где можно работать.

Свое выступление президент начал с простых вещей — с того, что без знания руководить нельзя, что надо всегда знать, чем руководишь, для чего стараешься.

Казалось, что то была не речь, а простой разговор, но дальше он уже гремел о науке, которая не может не расти, о силе науки, способной творить чудеса в союзе с массами, с народом, — о народе, который всегда поддержит науку, раз она ему помогает, — о партии, которая помогает науке, требуя от ученых только одного — честного труда, добросовестности в исследованиях, социалистической устремленности, горения во имя высших идеалов человечества.

Когда кончилось заседание, Лысенко торопливо сбежал вниз.

Загудел мотор.

— Куда, Трофим Денисович? — спросил шофер.

Лысенко рассмеялся.

— В Немчиновку, дорогой товарищ. Знаете, где Немчиновка?

Глядя вперед на дорогу, Лысенко думал о том, что никогда не перестанет быть исследователем.

Шелковая ткань

ОЧЕРК

П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК

★

1

В лесном окружении, по зыбким торфяникам протянулась болотная речка Загребка. Вся местность вокруг именовалась: Цевье. По одну сторону Загребки выдался участок суши, словно гладкая щека на корявом лице земли, и люди обосновали там деревеньку. Так старожилы объясняли потомству неблагозвучное, странное название деревеньки: Щекавцево.

В годы последней турецкой кампании заявился сюда из города Коврова — родины пастухов — отец мой, пропапушничал в здешних деревнях некоторое время и обосновался в Щекавцево, поставив избушку-шалаш на отлете от улицы, потому что никак не соглашались старики-мироеды выделить землю чужому человеку: «Мало ли кого ворон в пузыре притащит!». Вскоре нанялся отец лесником в казенную Стромьинскую дачу, с жалованьем четыре рубля в месяц, и женился на крестьянке Параше Коротковой. Пошли у них дети, а я среди них был последышем и родился

Печатаем последнее произведение Павла Семеновича Логинова-Лесняка. Автор родился в 1891 году и жил до 20-летнего возраста в деревне. Печататься начал с 1912 года. В своих многочисленных произведениях — в романах «Дикое поле», «Боги на кострах», «Сотворение земли» и ряде других — П. С. описывал, главным образом, жизнь и классовую борьбу в деревне. 3 июля с. г. Логинов-Лесняк скончался после тяжелой болезни.

уже в новой избе на деревенском порядке, — избу отец построил, когда подросли старшие дети и от них была подмога хозяйству.

Все события и дела прошлого отчетливо вспоминаются мне лишь с девятого года моей жизни.. Обучившись азбуке и цифири, начал я углем пачкать стены, заборы, а однажды, наткнувшись на банку с остатком зеленой охры, размалевал на калитке двора большую знаменательную цифру «1900», — именно в возрасте девяти лет перешагнул я через порог двадцатого века.

И в эту-то пору обозначились все пункты и границы доступного мне мира. На севере проходила знаменитая Стромьинка — проселочный тракт на Москву, по которому в старое время мастерки мануфактурного дела возили в столицу изделия ручного ткачества. На этом пути пересекали они речку Ворю, около которой, по преданиям, подвизался легендарный разбойник Чуркин, схитившийся за богатой поклажей на возках тароватых мастерков. Оттого, будто бы, речка и стала прозываться Ворей, Ворьей речкой. А на юге шла Клязьма — богатая ситцевая Клязьма, и вдоль ее берегов проходили, по соседству друг с другом, чугунка на Нижний и столь прославленная каторжная Владимирка. С востока нас сторожила, вся в шелковом изобилии, речка Шерна, и уж от нее шел путь на Киржач, Алескидров, Юрьев-Польский, — сторона эта так и прозывалась «Ополица»,

2

Ничего я не знал, откуда и как оно произошло, но всюду на десятки верст кругом раскинулось царство челнока и пряжи. Мы, дети, забирались на колокольню ближнего Сергиева погоста, с затаенным вниманием вглядывались в далекие горизонты, где темными курчавыми барашками поднимались фабричные дымки. Лес, торфяники, Загребка — и сказочные мануфактурные «мызы».

За спиной взрослых подслушивали мы разговоры об этих мызах, о заработках, и в памяти застревают имена Морозовых, Четвериковых, Барановых, — ситцевые короли, властвовавшие над землей и людьми нашего края.

В центре всего междуречья Клязьма — Шерна — мануфактурная Глуховка, она же, по старой памяти, Жеребчиха — богатейшая фабрика на Клязьме, с десятком тысяч рабочих.

У Глуховки своя богатая история.

В конце восемнадцатого века в семье Силы Морозова, крепостного крестьянина, принадлежавшего помещику Рюмину, родился мальчик, в крещении названный Саввой. В детстве и ранней юности пришлось Савке поработать на шелковой фабрике Кононова — в длинных деревянных сараях, где шелк отваривался в простых печах, красился, разматывался на катушки, сновался на громоздких барабанах. В сараях стояли деревянные допотопные станы. Приглядевшись ко всему несложному этому производству, Савка решил поставить собственное производство, не хуже коновского. Барин-помещик дал Савке свое согласие. Савка вскоре уже имел в Зуеве маленькую фабричку шелковых лент и бумажных тканей, причем настойчиво брал уклон именно на бумажину, словно предугадывая, что Руси сермяжной не отвернуться от путей капитала, и в деревню проникнет торгаш с городской мануфактурой.

Савва наживался, богател, а за спиной его стоял помещик, который в любое время мог позвать Савву на конюшню и выпороть его в свое удовольствие. Начался торг с помещиком о цене вольной, и, наконец, выбросив своему бари-

ну семнадцать тысяч ассигнациями, Савва Силыч записывается в купечество.

Один из пяти сыновей Морозова, Захар Саввич, отправился вверх по Клязьме и, дойдя до Богородска, основал здесь раздаточную контору, причем работу брали у него не только из окрестных деревень, но даже до Киржача, Александрова.

Богородск только в царствование Екатерины получил свое настоящее имя. До тех пор он именовался Старым Ямом, потому что служил станцией для ямских, ездивших вдоль каторжной Владимирки. Но сами жители Яма называли свое село Рогожей, от него шел путь к Рогожской заставе в Москве, точно так же, как от московской улицы Стромьинки получил свое название древний Стромьинский тракт и село Стромьинь.

В сороковых годах Захар, отделившись от отца, купил у помещицы Жеребцовой 167 десятин земли вместе с селцом Жеребчихой на берегу Клязьмы, у Богородска. В селце жили крепостные крестьяне, которые оказались также проданными новому владельцу. Но Захару Саввичу крестьяне оказались не нужны: он отпустил их на волю, на все четыре стороны, — конечно, без земли. Жеребчихинцы почесали в затылках, подумали, что деваться им все равно некуда, и остались работать на стройке новой фабрики.

Через десяток лет в пайщики к Захару вошел Лев Герасимович Кноп (Кнооп), тот самый знаменитый Кноп, кто из-за границы ввозил для большинства русских текстильных фабрик того времени все машины, хлопок, пряжу, кто владел в нашем краю богатейшими лесными дачами, кто был воротилой в банках, делая всю политику на промышленно-текстильном фронте. Фабрика Захара росла с каждым годом. Хозяева скупали землю у всех окрестных помещиков, у казны. Скупали леса, торфяные болота, полевые земли. Заставили казну провести железнодорожную ветку от станции Степаново (Фрязево) до Богородска. Так выросла Глуховка, долгое время слывшая в народе под кличкой «Жеребчихи».

3

В те же самые годы, когда зачиналась Глуховка, по деревням и селам плодились новые доморощенные фабриканты-раздатчики, — они, как цыплята из скорлупы, вылуплялись из мастерков ручного ткачества, и это они заставили мужика притащить в свою избу нарядные шелковые основы.

Где-то рядом со старинным гнездом Ивана Грозного, городком Александровом, находилось обширное Берендеево болото. Речка Шерна долгие версты потянулась к болоту, чтобы напиться его водными богатствами, но ее опередила речка Киржач, тоже приток Клязьмы, и оттого рассердилась Шерна, круто свернула в сторону, прихватила дочку Ширенку да еще другую, Дубенку, и пошла гулять по заливным лугам Московско-Владимирского края.

Здесь, на Шерне, сто сорок лет тому назад и возникло ручное шелковое ткачество.

В сороковых годах прошлого века мелкие мастера расплодились по всему краю от заштатного городка Киржача до реки Клязьмы. Они возами возили шелковую ткань в Москву вдоль Стромынки и Владимирки, пугливо сторонясь встречных партий каторжан и опасаясь, чтобы ночь не застала их в пути. Поэтому и было по обоим трактам немало постоялых дворов.

Наиболее предприимчивые из мастеров проникали до Мурома, там погружали шелковые изделия на весельные «баржи», добирались до Каспия, а отсюда — на Кавказ, главным образом на Моздокскую ярмарку, а некоторые проникали в Персию.

К началу нашего века весь край — десятки, сотни деревушек — стал шелковым краем. Подытоживая годы пережитые, ткач измерял их многими и многими тысячами аршин шелковой ткани, собственно его рукой сотканной. Это была уже, в буквальном смысле, «бархатная» рука, ни к чему другому не способная: чтобы не путать тончайшие шелковые нити, ткач берег свои руки от царапин и мозолей, забрасывая свои и

без того ничтожные, крохотные полоски земли.

Пестрая шелковая лента тянулась от каждой избы и светелки, шелковые ленты сливались в один мягко и нежно журчащий поток бархата, плюша, канаса, тафты, атласа, креп-де-шина, парчи. Кто-то сильный и властный пришел в наши деревеньки, заставил стучать деревянные «станы», преждевременно согнал румянец на щеках девушек, подарил трем из четырех ткачей и ткачих чахотку, посадил семилетнего ребенка за шпульное колесо. Рабочий день 16—18 часов, полтинник среднего заработка, и единственная щедрость со стороны хозяина: пять дощечек бесплатно на гроб после смерти ткача. Таков был обычай.

В деревню пришел господин Капитал.

4

Были среди деревенских фабрикантов-раздатчиков свои бархатные, атласные, зонточные короли. Ходила молва о железных сундуках, сработанных специально выписанными для того кольчугинскими кузнецами. В тех сундуках прятали короли свои миллионы, нажитые на шелковом деле.

Почти рядом с Щекавцевым, по ту сторону реки Дубенки, стояла широко раскинувшаяся деревня Боровково, с двумя слободками и починком. Боровковские фабриканты-раздатчики слыли самыми богатыми по всей округе, у них брали работу ткачи из десятка окрестных сел и деревушек.

Все эти короли были выходцами из Киржацкого края. Когда-то они упорно, шаг за шагом, двигались поближе к богатой Клязьме. Однако, натолкнувшись на каменную стену фабрик, остановились вдоль речки Шерны, притока Клязьмы, быстрехонько забрали в руки все, что еще осталось тут нетронутым. Как нечистой силы, боялись они машинного производства, а пуще всего — многоэтажных фабричных казарм, чутьем угадывая, что в этих скопищах мызовских пролетариев зреет та сила, которая когда-нибудь да ударит молнией и громом по хозяйским лысынам.

Через Боровково, в сторону Киржача шел тракт из Богородска, где уже было в ту пору до сорока тысяч текстилей. По этому тракту, раз в год, накануне пасхи, шли к себе на побывку плисорезы из далеких киржацких и александровских деревушек. На фабрике Арсентия Морозова они работали плис, — не плис, тот красный миткаль, а именно плис, напоминающий бархат, особое, прославленное в те годы изделие морозовских фабрик.

В Боровкове плисорезы останавливались для подкрепления сил. Шагать им приходилось долго: кому сотню, кому полторы сотни верст. Это были люди пожилые, не желавшие расставаться со своими избенками и кое-каким хозяйством в деревне. Согнутые, костлявые спины, исхудалые, чахоточные лица, мутные, впалые глаза. В дороге, на свежем воздухе, плисорезы немножко оживали. Если казенка была закрыта, они посылали в шинок и после того тесной компанией занимали угол в чайной братьев Крымовых, своих сородичей, разбогатевших на торговом деле.

Так вот в чайную, где отдыхали плисорезы, шли любопытные со всего Боровкова, и мы, мальчишки, тоже протискивались в дверь просторного, но грязного, заплыванного трактира. Тут мы слушали, как старики изливались в жалобах на полное невнимание к ним, последним представителям племени плисорезов, на хозяйский прижим, на жадного гусяка Арсентия Морозова.

Были похожи эти плисорезы на калик-перехожих, мотавшихся между мызой и своими деревушками. Почувствовав, что слепнут глаза, плохо повинуются руки, старый плисорез, дождавшись очередной пасхи, прощался с мызой навсегда. Вот и сейчас один из таких отставных плисорезов сидит в кругу своих земляков, у ног его два мешка, нагруженных всяким старьем, — постель, одеяло, выходные сапоги, жестяной чайник и кружка. На ногах — опорки, а на плечах — зимняя шубенка.

— Ну, Иван Герасимыч, прощайся с крымовской чайной, — слышался сочувственный возглас. — Теперь уж не вернешься по наторенной дорожке.

Иван Герасимыч икает и крестится.

— Сорок пять лет потрудился, дай бог всякому!

— Чем же наградил тебя хозяин? А?

Отставной ткач беспокойно вертелся на табурете, трогал свои мешки с тряпьем, жестянками и сапогами.

— Вот сапоги... Все, чай, не голым в гроб укладут...

Разопревшие от долгого чаепития, плисорезы трогались, наконец, в дорогу. Закидывали свои мешки за плечи, гремели жестянками, шлепали опорками и, выйдя на улицу, шурились от яркого внешнего солнца.

5

Изба наша стояла как-раз у проселка, выходящего на Стромьинский тракт, до которого считалось семь верст. Тут находилось большое, но очень разоренное село Стромьинь, со своей «чудотворной» кипрской иконой. Якобы лет тридцать тому назад сия икона явилась во сне ткачихе, исцелив ее от недуга. Молва о чуде быстро разнеслась по всему краю. Стромьинцы воспрянули было духом, ожидая доходишков от богомольцев, но богатела лишь церковь, а село оставалось таким же голоштаным и лохматым. Стромьинцы только вздыхали да почесывали в затылке: у них по усам текло, а в рот не попадало.

Церквей у нас была уйма: поднимешься на одну колокольню, — увидишь десяток других. Как мухи к меду, липли к нашему ткачу всякого рода ту-неядцы. Через деревню шли странники, множество нищих, богомольцы к ближней Троице, бродяги, монахи, кликуши, юродивые, иоаннитки из Кронштадта. Иванушки-дурачки.

Часто появлялись «коты лосинские» — оборванцы, которых каждый гнал от своей избы. Происхождение этих «котов» таково. Где-то за Стромьинкой, ближе к Москве, существовал лосиный завод, основанный Петром I. На заводе из лосиных шкур готовились ранцы для петровской гвардии. Работали на Лосином ссыльно-поселенцы, согнанные сюда со всех концов тогдашней Руси. Вскоре завод закрыли, часть поселенцев была

угнана в другие места, а многие разбежались по округе, стали бездомными бродягами, с трудом находя место в чужих шелковых светелках. От них и пошло название «котов лосинских» для всякого бездомника. Особенно много их бродяжничало вокруг поселка Щелково.

Проходили мимо нас и гусяки-староверы, что жили по ту сторону Клязьмы. Этих никто не трогал, потому что гусяк не давал себя в обиду. Об озорстве и хитрости их ходила громкая слава. Гусяк мог стащить у мужика на базаре что угодно — от курицы до коровы. Иногда они целыми семьями, всей деревней отправлялись просить на «погорелое место». Для этого они обугливали телегу — ось, колесо, оглобли, — как будто только-что вытащили ее из огня. Скрипит такая телега по улице, на телеге баба, детишки. Рубашки у всех прожжены, на лицах размазана печная сажа. Сам гусяк ходит под окнами, просит «на погорелое место». И подавали: лучше не связываться с гусяком.

6

Из Александрова, со струнинских фабрик, и даже из дальней Шуи, не говоря уже о ближних клязьминских мызах, в одиночку и партиями проходили по нашим местам уволенные с тамошних фабрик ткачи.

Неделю, другую, третью шагают они по кривым проселкам, от одного селения к другому, в поисках работы. Иной лет двадцать проработал на фабрике, а теперь приходится искать свое место в кустарной светелке. В дороге питаются милостыней «христа-ради», ночуют в заброшенных овинах.

Приходит такой мызовский в деревню. На него собаки сворой кидаются. Садится человек на лавочке, оглядывает дома фабрикантов, желанные светелки. Попьет воды из колодца, снова присядет.

Мы, орава мальчишек, подбегаем к нему:

— Дяденька, откель идешь?

— Издалека. Фабричный. Может, скажете, у кого тут работенку сыскать?

Кашляет человек, хрипит, за грудь хватается. Со стороны жалость смотреть на такого.

Видим — идет Захар Малков, наш деревенский заглода¹. У него из светелки недавно ткачиха Акулина Кузьмина сбежала: послал ее заглода мыть пол в хозяйском доме, а потом оказалось, что у хозяйки фунт китайского чаю пропал. Обвинили в этом Акулину, проходу ей не стали давать: «Воровка! Чаю китайского захотела!».

Хозяином у заглоды Малкова был фабрикант Фролов.

— Вон попроси стан у Малкова.

И дружно кричим:

— Эй, дядя Захар, тут «кот» мызовский сидит!

А был такой обычай — всех безработных с мызы называть «котами».

Подходит дядя Захар, косится на чахлого пролетария, притворно вздыхает:

— Сколько вашего брата шляется по дорогам! Дарма набиваются работать, ей-богу!

Мызовский еще пуще кашляет. В глазах у него нехорошие, недобрые огоньки.

— Дарма, дядя, никто не будет работать, лучше сдохнуть, как собаке!..

Требует Малков предъявить «пачпорт», потом ведет мызовского в свою светелку. Там ему место — на полатах, заработку — пятак с аршина канауса, сорок копеек в сутки.

Вот и прибавилось лишним ткачом в нашей деревушке. Живет он на задворках от улицы, бегаёт за кипятком в чайную; пьет его в прикуску с хлебом, — тем и жив бывает.

Случается, что и помереть ему в такой светелке приходится. Но чаще всего перед смертным часом ткача заглода норовит отвести его на мирскую землю, куда-нибудь к общественной газазее (амбару), — посадит его на приступок, скажет:

— Ты уж больше не ходи в светелку. Все равно, не жилец на свете.

А наутро «мир» подбирает покойника. Является староста, понятые. Идет

¹ Заглода — владелец светелки, но еще не хозяин. Словечко произошло от общего мнения, что заглода «заглядывает» ткача, а хозяин «проглатывает».

донесение в волость. Заглоде не придется на свой счет справлять похороны — на гроб пролетарию жертвует государева казна.

7

В дни пасхи на родину к себе приезжали «французы». Так прозывались ткачи, уроженцы наших деревень, работавшие на французских шелковых фабриках в Москве — Мусси, Жиро, Симоно.

Эти совсем не похожи были на наших атласников или на глуховских плисорезов. Столица наложила на них свой отпечаток, кроме того, среди «французов» было много молодежи. И вот эта молодежь быстро и окончательно изживала все деревенское.

Зайдет этакий москвич в кустарную светелку, начинает смеяться:

— Вот так фабрика! Одних камней сто пудов!

А обыкновенно, на заднем навое каждого стана висел «груз»: штук пять огромных камней, по пуду весом каждый, — это для того, чтобы ту же натягивалась основа.

Ну, конечно, деревенский ткач защищается:

— А что ж? Я на таком стане смогу сработать и канаус, и плюш, и атлас, и тафту... Она как богатеют фабриканты от наших изделий!

— А сам ты в заплатанной рубахе! Мужик критически оглядит разодетого по-городскому «француза» и спросит:

— Нешто у тебя большие заработки? Может, ты свой дом выстроил в Москве, а? Эх, пролетария!

Наши фабриканты ненавидели «французов». Деревенские раздатчики всячески поносили «щелкачей-супостатов», объявивших конкуренцию кустарному ткачеству, а ткачей, которые уходили к супостатам, они считали отщепенцами, вертихвостами, и тайком науськивали своих детей дать взбучку приезжим москвичам, чтобы хорошенько знали те, чем пахнет в деревеньке.

«Французы», однако, не оставались в долгу. Где только можно было, наставляли своих однодеревенцев на ум:

— Требуй за прогул с хозяина! За гнилую основу требуй!

Вот вижу я, как молодой москвич Демьян Кухтин встречается на улице фабриканта Бандурина. Богатей вытаращил глаза и, опираясь на суковатую палку, смотрит на необычного паренька в кепке и брюках на-выпуск, попыхивающего папирской.

— У тебя что — картуз к башке приклеился? Чего не кланяешься?

— Ваша милость мне незнакома.

— Я вот палкой отхожу, так будешь знать!

— Проходи, дядя, а то рассержусь!

Так Бандурин и не получил ожидаемого поклона.

(Впоследствии, в 1905 г., «французы» явились идейными вдохновителями стачки сельских ткачей в нашем краю.)

Пробыв в деревне дня три-четыре, «французы» сговаривались вместе отправиться в Москву. По обыкновению в последний вечер «загуливали» — устраивали вечеринку, приглашали девок, парней, гармонистов. Запаслись еще в Москве дешевым, но диковинным для деревни фейерверком, пускали огни за околицей. Огни ярко вспыхивали в темноте черной апрельской ночи. Все знали:

— Завтра «французы» едут в Москву...

8

Село Финеево, расположенное по берегу речки Киржач, издавна славилось поставкой на всю округу девушек-моталок в хозяйские светелки.

Шли девушки из самых бедных семей. Дочери своей отец с матерью откровенно говорили:

— Не взыщи, девка, обрядить тебя да за чужого человека выдать — одна раззора. Ступай с богом, кормись, рядись, доли твоей тут нет.

Моталки у нас слыли за «последних»: отдавать девушку в люди — значит пускать ее по всему белу свету. И действительно, испытав все светелочные мытарства, девушки скоро разлетались в разные стороны, — уезжали в Иваново, в Шую, в Орехово.

Невеселая, горькая была моталкина жизнь!

Начиналось с того, что им присваивалась кличка «задворочных».

Было так: с улицы фабрикантский дом красовался светлыми, большими окнами в тюлевых занавесках, решетчатым палисадником, клумбами цветов, а на задворках, сзади конюшен, погребов, сараев стояли светелки ткацкие, сновальные, мотальные. В мотальных находились и спальни для девушек: деревянные нарты по стенам, ничем не перегороденные.

Единственный мужчина, чья нога переступала через порог мотальни, это — крутильщик машины. Подбирались крутильщики из слепых, глухонемых, безногих, но обязательно с крепкими руками, чтобы полным ходом вертеть колесо машины. Человек в рубище, безобразное существо, способное только мычать, — такой крутильщик, конечно, ни в какие любовные отношения с моталками не вступал, а девушки с ним — и подавно. Хозяин мог быть спокоен: машины вертелись безостановочно, одиннадцать часов в сутки; получали моталки жалованья 7—8 рублей в месяц.

Над ними, словно помещица над крепостными девушками, всецело властвовала хозяйка. Обыкновенно звала она их не иначе, как «хабалки». Озорные мальчишки по этому поводу распевали под окнами мотальной:

Как финейские моталки,
Голоногие хабаки
Загуляли раз без спросу,
А хозяйка их за косу!

Наиболее ревностные фабрикантши в полночь приходили проведать спальню: все ли девушки на своих местах. Если кого-либо не оказывалось — наутро шла расправа.

— Чего это народ-то бежит? — раскрыв оконце, кричит любопытная ткачиха, выйдя из-за стана.

— Да вон Матрена Павловна с моталкой рассчитывается.

А расчет был такой.

Вещи прогулявшей ночь моталки вышвыривались через окно, и виновница подбирала их, плача и стыдясь собравшихся девушек. Из окна мотальни доносилась ругань грозной хозяйки:

— Да чтобы такую шлюху стала я терпеть в своем заведении!

Нам, мальчишкам, было и весело от этой кутерьмы, и в то же время жаль девушку. Помогали мы ей собирать выкинутые за окно чулки, гребешки, чашки, всякие лоскутья.

Прислушивались, что говорят на людях.

— Тетка Пелагея, не с твоим ли Алешкой ночь погуляла девка? — верещала бойкая бабенка.

— Ну, вот еще! Он вместе с отцом в сарае ночевал! — и, наклонясь ближе к соседке, тетка Пелагея не очень громко, но все же так, чтобы все было кое-кому известно, таинственно сообщала:

— Сам хозяйкин сынок, скубент, облапошил девку. Дядя Андрей видал, как он со светлыми-то пуговицами прохаживался ночью у мотальни.

И расходились люди, как будто ничего не случилось. И одинокой фигуркой маячила в полях девушка с узелком в руках, не смея оглянуться на деревню. Шла не к родному дому, — путь ей был один: на дальнюю мызу, в город, в казарму.

9

Всеми силами старались мелкие фабрикантики поравняться с крупными. И еще горше приходилось ткачу, когда падал он в лапы таких обделистых хозяйчиков.

— Иван Петров, ты у кого берешь харч? — спрашивает хозяйчик у ткача своего.

— Да в лавке Степанычева...

— А не все ли равно тебе, кому деньги платить? Бери уж лучше у меня.

Тут, понятно, ткачу никогда не отвертеться. И вместо денег за сработанную резку несет Иван Петров в одном мешке новую основу, а в другом — харчишко на прокормление. Другой раз и не хотелось бы пшено брать, лучше бы крупы-гречнихи, да уж и в еде, оказывается, волю хозяйскую соблюдать надо.

Этим торговым делом ведала обычно сама фабрикантша, и по ее вкусу и прихотям отпускались товары из подпольной лавочки.

Идет из конторы ткачиха Марья Долгова, а сосед кричит из окна:

— Марья, чего пригорюнилась?

А у Марьи в руках бутылка с гарным божьим маслом.

— Просила подсолнечного у хозяйки, да не оказалось, так она мне лампадного ссудила. Теперь всю неделю детишкам картошку немаланную подавать.

— Обидно, тетка Марья!

— Да еще меня же обругала хозяйка. У тебя, говорит, никогда не видно, чтобы лампадочка в углу светилась. А я ей говорю: недостатки наши не позволяют, Матрена Павловна!

А сама оглядывается, чтобы никто из посторонних не услышал ее жалобу.

— Приду домой, ребятишки запищат, а я им картошки с солью да со слезами. Господи, жизнь-то какая трудная стала!

— А ты ужотка зажги лампадочку, помолись усердней, оно, может, и легче будет.

Стоит тетка Марья и сомнительно, тмяко качает головой. И не знает она, смеется сосед или правду говорит. Знает одно: позади голодная жизнь, впереди — голодная жизнь, а податься некуда.

Молча, прижимая к груди бутылку с божьим маслом, идет Марья к своему дому.

10

Война с Японией принесла в наш край большие бедствия: с каждым днем все больше пустели светелки. Хозяева сокращали производство, оправдываясь тем, что закрыта дорога японскому шелку. В иных семьях не было ни одного стана, ткачи стали терпеть форменный голод.

И тут вспомнили они, что у хозяев припрятаны миллионы, нажитые за прежние цветущие годы.

— Раскошелитесь! На нашем поту нажились, а теперь и рубля на хлеб ткачу не даете?

В воздухе запахло смутой, гарью начинающегося пожара.

С фронта шли позорные вести о поражении нашего христоролюбивого воинства.

К началу лета 1904 года появился французский шелк. Обрадовались было ткачи, но тут хозяева урезали расценки почти наполовину, а хлеб, между тем, поднялся в цене, стало совсем туго.

— Некуда сбывать шелковую материю, — хныкали в своих конторах фабриканты.

Но никто не верил этому. В шелковых платьях щеголяли жены и дочери разбогатевших подрядчиков, купцов, поставщиков в армию. Сорило деньгами офицерство, интендантское чиновничество, покупая бархат и атлас своим любовницам. В шелковых рясах щеголяло духовенство, шелковыми ручниками одевались иконы в церквах, и попрежнему широкой рекой лилась за границу богатая шелковая ткань — изделие рук деревенских наших ткачей и ткачих.

А все дело было в том, что, почуяв волнение в народе, фабриканты хотели переждать это время, вытурив из светелок особенно требовательных и горластых ткачей.

Бунтовали солдатики, самовольно производя порубки в казенных дачах; трвили скотом хлеб в мызовских экономиях; жгли стога сена на монастырских лугах; все чаще стали повторяться грабежи на больших дорогах, где шла богатая шелковая кладь.

В деревнях наших стали появляться невиданные дотолы люди. Они говорили, что царь безжалостно проливает кровь народную ради обогащения буржуев и дворян; надо отнимать землю у помещика, а деревенским ткачам — стоять заодно с фабричными рабочими. Агитаторов ловили, отправляли в Покров и Владимир. Сказывали, что во Владимирской тюрьме их битком-набито.

Так, еще будучи четырнадцатилетним мальчишкой, прислушивался я ко всем голосам, словно к ледоходу на реке. Однажды выбрался на большую Киржацкую дорогу, туда, где стояли лесные дачи барона Кюпа, — богатые сосновые леса! Хотелось итти дальше, дальше, повстречать большие города, шумные мызы! И вдруг из облачка пыли ныряют два конных стражника. Маленький, невзрачный человек в синей косоворотке, босоногий, устало раскачива-

ясь, вышагивает, зажатый лошадиными боками. От жалости к человеку и от страха свернул я в чашу леса, уткнулся в траву и долго сидел тут с тревожным постукиванием в груди.

Под ветром шумели древние сосны.

Приближались грозные дни пятого года.

11

— Ткачи забастовали!

Мы слышали это от взрослых, потом мы увидели и самую забастовку.

Нам, детям, она принесла веселые забавы.

Те, кто еще вчера сидел за станом, сегодня вышли на улицу. Мы, дети, гурьбой бегали в толпе забастовщиков, получали от них иногда звонкие подзатыльники, но все же кричали в помощь своим отцам:

— Правильно!

— Натерпелись!

— Пауки!

Однако, мы очень мало понимали во всех событиях, которые происходили на улице и за стенами светелок, и в хозяйских конторах, и по всему шелковому краю.

Только спустя четыре года, в дни юности своей, познакомился я с вожак стачки шелковиков. Он был на восемь лет старше меня и успел уже побывать на многих мизгах, понюхать, чем пахнет жизнь пролетария. Жил он в Боровкове со своей матерью-старушкой, потомственной ткачихой, работал сновальщиком на раздаточную контору фабриканта Кузнецова.

Это был совсем необыкновенный парень. К восемнадцати годам своей жизни он прочитал всех русских и иностранных классиков, прочитал Маркса, Энгельса. Память у этого парня была феноменальной. Особенно он мог похвастать знанием географии, истории. Сотни названий городов, гор, рек, озер, морей и народностей по всему земному шару он припоминал так же легко, как названия местных наших урочищ вроде Загребки, Подсосняжной кулижки, Маланьина колодца.

Таков был мой друг — Иван Семенович Федоровцев-Карягин, со слов ко-

торого я и передаю рассказ о событиях 1905 года.

Вот что было тогда.

Осенью 1905 года в бывшей Филипповской волости, на территории нынешнего Киржачского района, появились первые признаки брожения среди сельских ткачей, вылившиеся затем в политическую стачку, в небывалую дотоле, первую в истории кустарных промыслов, стачку деревенских ткачей. Одиноко и слепо, как крот в земле, копался дотоле деревенский ткач в своей дымной избе, где находились все его незатейливые орудия производства.

Иван Семеныч рассказывал:

— У нас образовался подпольный кружок: я, приезжий студент Покровский и еще трое, наиболее «созревших» ткачей. Ходим по светелкам, агитируем. Мне пришлось съездить в Москву к товарищам, работавшим на фабрике б. «Мусси», где было много наших земляков и где создалась очень активная революционная организация. Товарищи «благословили» нас на выступление, снабдили нелегальщиной, дали советы.

Помню день об'явления забастовки — 30 октября (ст. стиля). Из пяти-шести деревушек и сел собралось не менее 300 ткачей. Всей лавиной мы прошли по улице нашей деревни Боровково, где находились все наиболее крупные раздаточные конторы. Фабриканты трусили, попрятались. А местные трактирщики, похоже — от страху, вышли на крыльцо и стали заывать на бесплатное чаепитие.

Выбрали стачечный комитет из 7 человек. Со следующего дня начались выборы рабочих депутатов. В центре каждой деревушки стояла, по обыкновению, часовенка и около нее столб с колокольчиком — своеобразное деревенское «вече». В этот вечевой колокольчик зазвонили сразу во всех 17 окрестных деревушках, созывая ткачей для выборов своих депутатов. И депутаты подбирались неплохие — с наказом добиться лучшей доли ткачу, разбить хозяйскую кабалу, от которой «жить становится нелегко», «терпению конец приходит».

Приблизительно через неделю состоялось волостной съезд рабочих депутатов.

Много еще было робости, выборные косились на портреты «высочайших особ», в соседних комнатах принимал волостной старшина, с улыбкой бегал юркий писарь. Все же мы наговорились вдосталь, вырабатывали «условия» для предъявления их фабрикантам, а к работе решили не приступать до тех пор, пока хозяева не согласятся удовлетворить все наши требования.

Недели три просуществовал наш совет рабочих депутатов, а затем начались аресты. Фабриканты деятельно помогали полиции. В начале декабря затрещали ружейные залпы в Москве, и вдвоем с товарищем, вдоль каторжной Владимирки, пошел я на помощь нашим братьям рабочим.

12

Ушли в область преданий старая Рогожа в Москве, Рогожа в Богородске, каторжная Владимирка, глухие киржачские, стромыньские проселки.

Сегодняшний путь в край шелковой ткани начинается от Шоссе энтузиастов, он идет мимо новых величественных зданий заводов, мимо многоэтажных рабочих домов. Гладкая, блестящая, как зеркало, асфальтовая лента, потоки автомобилей, грузовиков, автобусов.

Шелково... Когда-то в пустырях, около четвериковских фабрик, бродяжничали и не знали, куда девать жизнь свою, «коты лосинские», потомки ссыльно-поселенцев. Ныне здесь — большой круг аэродрома, с площадки которого гордо взлетают наши славные сталинские со-

колы, завоевывая мировые рекорды и мировую славу. Нет больше ни «котов», ни колдунов, — каждый из потомков ссыльно-поселенцев нашел себе в этих местах почетный труд, обрел сознание своего человеческого достоинства.

Ногинск, прежний Богородск. Тут было гнездо черносотенного купечества, резиденция монархистов Самариных, вотчина царьков Морозовых. Самыми видными центрами Богородска были казармы казачьей сотни, тюрьма, собор, трактир Камзоловых.

Ныне Ногинск — большой индустриальный город: завод «Электросталь», текстильный комбинат, фабрика грампластинок, электростанция им. Классона и целый ряд других предприятий.

Путь на Киржач, на Шерну... Цветущие в колхозном изобилии деревушки. Богатые дома — наследство бывших раздатчиков — заняты под детские ясли, больницы, клубы, кооперативы. Ныне ткачи-шелковики — члены артелей шелкового производства. Это их изделия: бархатные полотнища знамен, галстуки, ленты, нарядный креп-де-шин, добротный атлас.

И, наконец, словно маяк в центре всего шелкового края, — киржачский Шелкокомбинат, одно из строителей второй пятилетки, готовое развернуться во всю мощь своих проектных планов. Этот шелковый Голиаф родился вполне на своем месте, на почве, уготованной ему всей богатой историей, развернувшейся после появления первых шелковых мотков на Клязьме—Шерне...

Оборона и наступление в современной войне

Полковник С. ГУРОВ

★

Оборона и наступление — это два основных вида боя, которые противостоят друг другу на полях сражений. Оборонительный способ действий применяется с тем, чтобы малыми силами задержать превосходящего по силе противника и выиграть необходимое время для совершения соответствующих перегруппировок или выждать результаты наступления на решающих участках. Наступление на обороняющегося противника применяется с решительной целью — уничтожить или захватить его живую силу и технические средства. Наш полевой устав так характеризует эти два вида боя: «Всякий бой — наступательный или оборонительный — имеет целью нанесение поражения врагу. Но только решительное наступление на главном направлении, завершаемое неотступным преследованием, приводит к полному уничтожению сил и средств врага».

На протяжении всей истории войн формы и методы этих основных видов боя под влиянием таких решающих факторов, как человек и оружие, непрерывно менялись. Энгельс писал: «вся организация армии и способы борьбы, а вместе с ними победы и поражения, оказываются зависящими от материальных, т.-е. экономических, условий, от свойств людей и оружия, следовательно — от качества и количества населения и от развития техники»¹.

Особенно резко изменились формы обороны и наступления в империалистическую войну 1914—18 гг. К началу войны все воюющие армии были вооружены приблизительно одинаково. Пехота была вооружена винтовками, на полк имелось всего лишь 6—8 станковых пулеметов, артиллерия была в дивизии и корпусе преимущественно легких калибров, и только немцы и австрийцы имели в корпусе тяжелые гаубицы.

Почти во всех армиях, участвовавших в мировой войне, господствовала резко выраженная наступательная доктрина. Сила и значение обороны недооценивались. Вследствие такого взгляда на оборону и сама оборона, как вид боя, не изучалась, и к наступательному бою готовились недостаточно серьезно. Считалось, что широкая стрелковая цепь, дающая возможность как можно больше выдвинуть вперед огневых средств, вполне соответствовала как форма боевого порядка в наступлении. Артиллерия расценивалась так. Легкая пушечная батарея могла решить любую огневую задачу на фронте в 200 м. при дальности огня 3—5 км, поэтому предполагалось, что на 1 км фронта достаточно иметь 5 батарей, или 20 орудий. Артиллерийская подготовка атаки считалась необязательной, предполагалось, что пехота не встретит непреодолимых препятствий. С такими взглядами на оборону и наступление и выступили на войну все армии.

Оборона строилась в виде длинных окопов на роту или батальон отдельных опорными пунктами (с промежутка-

¹ Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», 6-е изд. 1934 г. Стр. 122.

ми), а вскоре армии перешли к сплошным линиям окопов. Так, например, полк в первой линии (в окопе) имел два-три батальона, а один батальон оставался в резерве где-либо в укрытии. Перед окопами устанавливались проволочные заграждения.

Наступление внешне выражалось в том, что вперед высылались стрелковые цепи, а сзади в плотных строях двигались поддержки или резервы. Полк имел два-три батальона в цепи (у каждого батальона была рота в поддержке) и один батальон в резерве.

С первых же дней войны рухнули все предположения и расчеты. Наступающая пехота оказалась бессильной преодолеть систему организованного огня обороны, она несла колоссальные потери и все-таки не смогла прорвать оборонительную позицию. На горьком опыте убедились, что, прежде чем атаковать, нужно подготовить атаку артиллерийским огнем, что на 1 км фронта 20 орудий недостаточно, что для подавления пехоты и ее огневых средств в окопах нужна гаубичная артиллерия, а для разрушения фортификационных сооружений, которые в первый же месяц войны начали возводиться обороняющейся стороной, и для борьбы с артиллерией противника нужны тяжелые гаубицы и тяжелые дальнобойные пушки. Все это нужно было иметь, а раньше заготовлено не было. Нужно спешно создавать и гаубичную артиллерию, и тяжелые пушки, и большое количество снарядов, а пока что нужно зарыться в землю, сплестись проволокой и подождать, когда все нужное для наступления будет заготовлено в тылу, на заводах. Так через 2—2½ месяца началась так называемая позиционная война.

С 1915 года началась борьба между обороной и наступлением. Лучше всего эту борьбу проследить на отдельных операциях.

С началом позиционной войны оборона начала развиваться в глубину, окопы отрывались не в одну, а в две-три линии общей глубиной до 2—3 км. Создавалась первая полоса обороны. В 1915 г. эта первая полоса обороны совершенствовалась: создавались сильные

проволочные заграждения, как перед первой, так и перед второй и третьей линиями окопов, оборудовались ходы сообщения, устраивались убежища. Для того, чтобы овладеть такой позицией, наступающий должен был сосредоточить большое количество артиллерии и снарядов, а для захвата всех трех линий окопов строить боевой порядок волнами (цепь за цепью). Дивизии ставились в три эшелона (полки в затылок друг другу), а полки, в свою очередь, составляли две волны на дистанции 75—100 м. Задние волны пополняли убыль передних. Результаты этих мероприятий все же были мало удовлетворительны. Так, например, французы в Шампани с 25 сентября по 6 октября 1915 г. атаковали позиции немцев. Позиции были глубиной до 3 км, с мощными проволочными заграждениями, ходами сообщения и убежищами. На 1 км фронта обороны приходилось 4 станковых пулемета, 12—15 орудий и 1.500 штыков. Французы сосредоточили на каждый километр фронта 6.000 штыков и 60—65 орудий; артиллерийская подготовка велась в течение 3 суток, на 1 км фронта было выпущено 54.000 снарядов. В результате французы в течение 3 суток овладели позицией немцев, но при этом потеряли 150.000 человек. Развить успех французам не удалось, так как, пока они готовились к атаке и вели артиллерийскую подготовку, за это время немцы перебросили к угрожаемому участку три пехотных дивизии, а за три дня боя еще перебросили 10 пехотных дивизий.

Учитывая возможность прорыва первой полосы, обороняющаяся сторона уже к концу 1915 года начала готовить вторую полосу на расстоянии 3—4 км от первой, а в 1916 году эта вторая полоса получила полное развитие. В то же время первая полоса еще более усиливалась. Для прорыва такой позиции наступление строилось еще с большим количеством волн: корпус в 2 линии, дивизия в 3—4 линии.

В июле 1916 года союзники (французы и англичане) предприняли наступление на позиции немцев, расположенные на р. Сомме. Первая полоса обороны немцев была глубиной 3—4 км с

развитой системой окопов, узлами сопротивления, ходами сообщения и сильными проволочными заграждениями. Станковые пулеметы были расположены в бетонированных капонирах и блокгаузах. На 1 км фронта обороны приходилось 10 станковых и 12 легких пулеметов, 1.000 штыков и 12—13 орудий.

Союзники имели на 1 км фронта 3.000 штыков, 60 полевых и 37 траншейных орудий. Артиллерийская подготовка велась в течение 7 суток, на 1 км фронта было выпущено 75.000 снарядов. Опять-таки, благодаря тому, что союзники производили большие инженерные работы по подготовке плацдарма для наступления и 7 суток вели артиллерийскую подготовку, немцы своевременно раскрыли готовящийся прорыв и подвезли к угрожаемому участку 6 пехотных дивизий. Союзникам удалось частично овладеть первой полосой, а дальше успеха они не имели.

В 1917 году оборона еще более усилилась; она получила еще большее развитие в глубину, в большем количестве появились пулеметы и бетонированные сооружения. Наступающей стороне ничего не оставалось делать, как еще гуще насыщать боевой порядок пехотой и артиллерией.

В апреле 1917 г. французы в операции на р. Эн под командованием генерала Нивеля сосредоточили силы для наступления из расчета: одна дивизия на 1,5 км, на 1 км фронта — 85 полевых орудий и 40 траншейных. Оборонительная позиция немцев состояла из трех полос общей глубиной 12—15 км, на 1 км фронта приходилось: 15 станковых и 20 легких пулеметов, 1.500 штыков и 20—25 орудий.

Союзники вели артиллерийскую подготовку в течение 9 суток, на 1 км фронта было выпущено 100.000 снарядов. И всё-таки успеха не было. Союзники не смогли овладеть даже первой полосой. За 5 дней боя они потеряли 150.000 человек.

В чем же причины неудач наступления?

В основном они сводились к следующему. Оружие обороны — станковые, а

затем появившиеся и легкие пулеметы, укрытые на местности, — представляло собой непреодолимое препятствие для наступающей пехоты. Прежде чем атаковать, его нужно было подавить артиллерийским огнем. Начиная с 1915 г. артиллерийская насыщенность боя была вполне достаточной. Артиллерия могла подавить пулеметы обороны. Но для этого требовалось время — от 3 до 7 и более суток, а за это время, как видно из приведенных примеров, обороняющийся подвозил резервы из глубины. Кроме того, артиллерия могла подавить пулеметы обороны на глубину 3—5 км, т.е. только первую полосу, да и то не на всю ее глубину (в некоторых случаях она доходила до 6—8 км). Для дальнейшего развития успеха артиллерии нужно было менять позиции, продвигаться вперед, а продвигаться по местности, где на каждый метр выбрасывалось ею же самой по 100—150 снарядов, было почти невозможно, так как все поле было покрыто воронками от снарядов. Все это давало возможность обороняющемуся во-время разгадать замыслы наступающего и подтянуть резервы из глубины или с других участков фронта и занять ими 2-ю полосу обороны. Таким образом, если и удавалось наступающему овладеть первой полосой обороны, то уж перед второй полосой наступление обычно захлебывалось.

Нужно было какое-то новое средство, которое позволило бы без длительной артиллерийской подготовки подавлять огневые средства обороны, сопроводить пехоту в глубину.

Таким средством явился танк. Сначала танки применялись на поле боя в небольшом количестве и поэтому успеха не имели. Но 20 ноября 1917 г. под Камбрэ англичане сосредоточили 476 танков на фронте прорыва в 12 км. Дивизии получили фронт атаки 2—2,5 км, тогда как до этого они ставились на 1—1,5 км; артиллерии приходилось 80—85 орудий на 1 км фронта. Позиции немцев были сильно укреплены. Впереди главной полосы обороны была создана передовая позиция с проволочными заграждениями, между передовой и главной позициями были расположены

гнезда сопротивления, также опутанные проволокой. Первая полоса главной позиции состояла из двух траншей (две линии окопов) с проволочными заграждениями перед каждой из них шириной до 30 м. На позиции имелись многочисленные блиндажи. В 2 км от первой позиции была промежуточная, также в две линии траншей и с проволочными заграждениями. Еще глубже была вторая позиция. На 1 км фронта немцы имели до батальона пехоты и 13 орудий.

Танки получили задачу прорваться на 10—12 км в глубину. Начало атаки — без артиллерийской подготовки. В 7 ч. 10 мин. с расстояния 1.000 м от противника танки двинулись вперед, а вслед за ними и пехота. Артиллерия открыла огонь через 10 мин. В первый же день боя в течение нескольких часов англичанам удалось прорвать фронт немцев на глубину 9 км, а на другой день, 21 ноября, была прорвана вся глубина обороны. Брешь была открыта. Можно было развивать успех еще глубже, громить тылы противника. В открытую брешь был двинут англичанами конный корпус. Но по изрытой снарядами местности, через сохранившиеся во многих местах проволочные заграждения и частично пулеметные гнезда, конница того времени не смогла быстро прорваться, и успех англичан на этом закончился. Резервов у них не оказалось.

Итак, новое техническое средство — танки дали возможность атаковать внезапно (без артиллерийской подготовки), быстрым темпом прорвать всю глубину обороны, противник не успел подвести резервы из глубокого тыла. Но дальнейшее развитие успеха при помощи конницы оказалось невозможным. Нужно было, очевидно, вместе с конницей послать тоже танки, которые прокладывали бы ей путь через заграждения и подавляли уцелевшие огневые точки.

Еще несколько сражений с танками было проведено союзниками в 1918 году. Везде танки обеспечивали успех наступления. Последнее такое сражение было в августе 1918 г. под Амьеном, где союзники на фронте в 30 км сосредоточили 16 пехотных дивизий, 3 кав. дивизию, 510 боевых танков, 2.600 орудий и

500 самолетов; на 1 км фронта приходилось: $\frac{1}{2}$ дивизии, 22 танка и 88 орудий. Немцы хотя и имели на этом участке слабо оборудованную позицию глубиной всего до 4 км, но они имели на 1 км фронта: 25—30 станковых и 35—40 легких пулеметов, около 1.000 штыков и 40 орудий.

Союзники в первый же день наступления прорвали фронт в 30 км на глубину 11 км. Немцы понесли потери: 700 офицеров, 27.000 солдат и 400 орудий.

Так же, как и при Камбрэ, и под Амьеном в прорыв был введен конный корпус и на этот раз с 100 танками, но и здесь он был задержан отдельными частями немцев, оставшимися в тылу, и развитие успеха не мог.

Немцы в 1918 г., не имея танков, пошли по линии усиления боевого порядка наступления артиллерией и самолетами. Так, в майском наступлении на фронте главного удара в 38 км они сосредоточили на каждый километр фронта: 120 полевых орудий, 4—5 боевых самолетов, 2.250 штыков. Позиции союзников были укреплены на глубину 8—12 км. На 1 км фронта они имели 10—15 станковых и 30—40 легких пулеметов, 30 орудий и 500—750 штыков.

Артиллерийская подготовка немцами велась 2 часа 40 минут. На каждый километр фронта было выпущено 50.000 снарядов. В результате немцы в течение дня прорвали укрепленную зону союзников, но дальнейшего успеха не имели, так как не было резервов для развития успеха.

Кончилась мировая война. Все армии стали изучать боевой опыт и на основе этого опыта делать выводы, каковы же должны быть формы и методы обороны и наступления в будущей войне.

К каким же выводам пришли военные специалисты иностранных армий?

В 1935 году у нас появилась книга, переведенная с немецкого, под названием «Танковая война». Автором этой книги является австрийский генерал Эймансбергер, но, вне всякого сомнения, она написана не для Австрии, а для фашистской Германии и выражает взгляды германских военных кругов. В этой

книге автор высказывает следующие мысли по вопросу обороны и наступления в будущей войне. Оборона, по мнению Эймансбергера, должна быть глубокой, т.е. кроме первой полосы обороны, глубиной 6—8 км, должна быть вторая, тыловая, оборонительная полоса на расстоянии 16 км от первой полосы. Первая полоса обороны должна быть хорошо оборудована в противотанковом и противопехотном отношении. Для борьбы с танками наступающего первая полоса обороны должна иметь противотанковые орудия из расчета на 1 км фронта до 16 противотанковых пушек, следовательно, в пехотной дивизии, занимающей первую полосу обороны, должно быть 72 малокалиберных противотанковых пушки, не считая, конечно, артиллерии других калибров. Резервные дивизии армейского командования должны занимать тыловую оборонительную полосу с задачей — задерживать на ней наступающего противника, если он прорвет первую полосу обороны. Для контратаки прорвавшегося противника должны быть подтянуты из глубины танковые и моторизованные дивизии. Перед первой полосой обороны создается предполье — передовая позиция, которая оборудуется системой разного рода заграждений и препятствий.

Таким образом, по Эймансбергеру, современная оборона должна состоять из трех полос: передовой (предполья), главной и тыловой. Общая глубина обороны должна доходить до 30 и более километров.

Для прорыва такой глубокой обороны Эймансбергер рекомендует следующий порядок наступления и атаки. Фронт прорыва первой полосы обороны 30 км. На этом фронте сосредотачиваются 6 пехотных дивизий в первой линии и 4 — во второй. Каждая дивизия первой линии имеет 350 танков и 40 батарей артиллерии. Всего для прорыва первой полосы обороны на 30 км фронта требуется: 2.250 танков, 1060 орудий и 915 самолетов. План атаки следующий. В назначенное время вся имеющаяся артиллерия открывает огонь по первой полосе обороны, она подавляет артиллерию обороняющегося, уни-

чтожает противотанковые пушки, если они себя обнаружат. Одновременно с открытием огня артиллерии со своих исходных позиций двигаются в атаку танки. Их всего четыре волны. Первая волна, по 60 танков от каждой дивизии, атакует первую линию окопов противника; вторая волна, по 140 танков от каждой дивизии, через 5 минут после первой атакует и захватывает вторую линию окопов; третья волна, по 85 танков от каждой дивизии, через 5 минут после второй атакует третью линию окопов и позиции дивизионной артиллерии противника; наконец, четвертая волна танков, по 65 от каждой дивизии, через 5 минут после третьей волны «ведет» за собой в атаку пехоту. Так, по расчетам Эймансбергера, через 2 часа будет прорвана первая полоса обороны на глубину до 6 км. Но в 10—12 км от первой полосы есть еще вторая тыловая полоса обороны. Ее тоже нужно прорвать. Те силы и средства, которые прорывали первую полосу, истощились, понесли потери и, следовательно, не в силах продолжать бой на второй полосе. Для прорыва тыловой полосы обороны, по мнению автора, нужно создавать второй эшелон, причем этот эшелон должен быть более подвижным, чем первый, так как ему нужно пройти первую полосу обороны и еще расстояние до второй, и если он будет малоподвижен, то противник успеет занять эту вторую полосу глубокими (оперативными) резервами. Поэтому во второй эшелон назначаются: 2½ дивизии самолетов, всего 1.125 машин, 6 танковых бригад, всего 1.650 танков, и 5 моторизованных дивизий (пехота посажена на транспортные машины). Вот эти силы и должны захватить вторую полосу обороны. Таким образом, для прорыва двух полос обороны на 30 км фронта требуется: 10 пехотных дивизий (в 1 и 2 линии), 5 моторизованных дивизий, 1.060 орудий, не считая артиллерии в танковых бригадах и моторизованных дивизиях, 3.900 танков и 2.040 самолетов. Для развития дальнейшего успеха вводится третий эшелон — танковая армия в составе 10 танковых дивизий — 5.000 танков, 10 мо-

торизованных дивизий и дивизии военно-воздушных сил — 450 самолетов.

Вот как себе представляет Эймансбергер наступление в современной войне.

Как будет наступать и строить оборону Красная Армия?

Наш полевой устав в ст. 112 так говорит о наступлении: «Современные средства подавления, в первую очередь танки, артиллерия, авиация и механизированные десанты, примененные в крупном масштабе, дают возможность организовать одновременную атаку противника на всю глубину его боевого порядка, с целью его изоляции, полного окружения и уничтожения...». И в дальнейшем, в соответствующих главах и статьях, полевой устав дает указания — как же можно достигнуть подавления всей глубины обороны противника, его окружения и уничтожения.

В нашем распоряжении имеются: авиация, артиллерия, танки. Все эти технические средства по своим тактическим и техническим свойствам в несколько раз превосходят своих предшественников, которые применялись в империалистическую войну. Кроме того, пехота и конница оснащены современной техникой и в достаточном количестве.

Какие же элементы боевого порядка обороны противника будут вредить нашей пехоте, когда она пойдет в атаку?

Это будут, во-первых, батальоны первого эшелона обороны, расположенные на глубину до $1\frac{1}{2}$ км от переднего края. Винтовки и гранатометы этих батальонов будут поражать нашу пехоту на дистанции 400—600 м, ручные пулеметы — на дистанцию 1.000 м и станковые пулеметы — на дистанцию до 2 км. Во-вторых, это будет артиллерия противника, расположенная в глубине обороны в 3—6 км от переднего края. В-третьих, это будут резервы противника, которые будут контратаковать нашу пехоту, когда она вклинится в расположение обороны. Всем боевым порядком обороны будут управлять штабы при помощи разнообразных средств связи. И, наконец, из глубины будут спешить так называемые оперативные резервы, чтобы закрыть прорыв и не дать нам

развить успех в более широком масштабе.

Вот все эти элементы боевого порядка противника нужно подавить, а затем окружить и уничтожить, или пленить живую силу и технические средства, не допуская в то же время подхода оперативных (глубоких) резервов.

Наши силы и средства сосредоточиваются в исходном положении перед оборонительной полосой противника, предварительно уничтожив его боевое охранение или защитников передовой позиции, если таковая будет создана. Свое сосредоточение мы должны замаскировать так, чтобы ввести противника в заблуждение относительно нашего замысла — где мы собираемся нанести ему главный удар.

Перед началом атаки, за $1\frac{1}{2}$ —3 часа, в зависимости от количества имеющейся у нас артиллерии и танков и силы укреплений противника, производится артиллерийская подготовка, имеющая целью подавить артиллерию, противотанковые орудия и пулеметы противника и расстроить его тыл. Артиллерийская подготовка может быть проведена ночью, если артиллерия накануне за светом подготовила все данные для стрельбы, чтобы с утра сразу же атаковать. Она может длиться всего лишь 10—15 минут, если противник недостаточно укрепился.

После артиллерийской подготовки в тыл к противнику прорываются танки дальнего действия. Они должны подавить его артиллерию, узлы связи, штабы; не допустить отхода противника на тыловую полосу и подхода его ближайших резервов.

Танки дальнего действия сопровождают всей имеющейся артиллерией. Она впереди танков ведет подвижной огневой вал, а по сторонам коридора, по которому будут двигаться танки, последовательно сосредоточивает свой огонь по районам и пунктам, где предположительно могут быть противотанковые орудия противника. Вместе с танками дальнего действия выбрасывается пехота на транспортерах, которая занимает в тылу оборонительной полосы противника опорные пункты и во взаимодействии с

танками не допускает подхода резервов противника, она обеспечивает танки в случае их вынужденной остановки. Туда же, в тыл противника, под прикрытием истребительной авиации, выбрасываются парашютно-десантные части, которые во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта, громят противника с тыла.

Все эти части (танки ДД с мехдесантами и парашютно-десантные части) к моменту атаки нашей пехоты должны уже подавить артиллерию противника, разгромить его резервы, уничтожить узлы связи и дезорганизовать работу штабов.

Когда танки дальнего действия выйдут в указанный им район, вместе с ними остается «работать» артиллерия дальнего действия. Она по принципу разделения труда с танками дальнего действия также громит, подавляет и разрушает тылы противника. Другая часть артиллерии — группа поддержки пехоты — «возвращает» свою траекторию обратно и приступает к сопровождению группы танков поддержки пехоты и самое пехоту. Танки поддержки пехоты частично направляются на 800—1.000 м от переднего края, с целью подавить станковые пулеметы противника, расположенные в глубине, остальные танки «ведут» за собой пехоту, проделывая для нее проходы в проволочных препятствиях и подавляя огневые точки на переднем крае. Эта группа танков работает с пехотой плечом к плечу и в тесном взаимодействии: танки проделывают проходы в препятствиях и подавляют огневые точки противника, а пехота своим огнем и специальными орудиями сопровождения (из батальонной и полковой артиллерии) подавляет противотанковые орудия противника и оказывает помощь танкам, где это можно, в преодолении ими противотанковых заграждений.

В это же время, пока уничтожается первая полоса обороны противника, авиация поражает части противника, пытающиеся прорваться из окружения, и совершает налеты на более глубокие тылы его, препятствуя подходу и переброске на автомобилях и по железной

дороге оперативных (армейских) резервов противника. Она громит их как в походных, так и в автомобильных колоннах, в железнодорожных поездах, в местах скопления. Таким порядком прорывается первая оборонительная полоса противника и уничтожаются ее защитники, а глубокие резервы не допускаются ко второй оборонительной полосе, чтобы они не закрыли прорыва.

Для расширения успеха, для развития тактического прорыва в оперативный, — в образовавшуюся брешь может быть брошен второй эшелон, состоящий из механизированных, моторизованных и кавалерийских соединений. Этот эшелон, преследуя и уничтожая отходящие части противника, заканчивает полный разгром противника.

Таковы современные формы и методы наступательного боя.

Но и современная оборона достаточно сильна. Новейшая инженерная техника позволяет в короткий срок создать такие сооружения и препятствия, что преодолеть их будет очень трудно. Мы знаем это по опыту войны в Испании, где Мадрид вот уже 2 года упорно обороняется республиканской армией.

Наш полевой устав говорит: «Оборона должна быть непреодолимой для врага, как бы силен он ни был на данном направлении. Оборона должна строиться на основе глубокого расположения огневых средств и предназначенных для контрудара частей.

Противник, обесиленный в преодолении глубины обороны, должен быть уничтожен решительной контратакой пехоты и танков при поддержке авиации и всей артиллерии. Тем самым в обороне может быть достигнута победа малыми силами и над превосходным противником».

В другом месте устав говорит: «Современная оборона должна быть прежде всего противотанковой, состоящей из системы огня войсковой и противотанковой артиллерии в сочетании с системой естественных и инженерных противотанковых препятствий и быстро устанавливаемых противотанковых мин и других искусственных препятствий».

Таким образом, современная оборона должна быть глубокой и в первую очередь противотанковой.

Как нужно строить современную оборону?

Прежде всего, наступающему противнику нужно помешать планомерно и организованно занять исходное положение для атаки, не дать сосредоточить необходимые ему силы и средства.

Для этого перед основной оборонительной полосой, на глубину 10—12 км от нее, нужно создать полосу инженерно-химических заграждений. В этой полосе нужно подготовить, если, конечно, противник еще не подошел и оборона подготавливается заблаговременно, целый ряд противотанковых и противопехотных заграждений. Противотанковые заграждения, в виде лесных завалов, земляных рвов, мин и пр., и противопехотные заграждения, в виде малозаметных препятствий, фугасов, химических «пробок» и т. п. нужно устраивать с таким расчетом, чтобы противник, попадая на них, нес потери, затрачивал бы время на их преодоление и обходы. Следовательно, их нужно ставить в таких местах, где противник будет двигаться или располагаться. Так, например, в районе вероятных артиллерийских позиций, допустим, поставить скрытые самовзрывные фугасы, в местах сосредоточения танков — противотанковые мины, в местах скопления пехоты — фугасы и т. д. Когда противник будет располагаться в этих местах, то фугасы и мины будут взрываться и наносить ему поражение. В тех направлениях, где противник будет обходить заграждения, чтобы не тратить время на их преодоление, а такие коридоры можно нарочно оставлять незагражденными, — нужно подготовить артиллерийский огонь.

Так как противник без разведки не будет подходить к нашей оборонительной полосе, то, чтобы не дать ему разведать и устранить заграждения, а при подходе передовых частей не дать им безнаказанно подходить к нашему переднему краю, полоса инженерно-химических заграждений должна обороняться небольшими отрядами из частей пехоты и артиллерии.

Чем ближе к переднему краю основной оборонительной полосы, тем заграждения должны быть гуще и солиднее. Так, например, перед самым передним краем, метрах в 300—400 от него, нужно устраивать сплошные противотанковые заграждения, которые нужно опутывать противопехотными заграждениями, чтобы разведка противника, если ей удастся просочиться к ним, не смогла легко их устранить. Эти противотанковые заграждения должны возводиться так, чтобы они были под огнем противотанковых орудий с оборонительной полосы с расчетом — когда танки подойдут к заграждениям и замедлят ход, их можно было бы уничтожать прямой наводкой этих орудий. Ближе к переднему краю, в 75—100 м от него, нужно возводить сплошные противопехотные заграждения.

Для того, чтобы разведка противника не приблизилась к заграждениям и, вообще, обеспечить оборону от внезапного нападения противника, на 1—3 км от переднего края высылаются боевое охранение.

Далее идет основная полоса обороны. Ее готовят дивизии, располагая два полка в первом эшелоне и один полк — во втором (ударные группы). Глубина основной оборонительной полосы достигает 5—6 км. В этой полосе создается система ружейно-пулеметного и противотанкового огня. Причем $\frac{2}{3}$ всех пулеметов должны давать огонь перед передним краем, а противотанковые орудия на тех направлениях, где танкодоступная местность, должны располагаться в шахматном порядке и эшелонированно в глубину из расчета 7—9 орудий на 1 км фронта.

Внутри оборонительной полосы создаются противотанковые районы. Эти районы должны быть окружены кольцом естественных (озера, реки, болота, крутые скаты) или искусственных противотанковых препятствий. Они также должны обороняться пулеметами и противотанковыми орудиями. В противотанковых районах располагаются ударные группы (вторые эшелоны) дивизий и полков, танки обороны, командные пункты и артиллерия. Если танкам

противника удастся прорваться в глубину обороны, то они не смогут в этих районах уничтожить ударные группы, подавить артиллерию и нарушить работу командования. Вся основная оборонительная полоса оборудуется ходами сообщения, отсечными (идушими от переднего края в глубину) и фланговыми позициями, каждый батальон подготавливает круговую оборону и создает проволочные заграждения внутри своего района и на флангах.

В 12—15 км от основной оборонительной полосы распоряжением командиров корпусов создается тыловая оборонительная полоса. Ее занимают ударные группы или резервы корпусов. На нее отходят, в случае неудачи, части с основной оборонительной полосы и на ней же располагаются подходящие из глубины оперативные резервы, если им не удастся перейти в контратаку на прорывающегося противника.

Между основной и тыловой оборонительной полосой располагаются тыловые учреждения. Эти учреждения также создают вокруг своего расположения оборонительные позиции и противотанковые заграждения на случай, если в тыл прорвутся механизированные и конные соединения противника или будут высажены авиадесанты.

Таким образом, общая глубина современной обороны может быть до 30—35 км.

Оборона подготовлена. Навстречу противнику высланы авиация и разведывательные части, которые определяют группировку противника, наносят ему потери и задерживают его продвижение. В полосе инженерно-химических заграждений противник подвергается огневому нападению передовых отрядов, обороняющих эту полосу, и артиллерии, которая заранее подготавливает свой огонь по узким местам (гати, мосты) и выходам из лесов и населенных пунктов. Когда противник будет занимать исходное положение и готовиться к атаке, то при благоприятных условиях ему нужно нанести контрудар авиацией и танками. В этот период противник находится в невыгодном положении в отношении противотанковой обороны, так как гу-

ста расположения его частей мешает вести огонь его противотанковым орудиям, а за короткий срок сильных противотанковых заграждений возвести он не сможет. В это же время артиллерия обороны ведет огонь контрподготовки, т.е. она своим огнем по артиллерии противника, по расположению его танков и пехоты срывает ему подготовку к атаке. С началом атаки танков противника вся имеющаяся артиллерия обороны ведет огонь по ним (противотанковый огонь заграждения — ПТОЗ). Если танкам удастся прорваться в глубину обороны, то они уничтожаются огнем противотанковых орудий и контратакой танков обороны.

Ворвавшаяся вслед за своими танками пехота противника контратакуется ударными группами (вторыми эшелонами, расположенными в глубине) при содействии своих танков и артиллерии и выбрасывается из основной оборонительной полосы или уничтожается внутри нее.

В случае неудачи на основной оборонительной полосе, оборона организуется на тыловой полосе — отходящими частями с основной полосы и подходящими резервами из глубины.

Так строится современная глубокая оборона. Мы разобрали только формы и методы двух основных видов боя — наступления и обороны. Но организация армии и способы борьбы, а вместе с ними и победы и поражения, как писал Энгельс, зависят от свойств людей и оружия. А товарищ Ворошилов в день 20-летия Красной Армии сказал: «Сила и боевая мощь Красной Армии и Красного Флота заключается не только и даже не столько в вооружении и специальной технике, сколько в советских людях, кадрах армии — командном, начальствующем и политическом составе и рядовых бойцах. «Кадры решают все» — говорит товарищ Сталин. И если это непреложная истина вообще, то в применении к вооруженным силам нашей страны эта истина помножается на специфику роли и значения людей, кадров в войне».

Таким образом, дело не только в формах и методах боя, даже и не толь-

ко в технических средствах, а главное и основное на войне в людях, которые управляют техникой, ведут бой.

«Никогда не победят того народа, — говорил Ленин, — в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их дедам обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда»¹.

Этим и объясняется, что молодая Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Военно-Морской Флот, численно уступавшие своим врагам в гражданскую войну, слабо вооруженные, терпевшие нужду в боеприпасах и самом необходимом, разбили на-голову многочисленные, хорошо снабженные боевой техникой армии внутренней и внешней контрреволюции.

Этим же фактором объясняется и то обстоятельство, что героическая республиканская армия Испании, уступающая в техническом оснащении мятежникам и интервентам, два года ведет упорную

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 258—259.

борьбу с фашистами, два года удерживает в своих руках Мадрид и на протяжении этих двух лет не раз наносила сокрушительные удары армии интервентов, как это, например, случилось под Брунете, Гвадалахарой и Теруэлем.

Поэтому же и китайская армия, будучи технически слабее фашистской армии Японии, ведет упорные бои и так же, как и республиканская армия Испании, наносит японцам сокрушительные удары.

«Рабоче-Крестьянская Красная Армия, — говорит наш полевой устав, — предназначена для защиты социалистического государства рабочих и крестьян... Всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью вооруженных сил Советского Союза, с перенесением военных действий на территорию напавшего врага».

Способы ведения боя будут зависеть от характера различных периодов войны. Но каждый командир и боец нашей Красной Армии воспитывается в стремлении атаковать противника всюду, где бы он ни был обнаружен. Все боевые действия Красной Армии будут вестись на окружение и уничтожение врага.

Военно-экономические ресурсы и вооруженные силы Японии

Полковник И. ПОПОВ

★

Героический китайский народ уже целый год в ожесточенной борьбе с японским империализмом отстаивает свою национальную независимость. Эта война приняла грандиозные размеры, и конца ее не видно. Во всяком случае она может свирепствовать еще очень долго. «Чайна Уикли Ревью» от 14/V 1938 г. утверждает, что «Китай не может быть побежден одним молниеносным ударом, как это мыслил «мозговой трест» в Токио в начале войны. До окончания войны еще очень далеко». Именно так и вся прочая мировая печать оценивает современную обстановку, сложившуюся на китайском театре военных действий.

Однако речь идет не только об этом, но и о том, что Китай всему миру дает предметный урок, на каком языке следует разговаривать с агрессором. Этот «разговор» выходит за пределы Тихоокеанского побережья. Эхо его разносится по всему миру. К его отзвукам жадно прислушиваются все народы. Да это и неудивительно, ибо китайский народ показал демократии всего мира, что можно не только бороться с агрессором, но и побеждать его. Значение борьбы китайского народа за право национальной независимости тем более велико, что она рассеяла миф о «непобедимости» японской армии и вскрыла все слабые стороны военно-экономической структуры империалистической Японии.

Общеизвестно, что военная мощь любого государства определяется в значительной мере его военно-экономическим

положением и прочностью социальной базы. Япония же не имеет никаких оснований быть в восторге от всего этого.

Военно-экономическая база Японии обнаружила ряд зияющих провалов. К ним прежде всего нужно отнести голод в сырьевых и топливных ресурсах, недостаточно развитую промышленность и крайне напряженное финансовое состояние.

При ведении современной войны топливные и сырьевые ресурсы имеют огромное, а подчас даже решающее, значение. Видные военные специалисты Западной Европы и США подсчитали, что действующая армия, численностью в один миллион, расходует ежемесячно 4 млн. тонн каменного угля, 200 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 300 тыс. тонн чугуна и стали и т. д. Нужно сказать, что эти подсчеты совершенно реальны. Даже больше, они даже скромны, ибо, например, во время мировой империалистической войны 1914 — 1918 гг. ежегодный «стальной паек» солдата колебался от 2 до 3 тонн.

В свете такого военного значения топливных и сырьевых ресурсов заслуживает внимания то обстоятельство, что во всем капиталистическом мире нет буквально ни одной страны, которая была бы полностью удовлетворена ими. Причем в этом отношении особую нужду испытывают агрессивные страны: Германия, Италия и Япония.

Япония обладает крайне ограниченным запасом полезных ископаемых. Ка-

менного угля у нее всего 6 млрд. тонн. В этом отношении Япония уступает многим государствам мира. В Германии каменного угля 218 млрд. тонн, в Англии — 164 млрд. тонн, во Франции — 15 млрд. тонн. Не удивительно поэтому, что в Японии душевое потребление угля крайне ничтожное — всего 0,5 тонны, против 2 тонн во Франции, 2,5 тонны в Германии, 3,9 тонны в Англии и 4,2 тонны в США. Но основная слабость каменноугольного баланса Японии заключается не в этом. Главное в том, что Япония вовсе не имеет ни антрацита, ни коксующихся углей. В антраците нуждается морской флот, железнодорожный транспорт и некоторые отрасли промышленности. Без коксующихся углей немислимо развитие железодельной промышленности. Не трудно понять, что именно поэтому Япония вынуждена импортировать такие сорта углей. Это обстоятельство свидетельствует о зависимости Японии от внешних рынков.

Еще более обострен в Японии нефтяной вопрос. В Японии общие запасы нефти оцениваются всего в 185 млн. тонн. Между тем эта страна во время войны расходует массу нефти. Недавно в Германии издана брошюра «Нефтяная политика великих держав с точки зрения экономики войны». Автор брошюры, Фриц Фетцер, определяет годовую потребность Японии в нефтепродуктах во время войны в 15 млн. тонн. В Японии же в среднем ежегодно добывается не более 250 тыс. тонн нефти. В настоящее время Япония, бесспорно, повысила добычу отечественной нефти, но далеко не до таких размеров, чтобы удовлетворить полностью возросшие потребности войны. Это объясняется не столько малым запасом нефти, сколько ее отрицательными качествами: малый выход бензина, глубокое залегание и чрезвычайно низкий среднесуточный дебет нефтяных скважин — всего 1,56 баррелей против 7,89 баррелей в США. Вот почему Япония, несмотря на широкое применение твердого и газообразного топлива, утилизацию отработанных масел, организацию получения жидкого топлива из сланцев и углей, вынуждена

с каждым месяцем войны увеличивать импорт нефти.

Необеспеченность страны жидким топливом влияет крайне отрицательно на использование авиации, бронетанковых войск, автомобильного транспорта и морского флота.

«The Japan Chronicle» от 19/V 1938 г. извещала о том, что «Япония весьма ограничена в потреблении горючего. Военные власти получили инструкцию снизить потребление горючего на 40 проц.», а газета «Times» от 20/VI 1938 г. сообщила, что «потребление нефти в Японии с июля месяца будет еще сокращено на 16 проц.».

Аналогично в Японии обстоит дело с металлами, как черными, так цветными и редкими. Черных металлов расходуется очень много во время войны. Для доказательства этого достаточно сослаться на следующие примеры. За всю войну 1904—1905 гг. было израсходовано артиллерийских снарядов: русской армией 900 тыс. и японской армией — 1,5 млн. Но во время войны 1914—1918 гг. их расходовалось неизмеримо больше. Так, подсчитано, что французская армия в сражении на р. Сомме с 24 июня по 10 июля 1916 г. истратила 2.532.649 артиллерийских снарядов, а за один только день 1 июля — 380 тыс. снарядов, весом в 8 тыс. тонн. Та же армия в сражении под Мальмензоном в октябре 1917 г. за шесть дней израсходовала 80 тыс. тонн артиллерийских снарядов.

Однако черные металлы нужны не только для производства боеприпасов. Их требуется очень много и для других военных целей: изготовление боевых машин, автотранспорта, инженерного имущества, для строительства фортификационных сооружений, морского флота и т. д. Отсюда не трудно понять, почему черная металлургия считается по праву основным мерилем военной мощи современного государства. В Японии же черная металлургия развита крайне недостаточно, что происходит прежде всего в результате отсутствия надежной железорудной базы. В Японии общие запасы железной руды, не считая низкосортной, составляют всего 40 млн. тонн.

Вот почему черная металлургия Японии работает преимущественно на импортном сырье. В 1937 г. Япония закупила на внешнем рынке 3,8 млн. железной руды, 1,5 млн. тонн металлолома и 1 млн. тонн чугуна. Все это объясняет, почему удельный вес Японии в железодельной продукции капиталистического мира чрезвычайно низок. По чугуну она едва достигает 3 проц., а по стали не превосходит 5 проц. Если даже в текущем году Япония и выполнит свой план увеличения выплавки чугуна до 5 млн. тонн и стали до 5,5 млн. тонн, то все равно этим она не удовлетворит потребности нынешней войны.

В Японии цветных металлов также явно недостаточно. По запасам цветных металлов удельный вес Японии в капиталистическом мире определяется по меди в 5 проц., по цинку—2,1 проц., по олову — в 1 проц., а по прочим металлам еще ниже. Цветные металлы в огромном размере нужны для производства современной военной техники и в первую очередь для постройки самолетов, танков, броневых автомобилей и т. п. Это обстоятельство вынуждает Японию закупать цветные металлы на внешних рынках. Из цветных металлов Япония лучше всего обеспечена медью. Но и медь она импортирует в пределах 50 проц. потребности.

В общем, Япония испытывает колоссальную нужду в тех полезных ископаемых, без которых нельзя вести современную войну. Это, бесспорно, является одним из главных показателей слабости военно-экономической базы Японии.

В связи с этим возникает недоуменный вопрос: каким же образом Япония на протяжении целого года ведет наступление на героический китайский народ? Это прежде всего объясняется тем, что Япония до начала нынешней войны накопила довольно крупные запасы стратегического сырья. Мировая печать не раз утверждала, что запасы такого сырья обеспечивают Японию на год, максимум — полтора года войны. Помимо этого, Япония теперь, конечно, увеличила импорт стратегического сырья. Вот за счет чего Япония продолжает вести наступление на Китай. Но это

до бесконечности продолжаться не может.

«Times» от 21/V 1938 г. писала, что «опасным признаком для Японии является торговый баланс за первую четверть текущего года. Ввоз промышленного сырья, от которого зависит японская промышленность, сильно упал, тогда как импорт нефти, металлов и машин поднялся. Сокращение ввоза сырья свидетельствует о предстоящей большой депрессии», что неумолимо приближает империалистическую Японию к небывалым потрясениям.

Во время войны значение промышленности трудно переоценить. Это значение теперь настолько возросло, что деятельность любого бойца на фронте целиком зависит от степени продуктивности труда рабочего на тыловом предприятии. Причем в этом отношении особо выдающуюся роль, помимо металлургии, играет машиностроительная и химическая промышленность. Учитывая именно также значение этих отраслей промышленности, Япония за последние годы стремилась повысить их удельный вес. В этом отношении Япония достигла некоторых успехов. В 1929 г. удельный вес металлургической промышленности во всей промышленной продукции страны, определялся — в 8,9 проц., машиностроительной — в 8,8 проц. и химической — в 13,9 проц., а к настоящему времени их удельный вес достиг соответственно: 18 проц., 14 проц. и 17 проц. Несмотря на это, в Японии главная роль принадлежит текстильной промышленности, которая, как известно, не имеет решающего военного значения. В этом прежде всего кроется слабость военно-промышленной базы Японии. Помимо того, она обладает и другими отрицательными качествами, из которых особое значение приобретает так называемая техническая пестрота. Сущность этого качества заключается в том, что наряду с крупными предприятиями в Японии имеется множество мелких заводов и фабрик. Роль последних в экономической жизни Японии довольно велика. Японский экономист Такахаси считает, что 65 проц. японского экспорта состоит из продукции средней и мелкой

промышленности. Нет сомнения, что такие предприятия весьма трудно перевести на производство военной продукции, отчего, бесспорно, еще более суживается военно-промышленная база страны.

Машиностроение, составляющее основу военного производства, среди прочих отраслей промышленности Японии занимает второе место по количеству рабочих и четвертое место по стоимости продукции. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о слабости «сердцевин» военного производства Японии.

Из всех отраслей машиностроения наиболее развита судостроительная промышленность. Японский экономист Судзуки Масебуро утверждает, что судостроение его страны обладает годовой производственной мощностью в 77 кораблей, общим тоннажем в 616 тыс. тонн. Но и эта отрасль машиностроения начинает хромать на обе ноги. «The China Weekly Review» от 21/VI 1938 г. отмечала «упадочное состояние судостроительной промышленности Японии».

Автомобиле- и авиастроение — молодые отрасли промышленности Японии. Их производственная мощность не в состоянии удовлетворить даже самые скромные потребности страны и армии. Как-раз этим объясняется то положение, что автомобильный парк Японии крайне мал — всего около 135 тыс. машин, из которых грузовиков только 50 тыс. В итоге этого японская армия, бесспорно, уступает в гибкости и маневренности тем армиям, которые обладают большим автомобильным парком.

Слабо развитое авиастроение усиливает зависимость Японии от внешних рынков. «Berliner Tageblatt» от 11/VI 1938 г. извещала о том, что «США в течение мая 1938 г. продали Японии бомбардировщиков на сумму свыше 1,3 млн. долларов. Япония занимает 2-е место по вывозу военного имущества из США».

Положительной стороной военно-промышленной базы Японии является ее химическая промышленность, продукция которой может полностью удовлетворить потребности военного времени. При этом ее химическая промышленность ра-

ботает почти целиком на отечественном сырье, в чем она выгодно отличается от остальных отраслей промышленности Японии. По данным иностранной печати, химическая промышленность Японии может ежегодно вырабатывать до 130 тыс. тонн разных отравляющих веществ.

Многие экономисты расценивают текстильную промышленность Японии в качестве сильной стороны ее экономической базы. С таким утверждением нельзя согласиться, ибо она целиком работает на импортном сырье. В среднем, Япония ежегодно ввозит около 700 тыс. тонн хлопка. В этом отношении Япония стоит на втором месте в мире, после Англии. Так же обстоит вопрос и с шерстью, которой в 1936 г. она импортировала на 207 млн. иен. В Японии мелкого рогатого скота только 30 тыс. голов. Отсюда легко понять, сколь ничтожна роль отечественной шерсти в текстильной промышленности Японии.

Чтобы судить о продовольственных ресурсах Японии, пожалуй, можно ограничиться следующими сведениями. Япония своими зерновыми культурами обеспечена так: рисом — на 88 проц., пшеницей и бобами — на 60 проц., коровьего масла в Японии ежегодно потребляется около 20 млн. кг., из которых 60 проц. импортируется. Растительным маслом своего производства Япония обеспечивает только 5 проц. потребности. Продовольственное положение начинает приносить довольно большое беспокойство японской военщине. Крупный чиновник военного министерства Японии Сигетоми поместил статью в журнале «Рекиси Корон», в которой весьма пессимистически оценивает продовольственные возможности своей страны. В соответствии с этим он предлагает ввести в армии «общее питание для людей и лошадей».

Наконец, финансовое положение Японии характеризуется крайним напряжением, ибо подготовка к войне, а тем более участие в ней вызывает огромные денежные расходы. При этом, вследствие огромного технического оснащения армий, ведение войны очень вздорожало. Подсчитано, что в 1937 г., по сравнению с 1913 г., численность армий всего

мира увеличилась на 41,6 проц., а расходы на содержание их — на 184 проц.

Япония, занятая подготовкой к войне, ежегодно тратила на прямые военные расходы не меньше 50 проц. всего своего государственного бюджета. Оккупация Манчжурии стоила Японии очень дорого. С 1931 г. по 1937 г. включительно она на эту авантюру израсходовала свыше 1.300 млн. иен. О размерах финансовых затрат Японии на нынешнюю войну можно получить представление из следующего сообщения «Daily Telegraph and Morning Post» (21/VI 1938 г.): «Война продолжается почти год, а смета расходов на 1938—1939 г. достигла астрономической цифры в 12 млрд. иен, из которых половина должна быть покрыта выпуском бон».

Война с Китаем вызвала, бесспорно, утечку золота из правительственного банка Японии. Она и раньше имела чрезвычайно ограниченный золотой запас, который оценивался в 1929 г. в 541 млн. золотых долларов, в 1937 г. — в 269 млн. тех же долларов, а теперь есть все основания полагать, что он не превосходит 50—70 млн. долларов.

В общем, Япония имеет крайне шаткую военно-экономическую базу.

Прочностью социального строя она также не может похвалиться. Пролетариат испытывает ужасную эксплуатацию. Безработных в стране, по данным газеты «Цюгай Сиогио», не менее 1,3 млн. человек, которые вместе с семьями составляют более 5 млн. человек. Работающие находятся в тяжелом положении. Продолжительность рабочего дня 12—14 и даже 16 часов в сутки. Заработная плата за последнее пятилетие снизилась на 20—25 проц. Розничные цены на предметы первой необходимости за это же время возросли на 65—70 проц.

Положение крестьянства не менее тяжелое. «Нихон Ногэ Нэнпо» утверждает, что «из 5,1 млн. крестьянских хозяйств, владеющих землей, 3,8 млн. — мелкие хозяйства, имеющие всего до 1 га земли на каждое хозяйство». Нетрудно понять, что большинство крестьян Японии повергнуто в ужасную нищету. По данным самой японской печат-

ти, большинство крестьян начинает голодать уже с ноября.

Положение трудящихся Японии тем более тяжелое, что на них с каждым годом давит все сильнее налоговый пресс. В 1931—1932 г. налоговые поступления составляли 735 млн. иен, в 1937—1938 г. — уже 1.250 млн. иен.

Все это имеет непосредственное отношение к моральному уровню японской армии. Никакими средствами самой жестокой палочной дисциплины нельзя выбить из головы японского рабочего-солдата его дум о многолетней безработице, о варваре-фабриканте, о голодной семье. Ничем, ни мордобойством, ни натравливанием на мирное китайское население, ни пропагандой «самурайства», нельзя вычеркнуть из памяти крестьянина — японского солдата — его тревоги о раздетой и голодной семье, о неумолимом сборщике налогов, ненависти к помещику, полиции и кулаку. В результате всего этого политико-моральное состояние японской армии далеко не блестяще. «Manchester Guardian» от 10/V 1938 г. писала: «Нельзя ожидать, чтобы японский народ восстал, так как он очень вынослив, но этот опыт может положить конец праву военных руководителей управлять судьбами всей нации. Политико-моральное состояние армии будет подорвано».

Социальная база японского империализма начинает слабеть и потому, что трудящиеся Японии с каждым днем убеждаются в том, что их отечественный империализм далеко не силен. «Manchester Guardian» от 27/VI 1938 г. писала: «За первые месяцы войны в Китае японский народ не знал истинного положения. Ему говорили, что военные действия в Китае не война, а инцидент, что японская армия непобедима, что китайское правительство беспомощно, что оно накануне краха. Умудренные горечью поражений, японские власти позволяют теперь говорить более ясно. Министры уже не скрывают серьезности положения».

В итоге войны с Китаем Японии пришлось значительно увеличить свои вооруженные силы. Еще несколько лет тому назад японская армия состояла

голько из 17 пехотных дивизий. Теперь же в японской армии количество пехотных дивизий возросло до 43—45. В 1936 г. общая численность сухопутной армии Японии едва достигала 345 тыс. человек. Ныне же в ряды своей армии Япония призвала не менее двух миллионов человек. Мировая печать примерно такой цифрой определяет численность японской армии. Швейцарская «*National Zeitung*» от 10/VI 1938 г. сообщала, что «Япония уже мобилизовала 1,7 млн. человек». «*Manchester Guardian*» от 3/VI 1938 г. наряду с утверждением, что «Япония не в состоянии закончить войну, когда ей понравится», отмечала стремление Японии «довести свою армию в Китае до 2 млн. человек».

Героический Китай дает сокрушительный отпор империалистической Японии. От отступления и обороны китайская армия начинает переходить к наступлению. Многочисленные партизанские отряды китайской армии оживленно действуют на японских коммуникациях. Они каждый день и каждый час наносят удары по наиболее чувствительным звеньям тыла японской армии. Все это объясняет, почему японская армия несет огромные потери. «*National Zeitung*» от 10/VI 1938 г. писала о том, что «японские потери убитыми и ранеными составляют 400 тыс. человек». Боевая деятельность китайской армии приобретает все более активный характер, и потери японцев неуклонно растут. Именно этим объясняется то положение, что «на реке Янцзы встречаются госпитальные корабли, до предела переполненные ранеными японцами» («*Manchester Guardian*» от 13/VI 1938 г.). Если учесть заболевших и эвакуированных в тыл, то потери японской армии составят не менее 500 тыс. человек.

Людские же ресурсы империалистической Японии весьма ограничены. Мужчин от 17 до 40 лет насчитывается около 6,5 млн. Их всех призвать в армию Япония не в состоянии. Из шести с половиной млн. человек — свыше двух млн. рабочие, из которых не менее 50 проц. Япония вынуждена оставить на производстве, ибо во время войны

промышленность должна работать с особым напряжением. В количестве военнообязанного контингента числится 500—600 тыс. транспортных рабочих, которые, по вполне понятной причине, также не могут быть взяты в армию. Не менее 600 тыс. человек служат в военно-морском и торговом флоте. Таким образом, в лучшем случае Япония располагает военнообязанным контингентом, не превышающим 4—4,3 млн. человек. Становится совершенно ясным, почему в японскую армию стали призывать и корейцев, и формозцев, и жителей Манчжурии. Японская военщина все время стремилась службу в армии «одеть» в ореол почета и славы. Нужно однако сказать, что корейцы, формозцы и манчжуры от этого почета в восторг не приходят. Более того: «Япония в войне против Китая не может полагаться на манчжурские войска. У них отмечается массовое дезертирство, убийство японских офицеров и переход на сторону Китая» («*Daily Worker*» от 21/V 1938 г.). Значит, есть все основания утверждать, что новое «пополнение» японской армии только ослабляет ее.

Японская армия имеет несравненно более мощное техническое оснащение, нежели китайская армия. По китайским сведениям, в японской армии в конце 1937 г. было 3 500 самолетов и около 1 000 танков. В части артиллерии японская армия оснащена также лучше, чем китайская армия.

Однако следует раз и навсегда отвергнуть утверждение о том, что будто бы японская армия использует особо умело свою технику. Напротив, американский журналист Никкербоккер, кстати рьяный японофил, в своих корреспонденциях не раз отмечал слабую огневую подготовку японской армии. Он утверждал, что японская артиллерия выпустила 90 000 снарядов для уничтожения железнодорожной станции Чапей, но из них в нее попали только... 90, несмотря на то, что артиллерийские наблюдательные пункты находились от цели на расстоянии всего 1 000 ярдов. Или другой пример: японские самолеты летали над той же станцией Чапей чрез-

вычайно низко, не боясь зенитной артиллерии, ибо ее у китайцев не было. Японские самолеты сбросили на эту станцию 100 бомб, но в нее попала только... одна.

Готовясь к «большой» войне за новый передел мира, японская военщина уделяет большое внимание военно-морскому флоту. На заре эпхи империализма японский военно-морской флот был, по-

жалуй, одним из наиболее слабых. По сути дела, военно-морские силы Японии начали резко увеличиваться только после окончания мировой войны 1914—1918 гг. Именно с этого времени военно-морской флот Японии стал соперничать с флотами США и Англии. По английским данным, военно-морские силы ряда государств, в том числе и Японии, по состоянию на 1/1 1938 г. выглядят так:

| СТРАНЫ | ЛИНКОРЫ | | АЗИАНОСЦЫ | | КРЕЙСЕРА | | ЭСМИНЦЫ | | ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ | |
|----------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
| | В строю | В по-стройке | В строю | В по-стройке | В строю | В по-стройке | В строю | В по-стройке | В строю | В по-стройке |
| Англия | 15 | 5 | 5 | 5 | 59 | 17 | 161 | 40 | 52 | 18 |
| США | 15 | 4 | 3 | 3 | 29 | 10 | 196 | 38 | 84 | 22 |
| Япония | 9 | 3 | 5 | 2 | 35 | 2 | 102 | 10 | 60 | 2 |
| Франция | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 60 | 16 | 75 | 16 |
| Италия | 4 | 4 | — | — | 22 | — | 64 | 24 | 86 | 30 |
| Германия | 3 | 5 | — | 2 | 6 | 7 | 22 | 12 | 36 | 26 |

Не останавливаясь на этом, японский империализм все время увеличивает свой военно-морской флот. При этом он основное внимание сосредоточил на новом строительстве линейных кораблей, тяжелых крейсеров и подводных лодок. Линейные корабли, обладающие мощной артиллерией, скоростью и большой броней, по праву считаются «становым хребтом» военно-морского флота. Тяжелые крейсера, по своим качествам, вместе с линкорами составляют ядро флота. Кроме того, отличаясь значительным радиусом плавания, они в состоянии выполнять самостоятельные задачи в большом удалении от своих баз. Все это, а также пиратские «подвиги» их арийских братьев на Средиземном море как-раз и вдохновляют японскую военщину на постройку кораблей этих классов. Обычно всегда хорошо осведомленный морской корреспондент «Дейли Телеграф» Г. Байуотер утверждает, что Япония строит один или два линейных корабля больших размеров, водоизмещением по 50 тыс. тонн и с вооружением из 18-дюймовых пушек. «La Monteur le la France» от 21/IV сообщает, что Япония строит 18 000-тонные крейсера, которые будут вооружены девятью

12-дюймовыми орудиями. Скорость хода этих кораблей будет 40 узлов. Морские специалисты утверждают, что создание такого крейсера произведет переворот в морской тактике». Наконец, английские сведения о том, что Япония будто бы имеет всего 62 подводных лодки, повидимому, устарели. «Our Navy» в апрельском номере текущего года сообщила, что в Японии в ближайшее время будет 68 подводных лодок.

В общем, Япония располагает довольно крупными военно-морскими силами. Но использовать эти силы в борьбе с Китаем так, как это ей хочется, она не в состоянии. Тем более потому, что героические летчики Китая уже потопили 35 военных кораблей Японии» («National Zeitung» от 10/VI 1938 г.).

За последние месяцы китайская армия получила немало технических средств. Довольно прочное финансовое состояние позволяет Китаю продолжать закупку боевой техники на внешних рынках. В итоге всего этого происходит некоторое уравнивание в техническом оснащении японской и китайской армий. Даже больше, китайцы свою боевую технику используют несравненно

разумнее и эффективнее, нежели японская армия. Японские самолеты, отражая всю злобу своего генерального штаба, что никак не удастся сломить сопротивление китайского народа, с остервенением дикого зверя обрушиваются на беззащитные города Китая. «Кантон японцы бомбардировали более 800 раз» («Nazional Zeitung» от 10/VI 1938 г.). Но это ни на одну иоту не приближает Японию к победе. В то же самое время китайская авиация дает пример гуманности всему капиталистическому миру. Она настолько усилилась, что свои крылья показывала уже несколько раз над островами Японии. Но не сбросила ни одной бомбы. Однако эти полеты китайской авиации далеко не только один символический жест.

Они отражают растущую мощь китайского народа, который теперь располагает средствами для того, чтобы бить врага на его же территории. Именно такой смысл придает мировая печать этим налетам китайской авиации. «North China Daily News» от 22/V пишет: «Китайский налет на Японию заставит японцев призадуматься». Ту же самую мысль повторяет другая газета «Shanghai Evening Post» (22/V 1938 г.): «Полеты китайской авиации над Японией заставят поразмыслить японцев».

Если к этому добавить единство китайского народа и его решимость до конца бороться с агрессором, то станет совершенно ясным, почему будущее не сулит ничего приятного для империалистической Японии.

Литература и искусство героического Китая

ЭМИ СЯО

★

Уже год длится борьба героического китайского народа за свою независимость и свободу, против агрессии японских захватчиков. Весь 450-миллионный китайский народ целиком поднялся на защиту своей родины, отстаивая свою священную землю.

В народной войне рождается самая революционная, самая действенная и подлинно массовая, народная литература и искусство.

7 июля 1937 года японские пушки загремели в Северном Китае, в Лукоуцяо. Сейчас же, в ответ, 15 шанхайских драматургов, работая днем и ночью, создали коллективно пьесу «В защиту Лукоуцяо». Она ставилась в городе и на фронтах.

ТИН ЛИН — «КИТАЙСКАЯ ПАССИОНАРИЯ»

В северо-западной части Китая, в 8-й народно-революционной армии давно работает на фронтах и в тылу талантливейшая писательница Тин Лин. Она совершила вместе с бойцами большие походы через бурные реки и непроходимые горы, перенося все лишения и трудности. Она собирается писать книгу о Великом походе китайской красной армии 1935—36 гг. Она пишет рассказы, песни-баллады, пьесы для бойцов и населения северо-западных провинций.

Тин Лин редактирует литературно-

художественный журнал северо-западного района «Чжаньди» («Поле сражения»). Она руководит и участвует в работе знаменитой «Группы по обслуживанию северо-западного фронта». Группа Тин Лин проникает в каждый уголок края и постоянно ведет культурно-просветительную работу среди учащихся, мелких торговцев, солдат, а в особенности среди крестьян. На площадях деревень, в старинных храмах, на театральных подмостках группа устраивает для населения лекции, спектакли, концерты, поет народные песни, призывая китайский народ на борьбу против врагов. Каждый мирный житель провинций Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Нинся, Суйюань хорошо знает «Северо-западную группу по обслуживанию фронта». И теперь во всех частях армий, борющихся за спасение родины, создаются самодеятельные кружки. В группу Тин Лин входит больше сорока членов; среди них немало студентов из бэйпинских и тяньцзинских университетов, которые вместе с войсками совершили походы с севера Шаньси через реку Хуанхэ, пройдя западные, северные и восточные части Шаньси, многие города, населенные пункты и деревни. В группу вступили недавно несколько известных писателей, поэтов и композиторов. Писатели Сяо Хун, Туаньмо Хунлян, Нье Ганну, Сайкэ коллективно создали пьесу «Удар». Недавно (16 марта с. г.) эта пьеса была представлена в городе Си-

ань. В трех ее актах показано, как народ Шаньси поднялся на борьбу против японских захватчиков.

4 апреля группа устраивала второй общественный просмотр пьесы, соединенный с концертом; в программу последнего вошли пение, музыка, танцы; лучшим номером нужно считать «танец свержения японского империализма». Здесь использована форма народного танца северо-восточных провинций (Маньчжурии), тема которого — посев риса. В «день китайских детей» (4 апреля) группа устроила бесплатный концерт для детей.

До этого времени группа проделала большую работу на фронтах и в тылу ряда северо-западных провинций. Накануне падения Линфына она поставила спектакль «Восемьсот храбрецов» (о героических защитниках Шанхая). Покинув Линфын, она перешла в другой город — Юньчен¹. И только новый натиск врагов заставил группу вернуться в Си-ань. Группа неоднократно совершала военные подвиги; например, однажды темной ночью члены ее в восточной части Шаньси разоружили отряд отступавших японских солдат.

В Китае много пишут о Тин Лин: «Биография Тин Лин», «Героиня войны-сопротивления», «Беседы с Тин Лин» и т. д. В Ухане на улицах, на пристанях громко кричат: «Кто хочет видеть Тин Лин — двадцать центов!». Это кричат продавцы вышеуказанных книг. Когда ей рассказали об этом в Си-ане, Тин Лин покраснела и не поверила; но, войдя на улицу после концерта, Тин Лин сама увидела такие книги на книжных прилавках.

Недаром в Китае называют Тин Лин «китайской Пассионарией».

ХУ ЛАНЬЧИ — НАЧАЛЬНИК «ГРУППЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФРОНТА»

Японские хищники снова напали на Шанхай в августе 1937 г. Китайская армия оказывала упорное сопротивление захватчикам. Весь Шанхай поднялся

против хищников-интервентов. Писательница Ху Ланьчи организовала «группу трудящихся женщин по обслуживанию фронта». В эту группу входят 19 молодых женщин и девушек; среди них 15 шанхайских работниц — текстильщицы, чулочницы и др.; самый младший член группы — 16-летняя девочка Ли Яфын, работающая в одной из шанхайских чулочных мастерских. Группа эта работала непосредственно на фронтах Шанхай-Нанкинского района, преодолевая все трудности и лишения, рискуя своей жизнью. Недавно группа, во главе с Ху Ланьчи, прибыла в Ханькоу. Но вскоре группа снова отправилась на фронт.

Вот что рассказывает корреспондент «Синьхуа Жибао» о встрече с этой группой: «Ху Ланьчи одета в военную форму, с кожаным поясом. Она оживленно рассказывает о работе группы на фронтах... Группа, главным образом, ведет санитарную и культпросветительную работу среди солдат, устраивает для них концерты и спектакли, выпускает солдатские газеты, устанавливает крепкую связь между армией и населением, а также организует народные массы для участия в обороне страны».

Когда армия пришла в Нань-Чан, раненые солдаты часто выражали недовольство и обращались грубо с населением. Группа устраивала для раненых солдат театральные представления; ежедневно их смотрели больше двух тысяч человек: многие раненые плакали, требовали скорейшего возвращения снова на фронт. Председатель «наньчанского городского комитета по оказанию помощи фронту» лично явился выразить группе глубокую благодарность за то, что она установила хорошие отношения между армией и жителями.

Ху Ланьчи рассказала еще об одном случае. Как-то на восточном фронте китайская армия не выдержала натиска японцев и вынуждена была отступить; отступала она в беспорядке, словно лавина, обрушились назад 4 000 солдат. Группа знала, что на левом фланге китайские солдаты героически сопротивлялись японскому наступлению, — она решила помочь им. 19 молодых патрио-

¹) В городе Хундуне группа продолжала работать даже после его падения.

ток, во главе с Ху Ланьчи, поднялись на возвышение и стали громко кричать отступающим солдатам, чтоб они не бежали назад, а шли к левому флангу. В результате — 4000 солдат повернули налево на укрепление товарищам и там, вместе с другой частью, приостановили продвижение японцев!

Группа ежедневно заседает, обсуждает план своей работы. Члены ее обучаются военной технике, некоторые девушки уже отлично стреляют. Группа выпускает, под редакцией Ху Ланьчи, популярный орган «Сяо Баси» для солдат.

«Некоторые девушки стали замечательными актерами, — сказала в редакции Ху Ланьчи. — За это время мы все многому научились. 16-летняя Ли Яфынь в Шанхае посещала кружок по ликвидации неграмотности, но сейчас она уже умеет писать небольшие статьи для нашего журнала и стенгазеты».

Ху Ланьчи выпустила книгу «На линии огня Шанхая—Усуна».

«ВСЕКИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ПО ОТПОРУ ВРАГУ»

27 марта 1938 г. в Ханькоу, в большом зале торговой палаты, собрались писатели, поэты, драматурги, артисты, художники, ученые, журналисты, общественные деятели — всего более пятисот человек. По обеим сторонам трибуны на стене висят плакаты: «Пером и винтовкой завоеваем национальную независимость!». «Литературной и военной стратегией несем человечеству свет!».

Здесь сегодня учредительное собрание «Всекитайской ассоциации литераторов», — съезд китайских писателей по отпору врагу.

Давно китайские писатели включились в борьбу своего народа против японских захватчиков. В 11-месячной борьбе китайского народа за свою свободу и независимость против японской агрессии китайская литература и искусство являются могучим боевым оружием. Писатели, поэты, драматурги, артисты энергично работают на фронтах и в тылу. Но объединенная организация оформилась только сейчас.

На съезде писателей 27 марта были вынесены решения:

1) Мобилизовать в срочном порядке всех писателей и создать сто произведений (рассказы, стихи, пьесы, очерки и т. д.) для китайских солдат — героических защитников родины.

2) Послать бригады из писателей на фронты для ведения просветительной работы среди солдат.

3) Систематически снабжать фронты всевозможной антияпонской литературой (газеты, журналы, книги, брошюры).

4) Вести работу среди летчиков, среди беженцев, детей.

5) Организовать сеть литературных корреспондентов по всей стране.

6) Выпустить орган ассоциации.

Съезд выпустил воззвание ко всем передовым писателям мира, к японским революционным писателям.

В правление ассоциации литераторов вошли 45 человек; среди них: Лао Шэ, Го Можо, Мао Дунь, Тин Лин, Тянь Хань и др.

Ассоциация создана. Это — объединение китайских писателей всех творческих тенденций и направлений, под общим знаменем национального антияпонского единого фронта.

Еще года два тому назад китайские писатели выдвигали лозунги — «за оборонную литературу», «за массовую литературу национальной революционной войны». Великий китайский народный писатель, ныне покойный, Лу Синь перед смертью горячо призывал писателей объединиться в борьбе против японских захватчиков; он писал: «Я защищаю политику национального антияпонского единого фронта, которая выдвигается теперешней китайской революционной партией (читай: компартией Китая. — Э. С.)... Я за то, чтобы все литераторы, все группировки объединились под лозунгом борьбы против Японии. Повернем винтовку на внешнего врага, — вот что главное в настоящее время».

Были попытки объединения писателей и в Шанхае, — например, были организованы «Ассоциация писателей», «Ассоциация авторов» и др.; но все они не получили широкого размаха. Ситуация была чрезвычайно напряженной: Шан-

хай — экономический и культурный центр страны — захвачен японской военной и превращен ею в мертвый город; часть писателей ушла на фронт, оставшиеся же в тылу энергично взялись за создание массовых литературных произведений для агитации и пропаганды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ВСЕКИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ»

«Всекитайская ассоциация литераторов по отпору врагу» издает свой орган — трехдневную газету «Литература войны-сопротивления»; 4 мая 1938 года вышел первый номер.

В неделю пропаганды второго периода войны-сопротивления» силами ассоциации выпущены специальные страницы в газетах.

В Ханькоу издается много периодических журналов. Под редакцией известных писателей Мао Дуня, Е Шентао и др. выходит журнал «Молодая гвардия». Орган ЦК КП Китая «Цюньчжун» («Масса»), под редакцией писателя Пань Цзыняня, также часто затрагивает вопросы литературы и искусства. В Ханькоу издается литературный журнал «Свободный Китай». В нем сотрудничают литератор старшего поколения Чен Фан-у, писательница Тин Лин и ряд передовых писателей и поэтов. В Ханькоу же выходит литературный журнал «Чжаньди» («Поле сражения»), под редакцией Тин Лин и известного молодого писателя, уроженца Манчжурии, Шу Цюня. В этом же журнале из номера в номер печатается большой роман Ло фун «Заключенные в Манчжурии» и большие дневники японского солдата Нагамо — телохранителя одного генерала; они представляют большой интерес.

НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

Чрезвычайно интересно отметить повышение интереса к декламации стихов перед большой аудиторией. Дело в том, что поэзия в Китае является самым изысканным видом искусства и она создавалась китайскими классиками не для декламации.

В связи с мобилизацией народа на оборону страны поэзия должна сыграть громадную роль в деле пропаганды; и современный поэт должен задуматься над вопросом, как сделать свои произведения доходчивыми до слушателя.

Устное чтение стихов перед большой аудиторией началось в Янь-ане — столице северо-западного пограничного района (Особый район Китайской республики). В ноябре 1937 года там создавалась «Ассоциация литературных кругов для спасения от гибели». В ней имеется секция литературы и искусства, в которой, в свою очередь, образовался кружок стихов и песен, вскоре превратившийся в «Общество боевых песен». На организационном собрании общества, устроенном в последний день годовых отпусков, присутствовало больше 20 поэтов, композиторов и певцов. В течение двух месяцев общество устроило более двадцати вечеров художественного чтения стихов в Северо-Шансийском колледже, в Центральном конференц-зале города Янь-ань и в других местах. Особенно значительный из таких вечеров состоялся 26 января 1938 г. в Центральном конференц-зале. Это было небывалое зрелище; читались стихи, пелись разнообразные народные песни. На собрании присутствовало больше двухсот человек; но после исполнения половины программы зал наполнил опустел. Из этого факта поэты сделали вывод, что стихи их написаны еще недостаточно популярным языком и несовершенны в художественном отношении. Интересно отметить, что вождь-герой китайского народа т. Мао Цзедун пришел на этот вечер к самому началу и пробыл до конца. (Как известно, т. Мао Цзедун сам знает наизусть сотни народных песен и во время своих публичных выступлений нередко использует их при разъяснении крестьянам причин их угнетения и необходимости борьбы за освобождение).

На этом вечере большим успехом пользовались кантонские чтецы, так как декламировали исключительно произведения, написанные на подлинно народном языке.

«Общество боевых песен» часто выступает со своим репертуаром также на улицах и площадях.

В Ухане и других местах китайские поэты также проводят кампанию за популяризацию стихов и песен, за их исполнение перед большими аудиториями. Сами поэты, раз'езжая по городам и деревням, декламируют или поют свои стихи, иногда с несложным музыкальным сопровождением. Выпущены книги «стихов для декламации». В последнее время обсуждается часто этот вопрос и в газетах, и в журналах; большинство авторов пришло к выводу, что новые стихи следует писать, критически осваивая старые, вернее — народные, формы.

ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. ГОРЬКОГО

В бывшем Центральном Советском районе Китая, в провинции Цзяньси, была организована Школа искусств им. Горького. В этой школе обучались кадры главным образом для революционного театра и эстрады.

Во время Великого западного похода китайской красной армии — ныне 8-й народно-революционной армии — на вершинах непроходимых гор и на берегах бурных рек бойцы часто слышали бодрящие революционные песни и смотрели боевые постановки под открытым небом. Исполнителями и были артисты, окончившие школу искусств; сопровождая красную армию, они устраивали на перелогах «летучие театры» и «летучие концерты» для бойцов.

НАРОДНОЕ АНТИЯПОНСКОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В Северо-Западном Особом районе работает народное антияпонское драматическое общество, с сетью передвижных театров в провинциях Шэньси, Ганьсу, Нинся и др.

В субботу вечером народ Особого района идет к открытым сценам, наспех устроенным в старинных храмах. Это действительно народные театры: мужчины, женщины с детьми на руках, старики, юноши, люди всех профессий, крестьяне, рабочие, ремесленники, бой-

цы, пастухи — все спешат к большой поляне, где назначается представление.

Театры эти реалистически представляют современную жизнь и события, давая, главным образом, антияпонские пьесы, социальные драмы. Так, например, в пьесе «Вторжение» изображается нашествие японских войск в Манчжурию, их зверские расправы с мирными жителями, принудительная продажа японцами китайцам наркотиков и т. п.; но народ поднимается и идет на борьбу против чужеземных поработителей. Другая пьеса, озаглавленная «Долой предателей!», разоблачает китайских троцкистов — агентов японских агресоров; драма «Героиня» посвящена мужественной китаянке, отдавшей жизнь за китайский народ; в пьесе «Северные соседи» показан эпизод из японской интервенции на Дальнем Востоке и героизм русских партизан, прогнавших японцев с территории Советского Союза. В репертуар «Народного театра» входят не только пьесы, но и хоровые выступления, живая газета, танцы и т. п.

В Особом районе Китая существуют сотни передвижных театров. Каждая часть 8-й армии имеет свой драматический кружок.

Актеры театра набираются из местных жителей, из рядовых бойцов, а старшие становятся инструкторами. В числе исполнителей — немало бывших воспитанников Школы искусств имени Горького.

НЕБЫВАЛЫЙ РАСЦВЕТ ТЕАТРА

За последнее время новый китайский театр достиг необычайного развития. Он создал значительный боевой репертуар на тему войны-сопротивления, — пьесы патриотические, антияпонские, а также исторические драмы, созвучные современным событиям. Кроме профессиональных актерских трупп, по всей стране возникают самодеятельные драматические кружки: театральные группы молодежи, учащихся, студентов, детские театры, рабочие и крестьянские театры, театральные коллективы беженцев и даже театры раненых солдат. Повсеместно

каждый праздник, каждое событие на фронте и в тылу народ отмечает театральными постановками. В «неделю пропаганды второго периода войны-сопротивления» специально включен был «день театра»; это было 10 апреля текущего года. В Учане и Ханькоу в этот день около двадцати больших театров целиком посвятили свою работу анти-японским постановкам. В Ханькоу создана «Всекитайская ассоциация театральных работников по отпору врагу». Помимо того, организовано: «Театральная труппа ханькоуских горожан по обслуживанию войск», «Передвижная театральная труппа молодежи провинции Цзянсу и Чжэцзян», «Театральное общество хубэйского народа по оказанию помощи фронту», «Театральная труппа рабочих и служащих 1-й текстильной фабрики по обслуживанию фронта», «Всекитайская туристская театральная труппа», «Театральная труппа спасения страны», «Театральное общество Железа и Крови молодежи по борьбе с врагом», «Детский кружок театрального общества молодежи Железа и Крови», «Детская театральная труппа», «Театральная труппа молодых женщин» и многие другие. В Ханькоу же издается ежемесячный журнал «Театр войны-сопротивления», под редакцией известных китайских драматургов Тянь Ханя и Ма Исяна.

«Шанхайская драматическая ассоциация по спасению от гибели» мобилизовала 16 театральных трупп и направила их на работу в разные районы страны. Труппы эти блестяще показали свою способность в деле мобилизации населения на оборону родины. Зрители плакали во время действия и тут же у сцены записывались на фронт, организовывали отряды самообороны.

Бэйпин - тянцзинские студенческие агитбригады ездили по деревням со своими театральными постановками и песнями. Впечатление от них было столь значительно, что в одном месте бедная женщина сняла с себя ватную куртку и отдала солдатам; в другом месте рикша-кули отдал свои последние 20 центов; десятки крестьян бесплатно помогали при устройстве театральных

подмостков. Народ жадно смотрел спектакли, слушал песни и шел в партизанские отряды или вступал в армию.

Группа детей шанхайских рабочих и служащих, в возрасте от 8 до 17 лет, самостоятельно организовала передвижной театр. После падения Шанхая дети, преодолевая много трудностей, путешествовали со своим театром через Нанкин — Сюйчжоу — Чженчжоу — Ханькоу, организуя для населения патристические и антияпонские спектакли. Любимейшей постановкой этого детского театра является комедия «Живым захватить японского чорта». Детский театр, кроме театральных постановок, выступает с пением и танцами; самая популярная из них песня — «Песня беженцев».

В апреле текущего года «Передвижная рабочая бригада Всекитайской федерации рабочих по отпору врагу» устроила общественный просмотр своих драматических постановок. В нем участвовала также «Вторая бригада театральной труппы шанхайской молодежи», «Северо-китайский хор», «Студенческий союз провинции Хубэй». На просмотре присутствовало около десяти тысяч рабочих.

Молодой патриот Чжоу Дяю, активно работая в «Ассоциации театральных работников по оказанию помощи фронту», днем ходил пешком и пропагандировал, а ночью писал пьесы. В течение двух месяцев он написал четыре революционно-патристических пьесы. При его участии были показаны постановки, на которых присутствовали две тысячи раненых солдат. После спектакля раненые солдаты немедленно просили снова отправить их на фронт. Десятки тысяч крестьян, посмотрев спектакли, образовывали партизанские отряды. Чжоу Дяю отдыхал только три часа в сутки; питался он плохо и умер от истощения. Ему было неполных 19 лет. На устроенном общественностью траурном митинге, посвященном Чжоу Дяю, мать его — педагог — со слезами на глазах заявила: «У меня умер сын от напряженной работы по спасению родины. Но я буду воспитывать сотни и тысячи таких юношей, каким был он, и сотни ты-

сяч сыновей китайского народа будут моими сыновьями».

«Союз работников ханькоуских городских театров» — театров старого типа — также активно принимает участие в борьбе народа за свою независимость. 25 марта 1938 г. семнадцать театров отдали весь свой сбор на помощь китайским детям-беженцам. За первое полугодие 1938 г. они дали сорок театральных вечеров; собранные ими за эти представления деньги шли на подарки и снабжение командиров и бойцов — защитников китайской земли.

В Ханькоу же была поставлена пьеса «Борьба за свободу и мир» — четырехактная драма, содержащая ряд эпизодов героической защиты родины, в том числе и подвиг восьмисот храбрецов. Но это не обычная театральная постановка: в нее входит и киномонтаж, и пение, и речи, и лозунги, и, наконец, реалистические эпизоды, вроде таких: при звуке горна народ идет на фронт, женщины шьют одежду для бойцов, беженцы организуют свои отряды для соединения с регулярной армией, рабочие интенсивно работают на оборону и т. д. Во время репетиций этой пьесы получено было много ценных указаний от рабочих-каменщиков.

За последнее время значительно выросла и китайская драматургия, которая создала немало боевых пьес для постановок на фронтах и в тылу. Издаю много сборников пьес, в том числе — «Пьесы на улицах».

ПЕСНЯ — МАССОВОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ

Песня в Китае — это подлинно массовое искусство. Революционные анти-японские мотивы проникли глубоко на заводы и фабрики, в школы и казармы, на улицы городов и в глухие деревни. Песни: «Вставай, кто не хочет быть рабом!», «Рабочие, крестьяне, торговцы, учащиеся и солдаты, все вместе выведем Китай из гибели!» — слышатся на фронтах и в тылу, по всей стране.

Необходимо отметить большие в этом отношении заслуги талантливого молодого композитора Нье Эр'а, преждевре-

менно, трагически погибшего. Своими песнями «Большая дорога», «Песня грузчиков», «Ян Цзы-Цзян», «Марш добровольцев» и др. он заменил привычный меланхолический тон старой китайской песни боевым оптимистическим призывом. За последние годы в Китае вырос целый ряд новых композиторов и поэтов, которые приложили немало усилий для развития и внедрения революционных, патриотических песен в народные массы.

В 1937 г. в Шанхае было организовано до 100 хоров, участниками которых являются рабочие, кули, служащие, учащиеся, солдаты и окрестные крестьяне. Новые песни поются не только на демонстрациях и митингах, но также и на массовых концертах, с участием тысяч исполнителей. Хоровые коллективы на улицах и площадях, где собираются огромные массы людей, поют песни и разучивают их с народом. Это — великолепнейшее зрелище! Это — мощная демонстрация сплочения народных масс.

9 мая 1937 года, в день «национального позора» (годовщина принятия японского ультиматума в 1915 г.), около Шанхая, в Усуне, собралась многотысячная аудитория, чтобы исполнить песни: «Марш спасения страны», «Возвращаемся домой» (в Манчжурию), «Майские цветы» (о гибели 12 молодых патриотов в Мукдене в мае 1936 г.), «Марш родины», «Поймаем контрабандистов» (японских) и... «В защиту Мадрида!».

Хоры выезжают по воскресеньям в деревню и разучивают песни с крестьянами. Таким образом, например, в деревне Гаоцяо было организовано три хоровых коллектива из местных крестьян. Во время успешного продвижения китайских войск в Северном Китае в Суйюани разучиванием революционных песен было охвачено 6 тысяч солдат и офицеров китайской народной армии.

Известная киноактриса Чен Бо-Эр, по возвращении в Шанхай с Суйюаньского фронта, куда она ездила делегаткой от шанхайской общественности для передачи подарков защитникам Суйюаня, оставила киносемянки и полностью посвятила себя организации женских хо-

ров и пропаганде антияпонских массовых песен.

Даже хор миссионерской школы и церкви переключился теперь на патриотическую песню, организуя у себя хоровые группы «Хун-Шен» («Громкий голос»).

Во всех провинциях Китая в настоящее время действуют театральные труппы, исполняющие, кроме пьес, также и патриотические антияпонские песни — баллады, так называемые «барабанные песни» и другие песенные жанры, которыми китайцы очень богаты. Такие труппы имеют у населения большой успех; очень часто тут же у эстрады из слушателей формируются местные отряды самообороны.

В провинции Хунань, в столице Чанша, действует группа народной литературы; в нее входят писатели, журналисты, учителя. Группа выпускает популярные дешевые издания рассказов, очерков, а также песен о войне. Подобного рода группы существуют и развиваются и в других провинциях, в частности и в особенности в провинциях Шэньси, Ганьсу, Нинся, Шаньси, Гуанси, Сычуань и др.

Сейчас в Ханькоу, помимо писательской, театральной, кинематографической и др. культурных организаций, создан «Всекитайский хор», который все шире и все активнее развивает свою деятельность.

Детские, женские хоры, хоры молодежи, хоры рабочих, крестьян, хоры раненых солдат, беженцев возникают везде и всюду. Новые патриотические песни, созданные революционными композиторами и поэтами, рождаются ежедневно и повсеместно.

Особенно трогателен детский хор; часть его участников — беженцы-сироты. Они часто ходят по улицам с барабаном и гонгом, останавливаются в людных местах и поют песни о жестокости японских хищников в оккупированных ими районах. «Песня беженцев», «Песня китайских пионеров», «Жертвы наши достигли последнего предела», «Китай не будет поражен», — слова эти, звучащие в устах детей, быстро собирают большую толпу; они играют

также и короткие сценки на те же темы. После импровизированного концерта дети начинают обучать и слушателей петь антияпонские песни (плохо только тому ребенку-актеру, который изображает в пьесе японца: дети-зрители не хотят иметь с ним дела и учиться у него петь).

Нередко детский хор заходит в чайные, и стоит только им начать петь, как в помещении моментально собираются толпы народа со всей улицы. Дети в Китае — настоящие бойцы за спасение страны.

8-я народно-революционная китайская армия — это подлинная кузница революционных песен. В походе каждый народоармеец несет на левом плече, кроме чайника, мешка для риса, соломенных сандалий, полотенца, зубной щетки и мыла, ниток, иголки, карандаша, блокнота и т. д., обязательно и сборник песен (на правом плече: винтовку, ленты патронов, одеяло и др. вещи).

В «уголках спасения от гибели» частей народно-революционной армии, кроме книг Ленина, Сталина, решений КП Китая и ВКП(б), пятилетнего плана СССР, истории гражданской войны в СССР, газет, журналов и т. д., имеются также костюмы для спектаклей и музыкальные инструменты; и в каждом уголке, наряду с политкружками, ликбезами, кружками физкультуры, военных знаний, массовой работы и т. п., помимо хозяйственных и санитарных комиссий, редколлегии стенгазеты, имеются хоровые кружки. У бойцов 8-й армии чрезвычайно много песен; каждый боец, месяц спустя после вступления в армию, может спеть не менее пяти песен. Поют во время походов, поют на отдыхе. Когда бойцы находятся в затруднительном положении, они запевают песню: она воодушевляет бойцов, придает им новые силы.

Теперь, когда 8-я народно-революционная армия, детище и инициатор единого национального фронта китайского народа против японской интервенции, составная часть всех китайских вооруженных сил, под руководством главной китайской коммунистической партии, героически защищает священную китай-

скую землю от японских захватчиков, революционное искусство — театр и песня — стало еще более могучей силой в борьбе китайского народа.

8-я армия непобедима и сильна прежде всего тем, что она пользуется популярностью, поддержкой и любовью народных масс; куда бы ни пришла 8-я армия, она непременно устраивает митинги, вечера для местного населения. На этих собраниях революционные патриотические песни играют необычайно крупную роль в деле мобилизации народа. Вот нужно было, например, собрать у населения излишки провизии для 8-й армии; между районами организовано было революционное соревнование; в результате все выполнили и перевыполнили план раньше срока. И в этом движении народные массы сами создали и пели песню, объясняющую значение и необходимость помощи 8-й армии.

БОЕВОЕ КИНОИСКУССТВО

В героической борьбе китайского народа работники китайской кинематографии принимают активное участие, создавая ряд фильмов, посвященных войне-сопротивлению.

На экранах всех фронтов Китая показываются документальные и хроникальные и полнометражные художественные фильмы о войне. Например, картина «Кровавая война на линии Нанкин—Шанхай» идет в течение двух часов; в ней выведен китайский солдат, который, взяв с собою шесть гранат, лежал на земле и ждал японского танка; когда последний приблизился к нему, герой уничтожил танк, но сам погиб. Фильм о победах китайских летчиков — 18 февраля 1938 г. китайские пилоты сбили 11 японских самолетов, в апреле они вывели из строя 21 японский самолет из 38, дальше перелеты китайских летчиков над островом Формоза, глубокий рейд над Японией и т. п. — вызывает особый энтузиазм у зрителей. Детский театр и детский хор тоже засяты на кинопленку. «Неделя пропаганды войны-сопротивления второго периода» объявила шестой день

«днем кино», когда во всех кинотеатрах Уханя демонстрировался ряд документальных и хроникальных фильмов. Кроме того, кинопередвижной отряд политотдела Военного Совета организовал на многих площадях Учана и Ханькоу бесплатные сеансы для народа.

Когда в театре «Мир» устроили проводы выздоровевших бойцов, возвращавшихся на фронт, и показали им фильмы о китайских и испанских военных действиях, бойцы сказали: «Мы не одиноки. В мире есть еще народ, который своей жизнью защищает мир и человечество». Тысяча солдат после просмотра фильма запела песню и плотным строем направилась на фронт.

«Всекитайская ассоциация кинематографии по борьбе против врагов» издает свой ежемесячник, под редакцией Тан На, И-мин и Лю Нянцзюй.

Киноработники организовали «группу операторов военного времени». Она снимала и продолжает снимать почти на всех фронтах картины военных действий, а затем показывает их народу. Недавно эта передвижная бригада демонстрировала больше 200 документальных и хроникальных фильмов в Кантоне, в Чанша, глубоко проникая в гущу народа и призывая его на борьбу против врага.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И КАРИКАТУРА

Интересно отметить выставку гравюр на дереве, открывшуюся в середине января 1938 года в Ханькоу.

Новейшая китайская гравюра начала свое развитие с 1929 г. в Шанхае. Время от времени организовывались выставки графики. В 1937 г. уже велась подготовка по устройству третьей выставки, но война помешала открыть ее. Часть работ с этой выставки была увезена еще до оккупации Шанхая японцами. Художник Цзян Фун пришел пешком из районов военных действий в Ханькоу, чтобы принести часть работ для выставки. Тематика гравюр такова: «Бомбардировкой ответим на бомбардировку», «Пора, вставай!», «Партизаны», «Ночная атака», «На-страже», «Бежен-

цы» и многие другие. Недаром выставке было присвоено название «Гравюра о сопротивлении врагу». Выставку посетили тысячи людей.

Необходимо указать на большое внимание, которое уделял гравюре великий китайский писатель покойный Лу Синь. Он много сделал для развития этого вида искусства в Китае.

За последнее время особенно большое развитие и распространение получили в Китае революционные плакаты и карикатуры. На стенах городов, в чайных, в театрах, в общественных местах, в деревнях, храмах, в беседках, иногда и на больших деревьях, стоящих у дорог, на фортах мостов — повсюду расклеены антияпонские плакаты. Неграмотная масса, лишенная возможности читать иероглифы, благодаря этим плакатам и карикатурам знакомится с задачами китайского народа против японских оккупантов. (Ненависть и гнев народа к японским захватчикам так велики, что часто на только-что наклеенных плакатах и карикатурах зрители выкалывают глаза или отрывают головы нарисованным там японцам и предателям родины.)

В китайской прессе сообщают, что в Советском Союзе организуется выставка китайских революционных плакатов и карикатур. Художники с энтузиазмом готовятся к ней. Всекитайская ассоциация карикатуристов prepares для выставки восемьдесят новых полотен.

Газета «Синьхуа жибао» из номера в номер печатает на первой странице справа от заголовка китайские антияпонские рисунки и гравюры лучших художников.

Весьма интересно отметить, что в Китае существует особый вид «литературы», которая воспринимается «читателем» не посредством иероглифов, а при помощи серии графических изображений. Это — так называемая «ляньхуань тухуа», одно из ценнейших средств агитации и пропаганды. Великий китайский народный писатель Лу

Синь при жизни особенно горячо призывал к развитию этого вида искусства.

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ им. ЛУ СИНЬА

В Особом районе, в городе Янь-ань, недавно учреждена Академия искусств им. Лу Синя. Помещение ее находится в красивом доме с застекленными окнами и деревянным полом, которые в Янь-ане встречаются редко. Директор Академии т. Са Кофу — талантливый драматург, писатель и музыкант. В ней существуют четыре отделения: драматическое, музыкальное, художественное и литературное. Преподавателями отделений являются известные китайские драматурги, музыканты, художники, литераторы.

Лекции, читаемые на отделениях, разделяются на обязательные, специальные и лекции по личному выбору слушателей. Обязательными являются: социализм, диалектика, китайский вопрос, история литературы и искусства Китая, литература и искусство Советского Союза, история и теория искусства.

Материальная обеспеченность преподавателей и слушателей Академии искусств одинакова, а иногда и превышает стипендии и жалованье слушателей и работников Народной антияпонской военно-политической академии.

★

Теперь, когда весь китайский народ поднялся, оказывает упорное сопротивление смертельному врагу — японским захватчикам, борется за свое существование, свободу и независимость до победного конца, — яснее, чем когда-либо, видно, что искусство и литература должны служить борьбе народа, должны быть неотъемлемой частью этой ожесточенной, кровавой борьбы. И только такая литература и искусство могут стать народным искусством, народным творчеством. Таким и станет китайская литература и искусство в народной войне великого Китая.



Дмитрий Иванович Писарев.

Памяти Д. И. Писарева

К 70-летию со дня смерти

Б. КОЗЬМИН

С емьдесят лет тому назад, 5 июля (ст. ст.) 1868 г., в русских газетах была напечатана следующая телеграмма: «Дуббельн, 4 июля. Известный русский писатель Писарев утонул во время купанья при здешнем купальном месте Карлсбаде».

Это неожиданное известие особенно поразило людей, близких к Писареву и знавших, какие широкие литературные

планы развертывал на будущее перед своим отъездом на летний отдых страшно утомленный и измученный в физическом и нравственном отношении писатель. Писареву в момент гибели шел всего лишь 28-й год, и, хотя его литературная деятельность продолжалась уже около десяти лет, никому в голову не приходило, что она может так рано пресечься.

Писарев начал свою литературную деятельность еще со студенческой скамьи рецензиями, которые он писал для малоизвестного широкой публике «журнала для девиц» — «Рассвет». Это была работа скромного литературного ремесленника, и никакой популярности принести Писареву она не могла. Поэтому действительным началом его литературной деятельности правильнее считать появление в конце 1860 г. его произведений в редактируемом Г. Е. Благосветловым журнале «Русское слово». Только с этого времени перед Писаревым открылась широкая литературная дорога.

Писарев пришел в «Русское слово» безвестным начинающим писателем. Не прошло, однако, и года, как его имя было уже у всех на устах. К этому времени он выдвинулся в первые ряды русской литературы. Чернышевский, только-что потерявший в лице Добролюбова талантливейшего из своих сотрудников, делает попытку привлечь Писарева к участию в «Современнике». Как ни лестно было это предложение для Писарева, считавшего «Современник» лучшим русским журналом, он отклоняет его, не желая порывать с Благосветловым и «Русским словом». Тургенев, называвший Чернышевского простой змеей, а Добролюбова — очковой, заявил, что с появлением Писарева к ним прибавилась гремущая змея: «Тоже ядовит, но возвещает о своем приближении»¹. Литературные противники Чернышевского, ведшие в то время ожесточенную полемику против него, поспешили объявить, что на смену ему в лице Писарева у молодежи появился новый пророк, и

... молодое племя
кричит уже: подайте Писарева нам!².

Философ и критик журнала бр. Достоевских «Время» Н. Н. Страхов уверял, что Писарев — это Чернышевский, доведенный до абсурда: «г. Чернышев-

¹ Н. Шербань. 32 письма И. С. Тургенева и воспоминания о нем. «Русский вестник», 1890 г., № 7, стр. 14.

² Прогрессистов. Письма об изучении безобразия. «Отечественные записки», 1862 г., № 2, стр. 48—49.

ский есть основание и начало; Писарев — вывод и конец»¹.

Таким молниеносным ростом популярности Писарев был обязан, главным образом, своей статье: «Схоластика XIX века», или, точнее сказать, ее второй половине, напечатанной в № 9 «Русского слова» за 1861 г. Здесь Писарев отозвался на полемику, которую в то время вели против Чернышевского единым фронтом реакционные и либеральные органы прессы. В этой полемике Писарев — единственный в тогдашней русской литературе — встал на сторону Чернышевского. Восставая против традиционной дворянской идеологии и общественного быта, созданного господствующим классом, Писарев ставил перед литературой задачу «эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны». С боевым юношеским задором Писарев восклицал: «Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится; что разлетится вдребезги, то хлам: во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть».

Вскоре после появления этой статьи литературная деятельность Писарева была прервана приостановкой «Русского слова» и арестом самого автора, поводом для чего послужила написанная им для тайного печатного станка статья, в которой он выступал на защиту Герцена, травимого одним из литературных агентов русского правительства, и призывал к борьбе с царской властью.

Однако перерыв литературной деятельности Писарева был непродолжительным. С 1863 г. «Русское слово» вновь начало выходить, а вскоре заключенный в Петропавловскую крепость писатель получил разрешение писать статьи для этого журнала. Годы, проведенные в заключении, были временем

¹ «Время», 1863 г., № 1.

блестящего расцвета литературного таланта Писарева и быстрого роста его популярности среди читателей демократического лагеря. В эти годы он становится властителем дум молодого поколения разночинной интеллигенции, незадолго до того потерявшей в лице арестованного Чернышевского своего идейного руководителя.

Если мы сравним историю умственного развития Писарева, с одной стороны, и Чернышевского и Добролюбова, с другой, нам не может не броситься в глаза одно чрезвычайно характерное различие между ними. Чернышевский и Добролюбов пришли в литературу с уже выработанным миросозерцанием и последовательно проводили его в течение всей своей литературной деятельности. У Писарева же процесс выработки его философских, политических и литературных взглядов не успел закончиться не только к моменту начала его литературного пути, но и ко времени его гибели. Литературные противники Писарева в борьбе с ним любили ссылаться на бесконечные противоречия, которые они находили в его произведениях. Его сегодняшние мнения они пытались опровергнуть ссылкой на его вчерашние высказывания, и это давало им основание делать вывод о его непоследовательности и о непродуманности его взглядов и оценок. Такой прием борьбы с Писаревым был очень легок, так как при сопоставлении его статей, написанных в разные годы, можно было действительно обнаружить ряд несогласованностей и противоречий. Однако развернутая в такой плоскости полемика против Писарева оказывалась совершенно бесплодной и неубедительной, если принять во внимание отмеченную выше особенность истории его умственного развития. Для Писарева, не признававшего авторитетов, не были авторитетом и его собственные прежние высказывания.

Просматривая сочинения Писарева в хронологическом порядке, можно проследить, как изменялись с течением времени его взгляды по ряду вопросов. Люди, близкие к Писареву, свидетельствуют, что даже в последние годы его жизни, когда он, порвав с Благосветло-

вым, сделался постоянным сотрудником некрасовских «Отечественных записок», он переживал умственный перелом, не успевший завершиться вследствие его смерти. Именно этим объясняют они то, что Писарев не только не ставил своей фамилии под статьями, печатавшимися в «Отечественных записках», но и уклонялся от каких-либо широких и бовевых тем, предпочитая литературную работу менее ответственного характера, что давало недругам Писарева повод говорить о падении его таланта. Писарев, по объяснению его друзей, не хотел выступать с изложением своих новых взглядов до тех пор, пока они не опрелятся окончательно для него самого.

Однако, если отбросить ранний период деятельности Писарева и взять его литературную работу с момента его сотрудничества в «Русском слове», то, несмотря на обилие противоречий и изменявшихся с течением времени оценок, в его высказываниях можно найти некоторые основные, принципиальные пункты, на которых он стоял твердо и от которых он никогда не отступал. Это — те пункты, которые делают Писарева одним из типичнейших и наиболее ярких представителей просветительства шестидесятых годов.

Характеризуя русских просветителей того времени, В. И. Ленин указывал на три существенно важные черты, свойственные их миросозерцанию¹.

Первая из них — «горячая вражда к крепостному праву и в сем его порождениям в экономической, социальной и юридической области».

Выходец из среды дворянства, Писарев был убежденным противником этого класса. Он относился резко враждебно и к его политическому господству, и к его экономическому преобладанию, и ко всей созданной этим классом культуре. Характерно при этом, что дворян-либералов он ненавидел и презирал в равной степени, как и дворян-крепостников. Беспринципное фразерство, политический оппортунизм, неспособность превращать слово в дело, прислужничество перед всеми, имеющими силу, высоко-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. II, стр. 314.

мерно-пренебрежительное отношение к людям других классов — все эти черты, свойственные русскому дворянскому либерализму, глубоко возмущали Писарева. В статье «Подрастающая гуманность», посвященной роману В. А. Слепцова «Трудное время», Писарев на примере героя этого романа — помещика Щетинина — показал действительную цену либеральным разговорам на тему о необходимости помещикам заботиться о благе крестьянства и доказал полную несовместимость интересов их собственного кармана с заботами подобного рода. Дворянин, который хочет стать человеком, полезным обществу и народу, должен, по мнению Писарева, перестать быть дворянином. Ему необходимо оставить свое помещичье хозяйство, отказаться от сословных привилегий, бросить «глупые фантазии» относительно облагодетельствования «меньшого брата» и сообразно своим силам и способностям выбрать для себя какой-нибудь полезный труд, — например, труд школьного учителя, — примирившись при этом с тем мизерным жалованьем, которое установлено для этой должности.

В связи с этим нельзя не вспомнить одного из отзывов о Писареве, который мы находим в письмах А. И. Герцена к Н. П. Огареву. Литературная деятельность Писарева была мало знакома Герцену до тех пор, пока в 1866 г. не начал выходить собрание его сочинений. «Русское слово» не принадлежало к числу журналов, регулярно получаемых Герценом. Поэтому со статьями Писарева о тургеневских «Отцах и детях» он познакомился только в 1867 г. В письме к Огареву он признавался, что при чтении этих статей он испытывает «перцовое наслаждение», и добавлял: «Как досадно, что я порядком узнал этого Маккавья петербургского нигилизма так поздно... Он заставил меня иначе взглянуть на роман Тургенева и на Базарова». В одном из следующих писем Герцена мы находим объяснение тому своеобразному «наслаждению», которое он испытывал при чтении Писарева. Во враждебном отношении последнего к представителям дворянства, выведенным

в романе Тургенева, Кирсановым, Герцен усмотрел осуждение некоторых сторон его собственной деятельности¹, — тех сторон, которые В. И. Ленин охарактеризовал, как присущие Герцену колебания между демократизмом и либерализмом². Дворянское прошлое Герцена-революционера, выросшего и воспитавшегося в обстановке дворянской культуры, обуславливало наличие в его литературной деятельности тех крепких вправо, которые роднили его с дворянским либерализмом. Вот почему писаревскую критику Кирсановых он невольно воспринимал, как направленную в некоторой степени и лично против него, хотя Писарев, считавший Герцена «талантливым и рыцарски честным человеком», ни в какой мере не имел в виду Герцена, когда писал о Кирсановых. Но в его оценке последних кое-что совпадало с теми упреками, которые Герцену приходилось выслушивать от молодых русских эмигрантов, воспитавшихся на сочинениях Чернышевского.

«Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — пишет В. И. Ленин, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России».

Писарев всецело подходит под эту характеристику. Он был убежден в неизмеримом превосходстве западноевропейских форм экономической и политической жизни над русскими. Он горячо отстаивал необходимость индустриализации России. Он считал рост промышленности мощным стимулом развития общественной жизни во всех ее проявлениях. «Эпоха освобождения и возвышения человеческого достоинства, — писал он, — совпадает везде с эпохой пробуждения технической изобретательности и предприимчивости. Человек, начинающий чувствовать себя властелином природы, не может оставаться рабом другого человека». Писарев придавал громадное значение распространению образования и верил в то, что «зна-

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, т. XX, стр. 130 и 275.

² В. И. Ленин. Соч., т. XV, стр. 467.

ние составляет ключ к решению общественной задачи не в одной России, а во всем мире». «Мысль, и только мысль, — писал он, — может переделать и обновить весь строй человеческой жизни». Особенно же важным делом Писарев считал популяризацию естественных наук, видя в изучении их «альфу и омегу общественного прогресса». Он признавался в «глубочайшем уважении и пламенной любви к распластанной лягушке» и считал, что «тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключается спасение и обновление русского народа». Наконец, он договаривался до того, что советовал Щедрина бросить деятельность сатирика и заняться популяризацией естествознания.

Наконец, третья черта, характерная для просветителей, — «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян».

«Вопрос о голодных и раздетых» Писарев считал вопросом, на разрешение которого должны быть направлены все усилия мыслящего человечества. Способы решения этого вопроса не были ясны для Писарева, и в этом отношении он в разное время указывал различные пути. То он делал главную ставку на распространение образования. То возлагал надежды на появление культурных и разумно мыслящих капиталистов-организаторов народного труда, которые, как надеялся Писарев (см. его статьи 1864 г. «Мотивы русской драмы» и «Реалисты»), осознают, что их правильно поняты интересы совпадают с интересами трудящегося большинства. То, наконец, в последние годы своей литературной деятельности он начинал приближаться к правильной постановке этого вопроса и в статье «Исторические идеи Огюста Конта» (1865 г.) писал:

«Для решения задачи о голодных людях необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, задачу эту должны решить непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, т.-е. ее должны решить сами работники. Во-вторых, решение задачи заключается не в возделывании личных добродетелей, а в перестройке общественных учреждений».

Особо надлежит остановиться на отношении Писарева к русскому народу в лице крестьянской массы населения России. Писарев не только зло издевался над славянофильским и народническим преклонением перед «народной правдой», но, в отличие от Чернышевского и Добролюбова, скептически относился к возможности крестьянской революции в России шестидесятих годов.

«Проснется ли он теперь, — писал Писарев про русский народ в статье «Бедная русская мысль», — просыпается ли, спит ли попрежнему, — мы не знаем, народ с нами не говорит, и мы его не понимаем».

Писарев смотрел на современное ему крестьянство, как на косную, темную, несознательную массу, в которой века рабства воспитали привычку к безропотной покорности и примирению со своей тяжелой судьбой.

Было бы, однако, неправильно на этом основании обвинять Писарева в пренебрежительном или презрительном отношении к народу. Писарев был одним из первых, кто дал жестокую ответь людям, утверждавшим, что русский народ — нация Обломовых, и указывавшим, что Гончарову для того, чтобы найти положительного героя, пришлось обращаться к немцам.

Как это ни странно, до сих пор все, писавшие о Писареве и рассматривавшие его отношение к русскому народу, даже автор специальной книги о Писареве В. Я. Кирпотин, — не обращали внимания на его высказывания об «обломовщине» и о причинах, порождающих это явление. Впервые Писарев коснулся вопроса об обломовщине в 1859 г. в статье, которую он на страницах «Рассвета» посвятил только-что вышедшему в то время роману Гончарова¹. Здесь он категорически возражает против тех, кто в апатии Обломова видит чисто русскую, национальную черту. «Эта апатия, — пишет он, —

¹ Составители двухтомного собрания избранных сочинений Писарева под редакцией В. Я. Кирпотина, изданного в 1934—1935 г. Гослитиздатом, почему-то не сочли нужным включить в него эту весьма любопытную статью.

составляет явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнообразными причинами; но везде в ней играет главную роль страшный вопрос: «Зачем жить? К чему трудиться?» — вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа». Признавая, что обломовщина весьма распространена в русском обществе, Писарев объясняет это тем, что Россия его времени находится «на рубеже двух взаимоположенных направлений», «на рубеже двух жизней: старорусской и европейской»¹. Таким образом, Писарев ставит обломовщину в связь с тем переходом от феодально-крепостнического к буржуазному строю, который начинала в те годы переживать Россия. Если бы Писарев имел представление о значении классовой борьбы в истории, он констатировал бы, что Обломов — представитель не всего русского народа, а дворянства в эпоху разложения крепостнической системы хозяйства и развития капиталистических отношений.

В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861 г.) он называл «пустой фразой» и «дешевой клеветой» на русский народ утверждение тех, кто доказывал, что Обломов — национально-русский тип, а его апатия — действительно характерная черта русского народа.

В других статьях Писарев указывал, что русская «народная жизнь нуждается совсем не в сильных характерах, которых у нас за глаза довольно, а только и исключительно в одной сознательности». «Как только наши неутомимые и неустрашимые труженики, — писал он, — узнают и поймут совершенно ясно, что — ложь и что — правда, что — вред и что — польза, кто — враг и кто — друг, так и они пойдут твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все ро-

гатки и шлагбаумы»¹. Другими словами, Писарев считал, что политическая косность массы русского народа — результат определенных исторических условий и что с изменением этих условий исчезнет и она. Как видно из только-что приведенных слов Писарева, он был глубоко убежден, что наступит время, когда русский народ переделает свою жизнь по-своему, найдя в себе силы справиться со всеми своими врагами.

Писарев расходился с Чернышевским и Добролюбовым не только в оценке степени политической активности русского крестьянства.

Разногласия между ними существовали по ряду весьма существенных пунктов.

В отличие от фейербахянцев Чернышевского и Добролюбова, Писарев стоял на позициях механистического материализма и признавал тождественность психических процессов с движением материи.

Следуя Молешотту, он готов был все различия в психологии людей считать результатом различных свойств употребляемой ими пищи. В то же время в философских воззрениях Писарева можно найти следы влияния, оказанного на него позитивной философией Ог. Конта.

Как и последний, Писарев полагал, что познавательные способности человека имеют определенные границы, перешагнуть через которые человеческий ум никогда не сможет.

Если Чернышевский и Добролюбов во многом приближались к правильному пониманию значения борьбы классов, Писарев смотрел на эту борьбу как на результат невежества и надеялся, что по мере распространения в массах образования эта борьба будет стихать и наконец прекратится. Он питал наивную веру в общечеловеческую солидарность и был глубоко убежден в том, что «смелый расчетливый эгоизм вполне совпадает с результатами самого сознательного человеколюбия».

В отличие от Чернышевского и Добролюбова Писарев не понимал, что ре-

¹ Сочинения, т. I, изд. 1900 г., стр. 179 — 185.

¹ Соч., т. V, стр. 170 — 171.

волюция — единственный путь к действительному разрешению вопроса о голодных. Он цеплялся за надежду, что распространение образования откроет путь к мирному преобразованию общественных отношений в интересах трудящегося большинства.

Наконец, Писарев расходился с Чернышевским и Добролюбовым и в отношении своем к искусству и, в частности, к художественной литературе. Он находил, что искусство отвлекает людей от работы над разрешением общественных задач, стоящих перед ними, и приводит к непроизводительной затрате материальных средств общества. Деньги, употребляемые на оплату труда актера, писателя и художника, принесли бы гораздо большую пользу обществу, если бы были направлены на организацию фабрик, постройку железных дорог и т. п. Что касается литературы, то Писарев оправдывал ее существование лишь постольку, поскольку она занимается популяризацией выводов науки, в частности, естествознания.

Отрицая дворянскую культуру в целом, Писарев оказался неспособным правильно разрешить проблему литературного наследства. Он отрекался от этого наследства, не делая попыток разобраться в том, что в нем является пассивом и что — активом. Такой упрощенный подход к литературе прошлого привел к тому, что Писарев оказался не в состоянии оценить великой роли Пушкина в истории русской литературы. В глазах Писарева Пушкин был только замечательным версификатором. Исключительно богатое идейное содержание поэзии Пушкина не было воспринято Писаревым.

Мы не исчерпали всех пунктов расхождения между Писаревым, с одной стороны, и Чернышевским и Добролюбовым — с другой. Но и того, что указано нами, достаточно, чтобы убедиться, насколько в лице Писарева снизился уровень русской общественной мысли по сравнению с тем, который был достигнут его великими старшими современниками. Однако ошибки Писарева не исключают его громадных заслуг перед русским обществом.

В лице Писарева дворянская Россия имела непримиримого врага, выступавшего против нее со всем блеском присущего ему литературного таланта. Исключительная смелость мысли Писарева, не преклонявшегося ни перед какими авторитетами и не останавливавшегося перед самыми парадоксальными выводами, если ему казалось, что они логически вытекают из признанных им предпосылок, его жгучая ненависть ко всякому угнетению и произволу, его горячая проповедь эмансипации личности, его мучительные поиски разрешения задачи о голодных людях, его вера в светлое будущее человечества, — все это подкупало читателей и производило на них неизгладимое впечатление. «Перо Писарева, — писал один современник, — было так увлекательно, каждая мысль его дышала такой своеобразной, неподдельной свежестью, что, несмотря на полнейший антагонизм, несмотря на бешеную антипатию, сами враги его ожидали с нетерпением выхода каждой новой статьи его и перечитывали ее чуть не со скрежетом зубов, чувствуя внутренне все свое бессилие, всю слабость»¹.

На протяжении десятилетий произведения Писарева будили мысль и волновали совесть массы читателей, приковывая их внимание к вопросам, которые до этого мало занимали их ум. Учитывая революционизирующее влияние сочинений Писарева, русское правительство до революции 1905 г. не разрешало держать их в общественных библиотеках. Его блестящий памфлет «Пчелы», в котором дана уничтожающая критика эксплуатации одних людей другими, переведенный на немецкий язык, был запрещен цензурой предков современных фашистов, воспринявших этот памфлет как жгучую прокламацию, направленную против основ существующего экономического строя.

Чтобы подчеркнуть громадное впечатление, производимое Писаревым на его читателей, приведем в заключение сви-

¹ Неизвестный. Мелочь. Газета «Дейтельность», 1868 г., № 110.

детельство человека, познакомившегося с его произведениями через три десятилетия после его трагической гибели, и притом человека, обладавшего уже ко времени этого знакомства установившимся миросозерцанием.

«В молодости, — вспоминает Н. К. Крупская, — я очень увлекалась Белинским и Добролюбовым, а Писарева в первый раз читала, уже будучи марксистом, когда я ехала в Сибирь, в ссылку, к Владимиру Ильичу, и сидела в Красноярске в ожидании, когда вскрыется Енисей и пойдут пароходы. Меня пле-

нила резкая критика крепостного уклада Писаревым, его революционная настроенность, богатство мыслей. Все это было далеко от марксизма, мысли были парадоксальны, часто очень неправильны, но нельзя было читать спокойно. Потом в Шуше я рассказала Ильичу свои впечатления от чтения Писарева, а он мне заявил, что сам зачитывался Писаревым, расхваливая смелость его мысли»¹.

¹ Н. К. Крупская. Современные цитаты. «Правда», 1935 г., № 273.

Новое о Салтыкове-Щедрине

С. БОРЩЕВСКИЙ

★

I

Тема нашей статьи может показаться неожиданной не только многим читателям, но и некоторым исследователям Щедрина. Это объясняется тем обстоятельством, что вопрос о сотрудничестве великого сатирика в органах эмигрантской печати того времени до сих пор не изучался; даже в специальной литературе мы находим лишь несколько замечаний по данному поводу.

Такой пробел в работах, посвященных Щедрину, обусловлен рядом причин.

Прежде всего, надо отметить тактику, усвоенную сатириком. Достаточно откровенно высказываясь в письмах к друзьям о правительственных мероприятиях и положении в России, он никогда не касается в них революционной печати. Об эмигрантской прессе Щедрина не упоминает даже в переписке, которую он вел за границей с корреспондентами, также находившимися вне пределов России. И в то же время он печатно выступает против заграничных изданий русских либералов и реакционеров. Эти уничтожающие отзывы о зарубежной «бормочущей публицистике» были ответом помещицкой и буржуазной прессе, спорадически набрасывавшейся на революционные эмигрантские издания. Последние Щедрин назвал в печати только один раз: в «Убежище Монрепо» (1878 — 1879 гг.) упоминаются лав-

ровский «Вперед!» и ткачевский «Набат»¹.

¹ Тем больший интерес представляют случаи, когда Щедрин, не упоминая о революционной печати, отзывался на возбуждаемые ею вопросы. Это мы обнаруживаем в том же «Убежище Монрепо», где сатирик откликнулся на шутовское «объявление», опубликованное в революционной газете «Начало» (№ 2 от 15 апреля 1878 г.). «Несколько лиц, — говорится здесь, — обращаются к г-ну Щедрину с просьбой писать сатирические статьи в более отвлеченной форме, так как они при настоящей степени их реальности служат, повидимому, материалом и образцом для государственных распоряжений г. министра внутренних дел (см. «Прав. вестн.», № 82)». Сатирик блестяще развил это саркастическое предположение в программной речи «станового» Грацианова, в которой тот предостерегает своих подчиненных от «особенного класса злонамеренных людей, известных под именем газетчиков и сочинителей». Эти люди, поясняет он, опасны тем, что сделали своей профессией «испытание способностей» начальствующих лиц. Чтобы поставить последних в смешное положение, они «делают им как бы полезные указания и даже предлагают проекты реформ и законоположений» в уверенности, что те, «по чистоте» своей, последуют их советам. Чаще всего «они действуют... не прямо, а посредством опубликования аллегорий, но тем успешнее увлекают в соблазн». В подтверждение своих слов Грацианов удостоверляет, что «сам двукратно был вводим подобным образом в заблуждение», и при этом ссылается на соблазнившего его к подражанию действия градоначальников из «Истории одного города»... Укажем также и на тот факт, что год спустя преемница «Начала» — газета «Земля и воля» (в № 5 от 18 апреля 1879 г.) отозвалась на речь Грацианова, сопоставив ее, к невыгоде для «колоточного мирозозерцания главы государства», с речью Александра II.

Своей тактике «неоказательства» он не изменил и тогда, когда в правительственном сообщении было объявлено об его сотрудничестве в революционной прессе.

Другое обстоятельство, затрудняющее исследование вопроса, — то, что об участии Щедрина в зарубежной печати были хорошо осведомлены, по видимому, только три-четыре человека. Все они пережили Щедрина, но и после его смерти не сделали никаких сообщений, очевидно, опасаясь отчасти повредить себе², а главное — их могла останавливать боязнь за судьбу литературного наследия великого сатирика. Ближние ему люди знали, что он ожидал худшего — негласного запрета издавать его сочинения³. Приученные российской действительностью к тому, что самые, казалось бы, фантастические «преувеличения» Щедрина становились явью, они обязывались соблюдать крайнюю осторожность.

Это вынужденное молчание было наружу либералам, стремившимся уместить Щедрина рядом с собою под сенью «великих реформ»⁴. Одну из его основных

² Не исключено, что именно на это обстоятельство намекнул С. Н. Кривенко (сотрудник «Отечественных записок», сблизившийся с Щедриным в начале 80-х гг.) в своих воспоминаниях о сатирике. «Конечно, — писал он, — многое о Салтыкове еще не может быть написано как по личному его отношениям к различным лицам, так и по другим причинам» («Исторический вестник», 1890 г., № 11).

³ С наибольшей определенностью высказал Салтыков свои опасения в письме к Белоголовому от 18 декабря 1887 г. Сообщая, что золотопромышленник Иннокентий Сибиряков «восхотел приобрести право собственности на его сочинения, «как прошлые, так и будущие», Щедрин добавляет, что он не довел дела до конца: «Меня взяло раздумье, — поясняет он, — а что, если этот господин совсем меня не будет издавать... Или призовут его и скажут: «Не смей издавать!»».

⁴ Эта идея так старательно внедрялась в сознание «общества», что скульптор Микешин решил ее увековечить: в сделанном им проекте памятника Александру II предусматривалась группа деятелей «славного царствования», в которой Щедрина предназначалось место по соседству с Ростовцевым, кн. Черкасским, братьями Милютиными и «покорителем Ташкента» — ген. Черяевым... (см. «Неизданные письма из архива А. Н. Остrowsкого», М.—Л. «Academia», 1932 г., стр. 257).

тем — изображение «прогрессиста», который, получив «сюртук» с барского плеча, восторженно провозглашает, что «душа бессмертна и что тарелку надлежит подавать с благоговением», — либеральные авторы благоразумно обходили. Им нужно было другое — утвердить легенду, будто Щедрин, подобно им, облачал «темные стороны русской жизни», не отвергая «устоев» крепостнически-буржуазного строя в целом. В этом плане представлялось необходимым внушить читателям, что при всей остроте своей критики он оставался принципиальным легалистом, ставившим перед собой одну задачу — «нравственным обличением лечить общественные недуги». Либеральные критики, в конечном итоге, отождествили сатирика с «человеком, состоящим «в законе», от имени которого он часто ведет рассказ. Такая фальсификация Щедрина, возведенная в систему, помимо объективных причин, исключала возможность хотя бы слабого намека на его сотрудничество в бесцензурной печати.

Это — третье по счету — обстоятельство привело к совершенному затемнению интересующего нас вопроса. Не только выяснение тщательно скрытых связей Щедрина с эмигрантской прессой отодвинулось на неопределенное время, но и факты известные как бы перестали существовать. Нам приходится поэтому изложение фактической стороны дела начать именно с них.

II

Полвека тому назад, в пору тягчайшей политической реакции, наступившей вслед за разгромом «Народной воли», царское правительство запретило навсегда издание журнала «Отечественные записки», который, по смерти Некрасова, возглавлялся Щедриным. В постановлении особого совещания четырех министров (Д. Толстой, Победоносцев, Делянов, Набоков), опубликованном в форме правительственного сообщения 20 апреля 1884 г., эта чрезвычайная мера репрессии, помимо обвинения Михайловского и Кривенко «в близкой связи с революционной организацией».

мотивировалась тем, что «статьи самого ответственного редактора, которые, по цензурным условиям, не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и в изданиях, принадлежащих эмиграции»⁵.

В работах последних лет официальное сообщение о закрытии «Отечественных записок» не раз приводилось в связи с изложением истории этого журнала. Но так как при этом нередко указывалось на осведомленность правительства о непричастности сатирика к революционной печати, то сам собой напрашивался вывод, что он был упомянут в «сообщении» для большего обоснования тяжелой кары, обрушившейся на «Отечественные записки». Впрочем, некоторые авторы работ о Щедрине, не довольствуясь этим косвенным решением вопроса, утверждают, что он не мог сотрудничать в бесцензурной печати, так как страдал «раздвоенностью», которая выражалась у него «в отрыве теории от практики». Такие авторы, иногда зачисляющие Щедрина в лагерь революционной демократии, по существу, однако, солидаризируются в данном вопросе с теми, кто объявлял его буржуазным или радикальным демократом, и воссоздают «либеральную сказку» о Щедрине — принципиальном легалисте. Очевидно, это является результатом легкого чтения трудных текстов Щедрина и незнания фактов, без учета которых невозможны правильные выводы.

Некоторые из таких фактов, помогающих разобраться в эпизоде с ликвидацией «Отечественных записок», изложены в мемуарах Е. Феоктистова — начальника главного управления по делам печати в 80—90-х гг. прошлого века. Автор, достойный соратник «министра борьбы», Д. Толстого, рассказывает, что однажды он был приглашен им «на совещание с Оржевским и Плеве, которые сообщили, что редакция «Отечественных записок» служит притоном отъявленных нигилистов, что против некоторых из сотрудников этого журна-

ла существуют сильные улики, что один уже выслан из Петербурга и что необходимо разорить это гнездо».

Сообщение товарища министра внутренних дел и директора департамента полиции мемуарист оценивает, как «услугу», оказанную тем, кто ранее настаивал перед Толстым на необходимости немедленного воспрещения издания «Отечественных записок». Хотя Феоктистов и не говорит об этом прямо, из его рассказа можно заключить, что такая инициатива исходила и от него. Но министр внутренних дел до информации Оржевского и Плеве колебался, «отчасти потому, что Салтыков был некогда его товарищем — оба они воспитывались в Александровском лицее; а главным образом... из опасения возбудить недовольство в обществе». Нерешительность Толстого, по мнению Феоктистова, сказалась и на редакции правительственного сообщения, в котором излишне было «оправдываться, ссылаясь на закулисную преступную деятельность того или иного из сподвижников Салтыкова». В подобной мотивировке «не было ни малейшей необходимости», — подчеркивает Феоктистов, — так как «отвратительное направление» «Отечественных записок» и тот факт, что «в революционных журналах, издаваемых на русском языке за границей, были перепечатываемы произведения Щедрина (Салтыкова) и даже появлялись там такие из них, которые он сам не решался или цензура не позволяла ему обнародовать в России», — «всего этого было, кажется, достаточно, чтобы покончить с его изданием»⁶.

При всей своей лаконичности рассказ Феоктистова говорит многое. Прежде всего, из слов мемуариста, которому, как мы видели, нельзя отказать в хорошей осведомленности, следует, что «дела» Михайловского и Кривенко послужили лишь удобным предлогом для ускорения давно подготавливавшегося закрытия «Отечественных записок».

⁵ Е. М. Феоктистов, «За кулисами политики и литературы», Л. «Прибой», 1929 г., стр. 241 — 242.

⁶ «Правительственный вестник», 1884 г., № 87.

Подлинные же причины ликвидации журнала — его «отвратительное направление» и сотрудничество ответственного редактора в революционной печати — были отодвинуты в официальном сообщении на второе место из тактических соображений: оказалось необходимым выпятить обвинения против Михайловского и Кривенко в организационной связи с революционным подпольем, чтобы заставить молчать всех несогласных с чрезвычайной репрессивной мерой правительства.

Что именно эта тенденция сыграла решающую роль при редактировании постановления о закрытии «Отечественных записок», особенно наглядно показывает выдвижение на первый план «дела» Михайловского. Такой шаг был продиктован исключительно тем обстоятельством, что Михайловский являлся одним из руководителей журнала и уже раньше привлекался к дознанию по политическому делу. По существу же, совещание четырех министров не располагало абсолютно никакими доказательствами его «близкой» связи с революционной организацией». Именно поэтому авторам постановления пришлось ограничиться ссылкой на «крайне возмутительную речь», произнесенную им перед студентами-технологами, — речь, за которую он был выслан из Петербурга еще в январе 1883 г.

Мотивировка правительственного сообщения прозвучала столь неубедительно, что возникла и укрепилась версия об ее нарочитой недоговоренности. Однако авторы и распространители этой версии пошли по неправильному пути. С течением времени в литературе все чаще стали встречаться утверждения, что власти, высылая Михайловского в Выборг, знали (со слов предателя Дегаева) о его сотрудничестве в «Народной воле».

Помимо того, что эти утверждения находятся в резком противоречии с мерой взыскания, наложенной на Михайловского (высылка в Выборг и вскоре последовавшее разрешение поселиться в Любани, а через короткий срок после закрытия «Отечественных записок» — и в самом Петербурге), их несостоя-

тельность мы устанавливаем документально. При сопоставлении с фактами, прежде всего, отпадает центральный пункт версии — донос Дегаева. Как известно, Дегаев стал предателем в одесской тюрьме, куда он попал 18 декабря 1882 г., а Михайловскому решение по его «делу», на основе материалов закончившегося следствия, было объявлено до ареста Дегаева⁷.

Но, может быть, Дегаев или другой провокатор раскрыли перед правительством связь Михайловского с народно-вольческой организацией после его высылки? Такое предположение опять-таки приходится отвести при очной ставке с фактами: во всеподданнейших докладах департамента полиции («Обзоры важнейших дознаний по делам о государственных преступлениях») имя Михайловского ни разу не упоминается⁸. Вот почему особое совещание четырех министров, если бы и пожелало этого, не смогло бы предъявить ни одного аргумента, свидетельствующего о причастности Михайловского к революционным кругам и об его сотрудничестве в «Народной воле». Но авторы правительственного сообщения, разумеется, и не помышляли о такой аргументации. На очереди стояло более неотложное дело: надо было разгромить «Отечественные записки». Не доказать, а доконать, — этой краткой формулой исчерпывался порядок дня совещания четырех министров, и при осуществлении своего давнишнего намерения они прежде всего ухватились за «дело» Михайловского, которое им самим представлялось маловажным.

⁷ Этот факт мы устанавливаем по письму Салтыкова к Белооголовому, датированному 18 декабря 1882 г., т.-е. днем ареста Дегаева в Одессе. «Вот, например, и сегодня случай, — читаем мы: — высылают из Петербурга Михайловского и Шелгунова. Срок для выезда 1 января, место жительства — где хотят вне границ Петербургской губернии» (В. Розенберг, «Журналисты безвременья», М. 1917 г., стр. 98).

⁸ Значение этого факта не умалится и в том случае, если предположить, вслед за некоторыми мемуаристами, что Дегаев стал предателем еще до провала одесской типографии. Но такое предположение и само по себе слабо аргументировано.

Что касается «закулисной деятельности» Кривенко, то правительство не открыло в ней весьма существенных моментов. Редакторская и авторская работа Кривенко в «Листках Народной воли» (они выпускались летом и осенью 1883 г. типографией М. П. Шебалина)⁹, тот факт, что им были написаны брошюры «Русскому обществу от русских революционеров» и «Чего нам ждать от коронации», — все это осталось неизвестным правительству (в департаменте полиции полагали, что автором брошюры, выпущенной к коронации Александра III, был Л. Тихомиров). Отсюда следует, что нет никаких оснований утверждать, как это делают некоторые авторы, будто в постановлении о ликвидации «Отечественных записок» отмечена связь Кривенко с редакцией «Народной воли». Жандармы, по доносу Дегаева, считали Кривенко «распорядителем литературного фонда, собираемого в пользу ссыльных» и близким к «кружку народовольцев» (VIII «Обзор», стр. 25), что не мешало им — для придания веса своей сыскной работе — именовать его членом исполнительного комитета «Народной воли». Впрочем, последнее правительству представлялось необоснованным, судя по тому, что в сообщении о закрытии «Отечественных записок» Кривенко фигурирует в роли рядового члена «преступной организации». Но Феоктистову могло быть известно от Д. Толстого, что правительство не имело достаточных оснований и для такого обвинения. И действительно, в распоряжении департамента полиции было так мало прямых улик против Кривенко, что в качестве «документального» доказательства его близости к народовольцам в названном выше «Обзоре» приводится фраза из перехваченного письма П. Ф. Якубови-

⁹ М. П. Шебалин ошибался, утверждая в своих воспоминаниях, что работавшая под его руководством петербургская типография осталась нераскрытой. Как видно из VII «Обзора», охватывающего период с 1 июля 1883 г. до 1 января 1884 г., департаменту полиции было известно, что «Листки Народной воли» и несколько брошюр печатались «в квартире кандидата прав Шебалина при участии его жены и саратовской землевладелицы Кулябка».

ча к М. П. Шебалину. Совокупностью же изложенных обстоятельств объясняется то, почему Феоктистов считал ссылки на «дела» Михайловского и Кривенко излишними.

Большую роль в этот серьезный для Щедрина момент сыграла тактика «неоказательства», которой он придерживался с исключительным постоянством, отчетливо сознавая, что самая резкая критика правительственных мероприятий привлечет в «черном кабинете» меньше внимания, нежели простое упоминание им русских и зарубежных нелегальных изданий. Благодаря именно этому в докладе Оржевского и Плеве не было названо имя Щедрина¹⁰. Не имея поэтому никаких доказательств, что произведение сатирика публиковалось в нелегальной прессе с его ведома, но относительно некоторых из них определенно зная, а о других догадываясь, что они там «появлялись», — особое совещание четырех министров так сформулировало соответствующий пункт постановления, что обвиняемый оставался под сильным подозрением в причастности к «крамоле» и вместе с тем не привлекался к «законной ответственности». Какие моменты были обойдены в официальной редакции этого пункта для придания ему необходимой эластичности, показывает сравнение обвинительной формулировки, предложенной Феоктистовым, с известным нам местом правительственного сообщения. (В том, что Феоктистов подготовил для Д. Толстого материал о сотрудничестве Щедрина в эмигрантской печати, не приходится сомневаться, особенно зная из его рассказа, что департамент полиции не проявил здесь инициативы.)

¹⁰ До закрытия «Отечественных записок» мы не встречаем в «Обзорах» департамента полиции указаний на нелегальные издания произведений Щедрина, хотя они, несомненно, уже в то время попадались жандармам: в 1881 г. — харьковское гектографированное издание третьего «Письма к тетеньке», в 1883 г. — «Премудрый пискарь» и др. После обнародования правительственного сообщения о ликвидации журнала департамент полиции начал систематически отмечать во всеподданнейших докладах такие «находки». (См. VIII «Обзор» — «Ведомость важнейших дознаний», стр. 7, 13, 24 и 36).

С обстоятельностью профессионала детализируя вопрос об участии Щедрина в зарубежной нелегальной прессе, глава цензурного ведомства различает тут три момента: перепечатку из русских легальных изданий, которую он, повидимому, тоже не склонен был признать произведенной помимо воли автора; публикацию работ, запрещенных цензурой, — факт еще более однозначный; и, наконец, явное выражение «злой воли» сатирика — появление в «революционных журналах» таких его произведений, которые «он сам не решался... обнародовать в России». Из этих трех пунктов первый в официальной редакции опущен, очевидно, потому, что, по мнению министров, он ослаблял вескость аргументации в целом, а второй и третий пункты объединены в один, вследствие чего обвинение потеряло значительную долю своей конкретности и остроты.

Зная, что раздел, относящийся к Щедрина, особое совещание четырех министров из тактических соображений опубликовало в урезанном виде, мы в дальнейшем будем отправляться от формулировки, предложенной Феокистовым, проверяя ее на фактическом материале, подобно тому, как мы это сделали, анализируя его оценку эпизода с закрытием «Отечественных записок». Такая проверка одновременно явится ответом на вопрос, который не освещен в разобранных выше документах: какими данными располагало правительство Александра III, объявляя Щедрина сотрудником «изданий, принадлежащих эмиграции»?

III

Уже в самом начале рассмотрения этого основного вопроса мы встречаемся с обстоятельством, противоречащим одному из утверждений Феокистова. Участие сатирика в эмигрантской прессе наш мемуарист, как сказано, ограничивает его сотрудничеством в «революционных журналах». Между тем до закрытия «Отечественных записок» шесть произведений Щедрина, с его именем, были выпущены в Женеве Эл-

пидиным отдельными изданиями. В период 1880—1883 гг. без клейма царской цензуры увидели свет: «Ташкентцы, обратившиеся внутрь», «Чужую беду — руками разведу», третья «Письмо к тетеньке», сказки «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк». И, не справляясь с источниками, можно было бы уверенно предположить, что эти издания не ускользнули из поля зрения Феокистова. И действительно, он умолчал об эллипидинских публикациях, зная, что, за исключением очерка «Чужую беду — руками разведу», они представляли собой не что иное, как перепечатку одноименных произведений Щедрина из эмигрантского журнала «Общее дело».

Установление данного факта имеет для развития нашей темы немаловажное значение, так как оно дает возможность точно определить даты публикации указанных работ Щедрина за рубежом. Сопоставив же эти даты со временем появления названных произведений сатирика в легальной печати, мы приходим к неоспоримому выводу, что за границей они были обнародованы раньше, чем в России. Вот в какой хронологической последовательности это происходило.

Очерк «Ташкентцы, обратившиеся внутрь» был напечатан в июльском номере «Общего дела» за 1880 г., а легально — в 1881 г. (вошел под заглавием «Они же» во второе издание «Господ ташкентцев»). Третья «Письмо к тетеньке» появилось в декабрьском номере «Общего дела» за 1881 г., легально же — только в 1892 г. (второе издание собрания сочинений сатирика; часто встречающееся указание на четвертое издание, выпущенное в 1905 — 1906 гг., ошибочно). Упомянутые выше сказки «Общее дело» опубликовало в сентябре 1883 г., а в «Отечественных записках» они были помещены в феврале 1884 г. Наконец, очерк «Чужую беду — руками разведу» вышел в Женеве отдельным изданием в 1880 г. и в декабре того же года напечатан (с сокращениями) в «Отечественных записках» под названием «Чужой толк».

Именно об этих произведениях Щедрина сказано в правительственном сообщении, что они «по цензурным условиям не могли быть напечатаны в России». В таком утверждении правда уживалась с ложью. Соответствовало действительности то, что все эти произведения по цензурным обстоятельствам в свое время не могли быть опубликованы в «Отечественных записках». Но правительство скрыло, что задолго до запрещения журнала цензура пропустила их, в том числе и часть третьего «Письма к тетеньке», которую сатирик включил в последующий текст одноименного цикла.

Эта сторона вопроса была освещена редакцией «Общего дела», сейчас же по обнародовании правительственного сообщения выступившей с заявлением, что она печатала сатиры Щедрина по собственному почину, без ведома автора. Такое заявление полностью соответствовало указаниям, которые она делала раньше. Еще в 1880 г., публикуя очерк «Ташкентцы, обратившиеся внутрь», редакция сопроводила его следующим примечанием:

«Статью эту, — сообщала она, — мы получили в числе нескольких экземпляров из разных пунктов Германии и Франции с предложением напечатать ее в «Общем деле» как произведение, которое, вследствие своей большой распространенности в публике, давно уже сделалось как бы общественным достоянием»¹¹. В этой, с первого взгляда, небрежно набросанной приписке делалась попытка предупредить неприятные для Щедрина подозрения. Такой цели служили умелой рукой сгруппированные факты: указания на то, что произведение сатирика получено «из разных пунктов» в количестве «нескольких экземпляров» и является «давно как бы общественным достоянием», били в одну точку: автор здесь не при чем. Из всей аргументации в особенности обращает на себя внимание словечко «давно». Значение его нам уяснится, если мы учтем, что очерк «Ташкентцы, обратившиеся

внутри» цензура вырезала из «Отечественных записок» еще в 1869 г. Заинтересованным лицам, следовательно, могло показаться подозрительным неожиданное появление этой «новинки» в эмигрантском органе в 1880 г. — появление, по странной случайности совпавшее с приездом Щедрина за границу. При таких обстоятельствах как бы мимоходом оброненное указание на то, что произведение Щедрина, запрещенное цензурой, уже давно распространяется в списках, имело определенное назначение — усыпить подозрительность властей предержавших. Но, раз возникнув, подобное подозрение с течением времени должно было укрепиться: и в 1881, и в 1883 гг., когда в «Общем деле» печатались треть «Письмо к тетеньке» и сказки, Щедри лето проводил за границей.

Еще больший интерес для выяснения того, какими «громоотводами» обставляла редакция «Общего дела» публикацию работ Щедрина, представляет примечание, которым она снабдила треть «Письмо к тетеньке»: «Помещаемую ниже статью «Письма к тетеньке», — гласит это примечание, — мы получили из России от одного из наших корреспондентов при письме, в котором он объясняет, что эта статья была предназначена ее автором для одного русского журнала, не была пропущена цензурой, но, проскользнув в публику, ходит теперь по рукам в многочисленных списках». «Талантливость изложения вместе с известною современностью сюжета, — говорит в заключение корреспондент, — достаточно объясняет, почему она так понравилась публике и так не пришлось по вкусу цензуре»¹².

Эзоповский характер примечания редакции не может не вызвать удивления. Почему, в самом деле, намек на «известную современность сюжета», уместный в подцензурной печати, она предпочла прямому разъяснению смысла публикуемой сатиры? А что в данном случае недоговоренность была умышленной, подтверждает помещенная в этом же номере журнала корреспонденция «Из

¹¹ «Общее дело», 1880 г., № 36—37.

¹² Там же, 1881 г., № 46.

Петербург», где сообщение о приостановке «дальнейшего продолжения «Писем к тетеньке» опять-таки совершенно не комментировалось. Чем объяснить подобную тактику редакции «Общего дела»? Чтобы понять руководившие ею соображения, ознакомимся с письмами Щедрина к Елисееву и Белоголовому, в которых затрагивается вопрос о запрещении сатиры, направленной против «Священной дружины».

30 сентября 1881 г., т.-е. примерно неделю спустя после изъятия третьего «Писем к тетеньке», Щедрин сообщал Елисееву за границу, что о «вырезке... статьи слух по всему городу идет, и со всех сторон ищут, как бы ее прочесть, но, разумеется, любопытство остается без удовлетворения»¹³. 18 октября Щедрин уведомлял своего корреспондента, что «сентябрьское письмо ходит по рукам со всевозможными комментариями», и пояснял причину его большого успеха у публики: «Оно известно и «Дружине». Тут же говорилось о беседе Щедрина с министром внутренних дел Игнатьевым, который, в объяснение цензурного запрета, сообщил автору, что он «давал читать это письмо государю и государь согласился..., что печатание письма неуместно»¹⁴. Наконец, 29 ноября на просьбу Елисеева выслать ему третье «Письмо к тетеньке» Щедрин отвечал решительным отказом: «Вырезанного «Писем к тетеньке» я вам не посылаю и не могу послать. Воистину боюсь. И так оно по рукам теперь ходит, так что, чего доброго, заподозрят меня даже в распространении, и я даже из книжки его выдрал и всем просящим показываю: вот!»¹⁵.

«Я — русский литератор, — говорил сатирик, — и потому имею две рабские привычки. Во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать». В «черном кабинете» могли бы без труда подчеркнуть в письмах Щедрина к Елисееву проявления «спасительного страха», но напрасно стали бы там доискиваться

иносказания, — так все было в них ясно и отчетливо выражено.

Совсем в ином роде писал о том же предмете Щедрин Белоголовому. 24 сентября, через два дня по приезде из Парижа (где Щедрин виделся с Белоголовым и Елисеевым), он сообщал своему близкому другу и врачу, что «неслыханно болен». «Думаю, что не путешествие собственно сразило меня, — добавил Щедрин, — а разные удовольствия, вроде, например, того, что вырезали мою статью...». Об интересующем нас вопросе в этом письме не сказано больше ни слова. Но, имея в виду вступительные строки: «Пишу... на первый раз кратко...», можно было ожидать, что «развертывание сюжета» — впереди, особенно, зная из оживленной переписки Щедрина с Елисеевым, какие любопытные моменты всплыли в дальнейшем развитии цензурного эпизода.

Однако уже из следующего письма к Белоголовому (от 14 октября) становится очевидным, что Щедрин не может касаться сколько-нибудь конкретно этой темы. Сообщая своему корреспонденту, что «кажется, придется литературу совсем бросить, и, разумеется, и редакцию...», он тут же добавляет: «Подробностей, разумеется, не пишу...». Через несколько строк Щедрин снова возвращается к тому, что его больше всего занимает в данный момент, не называя запрещенной сатиры, не указывая на ее распространение в списках и не упоминая о «Священной дружине»: «Нехорошо мое положение. Не шутя говорю, что, вероятно, придется и с редакторством распрощаться, и литературу бросить... И как бы совсем меня не доели». И вслед замечает: «Писал бы я вам много, да ведь неудобно это»¹⁶. После такого предупреждения нас уже не может удивить тот факт, что письмо Щедрина к Белоголовому, помеченное 19 ноября, не содержит и намека на окончательную развязку цензурного эпизода, о которой накануне он столь обстоятельно сообщил Елисееву, передавая ему свой

¹³ «Заветы», 1914 г., № 4, стр. 29.

¹⁴ Там же, стр. 30.

¹⁵ Там же, стр. 31.

¹⁶ В. Розенберг, «Журналисты безвременья», стр. 60.

разговор с Игнатьевым¹⁷. Упорно умалчивает Щедрин о перипетиях, связанных с его разоблачением «Священной дружины», и в письме к Белоголовому от 21 декабря — последнем за 1881 г. В переписке с ним он никогда не затрагивал этого предмета и позднее.

Почему же Щедрин избегал упоминания о третьем «Письме к тетеньке» и «Священной дружине» в переписке с Белоголовым и так непринужденно посвящал в свои цензурные мытарства Елисея? На этот вопрос отвечают письма Щедрина к Белоголовому, относящиеся к августу 1881 года. Щедрин, лечившийся на курорте в Висбадене (Германия), писал 10 августа (н. ст.) Белоголовому в Тун (Швейцария):

«Сегодня Лорис-Мел[иков] сообщил мне следующее. В Петербурге, под покровительством в. кн. Владимира Алек[сандровича] учреждена Дружина спасения, цель которой есть исследование и истребление нигдизма, не останавливаясь даже перед устранением таких личностей, как Гартман, Крапоткин и т. п. Дружина организована в виде тайного общества, но с субсидией от государя, пятерками, так что одна пятерка не знает другую, но все повинуются известному лозунгу. Пятерки эти рассеялись и за границей, так что Лор[ис]-Меликова убеждают быть осторожным. Сообщая мне об этом, армянин присовокупил: «Наверное, уже донесли обо мне, что я с вами и с Кошелевым виделся». Вы можете себе представить, как мне было приятно слышать это. Он-то отделается тем, что на него будут дуться, а мне, пожалуй, и перепадет кое-что... Я пишу это письмо единственно для того, чтобы Вам о «Дружине» сообщить, и потому, исполнив сие, умолкаю, надеясь, что рассказ

мой послужит для Вас предостережением при сношениях с россиянами»¹⁸.

14 августа (н. ст.) Щедрин дополнительно сообщал Белоголовому, что организатором «Священной дружины» «оказывается Шмидт (Шульц?), бывший управляющий 3-м отделением»¹⁹. 24 августа (н. ст.), незадолго до своей поездки в Париж, где Щедрин условился с Белоголовым встретиться, он информировал его о новых подробностях, касающихся тайной контрреволюционной организации. В этом письме мы читаем: «Узнал я, что Святая дружина наняла искусного дуэлиста и бретера (к сожалению, фамилии мне не сказали), чтобы оскорбить Рошфора и затем убить его на дуэли. Подобным же образом предполагается поступить с Крапоткиным. Ежели сойдут эти два устранения благополучно, то весьма может быть, что пойдут и дальше: Демидов вызвался давать Дружине по 15 т. р. в [месяц]. Во всех предприятиях принимают живейшее участие оба Шуваловы: Петр и Павел. Каким бы образом раскрыть все это и в особенности предупредить Рошфора? Я собственно становлюсь в тупик и положительно боюсь, что сейчас же на меня подумают, особенно зная, что я хорош с Лор[ис]-Мел[иковым], о чем, вероятно, донесено отсюда».

По получении от Щедрина первого письма, датированного 29 июля ст. ст. (10 августа н. ст.), Белоголовый тотчас же сообщил его содержание Лаврову в Париж. Лавров, в свою очередь, не медля, предупредил П. Крапоткина. «В середине августа, — рассказывает Крапоткин, — я... получил (в Лондоне. — С. Б.) от П. Лаврова коротенькое письмо, в котором он с чего-то советовал мне «быть осторожным», поменьше выходить по вечерам и остерегаться «таверн». Это слово — «таверны», точно из диккенсовского романа, особенно вре-

¹⁷ Какие обстоятельства предшествовали этому разговору, какой переполох вызвало третье «Письмо к тетеньке», видно из переписки между петербургским цензурным комитетом и вышестоящей инстанцией — Главным управлением по делам печати. (См. В. Е. Евгеньев-Максимов. «В тисках реакции», Л. Гиз, 1926 г., стр. 89, и «Заветы», 1914 г., № 4, стр. 31).

¹⁸ Это письмо, а также письмо от 24 августа (н. ст.) мы печатаем с подлинников, хранящихся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки СССР им. Ленина. В Розенберг опубликовал их с цензурными пропусками.

¹⁹ В. Розенберг. «Журналисты безарменья», стр. 55.

залось мне в память. П. Л. просил меня отнестись серьезно к его предостережению, говоря, что подробности он передаст мне, когда мы увидимся вскоре в Париже»²⁰.

Лавров не писал Крапоткину о «Священной дружине», так как дошедшая до него информация показалась ему мало достоверной. В таком духе он, очевидно, ответил Белоголовому, который к тому времени имел на руках уже третье предостерегающее письмо Щедрина и не сомневался в существовании контрреволюционной террористической организации. «Я к «Дружине» потому отношусь серьезно, — писал он Лаврову, — что таково отношение к ней С., а он стоит у самого источника подробных сведений о ней. Он пишет нам часто и в каждом письме говорит о «Дружине» и, видимо, желал бы, чтобы сведения о ней были бы сообщены в западные газеты. Я думаю, что напечатать о ней в общих чертах, без подробностей (о Д., Ш. и т. д.) было бы безопасно и не навело бы на след источника...»²¹.

Последнее письмо Щедрина (от 12/24 августа) побудило Белоголового еще раз напомнить Лаврову о «Священной дружине». «...Дело так серьезно, — писал он ему, — что следует немедленно предупредить и Рошфора, и Крапоткина, но непременно следовало бы сделать так, чтобы Рошфор не разболтал в газете подробности о дружине, потому что тогда легко будет доискаться, откуда идут эти сведения, а погубить С. было бы жестоко»²².

Письмо это Лавров получил уже после своего свидания с Крапоткиным. «В Париже, — сообщает Крапоткин, — Петр Лаврович рассказал мне, что он знал о «Священной дружине»... Эти сведения, говорил он, совершенно достоверны, так как получены прямо от Лорис-Меликова, который рассказал все это одному очень почтенному русскому литератору, с которым сошелся вместе на водах в Германии...». Имени «почтенного

русского литератора» Лавров своему собеседнику не открыл. Но по приезде из Парижа в Женеvu (в двадцатых числах августа) Крапоткин узнал, что имевшиеся там сведения о «Священной дружине» были получены «через М. Е. Салтыкова-Щедрина, который нарочно приехал в Швейцарию, или на границу Швейцарии, и вызвал на свидание одного из эмигрантов, чтобы сообщить ему эти сведения для предупреждения кого следует»²³.

1 сентября (н. ст.) Щедрин приехал в Париж, где застал Белоголового; к ним вскоре присоединился Елисеев. От Белоголового, который виделся с Лавровым, Щедрин, конечно, узнал, что Крапоткин предупрежден о замыслах дружинников. Но такое келейное предостережение он считал недостаточным — «Священную дружину» необходимо было разоблачить публично: открыто — в свободной прессе, иносказательно — в подцензурной. В Париже Щедрин закончил третье «Письмо к тетеньке» и 10 сентября (я. ст.) отослал его Михайловскому с просьбой представить в цензуру очередную книжку «Отечественных записок» 12 сентября (ст. ст.), чтобы до отъезда в Россию (22 сентября ст. ст.) он знал о результатах. Михайловский не смог исполнить эту просьбу, и Щедрин выражал ему свое огорчение по поводу задержки с отсылкой в цензуру книжки журнала до 17 сентября (ст. ст.). «Дело в том, — писал он, — что я выезжаю отсюда в Пятницу, а срок цензурный кончается в Субботу. По особенностям моего организма я все время буду ехать с стесненным сердцем, тогда как если бы срок кончился сегодня, то Гаспер (заведующий канторой «Отечественных записок»). —

²³ В. Розенберг, «Журналисты безвременья», стр. 63. 4 августа (ст. ст.) Салтыков уведомлял Михайловского, что 8 августа (20-го по н. ст.) он собирается уехать на неделю в Швейцарию, а 18 августа (ст. ст.) — в Париж. («Письма», 1925 г., стр. 209). О своем намерении быть в Швейцарии Салтыков писал 7/19 августа и Белоголовому. Белоголовый в воспоминаниях указывает, что в Швейцарии Щедрин был (посетил Люцерн, Интерлакен и Тун, где виделся с Белоголовым). В Париж он выехал из Висбадена 19 августа по ст. ст.

²⁰ «Русские ведомости», 1912 г., № 251.

²¹ В. Я. Богучарский, «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в.», М., 1912, стр. 300.

²² Там же, стр. 299.

С. Б.) мог бы телеграфировать мне о результатах. Всякое мученье нужно сокращать — вот мое правило»²⁴.

Именно в данном случае Щедрин имел особые основания тяготиться неизвестностью. Это объясняется тем, что через несколько дней после отсылки им третьего «Письма к тетеньке» Михайловскому, между 12-м и 19 сентября (н. ст.)²⁵, вышел в Женеве экстренный номер «Общего дела» (в четыре страницы вместо обычных шестнадцати) с разоблачением «Священной дружины». В передовой, озаглавленной «Белый террор», и следующей за ней статье под названием «Non plus ultra», написанных В. Зайцевым, излагались факты, известные читателям из приведенных выше писем Салтыкова к Белоголовому. Таким образом, цензура могла заполучить недвусмысленный реальный комментарий к иносказанию Щедрина. При этих обстоятельствах приходилось не только беспокоиться за судьбу третьего «Письма к тетеньке», но и сильно тревожиться о том, как бы правительство не напало на след источника сенсационного разоблачения замыслов придворной камарильи. Хотя в «Общем деле» и были опущены подробности, о которых Белоголовый писал Лаврову, но эти недомолвки не затушевывали самого главного — поступления в цензуру третьего «Письма к тетеньке» незадолго до разоблачения «Священной дружины» в эмигрантском органе, а также пребывания в тот момент Щедрина за границей. Факты же эти были столь однозны, что и «Священная дружина», и департамент полиции могли заняться их «исследованием» через своих заграничных агентов...

Щедрин знал о сроке выхода сентябрьского номера «Общего дела», ибо, как мы ниже увидим, он был тесно связан с одним из редакторов этого журнала. И все же он шел на серьезный

риск, считая, очевидно, недопустимым отсрочить разоблачение «Священной дружины» в зарубежной прессе и вместе с тем решив без замедления заклеить и в подцензурной печати контрреволюционные планы шайки сановных убийц. После выхода сентябрьского номера «Общего дела» Щедрин прожил в Париже свыше двух недель. 20 сентября (ст. ст.) он выехал в Петербург и по дороге, в Луге, узнал о запрещении цензурой третьего «Письма к тетеньке».

Рассмотрение обстоятельств, предшествовавших запрету сатиры Щедрина, позволяет, следовательно, ответить на поставленный выше вопрос, почему в переписке с Белоголовым он не касался сколько-нибудь конкретно «Священной дружины» и ситуации, сложившейся для него после вырезки третьего «Письма к тетеньке». Щедрин должен был быть постоянно настороже, потому что его связывала с Белоголовым «закулисная деятельность», и малейшая оплошность грозила им обоим тяжкими последствиями. Если мы к этому добавим, что Н. А. Белоголовый, соучастник Щедрина в разоблачении «Священной дружины», был одним из редакторов эмигрантского «Общего дела», то станет ясно и другое — почему примечание редакции, предпосланное третьему «Письму к тетеньке», кажется как бы продиктованным Щедриным, «вычитанным» из его петербургских писем, адресованных Белоголовому... Едва ли можно сомневаться в том, что именно Белоголовый написал это примечание, авторство же его в отношении упомянутой анонимной корреспонденции «Из Петербурга» установлено совершенно бесспорным свидетельством одного из основателей и руководителей «Общего дела» — А. Х. Христофорова²⁶.

После всего сказанного уясняется и смысл петербургских писем Щедрина к Елисееву. Ни по содержанию, ни по то-

²⁴ М. Е. Салтыков-Щедрин, «Письма», 1925 г., стр. 215.

²⁵ Эта приблизительная дата выхода в свет сентябрьского номера «Общего дела» устанавливается на том основании, что женевский еженедельник «Вольное слово» в номере от 19 сентября откликнулся на статью «Белый террор».

²⁶ Все статьи Белоголового, печатавшиеся (без подписи) в «Общем деле», указаны Христофоровым в принадлежавшем ему комплекте журнала; этот комплект ныне находится в Институте Ленина.

ну они не нарушали, как это может представиться с первого взгляда, тактики «неоказательства», усвоенной сатириком. Дело в том, что Елисеев не только не был прикосновенен к кампании разоблачения «Священной дружины», предпринятой Щедриным, но и не подозревал о его роли в ней²⁷, хотя они в самый разгар событий прожили совместно в Париже почти месяц. Следовательно, Щедрину не приходилось опасаться, что агенты департамента полиции или «мужественные добровольцы» из «Священной дружины» обнаружат здесь его связь с «Общим делом». Напротив, «откровенный» характер писем сатирика к Елисееву мог их только запутать... Щедрин же, вдобавок, вероятно, рассчитывал на то, что его переписка с Елисеевым дойдет до Белоголового, и он таким, окольным, путем узнает о фактах, которые не представлялось возможным сообщить ему лично. И действительно, «корреспонденция» Белоголового «Из Петербурга», помещенная в декабрьском номере «Общего дела» за 1881 г. (рядом с третьим «Письмом к тетеньке»), позволяет заключить, что содержание этой переписки было ему известно.

Начав свою «корреспонденцию» указанием на то, что в России «либеральная пресса еле дышит, сбита с толку массой сыплющихся на ее голову распоряжений», Белоголовый особо отметил положение Щедрина. «... На сатиру Щедрина, — сообщал он, — наложены руки. Игнатьев приглашал его лично к себе и просил изменить манеру

писать, другими словами, приказал соловью петь кукушкой, а в ожидании этого превращения дальнейшее продолжение «Писем к тетеньке» приостановлено»²⁸.

Это сообщение Белоголового почти дословно воспроизведено из писем Щедрина к нему и Елисееву. В цитированном уже письме к Белоголовому от 14 октября 1881 г. Щедрин, говоря о том, что «кажется, придется литературу совсем бросить», добавил: «Но, во всяком случае, придется совсем манеру... переменить». И далее указывал: «У нас, в сфере книгопечатания, циркуляры так и сыплются»²⁹.

Что же касается упоминания об Игнатеве, то его разговор с Щедриным мог стать известным Белоголовому из информации Елисеева. Как помнит читатель, Игнатев разъяснил Щедрину, что царь нашел «неуместным» обнародование третьего «Письма к тетеньке», но ничего не говорил об изменении «манеры». Ошибочное утверждение Белоголового объясняется тем, что он получил информацию не из первых рук. Белоголовый, зная о царском запрете, не усомнился напечатать сатиру Щедрина, выставив на этот раз его имя (первая публикация сатирика в «Общем деле» — «Ташкентцы, обратившиеся внутрь», была анонимной). Совершенно очевидно, что он мог так поступить, только заручившись в Париже согласием автора. Но он сознательно обошел молчанием в своей «корреспонденции» отзыв царя и мотивы запрещений «Писем к тетеньке», чтобы не осложнять и без того опасного положения, в котором очутился его близкий друг и тяжело больной пациент.

Установленный нами факт использования Белоголовым информации Щедрина для своих статей в «Общем деле» не является единичным. Ввиду того, что эта своеобразная форма сотрудничества нашего сатирика в эмигрантском органе совершенно неизвестна, проиллюстрируем ее на нескольких примерах.

²⁷ Именно этим неведением объясняется осторожное упоминание в письме Елисеева к Салтыкову об интересе, проявленном Лорис-Меликовым к «непропущенной статье». Елисеев сообщал об этом 13 ноября 1881 г. из Ниццы, где находился тогда и Лорис-Меликов. Любопытно указание Елисеева, что «весь интерес» запрещенной сатиры стал для него очевиден только из петербургского письма Салтыкова, где говорилось, что она «касается «Священной дружины». Таким образом, выясняется, что в Париже Щедрин ничего не сказал Елисееву о теме третьего «Письма к тетеньке» (см. «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». М. 1935 г. Подготовка текста писем и примечания И. Р. Эйгеса, стр. 54—56).

²⁸ «Общее дело», 1881 г., № 46.

²⁹ В. Розенберг, «Журналисты безвременья», стр. 73.

В том же (декабрьском) номере «Общего дела» за 1881 г., где появилось третье «Письмо к тетеньке», Белоголовый впервые выступил в качестве постоянного обозревателя русской жизни, выделив для себя особый отдел под рубрикой «Хроника». Здесь он затем регулярно писал в течение десяти лет, до самой ликвидации журнала. Помимо информации иностранных газет о России, Белоголовый в своей первой хронике приводил некоторые факты, «почерпнутые из писем». «Положение Игнатъева, — между прочим сообщал он, — считается все более и более непрочным. Царь... его отставки пока не принял... говорят, он предлагал... Каханову место министра, и Каханов соглашается... под условием, чтобы из ведения министерства была выделена полиция, — и тогда, если назначение Каханова состоится, то у нас сформируется министерство полиции, вероятно, с пьянчугой Черевиным во главе»³⁰.

Эти сведения Белоголовый, несомненно, почерпнул из петербургского письма Щедрина от 19 ноября 1881 г., полученного им незадолго до выхода декабрьского номера «Общего дела». В письме Щедрина мы читаем: «Третьего дня здесь ходили слухи, будто Игнатъев выходит в отставку, а на его место назначается Каханов. А по другим, будто бы министерство разделяется на два: просто внутренних дел и полиции — с Черевиным во главе»³¹.

Щедрин информировал Белоголового о русских делах и в то время, когда находился за границей. Так, например, 11 июля (н. ст.) 1881 г. он писал ему из Висбадена: «...Игнатъев совсем изогался, так что Баранов (градоначальник) открыто на него жалуется (между прочим Лихачеву), что он его компрометирует, объявляет высочайшие повеления, а когда потом Баранов докладывает царю о затруднениях, то последний говорит: в первый раз слышу. И все это сходит с рук. Царь хотел Клушину (мерзавцу) поручить спасение России и

сказал об этом Игнатъеву, чтоб он переговорил. Игнатъев переговорил очень слегка и доложил, что Клушин отказывается. А Клушин, узнавши об этом, письмо написал: никогда-де я не отказывался»³².

Вскоре Щедрин мог увидеть свою информацию на страницах «Общего дела». В корреспонденции «Из Петербурга», напечатанной в августовском номере этого журнала за 1881 г., Белоголовый писал: «...Царь, по чьему-то совету, просил Игнатъева переговорить с известным консервативным дельцом — членом государственного совета Клушиным, не примет ли он какого-нибудь деятельного поста в правительственной машине; премьеру предложение это не понравилось, и он, не говоривши ни слова Клушину, через несколько дней доложил царю, что Клушин места принять не желает; это дошло до Клушина, и он подал монарху записку, избличавшую Игнатъева во лжи. Такая же история разыгралась с Барановым, которому Игнатъев передал к исполнению какое-то высочайшее повеление; Баранов вскоре докладывает царю по поводу этого повеления и, к удивлению, получает от последнего в ответ: «в первый раз слышу»³³.

Подобные извлечения из писем Щедрина Белоголовый делал для своих публицистических работ на протяжении 1881—1887 гг. Мы полагаем, что в дальнейших иллюстрациях нет надобности, поскольку приведенные примеры достаточно уясняют этот вопрос. Однако следует особо остановиться на одном случае отдельной публикации сведений, полученных от Щедрина. В мартовском номере «Общего дела» за 1884 г. появилась (с редакционным пояснением: «Нам пишут из Петербурга») следующая заметка: «На днях арестовали только-что отпечатанную «Исповедь» гр. Льва Толстого. Бывший министр Валуев, соревнуя Толстому, тоже выпустил исповедание веры

³⁰ «Общее дело», 1881 г., № 46.

³¹ В. Розенберг, Журналисты безвременья», стр. 75.

³² Печатается без цензурных купюр, имеющих в публикации В. Розенберга.

³³ «Общее дело», 1881 г., № 43.

и думал к великому празднику расторгаться, как вдруг и на нее цензура наложила руку. Теперь он, говорят, восклицает: «вот до чего мы дожили!»³⁴.

Это саркастическое сообщение почти дословно воспроизведено из письма Щедрина к Белоголовому от 13 февраля 1884 г. «Наднях, — писал Щедрин своему другу, — арестовали книгу Льва Толстого, я не читал и не знаю содержания, но что-то вроде «Моя вера». Но этого мало. Валув (бывший министр), соревнуя Толстому, тоже выпустил исповедание веры и думал к великому посту расторгаться, как вдруг и на нее цензура наложила руку. Теперь он, говорят, восклицает: вот до чего мы дожили!»³⁵.

Если бы департамент полиции располагал хотя бы одним этим фактом, то Щедрин был бы разоблачен в правительственном сообщении о закрытии «Отечественных записок», опубликованном через месяц после появления цитированной заметки в «Общем деле». Но департамент полиции не имел за перепиской Щедрина и Белоголового постоянного наблюдения³⁶, а заграничная агентура, несомненно интересовавшаяся Белоголовым (преимущественно выслеживались его свидания в Париже с Лавровым), не подозревала в нем одного из руководителей самого долговечного эмигрантского органа (1877—1890 гг.). Вот почему редакция «Общего дела», откликаясь в майском номере на правительственное сообщение

о закрытии «Отечественных записок», могла безбоязненно заявить, что запрещенные царской цензурой сатиры Щедрина доставлялись ей «русскими корреспондентами...». Убедившись при ознакомлении с уклончивым обвинением, предъявленным Щедрину, что правительство не располагает никакими уликами против него и Белоголового, она не отказала себе в удовольствии отрицать прикосновенность сатирика к «Общему делу» в такой формулировке, которая, по существу, означала признание его сотрудничества: «русским корреспондентом», как мы сейчас убедились, был ведь сам Щедрин... Скрытое торжество над неудачей сыского аппарата самодержавно-полицейского государства звучит в заявлении редакции «Общего дела», что Щедрина «и «сообщение» ни в каких преступлениях не обвиняет, а только напрасно пытается набросить на него тень подозрения, доказывая этим полную невозможность взвести на него какое-нибудь даже голословное обвинение».

В конце статьи, оценивая правительственную мотивировку запрещения «Отечественных записок» в той ее части, где речь шла об аресте некоторых сотрудников журнала, редакция «Общего дела» иронически писала: «Ведь этак следовало бы закрывать и министерства всякой раз, как некоторые из чиновников оных окажутся виновными в каких-либо преступлениях»³⁷. Это неожиданное сопоставление является очевидной перифразой следующих строк из письма Щедрина к Белоголовому о ликвидации «Отечественных записок»: «...Журнал прекращен не за содержание, — писал он ему 24 апреля 1884 г., — а за то, что некоторые из его сотрудников арестованы. Но и в департаментах арестуют чиновников, а департаменты не закрывают»³⁸.

Таким образом, мы можем констатировать, что Щедрин подал голос и в

³⁴ «Общее дело», 1884 г., № 59.

³⁵ В. Розенберг, «Журналисты безвременья», стр. 109.

³⁶ От случая к случаю их переписка безусловно перлюстрировалась. Так, например, со значительным запозданием было доставлено Салтыкову письмо Белоголового из Мейтоны от 6 января (н. ст.) 1883 г. На копии этого письма, любезно сообщенной нам С. А. Макашиным, имеется карандашная пометка: «Этот Белоголовый весьма подозрительная личность. 1 января. Д. П. № 23, 1883 г. Делопр. С. С. Перлюстрация». Архив революции и внешней политики.

Судя по этой характеристике, на Белоголового обратили внимание в «черном кабинете» по прежней его корреспонденции, но «дела» на него не было заведено.

³⁷ «Общее дело», 1884 г., № 61.

³⁸ В. Розенберг, «Журналисты безвременья», стр. 110.

статье, написанной редакцией «Общего дела» со специальной целью опровергнуть его связи с ней...

Чтобы покончить с рассмотрением вопроса о публикации в «Общем деле» произведений Щедрина, запрещенных царской цензурой, скажем еще несколько слов относительно его сотрудничества в этом журнале после закрытия «Отечественных записок».

С конца 1884 г. работы Щедрина все чаще стали появляться на страницах «Общего дела», причем, как и произведения, о которых мы говорили выше, они печатались там раньше, чем в России; печатались с именем автора и без редакционных примечаний. После публикации в «Общем деле» эти работы выпускались отдельными брошюрами женевским издательством Элпидина. Так, в ноябре 1884 г. в «Общем деле» (№ 67) появилась сказка «Добродетели и пороки», а вскоре (в декабре того же года) Щедрина удалось опубликовать ее и легально — в сборнике литературного фонда «XXV лет». Через месяц, в декабрьском номере «Общего дела» (№ 68), была напечатана сказка «Медведь на воеводстве», в России же она впервые легально увидела свет только двадцать лет спустя (вошла в пятое издание собрания сочинений Щедрина — 1905—1906 гг.). Через два десятилетия появилась легально в России и сказка «Вяленая вобла», опубликованная на страницах «Общего дела» (№ 69) в январе 1885 г. В Женеве указанные произведения (под названием «Новые сказки для детей изрядного возраста») вышли отдельным изданием до апреля 1885 г. (устанавливается по объявлению, напечатанному в апрельском номере «Общего дела» за 1885 г.). Все эти сказки цензура вырезала из февральской книжки «Отечественных записок» за 1884 г. Последнее из опубликованных в «Общем деле» произведений Щедрина — сказка «Орел-меченат»; она предназначалась для мартовской книжки «Отечественных записок» 1884 г., но была взята автором обратно из опасения цензурных осложнений. Эта сказка за границей появилась в ян-

варском номере «Общего дела» (№ 81) за 1886 г., а легально в России — в 1905 г. (вошла в пятое издание собрания сочинений Щедрина). Отдельно ее выпустил Элпидин в 1886 г. (до мая месяца).

Сравнение заграничных публикаций произведений Щедрина с подцензурными изданиями позволяет установить не только тот факт, что в эмигрантском органе эти произведения появлялись раньше, но дает возможность также обнаружить многочисленные разночтения. Мы производили анализ этих разночтений, используя в своей работе такой драгоценный источник, как сохранившиеся авторские корректуры³⁹, и документально установили, что текст зарубежных публикаций произведений Щедрина наиболее близок к последней редакции. Здесь не место вдаваться в сколько-нибудь детальное рассмотрение этого специального вопроса, и поэтому мы ограничимся самой общей сравнительной характеристикой зарубежных и легальных изданий одноименных произведений сатирика.

Больше всего разночтений имеется в сказке «Вяленая вобла». Настойчиво добиваясь издания этой сказки, Щедрин, по его собственному свидетельству в письме к Феоктистову, «значительно ее выправил, т.-е. наиболее резкие места совсем уничтожил»⁴⁰. Авторская правка на отпечатанных листах, вырезанных цензурой из «Отечественных записок», наглядно показывает, какую саморасправу учинил сатирик. Однако и это не помогло: Феоктистов наотрез отказался пропустить «Вяленую воблу», и она впервые легально появилась лишь в 1905 г., и то в изуродованном виде. В «Общем деле» же сказка напечатана по окончательно отредактированной рукописи и не носит следов позднейшей

³⁹ Вырезанные цензурой из «Отечественных записок» отпечатанные листы третьего «Письма к тетеньке» и сказок «Вяленая вобла», «Добродетели и пороки» и «Медведь на воеводстве» (с пометками Щедрина) хранятся ныне в Центральном музее художественной литературы, критики и публицистики (Москва).

⁴⁰ «Литературное наследство». № 13—14, стр. 337.

авторской правки. Но в «Общем деле» мы не находим и ряда мест, которые имеются в отпечатанных листах; эти пропуски объясняются, очевидно, тем, что автор внес дополнения в недошедшую до нас корректуру.

Разночтения, объясняющиеся цензурными причинами, мы устанавливаем и в сказке «Медведь в воеводстве».

Отдельные, малозначительные разночтения стилистического характера встречаются в сказках «Добродетели и пороки», «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк». Что же касается «Премудрого пискаря», то в тексте «Общего дела» имеется одно принципиально важное разночтение по сравнению с текстом «Отечественных записок». Держа корректуру этой сказки, Щедрин в журнальный текст внес добавление, которым пояснил, что имел в виду «умеренно-либерального» пискаря. Такой оговорки в «Общем деле» нет. В отдельном легальном издании «Сказок» Щедрин это место исключил, тем самым подчеркнув, что, на его взгляд, все виды российского либерализма — «пискарьего рода».

Очень неисправно, со многими искажениями смысла печаталось в легальных изданиях третье «Письмо к тетеньке». Сопоставление текста «Общего дела» и легального издания 1892 г. со страницами, вырезанными из «Отечественных записок», опять-таки удостоверяет в том, что это «письмо» было опубликовано в эмигрантском органе по окончательно отредактированной рукописи, а легально печаталось по неизвестной нам промежуточной редакции. Отсюда — большое количество разночтений. Но тексты третьего «Письма к тетеньке», которые сам Щедрин включил в последующие главы цикла, не расходятся с текстом «Общего дела».

Разночтения, вызванные «независящими обстоятельствами», имеют место и в очерке «Ташкентцы, обратившиеся внутрь», который (для отвода глаз цензуре) Щедрин в отдельном (втором) издании «Господ ташкентцев» (1881 г.) саркастически озаглавил «Они же». Этот очерк был запрещен в 1869 г., так как сатирик беспощадно заклеил

в нем расправу Муравьева-вешателя с революционерами после покушения Каракозова (4 апреля 1866 г.) на Александра II. Но до сих пор в литературе не указывалось на то обстоятельство, что Щедрин включил в ряд сцен арестов революционеров хронологически более раннее событие — сцену ареста Чернышевского⁴¹. Обедняя эти «подвиги» помещицье-самодержавной власти, он тем самым подводил своих читателей к мысли, что «ташкентская» политическая линия поведения господствующего класса, его стремление вконец разорить крестьянство, характеризует всю «эпоху великих реформ». Из разночтений в очерке «Они же» отметим одно: в легальных изданиях опущен выразительный ответ «либералки» (в «Общем деле» — «нигилистки») на вопрос «ташкентца», бывшего «друга Грановского», почему он не нигилист: «Потому что вы негодяй, негодяй, негодяй!».

Существенное разночтение цензурного порядка содержится и в зарубежной публикации очерка «Чужую беду — руками разведу». Щедрин говорит там о «стыде», как «целесообразном средстве», которое «внушает мысль о подвиге» и возбуждает решимость «освободиться от

⁴¹ Характер революционера в очерке «Они же» в основных чертах совпадает с образом Чернышевского, как он представлялся Щедрину при замысле рассказа «Паршивый» (ср. «Письма», изд. 1925 г., стр. 111 и 136). Весьма знаменательно также обращение «ташкентца» к арестованному революционеру: «Общественное мнение указывает на вас, как на причину зла...». Известно, что «общественное мнение» — доносы крепостников и либералов — сыграло решающую роль именно в судьбе Чернышевского. Затем, в последней главе «Зарубежом», написанной летом 1881 г., т.-е. в период, когда Щедрин впервые легально опубликовал очерк «Они же», дана исключительная по яркости и силе трактовка «изумительного типа» революционера, в главных чертах сплать-таки тождественного тому образу, который вставал перед автором, когда он задумывал рассказ «Паршивый» и писал очерк «Они же». Наконец, тут же мы находим прямое указание Щедрина на то, что «насквозь проникнутый светом» образ революционера «нередко смущал» его воображение, и он «не раз пытался воспроизвести его». Этим указанием Щедрин обращал внимание читателей на третий эпизод в очерке «Они же» и напоминал им о судьбе Чернышевского.

пощечин». Затем следуют многозначительные слова, опущенные в цензурном издании: «хотя бы это освобождение стоило неимоверных усилий». Цензура предусмотрительно отсекала конец фразы и тем самым извратила мысль: можно было подумать, что Щедрин выступил с моралистической проповедью самосовершенствования, а не как пропагандист революционного действия⁴².

Таким образом, текстологическая проверка полностью подтверждает тот вывод, который выше обоснован у нас анализом документальных данных иного порядка. Ввиду этого факт долголетнего сотрудничества Щедрина в «Общем деле» можно считать безусловно установленным.

В заключение этой главы остается сказать несколько слов относительно «освещения» политической позиции «Общего дела» русской реакционной печатью и департаментом полиции.

Несмотря на крайне незначительное распространение в России, «Общее дело» получило известность благодаря стараниям реакционной прессы. Первым подал голос «Берег» Цитовича. Этот рептильный листок, издававшийся в 1880 г. в Петербурге, специализировался на «доказательстве» того положения, что либеральная печать — «надпольные радители» — инспирируется в своих выступлениях по политическим вопросам

⁴² В недавно опубликованном отрывке «Когда страна или общество...» (см. т. XIII полного собрания сочинений, стр. 547) Щедрин поясняет, что под покровом моральной категории «стыд» скрывается «своего рода учение, целая система», призывающая «действовать и поступать». Сатирик вынужден был прибегнуть к иносказанию, потому что «в учении могут быть замечены всякого рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживания, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя». Этот замечательный автокомментарий показывает, к каким несостоятельным суждениям может привести буквальное понимание написанного сатириком. Элементы морализирования, встречающиеся в произведениях Щедрина, чаще всего — эзоповский прием, которым он пользовался как легальным средством для проведения своих мыслей о необходимости революционного изменения действительности.

русской и зарубежной нелегальной прессы — «подпольными благодетелями»; причем для иллюстрации нередко приводил выдержки из «Общего дела», ставя его в один ряд с изданиями «Народной воли». Позднее в полемику с «Общим делом» вступили «Московские ведомости» и аксаковская «Русь», состязаясь с ренегатом А. Дьяковым (Незлобинным), который после покаяния перед царским правительством получил возможность вернуться из эмиграции и личными подвигами в «Береге» засвидетельствовать, что он вполне созрел как предатель. Другой «мерзавец, стоящий на правой стезе», — Н. Щербань — оставил всех своих предшественников за флагом, напечатав в нескольких книжках «Русского вестника» обширнейшее «исследование» неприкрыто-полицейского характера, в котором приводил цитаты из многих статей, опубликованных в «официозном органе нигилистов» — «Общем деле». Но кое о чем он все же умолчал. Так, называя Щедрина (без упоминания имени) «легальным скomorохом — приспешником подпольных «деятелей», Щербань умышленно обошел его произведения, помещенные в «Общем деле», чтобы иметь возможность торжествующе заявить, что «нигилизму не удалось заполучить на свою сторону» ни одного выдающегося русского писателя⁴³.

Все эти выступления охранителей-добровольцев имели целью побудить руководителей политического сыска к усиленной слежке за русской эмиграцией и ее печатью. Департамент полиции вплотную приступил к «работе» во второй половине 1883 г.: до того заграничная агентура находилась в ведении «Священной дружины». В Женеве ее агентом состоял неизвестный Климов, предпринявший с августа 1882 г. издание «анархистско-революционного» журнала «Правда». В начале 1883 г. его провокационная миссия была разоблачена эмиграцией. Какое «наследство» получил департамент полиции от женевского филиала заграничной агентуры «Священной дружины», видно из до-

⁴³ «Русский вестник». 1887 г., октябрь.

кладной записки Плеве, поданной Оржевскому. 30 июня 1883 г. директор департамента полиции сообщал товарищу министра внутренних дел: «... Климов, скомпрометировавший уже себя среди эмигрантов изданием в Женеве газеты «Правда», должен был доставить подробный именной список женеvской эмиграции с характеристикой выдающихся вожаков последней. Климов же, не успевший в течение 2-летнего своего пребывания в Женеве ознакомиться с наличным составом эмиграции, ограничился сообщением ничтожных, налету схваченных сведений»⁴⁴.

Не добрались до «Общего дела» и женеvские агенты департамента полиции, в том числе Гурин. В значительной мере этому способствовало то обстоятельство, что члены редакции журнала — А. Христофоров, Н. Белоголовый и Н. Юренев (а до начала 1882 г. — и В. Зайцев) постоянно проживали в разных городах Европы, в Женеве же находился лишь его номинальный руководитель — М. Элпидин. Вот почему даже Я. Стефанович в составленной им (после его ареста в России 6 февраля 1882 г.) для департамента полиции записке о русской эмиграции мог назвать в качестве редактора «Общего дела» только Элпидина. Информацию Стефановича об «Общем деле», и в других отношениях совершенно не соответствовавшую действительности (так, например, он утверждал, что «Общее дело» не придерживалось определенного политического направления), департамент полиции включил в свой III «Обзор» (с 1 января до 1 мая 1882 г.)⁴⁵. Как глава «Общего дела», фигурирует Элпидин и в XI «Обзоре» (с 1 января 1886 г. до 1 января 1887 г.). Правда, тут уже говорится о «членах редакции журнала», но для департамента полиции они остались анонимной группой — никого из них он назвать не смог.

⁴⁴ В. К. Агафонов, «Заграничная охранка», стр. 14.

⁴⁵ Записка Я. Стефановича о русской эмиграции напечатана в «Былом», 1921 г., № 16, и в третьем сборнике «Группа «Освобождение труда».

Вопреки заверениям реакционной прессы, «Общее дело» не было связано с «Народной волей». Руководимое беспартийной группой радикально настроенных интеллигентов, «Общее дело» в течение четырнадцати лет последовательно проводило тот взгляд, что усиления всех оппозиционных элементов должны быть сосредоточены на решении первоочередной задачи — свержения самодержавия. Редакция «Общего дела» была убеждена, что самодержавная власть изолирована в стране и поддерживается только бюрократической верхушкой государственного аппарата. Исходя из такого убеждения, она считала, что решающий удар по абсолютизму может быть нанесен «прогрессивной» частью «общества» в союзе с группой революционеров. Крестьянству в этой борьбе отводилась роль пассивного наблюдателя. На помощь широких масс, по мнению редакции «Общего дела», нечего было рассчитывать вследствие их темноты и инертности. Такой взгляд определил и скептическое отношение с ее стороны к революционной пропаганде в деревне. Деятельность интеллигенции в среде крестьянства она ограничивала мероприятиями чисто культурнического характера.

Щедрин мог быть солидарным с направлением «Общего дела» лишь постольку, поскольку редакция этого журнала стояла на позициях, враждебных самодержавию и прислуживающим ему либералам. Во всем остальном программа «Общего дела» была для него неприемлема. Он не разделял взгляда на изолированность абсолютизма в стране, а, напротив, ясно сознавал, что «общество» тесно связано с самодержавным режимом ввиду угрозы крестьянской революции. Он мыслил возможность переворота в России лишь в результате организованного движения широчайших масс трудящихся, а самый переворот — как политический и социальный одновременно. Считая, что самодержавие может быть свергнуто только усилиями всех эксплуатируемых, он придавал первостепенное значение систематической пропагандистской работе в массах, особенно выделяя при этом слой

пролетаризирующегося крестьянства как наиболее восприимчивый к революционным идеям.

Таким отношением к направлению «Общего дела», повидимому, объясняется то, почему Щедрин считал возможным помещать в этом журнале свои произведения, запрещенные царской цензурой, но ничего не написал специально для него. Как мы ниже увидим, в другом случае он поступил иначе.

IV

Переходим к рассмотрению следующего пункта обвинительной формулировки Феокистова. Пункт этот гласит, что в «революционных журналах, издаваемых на русском языке за границей», печатались такие произведения Щедрина, которые он «не решался обнародовать в России».

Если проанализированное нами выше утверждение Феокистова (о публикации в эмигрантской периодической прессе запрещенных цензурой работ сатирика) основывалось, как мы выяснили, на бесспорных и хорошо ему известных фактах, то последнее указание имело своим источником, по всей вероятности, слухи. Что такого рода слухи могли быть распространены, косвенно подтверждает одно место из воспоминаний А. Тверитинова⁴⁶, посетившего Щедрина летом 1876 г. в Ницце⁴⁷. Мемуарист рассказывает, что на заданный им Щедрину вопрос, почему он не принимает участия в лавровской газете «Вперед!», последовал раздраженный ответ: «Редакция «Вперед!» это такие болтуны, что не успеешь еще написать, а весь свет будет о том знать». Из запальчивой реплики Щедрина Тверитинов заключил, что «это уже с ним тогда случилось». Излагая свой разговор тридцать лет спустя, автор воспоминаний воспроизвел и догадку, возникшую у не-

го в связи с этим подозрением, и написал Щедрину во «Вперед!» корреспонденции из России, которых в газете не было. Последнее обстоятельство заставляло усомниться и в правильности истолкования мемуаристом ответа его собеседника.

Однако подозрение Тверитинова неожиданно нашло подтверждение в свидетельстве лица, близко стоявшего к лавровскому изданию, — наборщика «Вперед!», М. И. Янцына, удостоверившего, что Щедрин действительно сотрудничал в этой газете. В связи с его указанием возникла догадка о принадлежности Щедрину во «Вперед!» анонимной работы, озаглавленной «Письмо к графу Д. А. Толстому».

Отсутствие каких-либо фактических данных, подтверждающих эту догадку, побудило нас проверить ее методом текстовых параллелей, который мы неоднократно применяли в аналогичных случаях и раньше. Анализ содержания и стиля названной статьи показал принадлежность ее перу Щедрина. Сатирическое «Письмо» было вызвано следующими обстоятельствами.

В июньском номере «Журнала министерства народного просвещения» за 1875 г. был опубликован циркуляр Д. Толстого, в котором попечителям учебных округов предлагалось ознакомиться с посылаемой им «печатной запиской» министра юстиции Палена о «преступной пропаганде», обнаруженной следственными властями в 37 губерниях, и сообщить «содержащиеся в ней вполне достоверные сведения» начальникам учебных заведений. В секретной записке Палена подводились итоги всероссийской облавы на революционную молодежь, с начала 70-х годов организовавшуюся в кружки, а летом 1874 г. предпринявшую массовое «хождение в народ». Правительство ликвидировало «преступные сообщества» «долгушинцев», «чайковцев» и др. и путем «исследования» источников революционной пропаганды на всем пространстве империи захватило две тысячи человек. Часть из них была сослана в административном порядке, другие, после длительной отсидки, получили освобождение за отсут-

⁴⁶ А. Тверитинов, «Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом». Изд. М. В. Пирожкова, СПб, 1906 г., стр. 89.

⁴⁷ См. «Первое собрание писем И. С. Тургенева» (1840—1883). СПб, 1884 г., стр. 287.

ствием улики (с последующей высылкой в «места рождения» — на всякий случай), а «главных зачинщиков» предали суду. В 1877 — 1878 гг. состоялись два больших процесса — 50-ти и 193-х, на которых произнесли исторические обвинительные речи против самодержавного режима и помещичье-буржуазной эксплуатации трудящихся масс рабочий Петр Алексеев, Софья Бардина и Мышкин.

Посылая попечителям учебных округов записку министра юстиции, Толстой указывал в циркуляре, что «революционеры избрали орудием своей гнусной пропаганды... юношество и школу», а «эти юноши, — подчеркивал он, — вместо того, чтобы найти в окружающей среде и в своих семействах отпор преступным увлечениям и политическим фантазиям, встречают иногда... поддержку и одобрение». В отличие от Палена, который в своей секретной записке призывал «благомыслящие элементы общества» помочь правительству в его борьбе с революционерами, Толстой предписывал подведомственным ему педагогам «заменить родителей», разъясняя «более взрослым и понятливым ученикам, что несчастные политические фанатики, недоученные юноши, затевают провести в народ свои несбыточные фантазии, не гнушаясь при этом, как... обнаружено следствием, ни воровством, ни грабежом, ни даже убийством». Вместе с тем министр просвещения вменял педагогам в обязанность «воспитывать семью», оттенив новаторский характер такого проекта и трудность поставленной им задачи лаконичным указанием, что «этого нет ни в одном европейском государстве». Свою приверженность к «истине, не боящейся света», министр засвидетельствовал и в самом начале циркуляра, где он напоминал попечителям о ранее разосланном им «списке книг и брошюр революционного содержания», которые должны были быть изъяты директорами и инспекторами народных училищ «при обозрении ими школ»...

В послании Толстого так удачно соединялись полицейская сущность самодержавного строя и характерные осо-

бенности мышления одного из его надежнейших столпов, что оно представляло благодарный материал для революционного публициста. В двухнедельной газете «Вперед!» (выходившей в 1875 — 1876 гг. в Лондоне) не замедлил откликнуться на циркуляр министра, прежде всего, сам редактор — Лавров. В передовой статье «Социально-революционная и буржуазная нравственность», напечатанной 15 июля 1875 г. (№ 13), он оценил декларацию Толстого как свидетельство того, что «сила и распространение социально-революционной агитации в России официально признаны русским правительством». В остальной статье Лаврова была посвящена критическому разбору «старой песенки испуганной буржуазии о глубокой безнравственности социалистов-революционеров» — песенки, еще раз прозвучавшей в обвинениях Толстого, — и выяснению вопроса о «нравственности революционеров-социалистов в ее отношении к нравственным правилам нынешнего общества». К циркуляру Толстого Лавров возвращался и в некоторых других статьях, написанных им во второй половине 1875 г. «Нам пришлось говорить, — отмечал Лавров в передовой статье, опубликованной 15 октября 1875 г. (№ 19), — о циркуляре графа Толстого, об излияниях графа Палена (№ 13 и 15)... Все это следовало бы оставить совершенно в стороне, если бы имелись в виду более серьезные противники, но эти противники молчали, и мы считали полезным, если не разбирать подробно... эти... циркуляры, — едва ли заслуживающие много ответа, кроме писем помещика Мастодонтов» (выделено нами. — С. Б.), — то останавливаться на иных выражениях, в них встречающихся, как на довольно обыденных заблуждениях (разрядка наша. — С. Б.), по поводу которых мы могли поговорить с нашими читателями о некоторых основных вопросах нашей программы».

Упомянутый Лавровым «помещик Мастодонтов», это — персонаж, от имени которого обращается к Толстому анонимный автор «Письма». Последний, по-

добно Лаврову, тоже останавливается только «на иных выражениях», содержащихся в министерской декларации, но он принципиально иначе подходит к ней, нежели редактор «Вперед!». Анонимный автор «Письма» не считает мысли, изложенные в циркуляре, «обыденными заблуждениями». В его представлении Толстой — не «жертва недоразумения», а трезвый, расчетливый политик, ревниво оберегающий кровные интересы помещичьего класса всеми доступными ему средствами, в том числе умысленной клеветой на революционную молодежь. Ничуть не обманываясь сам насчет того, чего в действительности стоят его инсинуации, он сознательно стремится ввести в заблуждение других.

Такая, классовая, оценка выступления царского министра подсказала автору «Письма» и соответствующий обстоятельствам прием разоблачения его тактики: он поставил Толстого лицом к лицу не с противником, а с единомышленником. При этом условии, казалось бы, немислима и самая полемика, поскольку она предполагает различие во взглядах. Но не следует забывать, что перед нами не «открытое» письмо, а эзоповское по форме и сатирическое по содержанию. Его автор знает, что Толстой, набрасывая свой циркуляр, чего-то недосказал. И путем введения эзоповского приема мнимой полемики он заставляет самого Толстого обнародовать эти «поправки» в письме к нему его alter ego — Мастодонтова. Художественная убедительность такого эзоповского приема обусловлена классовым подходом анонимного автора «Письма» к выступлению министра и созданным им образом «помещика Мастодонтова», который, будучи вторым «я» Толстого, не маячит бесплотной абстракцией, выполняющей служебную «нравоучительную» роль, а воспринимается читателем как совершенно автономная и крайне колоритная фигура. Мастодонтов преклоняется пред государственной мудростью Толстого. И если он осмеливается в «доверительном» письме изложить свои сомнения относительно некоторых поло-

жений его циркуляра, то поступает так потому, что Толстой наделил «революционных проходимцев» качествами, которые «не в укоризну, а в благоприятное им зачтены быть должны». Эти качества — «наклонности к воровству и насилию». Неосмотрительно приписав революционной молодежи подобные склонности, министр тем самым выставил их на позор, а между тем на них именно и зиждутся священные принципы буржуазной собственности и государственности. «Кто ворует, тот посягает, кто посягает, тот приобретает. Стало быть, имеет пристрастие к собственности. Стало быть, поддерживает сию великую основу всякого благоустроенного государства». Мастодонтов приглашает своего корреспондента поразмыслить над этими вопросами, отрешившись от печальных обстоятельств, вызвавших его циркуляр, и связанных с ними полемических соображений. «Питаю надежду, — пишет он, — что вы, граф, согласитесь со мной, вникнув в существо жизни разных великих министров и монархов. Наконец, воззрите на наш царствующий дом. Разве в оном не преобладали и не преобладают по сие время вышереченные качества? И кто осмелится сказать, что оные не способствовали к приумножению знаменитости вышереченного дома и к приращению государственной казны»...

Что касается насилия, то и в этом качестве обвинять революционеров — такой же необдуманый поступок, как обвинять их в воровстве, ибо «разве возможно исправное поступление податей и доходов без нарочитого насилия над плательщиками?»...

Не останавливаясь на доказательстве принадлежности Щедрина «Письма к графу Д. А. Толстому»⁴⁸, отметим, что при детальном сопоставлении «Письма» с работами Щедрина, опубликованными на протяжении двух десятилетий (1862 — 1885 гг.), обнаружен ряд таких тематических и дословных совпадений, которые полностью

⁴⁸ Эти доказательства приведены в наших комментариях к VIII тому полного собрания сочинений Щедрина, 1937 г., стр. 488—496.

устанавливают авторство великого сатирика. В частности, центральный эпизод «Письма» — проект Мастодонтова «о насаждениях и искоренениях» Щедрин воспроизвел через десять лет в «Пестрых письмах» (письмо третье, 1885 г.), выведя там его автором Федота Архимедова, в котором и цензура, и читатели узнали Д. А. Толстого, свирепствовавшего тогда уже на посту министра внутренних дел. Сам Толстой потребовал на совещании четырех министров закрытия «Вестника Европы», где было напечатано третье «Пестрое письмо», но с ним не согласились его коллеги ввиду того, что журнал не получил перед этим ни одного предостережения.

Чтобы исчерпать все относящееся к данной теме, отметим незамедлительность отклика великого сатирика на декларацию министра просвещения. Циркуляр Д. Толстого был перепечатан газетой «Голос» 18 июня (30 июня н. ст.) 1875 г. Щедрин, который находился тогда за границей (в Баден-Бадене), получил выписывавшийся им «Голос» 3 — 4 июля, а примерно 10 июля он уже послал свой сатирический ответ в редакцию «Вперед!». Так как «Письмо к графу Д. А. Толстому» было получено в Лондоне, когда печатание очередного номера газеты (№ 13 от 15 июля н. ст.), повидимому, началось, то редакция предупредительно сообщила анонимному автору (в отделе «Извещения корреспондентам»), что оно будет помещено в следующем номере. В № 14 «Вперед!» (от 1 августа н. ст.) «Письмо к графу Д. А. Толстому» и было опубликовано.

★

В заключение остановимся на выводах, вытекающих из нашей работы в целом. В основном эти выводы можно формулировать так:

1. Анализом документальных данных и методом текстовых параллелей мы установили, что Щедрин на протяжении свыше десятилетия (1875 — 1886) со-

трудничал в органах печати русской эмиграции. Участие Щедрина во «Вперед!» и в «Общем деле» наглядно опровергает либеральную легенду о его принципиальном легализме.

2. Выясненные в нашей работе факты рисуют в новом свете историю закрытия «Отечественных записок». Можно считать установленным, что одной из серьезных причин запрещения правительством «Отечественных записок» явилось сотрудничество Щедрина в нелегальной печати.

3. «Переключка» сатирика с газетой «Начало» позволяет поставить вопрос об его отношении к органам революционной прессы, издававшимся в России.

Мы сделали только первый шаг в изучении вопроса об участии великого революционного писателя в бесцензурной печати. Принципиальный подход к этим изысканиям сжато и четко намечен в последней статье М. С. Ольминского, посвященной Щедрину. Резюмируя свои возражения против упреков сатирику «в отрыве от революционной практики», М. С. Ольминский писал:

«Во всяком случае — пока не выяснен Щедрин целиком — необходимо искать и выяснять то, что сближает нас со Щедриным, и сугубо осторожно, сугубо вдумчиво относиться к тому, что на первый, поверхностный взгляд, казалось бы, может раз'единять нас»⁴⁹.

Поверхностный взгляд нередко является отражением либеральной традиции, до сих пор тяготеющей над некоторыми авторами работ о Щедрине. Отсюда вырастает ложное представление, что сатирик не мог перешагнуть границ легальности. Отсюда проистекает непонимание того, что, беспощадно разоблачая крепостнически-буржуазную действительность пореформенной России, он не только указывал на неизбежность революционного взрыва, но и сознательно пропагандировал его необходимость.

⁴⁹ М. Ольминский. В дискуссионном порядке. — «Литературная газета», 1933, № 1.

Эстетика Чернышевского

Н. БОГОСЛОВСКИЙ

★

Существует предрассудок, будто Чернышевский был принципиальным противником какой бы то ни было эстетики. При поверхностном взгляде на те или иные цитаты из сочинений Чернышевского может показаться, что в действительности так оно и есть. Предубеждение это было присуще не только противникам Чернышевского — сторонникам идеалистической эстетики, но и некоторым писателям, относившимся к Чернышевскому с сочувствием. Неудивительно, что Боткин, Дружинин и другие считали его человеком, которому чуждо искусство. Но когда сознательным разрушителем эстетики провозглашал Чернышевского Писарев, то сочувствие, с которым он поддерживал это мнимое разрушение, вводило в заблуждение читателей.

Правда, Чернышевский как будто порою сам давал поводы к таким ложным заключениям. В первых же строках своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» он писал: «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике». Такого рода условность в постановке вопроса («если еще стоит говорить об эстетике...») и породила убеждение, что Чернышевский занимает принципиально антиэстетические пози-

ции. Однако это неверно. Приведенная выше цитата в действительности показывает, что Чернышевский лишь сожалеет о необходимости ограничивать себя при разборе общефилософских вопросов областью эстетических проблем. Но это вовсе не является отрицанием эстетики, а — скрытым указанием на печальную необходимость формально оставаться в пределах данного круга тем, так как общефилософские вопросы цензурно-запретны.

По мнению самого Чернышевского, это вынужденное ограничение явилось важнейшим, чрезвычайно ощутительным недостатком его трактата, так как в трактате по указанной причине отсутствовал анализ общих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусств.

Из всех статей Чернышевского по эстетике главное место занимает его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». Остальные статьи¹ играют вспомогательную роль.

Готовя свое сочинение как университетскую диссертацию, Чернышевский, естественно, чувствовал себя гораздо более связанным, чем при выступлении под псевдонимом в «Современнике» с автокритической статьей, посвященной «Эстетическим отношениям искусства к действительности». В журнале он имел

¹ «О поэзии Аристотеля», Авторецензия, «Возвышенное и комическое» и др.

возможность из'ясняться свободнее, и потому здесь гораздо яснее говорится об общих истоках его эстетической концепции. Именно под тем предлогом, что «г. Чернышевский слишком бегло проходит (в диссертации) пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни», автор рецензии (т.-е. Чернышевский же) постарался более обстоятельно осветить в ней этот вопрос. Но лукавые упреки в неполноте, которые обращает к самому себе Чернышевский, укрывшийся за инициалами Н. П.—н, целиком и полностью относятся, конечно, не к автору трактата, а к цензуре того времени, к общей политической обстановке 50-х годов.

В рецензии этой тоже встречаются «выпады» против эстетики. Так, Чернышевский в одном месте упрекает «автора» диссертации за то, что он не все договорил до конца, тогда как мог бы с примерной откровенностью заявить в предисловии к своему труду: «Признаюсь, что нет особенной необходимости распространяться об эстетических вопросах в наше время, когда они стоят в науке на втором плане, но так как многие пишут о предметах, имеющих еще гораздо менее внутреннего содержания, то я имел полное право писать об эстетике». Тут уже как будто прямо указывается на второстепенное значение эстетики по сравнению с другими науками, объясняющееся якобы легковесностью ее внутреннего содержания. И Чернышевский даже оправдывается, что избрал предметом своего сочинения эстетику.

Но, во-первых, мы должны принять во внимание известную полемическую заостренность этого положения. Она была вызвана невозможностью раз'яснить читателям, что, прежде чем решать частные проблемы искусства, автор должен бы (но не может) раскрыть перед ними всю картину современного состояния философии. Во-вторых, так ли уж удивительно, что вождь шестидесятников, вождь революционной демократии, в 50-е годы, в пору резкого нарастания революционного кризиса, считал чисто

эстетические вопросы менее актуальными, чем проповедь освободительных принципов новой западноевропейской философии? В этом смысле и следует понимать слова Чернышевского: «Конечно, есть науки интересные более эстетики, но мне о них не удалось написать ничего, не пишут о них и другие; а так как за недостатком лучшего человека довольствуется и худшим, то и вы, любезные читатели, удовольствуйтесь «Эстетическими отношениями». Чернышевский хотел сказать, что есть общие отрасли знания, более важные, чем эстетика, писать о которых он лишен возможности, хотя писать о них необходимо. Но вообще огромное значение эстетики Чернышевский никогда и не думал отрицать. Это видно хотя бы из его статьи «О поэзии», где он решительно восстает против недоброжелателей эстетики, почитающих ее наукой мертвой и бесплодной. Во всем этом нет никакого противоречия. Внимательный анализ вскроет лишь гибкость мысли и такт Чернышевского. Теперь совершенно ясно, о каких более интересных науках шла речь.

Чернышевский руководился в своих занятиях не личными вкусами, а потребностями общественного развития. Тут сказывалась та «историческая сознательность» писателя, о которой говорил Горький, противопоставляя свой социальный оптимизм «космическому пессимизму и идейной анархии» Л. Андреева. Эта «историческая сознательность» заключается в ясном понимании писателем своего назначения, в стремлении его разрешить в первую очередь задачи, выдвигаемые эпохой. Сознанием этим отличались все истинно великие писатели. Чернышевскому оно было приуще в огромной мере. В биографии о Лессинге Чернышевский показывает, что прирожденный философ Лессинг «молчал о философии, ибо не время еще было чистой философии стать средоточием немецкой умственной жизни... Умы современников были готовы оживиться поэзией, а не были еще готовы к философии, и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии...». Плеханов относит эти слова и к самому Чернышевскому.

«Современное Чернышевскому общество, — говорит он, — очень мало интересовалось философией и сравнительно много интересовалось литературой. Вот почему первые свои труды он посвятил, главным образом, литературным вопросам...». К этому надо добавить только, что современное Чернышевскому общество поневоле очень мало интересовалось философией, ибо интерес этот жесточайшим образом подавляло правительство Николая I.

После событий 1848 года на Западе правящие круги России были охвачены боязнью «европейской заразы». Разгул реакции отозвался и на философии. Преподавание ее в университете после 1848 года было ограничено логикой и опытной психологией, с присоединением этих предметов к кафедре богословия. Характерен и очень показателен следующий факт, когда в 1850 году Чернышевский задумал писать кандидатское сочинение о Лейбнице и стал об этом советоваться с профессором А. Фишером, тот сказал: «Не пишите, не советую, время неудобное». Приведя в письме к отцу эти слова своего профессора, Чернышевский замечает: «После этого, кажется, не нужно комментариев к тому, каково ныне время».

В 1853 году Чернышевскому пришлось констатировать, что в России очень и очень затмились понятия о философии. Действительно, после того, как Герцен, Бакунин и другие вынужденно перестали знакомить русскую читательскую публику с новыми веяниями в философии, понятия о ней заметно затмились. Затмилось, естественно, и понятие об эстетике после смерти Белинского. Поэтому появление «Эстетических отношений» было важно не только тем, что поднимало на огромную принципиальную высоту измельчавшую теорию искусства, не только тем, что прокладывало пути реалистической эстетике, но и тем, что на примере теории искусства раскрывало перед читателями общую картину крушения идеалистической философии Запада.

Готовясь защищать диссертацию, Чернышевский не видел достойных оппонентов. Он прямо говорил, что едва

ли образ его мыслей будет понятен господам здешним профессорам словесности, которые совершенно не занимались эстетикой и философией: «им показалось бы даже, что я — приверженец тех философов, которых мнение оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Потому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого».

Каков же был образ мыслей Чернышевского в пору создания «Эстетических отношений»?

Мы не будем подробно останавливаться на эволюции философских взглядов Чернышевского. Напомним лишь, что лет за шесть до выхода в свет «Эстетических отношений» Чернышевский уже считал себя последователем философии Фейербаха. В дневнике 1850 года он записывает: «скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти решительно от души предан учению Фейербаха». Это случилось не сразу, а после внутренней борьбы и глубокого кризиса, закончившегося тем, что религиозный юноша покончил раз и навсегда с верой и пришел к материалистическому мировоззрению. Незадолго до того, в течение некоторого времени Чернышевский находился под сильнейшим влиянием Гегеля, которого знал по русским изложениям в духе левых представителей гегелевской школы. Источниками в данном случае могли служить статьи Герцена и Белинского.

В 1849 году наступило разочарование. Ознакомившись с Гегелем в подлиннике, Чернышевский стал относиться к нему критически. Он сразу подметил консервативную сторону учения Гегеля: подметил противоречие между его системой и методом, между исходными принципами и выводами.

В дневнике 1849 года Чернышевский отмечает:

«Мне кажется, что он (Гегель) раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества... выводы его робки...».

Вскоре после этого учение Фейербаха вытеснило влияние гегелевского идеализма на Чернышевского.

На Западе учение Фейербаха, по свидетельству Энгельса, положило конец блужданиям философской мысли. После триумфального шествия гегелевской системы в Германии, после апогея, достигнутого к середине 30-х годов, господство «гегельянщины» сменилось междуусобной борьбой в стане последователей Гегеля. Предметом споров являлась, главным образом, религия, так как «политика была тогда слишком щекотливой областью». «Но борьба против религии, — говорит Энгельс, — косвенно была политической борьбой». Освободительное влияние «Сущности христианства» Фейербаха в истории духовного развития Маркса и Энгельса отмечено ими самими.

Рассказав об «евангельских спорах» между Бауэром и Штраусом и о разложении гегелевской школы, когда ученики его, пытавшиеся примирить абсолютный идеализм с англо-французским материализмом, запутались в противоречиях, — Энгельс пишет: «Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без всяких оговорок провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы, люди, ее произведения. Вне природы и человека нет ничего... «Заключение было снято; «система» была разбита и отброшена в сторону, противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении. Кто не пережил освободительного влияния этой книги, тот не может и представить его себе»¹.

Чернышевский, подобно Марксу и Энгельсу, шел от Гегеля к Фейербаху. «Сущность христианства», с которой Чернышевский ознакомился в 1849 году, имела на него такое же освободительное влияние, как на Маркса и Энгельса.

Мы знаем из предисловия Чернышевского к третьему изданию «Эстети-

ческих отношений», что, когда «житейская надобность» (т.-е. магистерские экзамены) заставила Чернышевского взяться за ученый трактат, он решил применить «основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знания, не входившим в круг исследования его учителя».

Чернышевский с величайшей скромностью утверждает, что роль его диссертации свелась лишь к истолкованию идей Фейербаха в применении к эстетике. «Автор не имел ни малейших притязаний сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему» (писал он там же). Однако это не совсем верно. Чернышевскому пришлось, в сущности, заново строить эстетику, несомненно родственную по духу учению Фейербаха, но во многих отношениях совершенно самостоятельную, так как сам Фейербах не написал ни одного сочинения, ни одной статьи, посвященной искусству.

Чернышевский в том же предисловии счел необходимым отметить «странную несообразность», заключающуюся в том, что в диссертации, написанной в прямой связи с учением Фейербаха, не пришлось ни разу упомянуть имя самого философа. Это имя было тогда невозможно употреблять в русской книге. Более того — имя Гегеля, эстетическую систему которого Чернышевский подверг критическому анализу, «тоже было неудобно тогда для употребления на русском языке».

Если на Западе молодые гегельянцы левого крыла вынуждены были бороться за практические цели философским оружием и под покровом отвлеченно-религиозных споров решать жгучие вопросы дня, то в России 50-х годов только путем критики эстетической концепции идеализма возможно было вести читателей к материалистическому мировоззрению.

Считаясь с тогдашними условиями, Чернышевский заменил имя Гегеля самым общим определением: «господствующие понятия о прекрасном», а сочинения Фейербаха обозначил условно как «новые воззрения, признавшие бессилие фантазии и руководящиеся фактами».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 642.

Читатели, должно быть, помнят то место в романе «Что делать?», где невежественные Марья Алексеевна и жених Веры Павловны пытаются выяснить, насколько опасны книги, какие дает Лопухов читать Вере Павловне. Натолкнувшись на «Судьбы общества» Консидерана и на «Чтение о сущности религии» Фейербаха, они ведут следующий разговор:

«— Посмотрите-ка, Михаил Иванович, французскую-то я сама почти что разобрала: «Гостиная» — значит, самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму.

— Нет, Марья Алексеевна, это не «Гостиная», это «Destinée [Дестинэ] — судьба...

— Какая же это судьба? роман, что ли, так называется, али оракул, толкование снов?

— ...Тут все о сериях больше говорится.!

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести.

— Да, все об этом, Марья Алексеевна.

— Ну, а немецкая-то?

Михаил Иванович медленно прочел: — «О религии, сочинение Людвига» — Людовика Четырнадцатого, Марья Алексеевна, сочинение Людовика XIV; это был, Марья Алексеевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел.

— Значит о божественном?

— О божественном, Марья Алексеевна...».

Николаевская цензура недалеко ушла от Марьи Алексеевны. Цензуру пугали имена, а существо дела она понять не могла и, вероятно, считала, что в «Эстетических отношениях» речь идет «о божественном». То обстоятельство, что даже имя Гегеля оказалось «неудобно для употребления на русском языке», заставило Чернышевского избрать в качестве объекта прямой полемики не трехтомную «Эстетику» самого Гегеля, а «Эстетику или науку о прекрасном» гегельянца Теодора-Фридриха Фишера. «Фишер, — говорит Чернышевский, — был гегельянцем левой стороны, но имя

его не принадлежало к числу неудобных».

«Прилагая основные идеи Фейербаха к разрешению эстетических вопросов, — пишет Чернышевский, — автор «Эстетических отношений» приходит к системе понятий, находящихся в противоречии с эстетической теорией, которой держится Фишер». Далее Чернышевский указывает, что выдвигаемая им эстетическая концепция противостоит эстетике Фишера, подобно тому как философия Фейербаха противостоит философии Гегеля. Подчеркивая коренное отличие своей теории от всех метафизических систем, он тем не менее считает, что гегелевская в научном отношении была лучшей среди других метафизических учений.

Мы знаем, каково соотношение между философией Фейербаха и философией Гегеля.

Фейербах считал Гегеля завершителем «старой» философии и сосредоточил критику идеализма именно на его трудах. Историческая необходимость и оправдание новой философии были связаны, по мнению Фейербаха, главным образом, с критикой Гегеля. Фейербах выступил с нею в период безраздельного господства идеализма.

Исходным пунктом философии Фейербаха было единство мышления и бытия, причем человек рассматривался «как основа, как субъект этого единства». Фейербах показал, что гегелевская абсолютная идея есть лишь психологическая абстракция, отчуждающая человека от него самого, полагающая сущность природы — вне природы, сущность человека — вне человека, сущность мышления — вне акта мышления.

Абсолютный дух — это, по остроумному определению Фейербаха, «усопший дух теологии, который блуждает еще, как призрак, в гегелевской философии».

«Если старая философия, — говорит Фейербах, — имела исходным пунктом положение: Я есмь абстрактное, только мыслящее существо, тело не относится к моей сущности, то новая философия начинается, напротив, с положения: Я есмь действительнольное, чувственное существо,

тело принадлежит к моей сущности, именно тело в своей целокупности и есть мое Я, моя сущность...».

Фейербах отбрасывает абсолютную идею Гегеля и на ее место ставит природу и человека.

«Ход развития Фейербаха есть превращение гегельянца... в материалиста. На известной ступени этого развития он пришел к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что предвечное бытие «абсолютной идеи» и «логических категорий», существование которых, по Гегелю, предшествовало существованию мира, есть не более, как фантастический остаток веры в творца; что вещественный, доступный нашим внешним чувствам мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела, — мозгом, — хотя и принадлежат, по видимому, к невещественному миру. Не материя порождается духом, а дух представляет собой высочайшее порождение материи»¹.

Будучи последователем Фейербаха, сторонником антропологического принципа в философии, Чернышевский с этих позиций подверг критике основные положения гегелевской эстетики. Непосредственно гегелевская эстетика осталась как бы в стороне, и критическому рассмотрению подверглась «Эстетика или наука о прекрасном» Теодора Фишера.

Возражения Чернышевского направлены против формулировок Фишера, а не Гегеля, и, хотя Фишер считал себя последователем Гегеля, все же ставить знак равенства между их эстетическими системами нельзя.

Однако критический анализ в основном коснулся все же эстетики Гегеля, хотя анализ сделан на материале эстетических сочинений Фишера. Основная цель трактата Чернышевского заключалась не в критике частных той или

иной системы, а вообще в замене устаревших метафизических взглядов на искусство новыми взглядами, опирающимися на выводы материалистической философии.

В отдельных, очень скупых замечаниях самого Фейербаха об искусстве легко усмотреть зародыши того, что обстоятельно и подробно развернуто в диссертации Чернышевского. Если для Гегеля и его последователей искусство было лишь одним из обнаружений «абсолютного духа», одной из стадий его развития, то для Фейербаха искусство, религия и философия суть только явления или обнаружения истинной человеческой сущности. «Старая (т.-е. гегелевская) абсолютная философия, — говорит Фейербах, — загнала чувства в область явлений конечного; и тем не менее, в противоречии с этим, она определила божественное и абсолютное в качестве предмета искусства. Но предмет искусства — посредственно — в словесном искусстве, непосредственно — в изобразительном искусстве — является предметом зрения, слуха, чувств. Искусство «изображает истину в чувственном»; будучи правильно понято и выражено, это положение значит только то, что искусство изображает истинность чувственного».

Так ставил вопрос Фейербах в противовес спекулятивно-философским построениям, игнорирующим свидетельства нашего чувственного опыта.

В «Предварительных тезисах и реформе философии» Фейербах писал: «Абсолютный дух открывается или реализуется, по Гегелю, в искусстве, в религии, в философии. В переводе на немецкий язык это значит: дух искусства, религии, философии и есть абсолютный дух. Но искусство и религию нельзя отделить от человеческого ощущения, фантазии и созерцания, философию нельзя отделить от мышления, словом, абсолютный дух — от субъективного духа, или сущности человека, не возвращая нас опять к старой точке зрения теологии, не изображая нам абсолютный дух, как какой-то другой, отличный от человеческой сущности дух, т.-е. вне нас существующий призрак нас самих».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 646—647.

Из этих замечаний общего характера мы видим, что Фейербах стремился прежде всего «очеловечить» искусство, низвести его из туманной сферы «абсолютного духа» на землю.

Задача философии и вообще науки, по Фейербаху, заключалась в реабилитации действительности, в изгнании вымысла и абстракций из наших представлений и понятий. Такова же была и первоочередная задача эстетики, построенной на основе философии Фейербаха. Вот почему Чернышевский так настойчиво, подчеркивал зависимость разработанной им эстетической системы от философского учения Фейербаха. Центральным вопросом, основной темой диссертации Чернышевского, как это видно из самого названия ее, была тема эстетических отношений искусства к действительности. Идеалистическая эстетика, еще со времен Платона, ставила красоту в искусстве выше красоты в природе. Мысль о том, что искусство призвано восполнять недостатки, собственные действительности, развита еще в учении Платона об идеальном начале искусства. Чернышевский в статье «О поэзии» указывает, что именно идеи Платона о сущности прекрасного положены в основу гегельянской эстетики, также ставящей красоту в искусстве выше красоты в природе. Исходя из предпосылок феербаховской философии, противопоставляющей природу, как единственную реальность, абсолютному духу, Чернышевский отстаивает обратный тезис — о превосходстве красоты в действительности над красотой в искусстве. Но, прежде чем подойти к этому центральному вопросу своего трактата, Чернышевский рассматривает и отвергает коренные понятия идеалистической эстетики. Он показывает ошибочность господствовавшего определения прекрасного: 1) как полного проявления общей идеи в индивидуальном, 2) как единства идеи и образа. Первое определение неизбежно приводит нас, как доказывает Чернышевский, к отрицанию фактической реальности прекрасного в природе и к ложному идеалистическому взгляду на истоки искусства. Во втором определении он отказывается видеть специфи-

ческий признак искусства, поскольку единство идеи и образа, формы и содержания характерно для любой области целесообразного человеческого труда. Это, второе, определение формально, и оно уже таит в себе зародыш предпочтения, отдаваемого идеалистической эстетикой прекрасному в искусстве перед прекрасным в живой действительности.

В соответствии с сущностью учения Фейербаха Чернышевский выдвигает взамен этих идеалистических абстракций свое определение прекрасного: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна она быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь и напоминает нам о жизни». Следствием этого определения прекрасного будет признание того, что «истинная, величайшая красота есть красота, встречаемая человеком в действительности, а не красота, создаваемая искусством». Это определение прекрасного вытекало из правильного понимания отношения действительного мира к воображаемому и вело к верному взгляду на истоки искусства и на его назначение.

Подвергнув критике коренное понятие о сущности прекрасного, Чернышевский точно так же отвергает и вытекающие отсюда воззрения на «моменты прекрасного» — на возвышенное, комическое, трагическое. Гегелевская эстетика гласит: «возвышенное есть перевес идеи над образом», «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности, эти два понятия совершенно различны, — говорит Чернышевский и показывает, что первое из них не приложимо к возвышенному, так как перевесом идеи над формой может отличаться также туманное и безобразное. Как последовательный материалист, идущий от предмета к идее, а не от идеи к предмету, отвергает Чернышевский и второе определение возвышенного, связанное с гегелевским понятием «абсолютного», понятием, уже развенчанным Фейербахом. Точно так же не принимает Чернышевский и гегелевского определения трагического. Подробнейшим образом анализи-

руя гегелевскую теорию трагедии, Чернышевский показывает, что за диалектическим глубокомыслием здесь кроется морально-религиозная точка зрения, берущая свое начало в древнегреческом понятии о судьбе, точка зрения, оправдывающая всякое страдание, поскольку все совершается по воле божией и, следовательно, отличается наивысшей абсолютной справедливостью. Это религиозно-философское оправдание фатализма подвергнуто Чернышевским глубокой и резкой критике. Лишь в гегелевском учении о комическом не усмотрел Чернышевский никаких противоречий с новыми воззрениями на искусство и действительность. «Это произошло, — говорит Плеханов, — по той простой причине, что с принятого идеалистами определения «комическое есть перевес образа над идеей» он мог без больших диалектических усилий стереть всякий след идеализма».

Окончив разбор понятий о сущности прекрасного и его моментов — возвышенного, комического, трагического, Чернышевский большую часть своего исследования посвящает защите прекрасного в природе от «упреков», которые предъявляет ему идеалистическая эстетика, и обоснованию своего основного тезиса о примате действительности над искусством. Здесь-то и разрешается наиважнейший из основных вопросов эстетики — вопрос об отношении прекрасного в действительности к прекрасному в фантазии и в искусстве.

Идеалистическая эстетика учит, что красота в природе отмечена несовершенством — она ограничена и связана. Сознание недостатков объективной красоты в природе порождает в человеке стремление освободить от них прекрасное в действительности путем создания «идеала». Вот назначение искусства, по Гегелю. Художник, следуя определенной идее красоты самой по себе, отбрасывает в случайных вещах действительного мира все, что в их явлении не соответствует их природе, и — путем «очищения» — создает «идеал». Это учение об «идеале» утверждало превосходство искусства над действительностью. (Прекрасное, создаваемое искусством, сво-

бодно от недостатков прекрасного в действительности.) Подходя к данному вопросу с материалистической точки зрения, Чернышевский защищает обратное положение. Он детально анализирует многочисленные «несовершенства» прекрасного в природе, какие приводит в своей «Эстетике» Фишер (непреднамеренность прекрасного в природе, мимолетность его, неустойчивость и т. д.), и доказывает, что произведения искусства не свободны от указанных недостатков. Более того, недостатки прекрасного, существующего в действительности, принимает гораздо большие размеры в произведениях искусства.

«Если бы искусство вытекало от недовольства нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и от стремления создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна, бесплодна, и человек скоро бы отказался от нее, видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям». «Единственная цель и значение произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле, служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминания о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта». Первое значение искусства — воспроизведение природы и жизни. Но это определение касается лишь формального начала искусства. Переходя к содержанию его, Чернышевский, вслед за Белинским, утверждает, что сфера искусства «не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека... общеинтересное в жизни — вот содержание искусства». В этой части своего трактата Чернышевский попутно философски обосновывает критику ложных направлений в искусстве — натурализма и формализма. Не ограничиваясь этим, он восстает и против пассивного, безразличного подхода художника к изображаемому... Поэт или художник, — говорит Чернышевский, —

не может, если б и хотел, отказаться от произнесения приговора над изображаемыми явлениями.

Трактат Чернышевского сыграл колоссальную роль в борьбе с идеалистической эстетикой. Это была первая в истории материализма попытка создать систематическую, научную эстетику с материалистической точки зрения. Во многих частях диссертация сохраняет все свое значение и для нашего времени. Вместе с тем эстетическая теория Чернышевского не свободна от целого ряда недостатков, обусловленных тем, что Чернышевский был последователем фейербаховского материализма. «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» — говорит Ленин (Соч., изд. 2-е, XIII, стр. 295).

В знаменитых тезисах Маркса о Фейербахе и в статьях Энгельса о нем вскрыт метафизический, абстрактный характер материализма Фейербаха. Чернышевский порою впадал в ошибки своего учителя, и потому некоторые положения его эстетики тоже носят абстрактный характер. Тем не менее нельзя механически приписывать Чернышевскому ошибки Фейербаха, как это делают некоторые исследователи. Для Фейербаха характерен исключительный интерес к абстрактно-гносеологическим и религиозным проблемам вне связи с общественным развитием. «Фейербах слишком много напирал на природу и слишком мало на политику» (Маркс). «Даже Штарке вынужден был признать, что политика была Фейербаху недоступной областью, а наука об обществе — социология — terra incognita» (Энгельс). Утверждать то же самое о Чернышевском, которого Ленин называл «великим социалистом», было бы чудовишной несправедливостью. Нет никакого сомнения в том, что Черны-

шевский развивал именно сильные, а не слабые стороны своего учителя и подчеркивал, главным образом, революционные тенденции в учении Фейербаха. Это обстоятельство отразилось и на эстетической теории Чернышевского, положившей начало теоретическому обоснованию реализма в искусстве.

«Эстетические отношения искусства к действительности» посвящены не только анализу и критике эстетической теории гегельянца Фишера; трактат Чернышевского выходит за пределы своего специального назначения, являясь в известной мере и общефилософским трактатом. В связи с этим мы хотели бы отметить здесь одну особенность, на которую до сих пор обращалось недостаточно внимания. Мы имеем в виду замечательную пронизательность Чернышевского, сумевшего отделить в трудах предшественников зерно истины от терминологической скорлупы, взять у них то, что представляло объективную ценность, и перенести это на новую почву. Подвергая острой и глубокой критике эстетику Гегеля, разрабатывая в противовес ей материалистическую эстетику, Чернышевский вместе с тем не забывал о ее преемственной связи с эстетикой Гегеля. Чернышевский прекрасно сознавал, что философские системы, породившие идеалистическую эстетику, «распались, уступив место другим, разившимся из них по силе внутреннего диалектического процесса, но понимавшим жизнь совершенно иначе».

Ленин в своих заметках о «Науке логики» Гегеля говорит: «... Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу) — т.е. я выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идее» (Ленинский сборник, IX, стр. 4).

Замечательно, что в эстетических статьях Чернышевского мы наталкиваемся на такого рода попытки читать Гегеля «материалистически».

В своей, не изданной при жизни, статье «Критический взгляд на современные эстетические понятия» Чернышевский прямо говорит, что он будет

«разоблачать от схоластической мантии» эстетические понятия гегелевской школы: «разоблаченные от схоластики, рассматриваемые в отдельности от принципов и гипотез» гегелевской философии, эстетические понятия «много выиграют в прочности, потому что гегелева философия давно уже разрушена людьми, провозгласившими новый, более простой взгляд на вещи, о которых так мудрено говорили Гегель и его предшественники». Казалось бы, — говорит Чернышевский, — что и эстетические понятия, «опиравшиеся на эту философию, должны были пасть вместе с нею, между тем как многое в них должно быть сохранено нами и после отвержения философии Гегеля. Кроме того, освобожденные от гегелевской терминологии и стеснительной методы развития, эстетические понятия будут гораздо яснее, общепонятнее, общеинтереснее для читателей...».

Следуя этому своему намерению сорвать схоластическую мантию с эстетических понятий, отбросить «абсолют», «чистую идею» и т. п., Чернышевский пункт за пунктом опровергает основные положения идеалистической эстетики, которая от Платона до Канта и Гегеля покоилась на религиозном истолковании идеи прекрасного.

Само собою разумеется, что эстетика Чернышевского, как первая материалистическая эстетика, должна представлять для нас первостепенный и не только исторический интерес. Многие стороны эстетического учения Чернышевского близки нашему времени. Когда мы всматриваемся в тезисы его диссертации, мы видим, что в целом ряде их затрагиваются проблемы, волнующие наше сегодняшнее советское искусство.

Строя свою эстетику на страстном возвышении действительности, жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы реалистической эстетики. Этой своей стороной она особенно родственна нашей современности. Чернышевский отрицал искусство, оторванное от жизни, тяготеющее к призрачному образом бесплодной фантазии,

он отрицал тепличные цветы искусства для искусства. Он призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во всем ее многообразии. Но Чернышевский не ограничивался этим, — он не был сторонником пассивного воспроизведения действительности, он искал в произведениях искусства «объяснения жизни». «Нельзя быть только художником, — писал Чернышевский, — поэт, достойный своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную им красоту».

Мало того, Чернышевский считал необходимым условием для всякого большого художественного произведения дать ответ на запросы современности, «ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные».

Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда «в его произведениях сознательно или бессознательно выразится стремление» дать свою оценку, «своей живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)». Тогда его «произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью... тогда художник становится мыслителем».

Нет надобности доказывать, что эти положения Чернышевского должны быть близки каждому подлинному художнику наших дней. И несомненно, что лучшие из произведений советской литературы — произведения М. Горького, А. Толстого, М. Шолохова, Н. Островского и др. — отвечают рассматриваемым требованиям эстетики Чернышевского.

Вместе с тем ложные течения в искусстве, которые мы всячески стремимся изжить, — формализм и натурализм, — решительно осуждались Чернышевским. Строго говоря, впервые философски обоснованная критика формализма и натурализма дается в диссертации Чер-

нышевского. Не останавливаясь подробно на разборе этой части диссертации Чернышевского, мы хотели бы на ряде примеров показать, насколько верно и четко умел судить о явлениях искусства Чернышевский. Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где «искусство, — по определению Чернышевского, — переходит в искусственность». Формализм там, где «господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности». Формализм там, где «господствует мелочная погоня за эффективностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание лиц и событий не совсем натуральными, но резкими красками».

И разве сегодня не этими же признаками мы характеризуем те явления искусства, которые пронизаны формализмом? Чрезвычайно важно отметить, что многие возражения Чернышевского против формалистических ухищрений обращены вместе с тем и против бессмысленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное выписывание отдельных черт и бесконечных мелочей заводит художника в дебри натурализма. Натурализм, или «мертвая копия», «дагерротипное копирование», бесполезное подражание, как выразился бы Чернышевский, порождается пассивным

«воспроизведением действительности», против которого он предостерегает в своей эстетике.

Чернышевский вовсе не был сторонником примитивных форм в искусстве, как думали многие из его противников. Он отлично умел ценить все трудности, какие преодолевает художник, создавая полотно, поэму, драму или роман. Но наряду с этим он не принимал искусства, «обнаженного от содержания». «Содержание... одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над этим?».

Просты эти положения Чернышевского и просты эти слова его, но очень часто мы забываем о них, не всегда спрашиваем художника, поэта, писателя: «да стоило ли ему трудиться над этим?».

Когда наша критика ставит перед читателями вопросы о реализме, формализме, натурализме, вопросы об идейности в искусстве, о роли сознания художника в творчестве, об искусстве как об одном из орудий преобразования действительности, — она не должна обходить молчанием диссертации Чернышевского, этого ярчайшего документа революционно-материалистической эстетики домарковского периода.

БИБЛИОГРАФИЯ

«ГОРЬКИЙ В САМАРЕ». РАССКАЗЫ, ФЕЛЬЕТОНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ.

Сост. бригадой куйбышевского отделения Союза советских писателей.
М. Изд. «Советский писатель». 1938. 254 стр. Тир. 10.000 экз. Ц. 6 руб.

★

I

Полное издание литературного наследия Горького, несомненно, ожидают те же примечательные последствия, какие вызвало издание сочинений Льва Толстого. Подобно 100-томному «академическому» изданию текстов последнего, исчерпывающий фонд произведений Горького также превысит в несколько раз прижизненные, автентичные его издания.

Сверх неопубликованных рукописей и самодельных вариантов, оставшихся в течение многих лет под спудом, в писательском архиве Горького имеется еще один почти неисчерпаемый источник. Это — вполне законченные и давно опубликованные самим автором произведения, впоследствии, однако, не включенные взыскательным художником в собрание своих сочинений или не попавшие в него по цензурным условиям.

Несобранные тексты эти стали накапливаться еще с девятидесятых годов минувшего столетия в тогдашних различных периодических изданиях — революционно-эмигрантских, столичных и, главным образом, «провинциальных». Все эти журналы и газеты уже сами по себе давно стали библиографической редкостью. Большинство же из некогда помещенных в них ранних горьковских произведений еще и по сию пору остаются неизвестными, даже просто недоступными широкому читателю.

Между тем все эти разрозненные рассказы, зарисовки, фельетоны, очерки и т. п. значительны, разумеется, во многих отношениях. Во-первых, они являются совершенно своеобразным историко-познавательным материалом о жизни и быте той отдаленной эпохи, едва ли не впервые полноценно отраженной здесь под критическим углом зрения пролетарского художника. Во-вторых, эти давнишние произведения Горького послужат ценными источниками при изучении идейно-художественного развития их автора, так как нередко представляют собой как бы многочисленные этюды к последующим, «признанным» самим автором произведениям. В-третьих, наконец, они имеют, разумеется, и непосредственный интерес в качестве материала для обыкновенного чтения.

Сам Горький, правда, создавая все новые и новые литературные ценности, до последних лет своей жизни не соглашался на издание этих ранних своих опытов. Но теперь, к прискорбию, настала уже, разумеется, пора для помертвой перепечатки их.

В рецензируемом сборнике и сделан первый шаг в данном направлении — притом в отношении самых первоначальных из несобранных текстов Горького. Именно в Самаре, — как правильно указывает предисловие, — Горький становится «профессиональным» литератором.

II

Названный сборник состоит из двух основных разделов, каждый из которых дробится на самостоятельные рубрики. Первый из них — тексты Горького, — в свою очередь, содержит художественные его произведения и фельетоны; второй раздел — материалы о Горьком, — со своей стороны, распадается на документальные источники и мемуары.

Как сказано, воспроизведенные в книге рассказы представляют не только исторический интерес. Среди них встречаются столь ценные и в художественном смысле, и в отношении объема произведения, что приходится недоумевать по поводу совершенно исключительной строгости к себе автора, не включившего также и эти рассказы в собрание своих сочинений. Так, например, чрезвычайно образный очерк «Два босняка», размером с брошюру, уже по самому своему заглавию указывает на органическую связь с одной из стержневых тем раннего творчества Горького; но только теперь широкий читатель обретает возможность ознакомиться с этим текстом. Далее — довольно большой рассказ «Женщина с голубыми глазами» и по тематике, и по стилю (даже относительно) отнюдь не ниже таких горьковских шедевров, как «Болесь» или «Мальва». Точно так же этюд Горького, напечатанный в сборнике под названием «Сказка», положил начало целому циклу его позднейших произведений этого жанра — знаменитым горьковским «сказка-

кам», где под аллегорической формой скрывалось глубокое социально-философское содержание. И подобные же параллели, наконец, в собрании «признанных» сочинений Горького можно найти и для первых перепечатанных в сборнике высокохудожественных рассказов — «На соли», «Ма-аленкая!..», «Колюша», «Гривенник» и для ряда других.

Но если некоторые из произведений первого раздела сборника порою, хотя и разрозненно, все же воспроизводились в нашей пооктябрьской печати (например, «О том, как поймали Семагу», «На соли»), то многочисленные ранние фельетоны Горького из «Самарской газеты», подписываемые им чаще всего псевдонимами «Иегудил Хламида», «Паскарелло», явятся для рядового читателя совершенным новшеством.

Между тем эти газетные статьи Горького, помимо непосредственной своей общественной функции, определили уже в ту отдаленную пору основные качества Горького-публициста — острое чувство злободневности, принципиальную непримиримость, разиющую меткость стиля. Насколько же эффективно было воздействие этих горьковских фельетонов на общество, можно особенно судить по соответствующему свидетельству самого автора. «Мне чуть не каждый день, — читаем в одной из статей этого рода, — приходится получать анонимные письма от обывателей и обывательниц, неосторожно задетых мною за живое, — и... гг. анонимы обоего пола... так ругаются, что я только удивляюсь образности их стиля и гибкости русского языка» (стр. 142).

Правда, на поверхностный взгляд, может представиться, что в своей ранней публицистике Горький бичевал лишь отдельные эпизоды повседневной жизни Самары и других глухих городков тогдашней России (по газетным корреспонденциям). И действительно: бедственное положение мальчиков-учеников на чугунолитейном заводе самарского капиталиста Лебедева; необеспеченность местных почтовых служащих; безработица среди домашней прислуги в том же городе; хищническое ограбление окрестных крестьян городскими лабазниками; злоупотребления самарской думы; беспорядки в управлении городскими школами, местами культурных развлечений, трамваем; неурядицы в самарских судебных учреждениях; случай «продажи живого товара» в Баку; беспринципность казанской газеты; полемика между органами дальневосточной прессы и т. п., — таково внешнее содержание самарских фельетонов Иегудила Хламида. Однако Горький неизменно подымал обсуждение этих частных фактов на уровень широких, принципиальных обобщений: эксплуатация детского труда, засилье мещанства, проституция, продажность буржуазной прессы и т. д., и т. д., — вот, по существу, те социальные проблемы и явления, которые затрагивал и обличал в своих газетных самарских фельетонах Горький. И недаром, например, в одном из них, написанном по поводу, казалось бы, очередного самарского случая — «кляузничества

обывателя», пред'явившего в камеру мирового судьи «пятиалгынный» иск, — Горький, однако, обобщает: «Вот картинка, превосходно иллюстрирующая наш русский провинциализм... Это — очень распространенный тип в провинции» (стр. 211, 214). И, как всегда, автор, насколько позволяли цензурные условия, спешил вскрыть перед читателем хотя бы эзоповым языком общую социальную причину подобных типичных случаев: «Почва, на которой произрастает такой ядовитый гриб, та же, что производит и все другие плоды этого рода, — отсутствие осмысленной жизни и разумной, возвышающей душу деятельности», — читаем в конце данного фельетона. Точно так же, обуславливая одно из обыденных самарских муниципальных дел и бичуя «отцов города» из членов самоуправления, ставших «самоуправцами», — Горький возводит эту тему на высокую политическую ступень. «Им дана, — восклицает автор, — частица того самоуправления, за которое люди других стран лили кровь, добываясь его! А они своими неумытыми руками портят этот великий дар...» (стр. 187). Нечего уж говорить, сколь огромную роль придавал Горький самой прессе, «которая, — по его определению, — должна быть бичом обывательской совести, благородным колоколом, вещающим только правду» (стр. 155). И, отмечая взаимные дрязги буржуазных литераторов на почве пошлой конкуренции, порицая их беспринципность, прислужничество, живность, Горький противопоставляет им публицистов — революционных демократов «недалекого прошлого» — «группу людей, расходовавших для общества действительно горячую кровь сердца и неподеленный сок нервов» (стр. 153). Разумеется, этот высокий образ литератора служил для Горького образцом в его собственной газетной работе уже в тот ранний самарский период; и в связи с этим чрезвычайно любопытно привести несколько автобиографических строк Горького из одного тогдашнего его фельетона, воспроизводящих, — правда, в сжатой и даже несколько юмористической форме, — его жизненный путь вплоть до вступления именно на литературное поприще. «Я вступил в жизнь, — в активную жизнь, — читаем там) учеником маляра, затем пек булки, писал иконы, пас лошадей, копал землю для разных надобностей, — между прочим, для покойников, — был крючником, ночным сторожем, корчевал пни, был садовником, испытал еще много свободных профессий, везде чувствовал себя более или менее не на своем месте; я дождался до такой степени выносливости, что стал считать безделье утомительнее труда, нажил себе «нервы», боль в груди, некоторый житейский опыт, еще несколько приятных вещей, — наконец, однажды вдохновился, нечто смело написал, робко снес в редакцию, меня благожелательно напечатали; мне это понравилось, я решил остановиться на этом труде, близко родственном по своей сущности к корчеванию пней, — занятие, к которому я всегда питал особенную слабость, — решил и — стал провинциальным литератором» (стр. 160).

III

Следующий раздел сборника — «Архивные данные о революционной деятельности А. М. Горького» — не представляет собою документария в собственном смысле слова. Это — лишь две небольшие заметки: Ф. Попова «Под особым надзором полиции» и А. Михайлова «Горький и самарские жандармы»; в них и приведены некоторые отрывки из охранных и полицейских архивов Самары того времени и из иных аналогичных источников. Наконец, среди материалов мемуарного отдела весьма интересны воспоминания Е. С. Ивановой «Молодой Горький». Автор, бывшая в ту пору заведующей редакцией «Самарской газеты», передает целый ряд новых фактов из этого раннего периода жизни и деятельности Горького, — периода, вообще почти не освещенного свидетельствами его тогдашних современников. Перед нами здесь очень живо предстает и писательский, и человеческий облик молодого Горького — талантливого, трудолюбивого и добросовестного сотрудника, чуткого товарища, отзывчивого человека. Так, мы узнаем о непосредственном общении Горького с массовым читателем газеты; причем «рабочих и служащих, и, вообще, трудящихся, приносивших к нему, как к фельетонисту, жалобы на всевозможный произвол, Алексей Максимович встречал всегда очень сердечно, приветливо. Усадит рядом с собой, выспросит, обнадежит. Зато неприветлив он был со всякими болтунами и клеветниками из обмещавшихся интеллигентов. Их он выпроваживал без зазрения совести» (стр. 222). Не менее интересно и сообщение об участии Горького в кружке сотрудников первого марксистского органа «Самарский вестник», где собирались наиболее революционные элементы города. «Раз на таком вечере кто-то заметил, что жизнь все же неинтересна, скучна и что ничего хорошего впереди не видно. «Нет, хорошо жить на свете, интересно» — улыбаясь, сказал Алексей Максимович... убежденно говорил, что, несмотря на все задержки и препоны, стоящие на пути движения вперед, все же жизнь берет свое, мысль в массах работает, самосознание растет; что есть признаки ясные и неоспоримые того, что Россия скоро выйдет на широкую дорожку и зашагает по ней гигантскими шагами. «Ах, не знаете вы, какой умный, даровитый народ русский!» (стр. 231) — закончил Горький. Одно же из указаний мемуаристики имеет исключительное значение, открывая новую возможность для восполнения фонда произведений Горького многими дополнительными страницами, притом в не известном еще в отношении Горького газетном жанре «обзора печати». Первые, как оказывается, шаги его сотрудничества в названной газете состояли в том, что «на него возложили обязанности — делать вырезки из столичных газет и комментировать их... Отделы, которые составлял Алексей Максимович из вырезок, назывались «По страницам газет» и «Толки печати». Шли они ежедневно и занимали видное место» (стр. 221 — 222) в газете. Привести эти материалы в известность — первоочередная задача текстологов Горького.

Однако редакционное препарирование этой ценнейшей частицы из литературного наследия Горького оставляет желать много лучшего. Прежде всего, бросается в глаза полное отсутствие у составителей критерия отбора горьковских текстов. Необходимо отметить целый ряд произведений, пропущенных в книге по совершенно непонятным причинам. Так, в беллетристический раздел сборника не включен ряд рассказов за 1895 год — «Открытие», «Одинокий», «Извозчик», стихотворение «Прощай!» и др. За следующий же (1896) год необъяснимых пропусков еще больше: из десяти появившихся в «Самарской газете» рассказов в рецензируемой книге перепечатаны лишь два («Часы отдыха учителя Коржика» и «Гривенник»); между тем среди оставшихся за ее пределами были столь значительные уже хотя бы по своему объему произведения, как «Первый дебют» или два рассказа, друг с другом тематически связанные: «Как ее обвенчали» и «Ее медовый месяц».

Точно так же, но в еще гораздо больших размерах, обнаруживаются неоправданные исключения горьковских текстов и в публицистическом отделе сборника. Не говоря уже о многочисленных отброшенных фельетонах из цикла «Между прочим», здесь отсутствуют за оба указанных года, например, публицистические работы Горького — «Несколько теплых слов» (о положении сельского учителя), «Подробный рассказ о том, как именно они «проехали» и как их за это «доехали», «О женщинах»; а также критические его статьи — «Печальный курьез», «Д. А. Ливев», «Поль Верлен и декаденты», — и т. д., и т. д.

Далее, полный хаос царит в датировочных указаниях составителей; при принятом в сборнике хронологическом расположении текстов это играет, разумеется, существенную роль. Между тем здесь не только зачастую не даны числа (дни) выхода соответственных газетных номеров, но нередко отсутствуют даже указания месяца (ср. даты к рассказам «Маленькая!..», «Колоша»). В тех же двух случаях — для разных произведений «Черноморье» и «В Черноморье», — когда даты указаны полностью, дата первого (5 марта 1895 г.) ошибочно повторена и во втором случае (точная его дата — 2 апреля 1895 года); попутно заметим также, что в сборнике неточно перепечатано и заглавие первого рассказа.

Наконец, нужно, вообще, отметить отсутствие комментариев — особенно к напечатанным в сборнике публицистическим материалам Горького. В них встречается немало количество теперь уже, разумеется, позабытых фактов, названий, имен; они требовали соответственных редакторских пояснений.

Было бы желательно, чтобы обещанные в предисловии последующие выпуски несобранных текстов великого пролетарского писателя, — столь настоятельно необходимые, — были бы обработаны более тщательно.

Б. Сенин.

ВСЕВОЛОД РЯЗАНЦЕВ. «СВЕТЛАЯ ТЬМА». Роман в трех частях. М. Гослитиздат. 1938. 191 стр. Тир. 5.000 экз. Ц. 2 р. 50 к.

Это, конечно, не роман, а повесть, повесть о слепых, об их жизни, работе, борьбе, повесть о людях, потерявших зрение, но строящих бок о бок с нами, наряду с нами новую, социалистическую жизнь.

Всеволод Рязанцев написал немало произведений. Его роман «Слепые» достаточно известен. Новая книга, «Светлая тьма», несмотря на несколько претенциозное и неудачное название, содержательна, интересна, богата фактическими материалами. Она вводит нас, зрячих, в новый мир и «открывает нам глаза» на мир слепых.

Перед писателем (Вс. Рязанцев — сам активный работник среди слепых и, как они выражаются, их преданный собрат) стоит опасность сентиментализма всякий раз, когда он должен ознакомиться с этим миром широкую публику. И, нужно отдать справедливость писателю, он счастливо избегает этой опасности. Вы не найдете в книге ни одной «жалобной» строчки, ни одного призыва к жалости, обращенного к зрячим. Это даже несколько сухая и на вид «будничная» книга о целом мире. Люди любят, страдают, радуются, трудятся, активны, вместе со всем народом участвуют в строительстве социализма. Но эта минута «будничности» отражает дух подлинного творчества слепых граждан СССР. В экономических, несколько протокольно зарисованных эпизодах чувствуются гуманные идеи и гражданский пафос советского писателя Вс. Рязанцева.

«Ирина Васильевна возбуждена. Отмерит два-три шага по комнате и сядет. Потом опять. Бледное, с тонкими чертами лицо то вспыхивает, то потухает, серые, незрячие глаза напряженно моргают...

Ее муж, Андрей Тронин, сидит неподвижно, слегка наклонив голову. Темные очки придают смуглому лицу строгое выражение.

Маленькая электрическая лампочка у потолка тускло освещает комнату.

На сундуке, поджав под себя ноги, расположился Витя — черноголовый мальчик лет двенадцати. На коленях огромный баян. Детские пальцы едва касаются клавишей. Тихие звуки приятно ласкают слух.

Ирина Васильевна в волнении продолжает: — ... Я не упрекаю. Но ты сам знаешь — жизнь нас подгоняет. Нужно двигаться.

Тронин, не меняя позы, тихо отозвался: — «Двигаться». Я не лежебока. В разруху ходил по вагонам в поезде с гармоникой через плечо, пел под окнами «Маруся отравилась», «Ванька-ключник»... побывал в комиссариате за гадание на рынке. Вон как двигался! — Усмешка юркнула под черные усы. — А теперь того хуже... Пивнушки закрываются, в клубах играют зрячие, вновь сформированные оркестры.

Мальчуган, не переставая перебирать клавиши, вмешался в разговор:

— Знаешь, папа, на Галочьих горах я видел, как слепые вертят карусель, гармонисты тоже слепые.

— Знаю. Там артель из шестнадцати. Работа временная и сборы неважные».

Так искала выхода из положения семья слепого Тронина — он, его слепая жена и зрячий сын Витя...

Андрей Минич Тронин, скрипач и гармонист, центральный герой повести, человек недолжных способностей, огромной воли, большого организаторского таланта, честный гражданин, любящий своих слепых товарищей, становится организатором трудовой артели слепых, создает производство электромоторов-вентиляторов; затем основывает завод. Дело началось с предложения слепого инженера Сазика. Приняв это предложение, Тронин вслепую, пальцами (это — глаза слепого), осязанием знакомится с мотором, изучает специальные книги, научается разбирать и собирать мотор, досканально изучает каждую деталь, мелочь, на которую зрячий часто и внимания-то должного не обращает. Нужна огромная память, чтобы все это запомнить; но герой повести не только преодолевает эти трудности, обуславливаемые его физическим недостатком — слепотой, он находит в себе силы организовать товарищей, доказать им, что это сложное дело под силу слепым, что это настоящее, творческое, производственное, общественно-полезное дело, которое к тому же существенно улучшит бытовое положение слепых.

Автор правдиво рисует все перипетии борьбы Тронина и его товарищей за право участия в настоящем производстве, в типографиях (брошировка), на швейных фабриках — в пошивочных цехах, на заводах. История артели Тронина, основанной затем большой государственный завод, — очень поучительная история. В процессе борьбы за укрепление артели герою повести, Тронину, приходится преодолеть недоверие зрячих к способностям слепых, — найти кредит (не только денежный, но, главным образом, моральный), выгнать мошенников-подлецов из зрячих, затевавших в артели и пожелавших нажиться на слепых. Мало того, автор повести правдиво показывает, как Тронину приходится выдерживать бой с оппортунистическим руководством ВОС (Общество слепых). Победа большого трудолюбивого коллектива слепых воспринимается, как радостная победа страны, в которой нет и не может быть отверженных, все несчастье которых состоит в том, что они потеряли зрение...

Что мы знаем о слепых? Мы часто встречаем на тротуаре человека в темных очках, постукивающего палочкой, которую он держит немного впереди себя. Мы сторонимся, даем пройти слепому. Когда мы думаем о слепых, мы вспоминаем чудесное произведение Короленко, вспоминаем ярмарочных бандуристов

или еще что-нибудь в этом роде. Скучные знания! «Слепой музыкант» — замечательный психологический рассказ, но для познания сегодняшней жизни слепых в Советской стране он ничего не дает. Мы все читаем с большим интересом статьи и заметки о замечательных операциях, производимых профессором Филатовым в Одессе, но мы отлично знаем, что слепых очень много и всех зрячими не сделаешь. В сущности, мы о них очень мало знаем и редко думаем. Ценность книги Вс. Рязанцева в том и состоит, что он нам показывает жизнь слепых в самом существенном — в их труде, в творчестве.

Нечуткость зрячих, пренебрежение интересами слепых часто рождает в самих слепых неверие в свои силы. Автор хорошо описывает эти сомнения. «Слепые, действительно, привыкли жаться друг к другу, как испуганные овцы. Но теперь есть возможность вступить со зрячими в контакт, поработать с ними вместе». Так думал Тронин. И то, что он понял самое важное, — что в Советской стране нет никаких преград чьему-либо творчеству, — дает ему силы. Автор на примере работы со слепыми раскрыл существенную сторону советского гуманизма, чуждого буржуазной филантропии, принципиально отличного от мелкобуржуазной слезливой благотворительности. Человек чувствует себя полноценным гражданином лишь тогда, когда он имеет возможность творить, трудиться, создавать. Эта центральная мысль повести помогает автору правильно организовать весь материал, показать все стороны жизни слепых с определенной точки зрения. Мы знаем, что в нашей стране есть ученые, писатели, герои труда — слепые. Мы всегда будем помнить героический облик Островского — Павла Корчагина, героя гражданской войны, писателя-орденоносца, проявившего редкое мужество и силу воли. Но то, что дает книга Рязанцева, ценно с фактической стороны. Выводы напрашиваются сами собой. Вот собрание слепых, вот занятия драмкружка (свои, особенные задачи), конференция слепых, работа, вечеринка. Вот драма слепой Груздевой и ее слепого мужа. Евсея Тупикова, вчера еще побиравшегося, сегодня же культурно растущего гражданина. Сцена ссоры с женой и затем любовь отца и матери к сыну — очень хороши. Точно так же интересно читается, как формируются отношения слепых между собой и со зрячими. Прекрасно нарисована мать Евсея Тупикова, приходящая к выводу, что «слепые, как настоящие».

Поскольку идея книги — здоровая и автор

рисует полное равноправие слепых, мы «без скидок» и покритуем автора.

Нам кажется излишней и ходоульной вся линия «романа» Тронина и Груздевой. Так же неясно и немотивированно поведение замечательного человека, слепого Фомина в отношении Чайковской (его секретарши). Очень слабо обрисована шайка обманщиков-вредителей. Автор будто хотел втиснуть в повесть и «любовь», и психологические переживания, и «вредительство». Но то, что не органично для идеи повести, то и не получилось.

Надо указать автору и на то, что он злоупотребляет зрячими образами (а книгу будут читать и слепые). Он все время в обрисовке людей и предметов характеризует цвета, будто сам видит. «Ей за сорок, лицо отекшее... Рукава пестрого платья...». Совсем плохо: «Кивнула седеющей головой в сторону темнокоричневой двери» (28 стр.). Автор должен больше заняться характером своих героев, их действиями и мыслями. Это будет убедительней. Зато, когда автор пишет: «дожно быть, этот человек не отличался подвижностью» (30 стр.), это — хорошо, гипотеза верная, черга правдивая, — ведь речь ведется от имени слепого Тронина. То же самое, когда мы читаем, что слепой говорит: «но у вас, я слышу, открыто окно» (стр. 40), это — правдиво; слепой именно слышит, что окно открыто.

Автор должен в следующем издании доработать ряд эпизодов и устранить многочисленные повторения, нивелирующие язык героев. Автор злоупотребляет словами: «извольте видеть», «видите ли», «видишь ли ты» и т. д. (8, 18, 185 и др. стр.). Чувство досады все персонажи выражают одинаково: «Шут возьми» (стр. 36, 111, 136, 180); а в самых важных местах — неудача ли преследует героев, сложное ли положение — автору как будто не хватает слов для передачи чувств и мыслей персонажей повести, и тогда герои только «чертыхаются»: «Чорт возьми» (стр. 6), «К чорту личные делишки!» (стр. 26), «К чорту таких советчиков» (стр. 19), «Чорт его знает» (112), «Ладно, чорт возьми» (83 стр., еще стр.: 25, 37, 83, 102, 117, 120 и др.).

Автор достаточно владеет языком, его герои достаточно индивидуализированы, чтобы не быть похожими в этом примитивном выражении своих чувств.

И все-таки, несмотря на указанные недочеты, книга читается с интересом. Полезная книга для зрячих о слепых.

И. Стариков.

★

ОСИП КОЛЫЧЕВ. «ПУЛЕМЕТНАЯ ЛЕНТА». ПЕСНИ.

М. Гослитиздат. 1938. 52 стр. Тир. 5.000 экз. Ц. 2 руб.

Сборник делится на четыре цикла: «Царицын», «Донбасс», «Донцы, кубанцы, терцы» и «Сказы и песни».

Еще до выхода в свет «Пулеметной ленты» несколько песен Колычева появилось в журна-

лах, и тогда они производили более выгодное впечатление. Собранные же вместе, они вызывают чувство неудовлетворенности.

На первый взгляд, они могут показаться интересными. Не увлекая смелыми взлетами, они

зато не раздражают особенно резкими срывами. Читатель найдет в этом сборнике и оборонную тематику, и образы вождей, и героев гражданской войны, и картины боев и походов, данных на фоне локального пейзажа. С формальной стороны, также можно отметить разнообразную ритмику и строфику, удачные рефрены, характерные для народной песни внутренние рифмы, ритмико-синтаксические повторы, риторические обращения («Ах, ты, Дон, синий Дон, синий Дон Иванович!»).

И вместе с тем сборник читается равнодушно. Утомляет схематическое однообразие в построении сюжета: враг наступает, красные бойцы стойко отражают его натиск («Песня Х армии», «Оборона Луганска»); красные бойцы отправляются в поход («Песня о Ворошилове», «Песня о бронепоезде «Коммуна», «Донская прощальная», «Казачья походная»); красные бойцы идут в наступление и разбивают наголову врага («Песня о луганском походе», «Песня о Пятой армии»). По тексту многих песен густо рассыпаны сравнения, но почти ни одно из них не привлекает к себе внимания свежестью и меткостью. Много риторики, но мало живых, естественных интонаций.

В большинстве песен действуют безликие персонажи:

Умирали металлисты
С горняками рядом,—

пишет Колычев.

А мы предпочли бы, чтобы был показан один металлист или один горняк, но так, чтоб мы увидели его, как живого, чтобы его героизм был показан на конкретном примере. Не в этом ли секрет удачи Михаила Голодного, который разработал в своем «Партизане Железяке» острый сюжет? разве «загорелый, запыленный пулеметчик молодой» не оживил «Песни о тачанке» М. Рудермана?

Одна из песен Колычева называется «Разведчик». Казало бы, здесь мы должны столкнуться с конкретным персонажем, наделенным индивидуальными, запоминающимися чертами. Но песня состоит из наставлений разведчику, а самого разведчика мы не видим, как не видим и героя «Смерти партизана».

Вот «Песня о Ворошилове». Она ритмична, начин удачно перекликается с концовкой; мелькают географические названия: Дон, Белая Калитва, станция Калач, Царицын. Но о самом Ворошилове надо было сказать больше и ярче. Бледность героев и однообразие сюжетных приемов Колычев пытается компенсировать разбросанными там и сям ударными лозунгами, но им не хватает афористической заостренности, от которой в большой мере зависит популярность песен Лебедева-Кумача.

Выделяется одна лишь песня в сборнике — «Песня о Сталине» («На Восточном фронте...»); она удалась поэту потому, что он уловил характерные черты генерального вождя: беспощадность к врагу —

Ты не так сурова, Волга, в половодье,
Как Иосиф Сталин грозен для врага!

и заботливую нежность к сыновьям трудового народа —

Не забыть веками, как Иосиф Сталин
Собственной шинелью укрывал бойца.

Более, нежели в песнях, силен Колычев в сказах. Здесь мы видим героев в действии, их фигуры даны более живо.

Бедный местечковый еврей Рафаил Крейнер, по причине тщедушного телосложения численный в штаб писарем («раз еврей — так писарь, почерк — значит — бисер!..»), но ответивший «с родным акцентом»: «В первой же атаке покажу я-таки, что такое Крейнер Рафаил!», и показавший; погибший геройской смертью партизан Шадур, пуше глаза берегший сапоги, полученные от начдива «за дела», и предпочитавший воевать разутым; партизан Морозко, с его много раз сбывавшейся, но так и не сбывшейся поговоркой: «Це той пули не зробыли, щоб менэ убылы!», — все это близкие нам люди. В них есть обаяние мужественности и простоты, они суровы и трогательны, — они достаточно типичны. Мягкий юмор поэта сопутствует им.

Беспорно хорош динамичный, сжатый сказ «Два солдата». По сюжету он хотя и напоминает сцену с американцем из «Бронепоезда» Вс. Иванова, но это звучит здесь по-иному.

Украинца ведет на расстрел немецкий солдат:

Мундиры разные у них,
Повадки и слова чужие...
Один сказал: «Verstehe nicht»,
Другой сказал: «Не розумию!»

Есть много слов прощальных: мать,
Семья, — и слезы о прощеньи!..
Но коммунисты умирать
Идут с прощальным словом: «Ленин».

И понял все «Verstehe nicht»,
И понял все «Не розумию», —
Одна есть родина у них,
Одни дороги боевые.

Следуя традициям народной песни, Колычев в «Конармейской шуточной» дает превосходную гиперболу:

Улыбается Буденный —
Лед пошел по Дону...
Улыбается Буденный —
Расцветают клены...

Улыбнулся Ворошилов —
Солнце засияло, —
Улыбнулся Ворошилов —
И весна настала...

Но Колычев далеко не всегда находит нужные слова. Вот пример явно неудачной метафоры:

На конях, бросаясь в битвы,
Мы выхватываем бритвы
Из серебряных ножен
(«Песня о Ворошилове»).

Думается, «бритвы» здесь поставлены не из-за весьма ограниченного сходства, а — для рифмы.

В «Письме бойцов» на фоне украинизмов («буде гарный борщ») и жаргонных словечек («брось-ка, ради бога, затереть бузу!...») вызывают недоумение такие строки:

— Слушай притязанья
Наши партизаньи!

Не пристегнуты ли г: эти велеречивые «притязанья» для рифмы?

Или:

Вспоминает враг с тоскою
Бой под Белой Калитвою...
(«Песня о Ворошилове»).

Почему враг тоскует, а не — затаил злобу, месть?

Лексический разноречивостью особенно заметен в «Разведчике». Поэтический украинизм «сеча» Колычев наделяет прозаическим, обиходным эпитетом «сумасшедший»:

... В сумасшедших
Битвах — сечах —
Полегли костями.

И это — наряду с «милком», «несмысленным щегленком» и «охочими глазами»!

Но дело, конечно, не в этих, хотя и досадных, частностях.

Колычеву необходимо пристальнее вслушаться в народную песню. А народ в своих песнях скупыми, но выразительными штрихами очерчивает любимых героев и умеет захватывающе интересно рассказать об их подвигах.

Н. Любим в

★

ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ. «МОРЯКИ». СТИХИ.

М. Изд. «Советский писатель. 1938. 64 стр. Тир. 8.000 экз. Ц. 1 р. 75 к.

Поэт Илья Френкель пользуется меньшей известностью, чем заслуживает; это в значительной степени объясняется тем, что он не так часто выступает в печати. Некоторые его песни чрезвычайно популярны, но судьба песенного жанра обычно такова, что, чем популярнее становится песня, тем скорее отрывается она от автора. Кто не знает «Марша воздушного комсомола»: «Широкие крылья на солнце горят, — летит эскадрилья, воздушный отряд»? Но мало кто из широкой публики помнит, что в 1934 году был всеобщий конкурс на комсомольскую военно-походную песню, что на нем первую премию получил именно этот «Марш воздушного комсомола» и что его автором оказался Илья Френкель. Этому же поэту принадлежит текст и ряда других массовых песен — «Собирайтесь под знамена, под знамена Ильича» (музыка М. Ковалева) и «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте!» (музыка немецкого композитора Эйслера).

Из трех названных популярных песен автор поместил в свой сборник «Моряки» только первую, дав ей новое название — «Комсомолец-пилот». Отсутствие двух других, а также то обстоятельство, что вошедшие в книгу песни помещены в конце ее и, как показывают самые их названия («Комсомолец-пилот», «Походная кавалерийская», «Артиллерийская»), не соответствует заглавию сборника «Моряки», — все это говорит за то, что поэт в данной книге, повидимому, пожелал выступить главным образом как автор стихов для чтения, а не для пения.

Заглавие сборника, вообще, гораздо уже тематики: из шестнадцати стихотворений, составляющих книжку, только шесть, помещенных в начале, повествуют о морях, в одной песне — «Здравствуй, Волга-река» — выражается ра-

достное ожидание того, что волжские воды потекут мимо кремлевских стен «к далеким морям». Все остальное в книге никакого отношения ни к морякам, ни к морю не имеет. Тем не менее в сборнике есть известная цельность — революционная и оборонная тематика. Личные мотивы, интимная лирика отсутствуют; о своих личных переживаниях поэт говорит только трижды, и каждый раз лишь вскользь, мимоходом.

Несколько стихотворений посвящено партизанам. В лучшем из них — «Колыбельной партизанской» — изображены причитания матери над убитым партизаном. Ей кажется, что «завалился парень спать... вот проснется, повернется»; и в то время, как «ходят мухи синей стаей по небритому лицу»; мать, вспоминая своего сына ребенком, начинает свою трогательную и грустную «колыбельную» над убитым сыном, повторяя песни, которые пела тогда, чередуя свой рассказ баюкающим припевом; бедная женщина вспоминает всю свою горькую трудовую жизнь и мужа, погибшего на японской войне.

Одним из лучших произведений, несмотря на его некоторую растянутость, является стихотворение «Начало», где рассказывается о первом появлении политотдела в далекой деревне. Приехавший политотдел получает деревню, «засоренную врагами, с кулаками в сторожах, с колчаковцем в счетоводах, с лебедью в огородах» и т. д. Новая машина, на которой прибыл политотдел, является как бы символом начала новой жизни деревни; и этот переломный момент произошел очень просто. И. Френкель любит изображать важные события на фоне обыденности, любит отмечать тут же прозаические детали: «Дорд грохочет полным газом, брызжет грязью колеса... Эта музыка бен-

зина, эта мокрая резина, этот кузов, эта шина, эта самая машина, не забуду я о ней. Этих спрятанных в моторе сорок связанных коней...». «Именно вот здесь начало» — подчеркивает поэт и приводит ряд характерных деталей: «Кверху зубьями торчала на дороге борона», «терлась тощая кобыла о забор большой спиной» и тут же «совсем обыкновенно трактористка шла на смену, песней отгоняя страх».

Из стихов же о моряках наиболее значительным не только по размерам, но и по своим достоинствам надо признать два стихотворных рассказа — «Веревочка» и «Адмиральская прогулка». В первом повествуется о том, как три матроса были наказаны за отлучку с корабля несоответственно строгим наказанием: они должны были плести канат до Кронштадта. Рассказ этот замечательен по народности языка; многие строки удачно выдержаны в стиле народного повествовательного стиха, характерного для бытовой повести или для сказки:

И уселись три братка,
Локоток у локотка —
Первый парень из Самары,
А второй из-под Уфы,
А последний с Вологды,
И все трое голодные,
Они сели, поспали,
Друг на дружку посмотрели
и т. д.

Плетут матросы и поют, вспоминая родные места, где «все разуты и раздеты», и жалуясь на неравенство в положении офицеров и матросов. Здесь немало хорошо воспроизведенных характерных народных эпитетов, например: «Самара-качай воду», и народных поговорок: «Офицеров прав не съесть, а матрос — собачья шерсть», «Офицеру ордена, а матросу в морду на». Эти песни убедительно объясняют, почему так радостно встретили матросы революцию. И кончается рассказ тем, как в будничную невыносимо тяжелую обстановку матросского быта при царском режиме ворвался первый свежий ветер революции. На схожую тему написана и «Адмиральская прогулка»; в ней действие происходит тоже в Кронштадте. В основу положена легенда, как один ничтожный случай, — адмирал приказал арестовать матроса, который, поверив, что без царя стало свободнее, шел в незастегнутой шинели и с цветком в петличке, — как этот случай послужил ближайшим поводом к восстанию матросов против керенщины. Последнее стихотворение в сборнике, «Про коня», можно было бы причислить к жанру идиллий. Старик-пастух, участник войн японской, германской и гражданской, рассказывает мальчишкам, что хотя «спинна в дугу согнулась... а жить, ребята, хочется». Он заботливо пасет коней, учит, как надо их холить и выращивать, и надеется, что выращенные им лошади будут всему полку на заисть.

Такова тематика книги.

У Ильи Френкеля есть свое поэтическое лицо. Ему удалось избежать подражательности кому-либо из старших поэтов. Учиться он захотел не у кого-либо из поэтов, а у самого народа. Увлечение русским фольклором и тяга к песенному жанру — вот две основные черты, характеризующие Френкеля, как поэта. Он, конечно, не одинок в этом отношении. Увлечение фольклором и стремление к песне характерно и для ряда других современных русских поэтов: А. Прокофьева, А. Суркова, А. Твардовского. Но народная поэзия так разнообразна и неисчерпаемо богата, что каждый тут учится и самоопределяется по-своему.

У Френкеля, при политической заостренности почти всех его вещей, такого недостаточного мотивированного любования фольклором, как, например, у Прокофьева, не встречается. В отличие от последнего, он почти совсем не пользуется ни гиперболой, ни иронией. Он идет от частушек, от поговорок, от городской, матросской или фабричной песни. По сравнению с Прокофьевым, он не так изобретателен, он реалистичнее и проще в сюжетах, точнее в описаниях. Его персонажи любят песни, поэтому у Френкеля часто цитируются те или иные начала песен, — например, в «Адмиральской прогулке» песня «О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?» и популярнейшая матросская песня, особенно известная своим припевом: «По морям, по морям; нынче—здесь, завтра—там». В «Начале» цитируется песня старой деревни, распеваемая пьяными: «Ты для чего в оптеку ходишь, черноглазinka моя». В «Веревочке» все песни сочинены автором, но очень удачно передают стиль новейших народных песен, притом с социальной заостренностью. Так, например, существует волжская непритязательная песенка:

Мы на лодочке катались,
Золотистый, золотой.
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой!

На этой основе поэт создает социально-насыщенную сатирическую песню о волжских городах: «Царицыне, Саратове, Самаре:

Ах, Царицын, ветер с пылью!
Золотистый-золотой.
По трактирам кормят гнилью,
Выгоняют вон бутылую, —
Я ручаюсь головой.
Ах, Саратов, городочек!
Золотистый-золотой,
Золоченый передок,
Околоченный задок, —
Я ручаюсь головой...

Каждый второй и пятый стих не меняются. Это интересная попытка использовать не замечаемый обычно другими поэтами прием, нередкий в народной поэзии.

Нужно отметить, что, так много внимания уделяя песням в своих стихах для чтения, многие строки слагает даже на песенный лад. Френкель считает в то же время нужным

отойти от фольклора, когда берется за создание массовой песни. В ней он сохраняет все характерные особенности этого жанра: повторения, припевы и т. д., но в языке идет не от фольклора и не от разговорной речи. Такие выражения, как «Оглашай берега, говор волжской струи» или «Повороту весла сдайся, сдайся, волна» (в песне «Здравствуй, Волга»), или обращение к красноармейской звезде: «Ты слепи врагов народа, нам дорогу освещай» (в «Артиллерийской»), — конечно, далеки от живого разговорного языка. Вообще, массовые песни Френкеля, несмотря на популярность некоторых из них, слабее таких его вещей, созданных для чтения, как «Веребочка», «Адмиральская прогулка», «Начало». Исключение представляет очень удачная походная кавалерийская песня «Вышла конница в поход», где не только с успехом применен один из характерных приемов народной песни, — каждый следующий куплет подхватывает, слегка видоизменяя, последний стих предыдущего, — но встречаются и присущие фольклору постоянные эпитеты — «шелковая трава», «темные леса»; песня эта положена на музыку и, говорят, популярна среди нашего казачества.

Стараясь передавать живую разговорную речь, сохраняя местный колорит, Илья Френкель иногда переходит границы дозволенного,

дорожа даже грамматическими неправильностями речи. Этого делать не следует. Если еще можно оправдать вложенный в уста матросов призыв «Засвистаем в тыщу ртов» (вместо «засвищем»), так как здесь эта неправильность речи подчеркивает разудалось, то никакими соображениями нельзя оправдать таких выражений, как: «Я тебе, братишке, жизнь удлиню» или: «Мухи.. не дают покой бойцу». Правда, таких ошибок и неправильностей языка в книге немного.

В нашей поэзии до сих пор очень мало внимания уделялось морякам; антология на данную тему была бы крайне жидка. Сборник стихов Ильи Френкеля до известной степени восполняет этот пробел. Но, конечно, рецензируемая книжка отнюдь не исчерпывает творческих возможностей автора, которому нужно пожелать большего разнообразия в тематике: ведь даже из темы о революции во флоте он коснулся покуда только одного момента — начала восстания, а в революционной деятельности матросов было немало и других славных и ярких моментов. Рассказать в художественно-увлекательной форме и об этих других моментах Илья Френкель, разумеется, мог бы с большим успехом, — за это ручается рецензируемый сборник.

И. Н. Гозанов.

Редколлегия: Ф. В. Гладков.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский.

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПРИ СОВНАРКОМЕ РСФСР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1938 ГОД

НА КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ДВУХНЕДЕЛЬНИК
ПРИ ЖУРНАЛЕ „ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК“

„ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ“

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ставит своей задачей ознакомле-
ние широких кругов советских читателей со всеми выходя-
щими у нас новинками советской и зарубежной литературы,
изданиями русских и иностранных классиков, книгами по
истории и теории литературы и критическими работами.

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» рассчитано на самый широкий
состав читателей. К участию в «Литературном Обозрении»
привлечены лучшие критические силы.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 3 мес. — 4 р. 80 к., на 1 мес. — 1 р. 60 к.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА — 80 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: повсеместно «Союзпечатью», почтой, а также отделениями
и уполномоченными КОГИЗ'а.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ВО ВСЕХ КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ» и МАГАЗИНАХ КОГИЗ'а



„НОТЫ-ПОЧТОЙ“ МОГИЗ'а

Москва, Неглинная, 14/НМ

ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА

★ ★ ★

ЛЕНИН — СТАЛИН — 20 песен советских композиторов. Для голоса (хора) с фортеп.
Ц. 2 р. 60 коп.

ПЕСНИ КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
СОЮЗА ССР — Сборник 98 песен. Ц. 15 р. (В роскошном переплете)

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ — Сборник 240 песен. Изд. НКО. Вып. III. Ц. 25 р.
(В роскошном переплете).

М. БАЛАКИРЕВ — Романы и песни. Ц. 17 р. 50 к. (В роскошном переплете).

ПУШКИН в романах и песнях его современников (1816 — 1837 гг.). Ц. 16 р. (В рос-
кошном переплете).

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н. — Сборник романсов и песен на стихи А. Пушкина. Ц. 6 р.

25 ПЕСЕН БЕРАНЖЕ — муз. обр. старин. франц. мелодий И. Шнипова. Ц. 5 р. 25 к.

КЛАВИРЫ ОПЕР С ПЕНИЕМ:

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» — муз. Римского-Корсакова. Н. Ц. 13 р. (В роскошном пере-
плете).

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» — муз. Бородина, А. Ц. 25 р. (В роскошном переплете).

«СНЕГУРОЧКА» — муз. Римского-Корсакова. Ц. 25 р. (В роскошном переплете).

«ФАУСТ» — муз. Гуно, III. Ц. 22 р. 50 к. (В роскошном переплете).

«МАДАМ БЕТТЕРФЛЕЙ» (Чю-Чю-Сан) — муз. Пуччини, Д. Ц. 27 р. (В роскошном
переплете).

КНИГИ СО МУЗЫКЕ:

РОМЭН РОЛЛАН — Музыканты прошлых дней. Ц. 8 р. (В роскошном переплете).

ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. — Переписка с А. Ф. фон-Мекк (письма 1882 — 1890). том III.
Ц. 17 р. (В роскошном переплете).

ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. — Переписка с П. И. Юргенсоном (письма 1877 — 1883). том I.
Ц. 17 р. (В роскошном переплете).

ЗИЛОТИ, А. — Мои воспоминания о Ф. Листе. Ц. 3 р. 50 к.

Т Р Е Б У Й Т Е К А Т А Л О Г И

К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ А. М. ГОРЬКОГО

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КНИГИ:

- М. ГОРЬКИЙ** — Ранняя революционная публицистика. Гос. Изд-во Политической литературы. 148 стр. + 1 вкл. Ц. в пер. 4 р. 50 к.
М. ГОРЬКИЙ — О молодежи и детях. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Мол. Гвардия». 199 стр. Цена 3 р. 50 к.
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ — Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького (1868—1936). Гос. Изд-во Полит. лит-ры. 96 стр. + 3 вкл. Ц. 75 коп.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- М. ГОРЬКИЙ** — Девушка и смерть. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Мол. Гвардия».
М. ГОРЬКИЙ — Рассказы. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Мол. Гвардия».

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

На английском языке:

- М. ГОРЬКИЙ.** — В. И. Ленин. Центроиздат. 1931. Ц. 20 к.
М. ГОРЬКИЙ. — По поводу одной легенды. Центроиздат. 1931. Ц. 10 к.

На немецком языке:

- М. ГОРЬКИЙ.** — Мать. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1937. Ц. в пер. 6 р. 73 коп.
М. ГОРЬКИЙ. — Детство. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1934. Ц. в пер. 4 р.
М. ГОРЬКИЙ. — Дело Артамоновых. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1934. Ц. в пер. 4 р. 75 к.
М. ГОРЬКИЙ. — Мои университеты. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1935. Ц. в пер. 3 р. 75 к.
М. ГОРЬКИЙ. — Рассказы, очерки. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1937. Ц. в пер. 7 руб.

На латышском языке:

- М. ГОРЬКИЙ.** — Детство. Изд-во «Прометей». 1937. Ц. в пер. 4 р.
И. ГРУЗДЕВ. — Жизнь Максима Горького. Изд-во «Прометей». 1931. Ц. 45 коп.

На эстонском языке:

- М. ГОРЬКИЙ.** — Мать. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1934. Ц. 5 руб.
М. ГОРЬКИЙ. — Детство. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1936. Ц. в пер. 3 р. 50 к.
И. ГРУЗДЕВ. — Жизнь Горького. Изд. Т-во Иностранных рабочих в СССР. 1936. Ц. в пер. 2 р. 50 к.

ПРОДАЖА В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ КОГИЗ'а

ПРИБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО

ЗАЙМА 1938 года



Государственный Внутренний Выигрышный Заем 1938 года выпущен на сумму 600 миллионов рублей, сроком на 20 лет, с 1-го июня 1938 г. по 1-е июня 1958 года, — в облигациях достоинством 200, 100 и 50 рублей.

Весь доход по займу выплачивается в виде выигрышей.

★

В течение двадцатилетнего срока займа будет проведено 120 тиражей выигрышей по 6 тиражей в год.

Выигрыши по займу установлены в 25.000 руб., 10.000 руб., 5.000 руб., 1.000 руб. и 400 руб., включая нарицательную стоимость облигации (200 рублей).

По облигациям достоинством 100 и 50 руб. выплачивается соответственно половина и четверть выигрыша, выпавшего на 200-рублевую облигацию.

★

В каждом тираже будет разыгрываться 4 выигрыша по 25 тыс. рублей, 20 выигрышей по 10 тыс. рублей, 120 выигрышей по 5 тыс. рублей, 1200 выигрышей по 1 тыс. рублей и 4336 выигрышей по 400 рублей, а всего 5680 выигрышей на сумму 3.834.400 руб.

Во всех тиражах будет разыграно 681.600 выигрышей на сумму 460.128.000 руб.

Облигации займа свободно продаются за наличный расчет и покупаются сберегательными кассами. Продажа облигаций по подписке в рассрочку не производится.

★

Одновременно с выпуском Государственного Внутреннего Выигрышного Займа 1938 года проводится конверсия государственных внутренних выигрышных займов 1929 г., 1930 г., 1932 г. и 1935 г.

Обмен облигаций этих займов, в связи с конверсией, на облигации Государственного Внутреннего Выигрышного Займа 1938 года производится сберегательными кассами по нарицательной стоимости до 1-го марта 1939 года. После этого срока необменные облигации терять силу и обмена не подлежат.

Обмен облигаций, сданных в сберегательные кассы на хранение или в залог по ссудам, производится при личной явке владельца облигаций или по его письменному заявлению, к которому должно быть приложено сохранное свидетельство или залоговая квитанция.

Держатели облигаций выигрышных займов 1929, 1930, 1932 и 1935 г.г., не представившие их к обмену, могут получить в сберегательной кассе до 1-го марта 1939 года наличными деньгами нарицательную стоимость своих облигаций.